



---

# ЖЕРМЕНА ДЕ СТАЛЬ

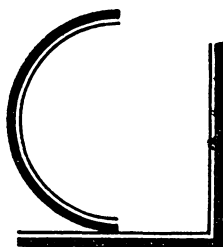
---

О ЛИТЕРАТУРЕ,  
РАССМОТРЕННОЙ  
В СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
УСТАНОВЛЕНИЯМИ

---

ЖЕРМЕНА  
ДЕ СТАЛЬ

---



ИСТОРИЯ  
ЭСТЕТИКИ  
В ПАМЯТНИКАХ  
И ДОКУМЕНТАХ





---

---

# ЖЕРМЕНА ДЕ СТАЛЬ

---

---

О ЛИТЕРАТУРЕ,  
РАССМОТРЕННОЙ  
В СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
УСТАНОВЛЕНИЯМИ

---

---



МОСКВА  
«ИСКУССТВО»  
1989

**ББК 87.8**  
**С 76**

**Редакционная  
коллегия**

---

**Председатель**  
**А. Ф. ЛОСЕВ**

**А. А. АНИКСТ**  
**К. М. ДОЛГОВ**  
**А. Я. ЗИСЬ**  
**И. С. НАРСКИЙ**  
**А. В. НОВИКОВ**  
**Г. М. ФРИДЛЕНДЕР**  
**В. П. ШЕСТАКОВ**

---

**Вступительная статья** **А. А. АНИКСТА**  
**Составление** **А. А. АНИКСТА** **и В. А. МИЛЬЧИНОЙ**  
**Переводы и комментарий** **В. А. МИЛЬЧИНОЙ**

**С**  $\frac{0301080000-166}{025(01)-89}$  **13-89**

**ISBN 5-210-00332-9 (рус.)**

**© Издательство «Искусство», 1989 г.**

# СОДЕРЖАНИЕ

**А. А. Аникст**

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЖЕРМЕНЫ ДЕ СТАЛЬ	7
ОПЫТ О ВЫМЫСЛЕ	35
О ЛИТЕРАТУРЕ, РАССМОТРЕННОЙ В СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ УСТАНОВЛЕНИЯМИ	57
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ	57
ВВЕДЕНИЕ	66
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ	88
ГЛАВА I. О НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	88
ГЛАВА II. О ГРЕЧЕСКИХ ТРАГЕДИЯХ	100
ГЛАВА III. О ГРЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ	109
ГЛАВА IV. О ФИЛОСОФИИ И ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ	113
ГЛАВА V. О РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВРЕМЕН РЕСПУБЛИКИ	121
ГЛАВА VI. ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЦАРСТВОВАНИЕ АВГУСТА	136
ГЛАВА VII. О РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕ АВГУСТА И ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ ДИНАСТИИ АНТОНИНОВ	142
ГЛАВА VIII. О НАШЕСТВИИ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ, О ПРИНЯТИИ ХРИСТИАНСТВА И ВОЗРОЖДЕНИИ СЛОВЕСНОСТИ	149
ГЛАВА IX. О СУЩЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ	163
ГЛАВА X. О ЛИТЕРАТУРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И ИСПАНСКОЙ	169
ГЛАВА XI. О ЛИТЕРАТУРЕ СЕВЕРА	184
ГЛАВА XII. О ГЛАВНОМ ПРЕГРЕШЕНИИ, В КОТОРОМ УПРЕКАЮТ ФРАНЦУЗЫ СЕВЕРНУЮ ЛИТЕРАТУРУ	192
ГЛАВА XIII. О ТРАГЕДИЯХ ШЕКСПИРА	195
ГЛАВА XIV. ОБ АНГЛИЙСКОМ ЮМОРЕ	206
ГЛАВА XV. О ВООБРАЖЕНИИ АНГЛИЧАН, КАК ОНО ВЫРАЗИЛОСЬ В ИХ ПОЭЗИИ И РОМАНАХ	211
ГЛАВА XVI. ОБ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ И АНГЛИЙСКОМ КРАСНОРЕЧИИ	220
ГЛАВА XVII. О НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	228
ГЛАВА XVIII. ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИЯ ПРЕВОСХОДИЛА ИЗЯЩЕСТВОМ, ВЕСЕЛОСТЬЮ И	

БЕЗУПРЕЧНОСТЬЮ ВКУСА	
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ НАЦИИ	242
ГЛАВА XIX. О ЛИТЕРАТУРЕ ВЕКА ЛЮДОВИКА XIV	249
ГЛАВА XX. ОТ XVIII СТОЛЕТИЯ К 1789 ГОДУ	255
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ И О ЕГО ГРЯДУЩИХ ПОБЕДАХ	265
ГЛАВА I. ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ВТОРОЙ ЧАСТИ	265
ГЛАВА II. О ВКУСЕ, СВЕТСКОСТИ НРАВОВ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ЛИТЕРАТУРУ И ПОЛИТИКУ	269
ГЛАВА III. О РВЕНИИ	285
ГЛАВА IV. О ЖЕНЩИНАХ, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ СЛОВЕСНОСТИ	296
ГЛАВА V. ОБ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ	305
ГЛАВА VI. О ФИЛОСОФИИ	322
ГЛАВА VII. О СЛОГЕ ЛИТЕРАТОРОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ	338
ГЛАВА VIII. О КРАСНОРЕЧИИ	348
ГЛАВА IX. И ПОСЛЕДНЯЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	360
НЕСКОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННОЙ ЦЕЛИ «ДЕЛЬФИНЫ»	368
О ДУХЕ ПЕРЕВОДОВ	384
ПИСЬМО РЕДАКТОРАМ «БИБЛИОТЕКА ИТАЛЬЯНА»	390
ПРИМЕЧАНИЯ	395
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	463

---

## О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЖЕРМЕНЫ ДЕ СТАЛЬ

---

### 1

До Жермены де Сталь ни одна женщина не сыграла такой роли в истории, какая выпала ей. Она не была королевой, императрицей, в силу наследственной или захваченной власти управлявшей судьбой целого народа. Она добилась более высокого почета — стала властительницей дум поколения, пережившего такое всемирно-историческое событие, как Великая французская революция.

Ее мать бывала у Вольтера и знала Руссо, в ее салоне встречались издатели знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Даламбер. Юная Жермена выросла в атмосфере высшей интеллектуальности, которая предшествовала революции и подготовила умы для нее.

Жермене исполнилось двенадцать лет, когда скончались Вольтер и Руссо, восемнадцать — в год смерти Дидро, двадцать три — в начале революции, двадцать семь — когда Шарлотта Корде убила Марата, а Дантон погиб на гильотине, на год больше, — когда под ее ножом кончили жизнь Робеспьер и Сен-Жюст. На три года старше она наблюдала восхождение Наполеона, ставшего императором и покорившего почти всю Европу, она увидела и падение его, а также реставрацию монархии Бурбонов.

Современница этой бурной эпохи, Жермена де Сталь была отнюдь не только наблюдательницей. Рано начав писать, она выступала как публицист, откликавшийся на некоторые события своего времени, завоевав признание не только своими сочинениями, но и смелой оппозицией деспотизму Наполеона.

Литературное дарование Жермены де Сталь многообразно: она сочиняла пьесы, романы, писала политические памфлеты, теоретические работы и оставила один из первых исторических трудов о своем времени — «Рассмотрение основных событий Французской революции», изданный посмертно, в 1818 году.

Талант Жермены де Сталь проявился еще в одной сфере, теперь совершенно исчезнувшей. Начиная с XVII века во Франции, а затем и других странах Евро-



пы развилась такая форма общественности, как салон. В гостиных более или менее высокопоставленных лиц собирались для бесед светские люди, ученые, писатели, художники. Возникло искусство беседы, охватывавшей любые темы — от сплетен до философских проблем. В таком салоне воспитывалась юная Жермена, и он был первой школой ее приобщения к передовой современной мысли. Там научилась она думать, разговаривать и писать, там обрела умение ясно и смело выражать свои мысли, оттачивать мысли, доводя их до блеска афоризмов.

Салоны XVIII века сыграли важную роль в утверждении нового мировоззрения — философии Просвещения. Салоны первой половины XIX века еще долго сохраняли значение очагов общественной мысли, особенно там, где, как в России, не было возможности открыто выступать в печати. Жермена де Сталь славилась у современников не только как писательница, но и как блестящий мастер беседы.

В нашу задачу не входит рассмотрение всей многосторонней деятельности Жермены де Сталь. Но краткий очерк ее жизни откроет основы, обусловившие своеобразие ее вклада в мировую эстетическую мысль.

## 2

Швейцарский банкир Жак Неккер считался великим знатоком финансов (самого слабого звена монархии Людовика XVI), и его трижды призывали на министерский пост генерального директора финансов, чтобы спасти экономику Франции от развала. Первый раз он занял этот пост в 1777 году и продержался на нем около трех лет, второй раз — в 1788—1789 годах. Реакционные круги двора оба раза добивались его устранения. Второй раз, когда его отставили — летом 1789 года, — это вызвало бурный протест парижского народа и послужило поводом для штурма Бастилии 14 июля 1789 года. Неккер был инициатором созыва Генеральных штатов, ставших первым правительством революционной Франции. Король еще раз призвал на помощь Неккера, чтобы опереться на него в борьбе против все более решительных дей-

ствий Генеральных штатов, объявивших себя Национальной ассамблеей. Но на политической арене появились новые фигуры — пламенный оратор Мирабо, герой американской революции Лафайет. Умеренная позиция Неккера игнорировалась деятелями начинавшейся революции, а королеве Марии Антуанетте, возглавившей реакционный лагерь, казалась трусливой; финансист, окончательно сойдя с политической арены, уехал в родную Швейцарию.

С детских лет дружба объединяла Жермену с ее выдающимся отцом. Все перипетии его политической карьеры касались и ее. В двадцать лет ее выдали замуж за обедневшего шведского аристократа, занимавшего, однако, важный пост — посла при французском дворе, — барона Эрика Магнуса Сталь-Гольштейн. О положении четы можно судить по тому, что их брачный контракт скрепили подписи короля и королевы Франции. Супружеское счастье было недолгим; инициатором разрыва была Жермена, сохранившая фамилию мужа, которую она прославила, но считавшая себя свободной и вступавшая в союз, более или менее длительный, с теми, кого она любила. Такое поведение отнюдь не было проявлением женской эмансипации. В XVIII веке формально заключенные аристократические браки часто становились фикцией. Революция тоже содействовала свободе нравов.

Салон де Сталь (салон жены шведского посла), пока сохранялась монархия, являлся местом сбора той части крупной буржуазии, которая стояла за реформы, необходимые для этого класса. Здесь до поры до времени сочувствовали начавшейся революции, но, по мере того как в действие все больше и больше вступали массы, возглавляемые якобинцами, самой решительной революционной партией, попытки Сталь и ее друзей оказать влияние на политику становились все более бесплодными. Ей, с восторгом наблюдавшей энтузиазм парижан, некогда приветствовавших ее отца, довелось оказаться в сентябре 1792 года в руках возбужденной и угрожающей парижской толпы. Настали роковые дни сентября 1792 года, когда восставшие массы стали учинять кровавые расправы над своими врагами — аристократами и их приверженцами. В одном только Париже были убиты около 1400 человек. Кровь лилась

и в других городах Франции. Жермена слишком поздно решила покинуть поднявшийся против монархии Париж. Ее карету остановила толпа, Жермену потащили в одну из парижских секций, затем в ратушу, в Парижскую коммуну; она с трудом доказала, что, будучи женой шведского посла, обладает неприкосновенностью. Лишь после долгих проволочек и мучительного ожидания она получила паспорт для выезда за границу. Для большей безопасности через опасную зону бунтующих парижан ей дали сопровождающего, ярого якобинца Тальена, того самого, который через полтора года возглавил заговор, свергнувший Робеспьера 9 Термидора 1794 года.

Период высшего накала революции и якобинского террора Жермена де Сталь провела в швейцарском имении отца — Коппе. После Термидора Жермена де Сталь вернулась в Париж, снова открыла свой салон, в котором теперь собирались видные деятели нового правительства. Это не спасло ее от обвинений в антиправительственной деятельности со стороны бывшего якобинца и участника террора, изменившего Робеспьеру, — Лежандра. Комитет общественной безопасности посоветовал шведскому послу отправить его жену из Парижа для ее же блага. Но прошло немного времени, и салон де Сталь снова открылся. Она принимает участие в закулисной борьбе группировок правительства Директории. В частности, ей удается добиться возвращения во Францию ее друга (и, как полагают биографы, первого в ряду ее любовников) Талейрана, бежавшего в США во время террора. Он участвует в перевороте 18 Фруктидора 1797 года, имевшем целью избавление нового правительства от тех, кто еще верил, что Франция — Республика, которая должна продолжать демократические традиции революции. Сама Сталь к этому не была причастна. Тогда Талейран и стал впервые министром иностранных дел. Он же познакомил де Сталь с генералом Бонапартом, которого правительство отозвало из Италии после его блестящих побед. Все видели в нем героя, и де Сталь сначала тоже восхищалась его личностью. Но это длилось недолго.

Как известно, после неудачного египетского похода генерал Бонапарт вернулся во Францию и, пользуясь поддержкой буржуазии, нуждавшейся в крепкой власти

для обуздания все еще бурливших народных масс, произвел государственный переворот 18 брюмера 1799 года. Завоевательными войнами он стремился ввести новые буржуазные порядки в разных странах Европы, одновременно грабя побежденные государства.

Жермена де Сталь при всей умеренности ее политических взглядов глубоко впитала идеи Просвещения и была противницей феодальной монархии. Она приветствовала революцию и всегда была сторонницей ее антифеодальных мероприятий. Отрицательно относясь к якобинскому террору, она оставалась сторонницей Республики. Ее политическим идеалом был буржуазно-либеральный парламентский строй. Она и ее ближайший друг, писатель и публицист Бенжамен Констан (1767—1830), выступали как идеологи буржуазного либерализма. В период, когда в остальной Европе господствовали феодальные монархии, а буржуазно-дворянская Англия, боясь революции как огня, возглавляла союз реакционных монархов против Франции; когда Наполеон, совершив контрреволюционный переворот, утвердил во Франции военную диктатуру,— буржуазный либерализм играл прогрессивную роль: он являлся оппозицией как старым, так и новым формам деспотизма.

Став Первым консулом, Наполеон сразу начал требовать к себе особого внимания от государственных деятелей, политиков, писателей и журналистов. Его задело, что де Сталь в своей книге «О литературе» (1800) не упомянула его. Особенно же раздражало нового правителя Франции, что в салоне госпожи де Сталь, где собирались члены нового правительства и который посещали даже братья Наполеона, Люсьен и Жозеф, свободно рассуждали обо всех политических вопросах, включая и деятельность Первого консула. Наполеон ввел в состав Трибуната Бенжамена Констана. После одного его выступления, расцененного Первым консулом как выражение оппозиции (он был убежден в том, что речь была инспирирована де Сталь), Наполеон увидел в салоне госпожи де Сталь опасную для себя политическую силу. Он приказал возмутительнице его спокойствия удалиться за двадцать пять, а еще некоторое время спустя — уже за сто лье от столы. Тщетными оставались все попытки друзей де

Сталь смягчить Первого консула. Ей пришлось примириться с удалением из Парижа. Осенью 1803 года де Сталь решает посетить Германию.

Несколько недель провела де Сталь в «немецких Афинах» — маленьком Ваймаре, тогдашнем интеллектуальном центре Германии, где жили Гете и Шиллер, с которыми она неоднократно встречалась в беседах, носивших характер диспутов. Затем де Сталь посетила ряд других городов Германии, разделенной тогда на много независимых государств. Она оказалась в совершенно новой для нее интеллектуальной атмосфере, что отразилось впоследствии в книге, написанной ею о Германии.

Жермена тяжело пережила смерть отца — в 1804 году. Все последующие годы Сталь проводит в постоянных поездках: она совершает путешествие по Италии, затем посещает разные города Франции, проникнув однажды тайком даже в столицу.

Ее домом все эти годы остается поместье Коппе, куда к ней приезжают друзья, искатели знакомств с знаменитостями из разных стран. Она подумывает, не переселиться ли ей в США. Эта идея очень понравилась Наполеону, который мечтал о том, чтобы де Сталь удалилась как можно дальше от Франции. Однако Жермена передумала. Она остается и готовит книгу «О Германии». Тираж готов в 1810 году. Как некогда Вольтер, в 1734 году написавший «Философские письма», в которых противопоставил английскую свободу речи и печати подавлению мысли в монархической Франции, так теперь Сталь выступает поборницей интеллектуальной свободы, подавляемой Наполеоном. Слух о книге дошел до Наполеона, к тому времени уже шесть лет носившего титул императора; он приказал сжечь весь тираж, а писательнице предоставить паспорт для выезда в США. Она осталась в Швейцарии, в своем Коппе, которое было окружено полицейскими агентами, доносившими в Париж о каждом ее шаге.

После бури, разыгравшейся вокруг книги де Сталь, в жизни Жермены неожиданно возникла идиллия. В Жермену влюбился молодой офицер Жан Рокка. Ей исполнилось сорок четыре года, он был ровно вдвое моложе ее, но это нисколько не помешало их союзу, увенчавшемуся рождением ребенка. После родов Жер-

мена тайком покинула Коппе, приехала в Вену, а затем через Польшу совершила поездку в Россию, посетив Киев, Москву и Санкт-Петербург.

Сталь посетила Россию, когда Наполеон пошел на нее войной. Ей, известной противнице французского императора, был оказан весьма почетный прием. Александр I оказал ей честь теплой беседой с ней. Но дело не ограничилось светскими любезностями. Александр I, уверенный в победе над Наполеоном, мечтал о коалиции европейских монархов для свержения гордого корсиканца. Первым шагом в этом политическом плане должно было явиться соглашение с Швецией, которой в качестве кронпринца и регента правил бывший французский маршал Бернадот. Русский царь и сам вел с ним переговоры, но и госпожа де Сталь, давняя приятельница Бернадота, приняла участие в тайных переговорах, тем более что, свергнув Наполеона, Александр I намеревался возложить корону Франции на Бернадота. В 1813 году союз России и Швеции был осуществлен. Присутствие шведских войск на севере Германии свело на нет победы, одержанные было Наполеоном в этой стране вскоре после поражения в России.

Осенью 1813 года Жермену де Сталь ждал триумфальный прием в Лондоне. Ее, извечного врага Наполеона, Англия, воевавшая с ним почти все время, приняла как героиню, в одиночку сражавшуюся против самого могущественного человека Европы. Известный издатель Джон Мари (общепринятое русское написание Мэррей неправильно) заключил с ней договор на издание книги «О Германии», впервые напечатанной в оригинале в Англии. Она неоднократно встречалась с молодым Байроном, который всего лишь немногим более года назад «проснулся и увидел себя знаменитым», когда тот же Джон Мари опубликовал первые две песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» (1812).

Мечтая о свержении Наполеона, де Сталь в равной мере не хотела возвращения на французский трон старой династии Бурбонов. Этим объясняется ее поддержка Бернадота как возможного претендента на престол Франции. Она помышляла о том, чтобы власть перешла к людям, выдвинувшимся в годы революции. В США находился в изгнании республиканский гене-

рал Моро, соперничавший с Наполеоном в популярности, когда в конце 1790-х годов открывался путь к военной диктатуре. Жермена вызвала его из Америки, чтобы он возглавил командование войсками, сражавшимися против Наполеона. Но в первом же бою Моро оказался смертельно раненным. После отречения императора и воцарения Людовика XVIII Сталь продолжает активно участвовать в политической жизни. Во время Ста дней она скрывается в Коппе, но плетет различные политические интриги. Так, она вступает в переписку с герцогом Орлеанским, сыном того, кто во время революции отрекся от титула и именовал себя Филипп Эгалите (Равенство). Теперь Жермена помышляет о том, чтобы посадить на французский трон вместо Бернадота этого герцога, проникшегося в эмиграции либеральными идеями. Замысел не удался, победители, разгромившие Наполеона и сославшие его на остров св. Елены, восстановили у власти Людовика XVIII. Но пятнадцать лет спустя, после революции 1830 года, свергнувшей Бурбонов, претендент, которого поддерживала де Сталь, стал королем Луи-Филиппом.

Летом 1816 года Жермена еще раз встретила с Байроном. Она после долгих лет изгнания вернула свое положение; тем временем поэт рассорился с английскими правящими кругами и вынужден был отправиться в изгнание. Он снял виллу на Женевском озере, неподалеку от Коппе. Жермена даже предложила поэту помирить его с женой, разрыв с которой послужил причиной скандала, вынудившего Байрона покинуть родину. Примирение не состоялось.

В октябре 1816 года де Сталь вернулась в Париж. Ее главной заботой теперь стало доведение до конца книги о французской революции и опубликование ее. Она не успела увидеть свой труд в печати. 21 февраля 1817 года Жермена де Сталь отправилась на прием, устроенный главным министром Людовика XVIII. Она упала, когда поднималась по ступеням. Произошло кровоизлияние в мозг. Несколько месяцев де Сталь болела и скончалась в 1817 году, в знаменательный день начала Великой французской революции — 14 июля.

Огромное богатство идей XVIII века живо воспринималось молодой Жерменой де Сталь, видевшей в салоне ее матери, а затем в собственном доме тех, кто их создавали или передавали непосредственно из уст создателей нового, по существу, глубоко революционного мировоззрения, оставшегося в истории под названием просветительства. Смелые умы ниспровергали вековые заблуждения, утверждавшиеся главной духовной силой феодально-монархического порядка — церковью. Мятежный разум передовых людей XVIII века разоблачал несправедливые основы господствующего строя, осмеивал библейские легенды, якобы исходящие от бога; немало оказалось смельчаков, чьи острые языки отрицали и само его существование. Место католической религии занял всеобщий, всепроникающий разум, скептический и насмешливый по отношению к прежним верованиям. Острословие не только вошло в моду, но и стало одним из главных орудий разума.

Просветители не только разрушали ложные понятия, сложившиеся веками, — они утверждали новое понимание вещей. Вольтер был пропагандистом новой науки, в первую очередь физики Ньютона. Дидро создал «Энциклопедию» — всеобщий обзор знаний, достигнутых в XVIII веке. Дух материализма проникал во многие прославленные труды этого замечательного времени.

Но оно не ограничивалось верой в могущество разума. В середине столетия выступил смелый мыслитель, поставивший рядом с разумом другую сторону человеческой природы — чувство. Людей не удовлетворяла одна лишь способность видеть мир в ясном свете холодного разума. Потребность в вере сохранялась, и тогда-то выступил швейцарец по происхождению, француз по культуре Жан-Жак Руссо. Он создал яркие социально-политические трактаты, послужившие для французских революционеров XVIII века такой же теоретической основой, как учение Маркса — для революционеров XX века. Своими сочинениями «О происхождении неравенства» и особенно «Общественным договором» Руссо подготовил умы для революции, на-



чавшейся через одиннадцать лет после его смерти. Юная Жермена крепко усвоила революционные идеи Руссо. Столь же могучее впечатление произвел на нее любовный роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Он вышел в свет за пять лет до рождения Жермены, но слава его росла, и дочь банкира Неккера принадлежала к первому после смерти автора поколению его восторженных поклонников.

Теперь трудно представить себе общеевропейское увлечение историей любви интеллигентного плебея Сен-Пре к замужней Юлии, чей супруг Вольмир милостиво разрешал их общение, уверенный в добродетели своей жены. Сколько волнений пережили читатели чувствительного романа в письмах, сколько слез пролили растроганные читательницы!

Жермена была в их числе. Но она не принадлежала к тем, кто просто вживался в переживания героев. Руссо был ее духовным наставником. «Общественный договор» стал ее политической Библией. Она раз и навсегда уверовала в идеалы буржуазной демократии и всю жизнь не только проповедовала их, но, как мы видели, боролась за них. Французскую революцию она принимала лишь частично. Ей в равной мере была чужда кровавая диктатура якобинцев и единоличное господство Наполеона Бонапарта, проливавшего кровь французов на полях сражений.

Бурное предреволюционное время, горячие политические схватки, бесконечные войны, которые вела сначала Французская республика, а затем новоиспеченная империя, обостряли все чувства. В те десятилетия из сочинений Руссо «Новая Элоиза» была особенно любимой книгой.

Руссо стимулировал мысль юной Жермены. В двадцать два года она пишет «Рассуждение о сочинениях и характере Ж.-Ж. Руссо» (1788), проявляя удивительную самостоятельность суждений по отношению к тому, перед кем преклонялась. Она не разделяла республиканских крайностей «Общественного договора», предпочитая своему вдохновителю более умеренного автора «Духа законов» Монтескье. Нашла она дефекты и в «Новой Элоизе». Героиня, как известно, совершила до брака грехопадение. Она искупает его, став верной женой. Жермене (и это весьма характерно для нее)

не нравилось, что Юлия чрезмерно рассудочна, слишком много рассуждает о добродетели. Жермена считала, что ей могло бы послужить извинением упоение страстью.

Впоследствии она напишет эссе «О влиянии страстей на счастье отдельных личностей и наций» (1796) — подлинно романтическую апологию чувства, страсти.

Уже в юные годы она пробует свои силы в художественном творчестве и пишет повести «Мирза», «Аделаида и Теодор», «История Полины». Эти незрелые опыты, написанные ею до двадцати лет, уже содержали мотивы некоторых будущих произведений.

Настоящим литературным дебютом Сталь явился ее роман «Дельфина» (1802). Говоря так, мы имеем в виду ее художественное творчество. Следуя моде, она написала свой роман в письмах. Общим с литературой XVIII века является и дух сентиментализма. Новым, однако, был образ героини. Дельфина не покорная раба мужчин, но и не светская покорительница сердец. Она — личность, не примиряющаяся с условиями общества, требующего от женщин добродетели, не обязательной для мужчин.

Страстную любовь Дельфины и Леонса разрушает мать, требующая, чтобы он женился на благоразумной кузине героини. У Леонса не хватает сил противостоять матери. Его брак оказывается несчастным. Хотя дело происходит уже во время революции, создавшей закон о разводе, Леонс ведет себя как человек долга. В романе возникает много осложнений. Завершается он самоубийством Дельфины. Такой финал вызвал возмущение как критиков, так и читателей. Считалось, что добродетель должна быть стоической. Писательница, борющаяся против условностей и мнимой моральности, оказалась вынужденной пойти на уступку. Во втором издании, 1803 года, Дельфина умирает естественной смертью. В большом предисловии к второму изданию Сталь оправдывает как свою свободолюбивую героиню, презирающую все, что подавляет искренние чувства, так и общую идею романа, в котором личность героини противостоит обществу с его ложной моралью.

«Дельфина» имела огромный успех. Защита страсти, противостоящей обществу, воспринималась как выражение протеста против наполеоновского государственного аппарата, подчинявшего индивида неукоснительным тре-

бованиям военно-бюрократической машины, предназначенной завоевать всю Европу.

Вершиной литературного творчества Сталь стал ее роман «Коринна, или Италия» (1807). Если «Дельфина» была написана в традициях сентиментального романа XVIII века, то «Коринна» — это уже предвосхищение романтизма. Дельфина выделялась в своей среде тем, что отказывалась от внешне моральных условностей, но она все же оставалась обычной женщиной. В отличие от нее Коринна — выдающаяся личность. Она — поэт, притом незаурядный. Коринна — гениальная женщина. Но, как и Дельфине, ей не суждено счастье. В еще большей степени, чем в первом романе, где героиня наделена взглядами Сталь на жизнь, Коринна выражает мысли и чувства, владевшие писательницей.

В художественном творчестве Жермены де Сталь замечается определенная эволюция. «Дельфина» — роман чувства; книга связана с поэтикой сентиментализма XVIII века. «Коринна» — роман страсти; он проникнут протестом против нравственных предрассудков, которые подавляют личность. Яркая южная природа, на фоне которой развивается история любви поэтессы, придает повествованию еще большую романтическую окраску.

В свое время голос писательницы звучал призывом восстать против общества, основанного на ложной морали, угнетающей людей. Здесь не было прямых социальных мотивов, но читатели Жермены де Сталь знали, что не только в своих романах, но и в действительности она смело противостояла диктатуре Наполеона, воздвигнутой на развалинах революции.

## 4

Жермена де Сталь осталась в истории не только как политический деятель и писательница. Она сыграла выдающуюся роль в развитии эстетики и литературной науки. Это получило выражение в ее сочинении «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями», вышедшем в 1808 году.

Идейные корни произведения де Сталь восходят

к философии Просвещения. Здесь ее учителем был в первую очередь Монтескье. В своем исследовании «О духе законов» (1748) он установил, что общественные установления и законы государств определяются условиями жизни народов — климатом, нравами, религией. Существуют три формы правления: деспотическое (оно не ограничено ничем и зависит от произвола властителя), монархическое (управляет тоже один человек, но он соотносится с законами) и республиканское (верховная власть находится в руках народа или части его). Деспотизм и монархия не имеют в своей основе никакой нравственности. Республика, если она истинна, зиждется на добродетели.

Капитальному труду Монтескье, подробно рассматривавшему вопросы государственного устройства, предшествовали «Размышления о причинах величия и падения римлян» (1734). Основную идею этого трактата прекрасно усвоил молодой Пушкин и выразил ее в стихотворении «Лицинию» (1817):

Свободой Рим возрос, а рабством погублен.

Вторым важнейшим источником идей Жермены де Сталь были теоретические сочинения Вольтера. В своем «Опыте о нравах» (1756) Вольтер опроверг господствовавшее до него мнение, будто суть истории состоит в изложении того, как один монарх сменял другого. Не историю королей следует изучать, а историю народов, их нравов, культуры, законов и общественных установлений. Сам Вольтер написал ряд исторических трудов именно в таком духе. Особенно знаменитой стала его книга «Век Людовика XIV» (1751).

Идеи Монтескье и Вольтера революционизировали мысль. Они открыли совершенно новые перспективы в понимании судеб человечества. Жермена де Сталь глубоко восприняла учение просветителей. Ее сочинение «О литературе» — прямое продолжение идей великих просветителей. Как и современник де Сталь — Кондорсе, автор книги «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1795), Сталь была уверена в том, что прогресс является законом развития общества и культуры.

Основное положение Сталь: тот или иной характер литературы определяется условиями жизни нации —

климатом страны, ее нравами, обычаями, государственными учреждениями и социальными установлениями. В свою очередь литература оказывает воздействие на дух и нравы народа. То, что теперь стало азбучными истинами, впервые со всей определенностью было выражено Жерменой де Сталь. В этом смысле ее можно назвать основоположником социологии литературы. На протяжении XIX века идеи Сталь о соотношении литературы и общества получили дальнейшее развитие.

Второе кардинальное положение книги имело непосредственное общественно-политическое значение в период возникновения книги, Сталь утверждает, что литература развивается лучше всего там, где существует свобода. Утверждение было напрямую направлено против деспотического режима Наполеона, установившего строгий контроль за литературой. Гражданский идеал писательницы совпадал с ее литературными взглядами.

Можно спорить, насколько исторически оправдан тезис де Сталь. Ей самой было достаточно хорошо известно, что век Людовика XIV, ознаменовавшийся господством абсолютной монархии, дал Франции и всему миру таких великих художников, как Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен. Несомненно, что их творчество несло на себе печать времени, но искусство их как таковое тем не менее было первоклассным. В истории можно найти и другие периоды, когда подавление свободы не препятствовало появлению талантов, хотя несомненно, что им приходилось приноравливаться к рабским условиям, в которых им доводилось творить. Идея свободы творчества у Сталь неизменно связана не только с эстетикой, но и с социально-политическим идеалом гражданской свободы. В этом отношении она, несомненно, была мыслителем революционного времени.

В отношении искусства взгляд Жермены де Сталь также был революционным. У нее впервые прозвучала мысль о свободе как необходимом условии творчества. Здесь надо вспомнить ее приверженность идее прогресса. Начиная с эпохи Возрождения в европейских литературах получил развитие культ античности. Поэты и прозаики Древней Греции и Рима были провозглашены образцами непревзойденного совершенства, которым

следовало подражать. Во Франции это получило реальное воплощение в литературе XVII века, развивавшейся под знаком классицизма. Но во Франции же возникли и сомнения в правомерности безоговорочного превосходства античных авторов, что получило выражение в знаменитом тогда «Споре о древних и новых». Сталь решительно приняла сторону «новых». Для нее древние авторы — зеркало варварских первобытных нравов. Культура с тех пор достигла высокого развития, и новое искусство имеет явные преимущества перед классикой античности. Ни эпос, ни трагедия, ни комедия древнего мира не в состоянии уже удовлетворить нравственные и эстетические потребности людей нового времени.

Из положения о том, что литература отражает условия существования народа, вытекала необходимость конкретного изучения этих условий. В числе их важное значение просветители отводили климату. Уже Ж.-Б. Дюбо писал в «Критических размышлениях о поэзии и живописи» (1719) о влиянии естественных условий на характер творчества писателей и живописцев, подчеркивая различие между югом и севером. Эта идея на протяжении XVIII века все более разрабатывалась разными авторами. Сталь возводит ее в важнейший художественный закон.

В отличие от обычного мнения, что юг возбуждает в людях страсти, Сталь, наоборот, утверждает, будто теплая, солнечная часть Европы порождает искусство гармоничное, свидетельствующее об умеренности и равновесии духа. В отличие от этого север, с его мрачной природой, способствует рождению задумчивой, меланхолической поэзии. Литературу Севера отличают также большее стремление к свободе, что является следствием раннего установления в Англии конституционного строя, а у германских народов — утверждения протестантизма, противостоявшего догматике католицизма. Идея свободы, таким образом, связывается и с природными условиями разных стран.

Эстетика XVII—XVIII веков развила понятие вкуса, опиравшееся на образцы классического искусства, служившее его мерилom. Сталь принадлежала к тем мыслителям, которые, подвергая сомнению образцовость классицизма, тем самым формировали и новое поня-

тие о вкусе. Впрочем, в этом у Сталь нет последовательности. Идея свободы творчества заставляет ее признавать достоинства писателей, отклонявшихся от правил классицизма. С другой стороны, преклонение перед такими гениями французской литературы, как Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, побуждает ее утверждать, что французы выработали свой вкус в литературе. Семнадцатый век, когда в условиях абсолютной монархии господствовала аристократия, обязан ей тонкостью и изящностью стиля, получившего высшее проявление в трагедиях Расина, остающихся непревзойденными образцами этого жанра.

Вместе с тем Сталь понимает, что каждый народ вырабатывает свой эстетический вкус. У наций севера, англичан и немцев, в условиях их жизни и нравов возникли свои понятия о вкусе. Как же ориентироваться эстетически? Вот проблема, возникающая перед писательницей. Она стремится решить ее следующим образом. Есть принципиальные основы, на которых покоятся всеобщие истины, и есть местные особенности. Разумный человек будет искать середину между ними.

Примером такого рода является творчество Шекспира. Как известно, Вольтер, первый познакомивший французов с Шекспиром, потом испугался его «дурного» вкуса и стал опасаться, как бы его влияние не разрушило традиционную драматургическую форму, утвердившуюся во Франции. В первую очередь это угрожало ему самому, убежденному приверженцу классицизма в драме.

Жермена де Сталь не поднялась до того, чтобы признать правомерность шекспировской драмы. Она судит ее критериями классического «вкуса». Она, правда, не упрекает Шекспира за то, что он не следовал правилам классицизма в драме, но отмечает у него серьезные погрешности против хорошего вкуса. У Шекспира, пишет она, есть красоты высшего рода, доступные пониманию всех народов. Более того, она даже считает, что содержание пьес Шекспира должно быть ближе французам ее поколения, потому что грандиозные политические конфликты, изображенные англичанином в его пьесах, ближе ее современникам, пережившим французскую революцию, чем трагедии придворного поэта Расина.

Шекспир велик в глазах Сталь как мастер трагедии, показавший бездну человеческих страданий. Его пьесы превосходят трагедии древних греков в понимании страстей и знании человеческих характеров, но форма у древних более совершенна, чем у Шекспира. Так компромиссно решает Сталь проблему вкуса. В известной мере Сталь подготовила почву для романтиков, отдающих предпочтение Шекспиру по сравнению с Расином и греческими трагедиями.

Уделив много внимания литературе прошлого, Сталь уже в силу своего боевого темперамента не могла не поставить вопросов, связанных с современной литературой. Здесь, как и в остальном, ее исходным пунктом является политика, идея гражданской свободы.

Книгу «О литературе» де Сталь закончила и опубликовала примерно через год после того, как Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот и стал Первым консулом. На словах и на бумаге Французская республика продолжала существовать. На одной тогдашней гравюре «избрание» Первого консула изображалось как триумф республики, а сам он был показан человеком, ведущим колесницу этой самой республики, по-прежнему сохранявшей официальный девиз революции — «Свобода, Равенство, Братство».

Жермена де Сталь в книге «О литературе» следует своей идее прогресса. Эпоху революции в целом она провозглашает началом новой эры в интеллектуальном мире. Хотя Сталь отлично известно, что страна прошла через фазу террора, общество понесло огромные потери из-за диктатуры, подавившей характеры, сковавшей развитие идей, ей казалось, что, несмотря на испытанные страной лишения, прогресс свободы все же возможен.

Общество должно освободиться от ложных элементов цивилизации. В этом Жермена де Сталь остается верной своему учителю Руссо. Революция исказила нравы, но литература может помочь восстановлению идеала добродетели, тоже идущего от Руссо. Как мыслится ей достижение этого? Литература повлияет на нравы, и добро восторжествует в людях.

У писателей есть два способа воздействия. Один состоит в том, чтобы забавлять, вселять дух веселья. Второй — в том, чтобы вызывать серьезные эмоции.



Что касается последнего, то, волнуя, писатели побуждают к размышлениям, которые в свою очередь помогают человеку стать на путь разума и справедливости.

Юмор свойствен французам, они любят смешное. Смех не раз помогал в прошлом преодолевать предрассудки, как это удавалось Вольтеру. Иное дело теперь, считает Сталь, когда установилась республика. Отныне оружие смеха должно служить укреплению нового строя. Там, где сломан старый режим, смех может служить средством преодоления временных недостатков в жизни общества, помогать разуму искоренять их. Такова одна функция смеха, функция общественная. Но есть у юмора и другая цель — искоренение пороков человеческой природы. Эта задача является постоянной.

Мольер выполнял обе эти задачи. В комедиях «Мещанин-дворянин», «Жорж Данден» и других он осмеял ложные претензии и предрассудки, тогда как его «Скупой» и «Тартюф» обличают пороки, из века в век сохраняющиеся в людях.

Либеральные идеи сказываются и в понимании трагедии, развиваемом Жерменой де Сталь. Античные трагики и те, кто подражали им в новое время, изображали как несчастье поворот судьбы, лишавшей человека его высокого положения. Такой конфликт возможен в условиях резких социальных контрастов. Зрители нового, республиканского строя не могут сочувствовать герою, лишившемуся привилегий, созданных несправедливым строем.

Новая трагедия, которой надлежит появиться, должна изображать не несчастья, случающиеся в частной жизни, а героические характеры, вовлеченные в конфликты большого общественного значения. В качестве образца такой трагедии Сталь приводит пьесу драматурга времен революции Ж.-М. Шенье «Фенелон, или Монахини из Намбре» (1794). В основу был положен исторический факт — полемика между двумя мыслителями, состоявшими в духовном звании, Фенелоном и Боссюэ. Как показывает Шенье, за Боссюэ стоял не кто иной, как сам Людовик XIV, и Фенелон, таким образом, защищал свои взгляды от самого короля. Другой пример не получил литературного оформления.

То был исторический факт: передовой мыслитель из лагеря просветителей, идейно подготовивших революцию, Малерб был казнен якобинцами, теми самими, которым он проложил путь своей деятельностью. Истинно республиканская трагедия должна иметь своим сюжетом изображение людей добродетельных, ставших жертвами несправедливой судьбы.

Взгляды Сталь на современную ей литературу и ее задачи представляют несомненный интерес как отражение просветительских идеалов в условиях, когда ходом истории они были опровергнуты. Мы знаем теперь, что царство разума, обещанное просветителями, стало царством буржуазии. Жермена де Сталь все еще продолжала надеяться, что великие идеи XVIII века могут быть проведены в жизнь. Возвышение Наполеона казалось ей политической случайностью, отклонением от обязательного исторического прогресса. Она не понимала истинного существа социального строя, возникшего после того, как революция свергла старый режим, и верила в возможность осуществления Разума и Справедливости. Ее заблуждения, однако, свидетельствовали о приверженности благородным идеалам. Современная часть трактата «О литературе» любопытна еще и тем, что заблуждения Сталь были в какой-то мере повторены и в наше время теми, кто под влиянием великого переворота считали, что все старые проблемы отпали и необходимо совершенно новое искусство, исходящее из того, что социальный идеал уже достигнут или будет осуществлен в ближайшее обозримое время.

Книга «О литературе» была явлением переходного характера. Ее основные идеи были взращены идеологией Просвещения. Она утвердила необходимость социального подхода к литературе и искусству, и в этом ее неоспоримое историческое значение. При всей спорности, а иногда даже неверности отдельных утверждений Сталь, отнюдь не отказываясь от эстетических критериев, сделала первый шаг в определении литературы и искусства как отражения общественного бытия людей. В сущности, ею были заложены основы культурно-исторического изучения художественного творчества, получившего дальнейшее развитие уже во второй половине XIX века, в трудах И. Тэна и его последователей. Сталь — зачинательница социологии искусства и литературы.

Сочинение «О Германии» (1810—1813) было следующим шагом в идейном развитии Жермены де Сталь. Как мы знаем, вражда с Наполеоном вынудила писательницу покинуть Францию. Живя в Германии, она попала в совершенно новую для нее духовную атмосферу. Личное знакомство и общение с выдающимися деятелями немецкой культуры открыло писательнице новые идейные и эстетические перспективы.

В XVII—XVIII веках в Европе установилась духовная диктатура Франции. Она была законодательницей в философии — сначала рационализма, затем Просвещения — и в литературе классицистической по преимуществу. Германия тоже испытала на себе влияние французской духовной культуры. Но уже в середине XVIII века Лессинг и вслед за ним другие немецкие деятели, нисколько не отвергая антифеодальной основы французской просветительской идеологии, повели борьбу против слепого следования французским образцам. За краткий срок немецкая литература обрела самобытность. За Лессингом последовали такие поэты, как Гете и Шиллер, и, можно сказать, уже в 1770-е годы немецкая литература выросла в самостоятельную духовную силу. О стремительности развития немецкой литературы второй половины XVIII века можно судить хотя бы уже по тому, что за эти годы просветительский реализм Лессинга сменился движением «бури и натиска», возглавленным Гете, Шиллером и Гердером. Оба великих поэта затем радикально изменили свои эстетические позиции и создали теорию «ваймарского классицизма». В то же время, в 1790-е годы, зарождается романтизм, представленный теоретическими и художественными произведениями так называемой иенской школы — братьями А.-В. и Ф. Шлегель, Новалисом, Тиком.

Сталь открыла для себя в Германии целый мир духовных стремлений и интересов, до этого практически недоступный французским мыслителям и писателям.

Книга «О Германии» в известном смысле была продолжением идей сочинения «О литературе». В этой

последней, как мы помним, проводилось четкое разделение художественных тенденций юга и севера Европы. Рассуждения об общественной природе литературы основывались преимущественно на произведениях южных народов — древних греков и римлян, итальянцев Возрождения и французских писателей XVI—XVIII веков. Исключение составляли лишь некоторые английские писатели, в первую очередь Шекспир.

Теперь, в книге «О Германии», Сталь поставила перед собой задачу в полной мере применить свои принципы подхода к литературе, выработанные ранее. Поэтому первую часть своего труда она посвящает характеристике страны и ее обитателей. При этом, учитывая государственную раздробленность Германии, она освещает положение в разных ее частях, в первую очередь на юге и севере, отдельно характеризуя особенности Австрии, Саксонии, Пруссии, останавливаясь на быте Берлина и Веймара. В орбиту внимания писательницы попадают жизнь бюргерства и светского общества, университеты и национальные празднества. Словом, прежде чем говорить о литературе, главном предмете ее исследования. Сталь дает характеристику нравов, общественной жизни и государственных порядков страны.

При всех различиях между севером и югом Германии, особенностях ее отдельных государств Сталь все же стремится определить черты, присущие, по ее мнению, всем немцам. Она находит их людьми искренними, верными своему слову, трудолюбивыми и склонными к размышлениям. Вместе с тем для Германии в целом характерны контрасты между чувствами и обычаями, между талантами и вкусами. Природа и цивилизация не слились у немцев органически. Не будем перечислять всех черт немецкого характера, отмеченных Сталь, включая приверженность пиву и табаку, и не станем упрекать писательницу за иные совершенно смехотворные утверждения. Отметим лишь, что именно ей принадлежит мнение, широко распространенное в мире, о немцах как нации философов.

Особую часть своей книги Сталь посвятила немецкой философии, охарактеризовав ее наиболее крупными представителями. Ее внимание в первую очередь привлек Кант, но она писала также о Фихте, Шеллинге, Якоби.

В особенности она подчеркнула значение моральной философии, но не забыла и научных взглядов немецких мыслителей. В связи с философией рассмотрела Сталь и проблему религии, выделив энтузиазм как выдающуюся черту духовной жизни немцев. Однако она отказывала им в энергии и силе характера. Вспомним, что книга была написана в 1810 году. Сталь еще не могла знать, с какой энергией немецкая молодежь бросится в освободительную войну против Наполеона в 1813—1815 годах. Всякие рассуждения о национальном характере рискованны, ибо даже малые народы обнаруживают большое многообразие черт, а что же говорить о народах с такой сложной и подчас трагической историей, какая выпала на долю Германии. Поэтому не будем вдаваться в то, насколько права или не права Жермена де Сталь в своей характеристике немецкой нации.

Наибольшее значение для культуры имела вторая часть книги, озаглавленная «О литературе и искусстваах», где изложена эстетика и поэтика немецкой художественной культуры.

Прежде всего Сталь указывает на четкое различие между эстетическими вкусами французов и немцев. В то время как во Франции существуют зафиксированные правила хорошего вкуса, в Германии вкусы свободны, независимы и индивидуальны, что считается в порядке вещей. Если во Франции публика формирует своих писателей, то в Германии писатели воспитывают публику. Французы читают, чтобы иметь возможность обсудить с другими то или иное сочинение. В этом смысле французская литература более социальна, в то время как немецкая обращается к душам и сердцам отдельных лиц.

Сопоставляя немецкую литературу с английской, Сталь также находит существенные различия. Англичан волнуют судьбы человечества, и пишут они с целью содействовать его развитию. В силу того, что Германия не объединена, ее писатели не могут ставить себе больших общенациональных целей. Они погружаются в идеалы, поскольку в действительной жизни нет ничего, что возбуждало бы их воображение. Немцы освещают путь человеческому духу, они ищут новых путей, используют необычные средства.

Немецкая литература более философична, но вместе с тем воображение играет в ней большую роль, тогда как англичанам свойственна бóльшая чувствительность. К сожалению, опять приходится отметить, что попытки обобщения характера национальных литератур оказываются столь же уязвимыми, как и рассуждения о национальных особенностях вообще. Но совершенно бесплодными назвать их нельзя. Беглые заметки об английской литературе иногда бывают у Сталь удачными, но их краткость не позволяет достаточно глубоко определить своеобразие данной литературы. Она сама признает кардинальное различие между такими поэтами, как Шекспир, Мильтон, не поддающимися духу рассудочности, и Александром Попом, а также теми, кто, подобно ему, могут быть названы поэтами дидактичными и морализующими.

Переходя к характеристике немецкой литературы, Сталь становится на более твердую почву фактов. Она выделяет различные эпохи немецкой литературы. Сначала это время эпической поэзии, рыцарства и трубадуров. Ярчайшим образцом первой эпохи немецкой литературы была «Песнь о Нибелунгах». Дух рыцарства постепенно заглох. Велика была в следующую эпоху роль Лютера, который своими переводами Библии и псалмов создал новый язык, соответствовавший духу нации в его время. Тридцатилетняя война остановила развитие литературы, а, когда оно возобновилось, писатели подпали под французское влияние.

Переходя к XVIII веку, Сталь создает характеристики наиболее выдающихся авторов: Виланда, Клопштока, Лессинга, Винкельмана и, наконец, корифеев литературы — Гете и Шиллера, с которыми она познакомилась лично, вела беседы и сохранила о них теплую память. В свою очередь и немецкие поэты отзывались о Сталь весьма уважительно. «Опыт о вымысле» Гете перевел на немецкий язык, несколько сократив и назвав «Опытом о романе».

Своими характеристиками Гете, Шиллера и некоторых других немецких писателей Сталь расширила горизонты литературного видения, указала на новые сюжеты, новые настроения, неизвестные французам. Именно через эти характеристики проники в французскую литературу дух романтизма. В частности, это

касалось поэзии. За малыми исключениями, французская поэзия XVIII века была дидактична или фривольна, в ней отсутствовал подлинный лиризм. Именно это качество немецкой поэзии подчеркнула Сталь в своих описаниях, стремясь передать дух лирики Клопштока, Гете и Шиллера.

Масштабность сюжетов драм Гете и Шиллера, страсти героев, проникновенный трагизм, высота нравственных идеалов — все это ярко передано в книге де Сталь.

Остановилась она и на других искусствах — музыке и живописи, — опять подчеркивая задушевность, красоту свободных форм.

Своими познаниями в немецкой литературе Сталь была во многом обязана одному из зачинателей немецкого романтизма А.-В. Шлегелю, которого она взяла в дом в качестве учителя своих детей. От него она и узнала о новом направлении немецкой литературы. Сталь, однако, не проводила резкого различия между творчеством Гете и Шиллера в период «бури и натиска» и их классицизмом. Вся немецкая литература была в ее глазах окрашена духом романтики, начиная с гетевского «Геца фон Берлихингена», трагедии одного из последних рыцарей.

В книге Сталь впервые появляется определение романтизма. Само слово было давно известно, на протяжении XVIII века им уже пользовались как термином для обозначения чего-то яркого, необычного, фантастического. Сталь едва ли не первой заговорила о различии двух школ литературного творчества. Одну из глав книги она так и назвала — «О поэзии классической и поэзии романтической». Глава так и начинается: «Недавно в Германии возникло название «романтическое» для обозначения поэзии, ведущей свое происхождение от песен трубадуров, порожденной рыцарством и христианством. Если не признать, что язычество и христианство, север и юг, античность и средние века, рыцарство и греко-римские установления резко разделяют область литературы, то никогда невозможно будет достигнуть суждения о вкусе античном и современном, основанного на философской точке зрения»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *De Stael Madame de. De l'Allemagne. P., s.a., p. 153 (II, 11).*

Французские поэты, следовавшие классическому вкусу, известны лишь в узком кругу, их не знает не только народ, но даже буржуазия. Иное дело у итальянцев — венецианские гондольеры распевают стихи Тассо, испанцы и португальцы всех классов знают наизусть стихи Кальдерона и Камоэнса, у англичан как высшие классы, так и народ восхищаются Шекспиром; стихотворения Гете и Бюргера положены на музыку, и их поют от Рейна до Балтики. Эти утверждения, в сущности, подразумевают необходимость народности литературы, — она должна уходить корнями в традиции своей нации.

Рыцарство и христианство служат для Сталь символами культуры, нравов и верований, возникших в средние века и составивших основы национальных традиций художественной культуры. «Только романтическая литература способна еще совершенствоваться, — пишет Сталь, — ибо ее корни находятся в нашей собственной почве и она одна способна произрастать и вновь оживляться: она следует нашей вере; напоминает нашу историю; по происхождению она является древней, но не античной»<sup>1</sup>. Здесь еще нет специфических черт романтизма как такового. Речь идет лишь об освобождении от цепей классицизма, сильнее всего сковывавших литературу и искусство во Франции. Языческая вера, античные нравы отошли в прошлое вместе с эстетикой тех отдаленных времен. Необходимо искусство, такое, как у германских народов: «...оно опирается на наши личные впечатления, для того чтобы нас волновать; дух, вдохновляющий ее, обращается непосредственно к нашему сердцу; кажется, что она пробуждает самую нашу жизнь, подобно мощному и ужасающему видению»<sup>2</sup>.

Речь идет, таким образом, о том, чтобы отказаться от античного маскарада и приблизить литературу и искусство к современности, к подлинной жизни нации, как она есть.

Имеются, однако, в виду не внешние признаки, характерные для жизни той или иной нации. Еще далеко до провозглашения принципа местного колорита,

<sup>1</sup> Ibid., p. 156.

<sup>2</sup> Ibid.



хотя реально Сталь в своей «Коринне» яркими красками рисовала именно Италию и итальянскую жизнь. Сталь не случайно все время говорит о чувствах. Душевный мир современного человека — вот что должна раскрывать новая поэзия, и здесь образцом для писательницы является немецкая литература. Не забывает она о немецкой эстетике и литературной критике, которым посвящает отдельную главу. Особенно выделяет она работы Шиллера по эстетике, но ей они представляются слишком абстрактными. Зато А.-В. Шлегеля она характеризует как критика весьма близкого ей, и это естественно, так как Шлегель был ее главным гидом по немецкой литературе. Сталь слушала в Вене знаменитые лекции А.-В. Шлегеля о драматической литературе, где убедительно проводилась идея двух великих эр искусства — античной и романтической, или современной.

Это разделение прочно вошло в теоретическую мысль первой половины XIX века. Его принял и такой выдающийся мыслитель, как Гегель. Он, правда, соответственно свойственной ему манере всюду видеть троичность добавил начальную стадию искусства и представил его развитие как смену символической формы искусства классической, вслед за которой идет романтическая форма, у Гегеля также захватывающая и современное ему искусство. Как Сталь и Шлегель, Гегель видит сущность романтического искусства в раскрытии внутреннего мира человека.

Эстетика возникающего романтизма противостояла не только классицизму как искусству, стремившемуся увековечить античные художественные формы. Восемнадцатый век характеризовали как век рационализма. У аристократической части общества совершенно исчезло чувство нравственности; свободомыслие в этой среде сочеталось с гедонизмом, безудержной погоней за наслаждением. Этот либертинизм оказал влияние и на некоторых просветителей. Против этого восстал Ж.-Ж. Руссо. Его влияние потому было так огромно, что он восстановил в правах эмоции; чувствительность и до него уже утверждалась английскими писателями, особенно С. Ричардсоном в его сентиментальных романах. Но мещанская мораль Ричардсона претила свободным умам. Именно Руссо с наибольшей силой

воспел красоту человеческих чувств, в первую очередь любви.

Противостояние рассудка и чувства было свойственно общественно-нравственной мысли и в начале XIX века. Разум просветителей сыграл свою историческую роль в борьбе против предрассудков и несправедливостей старого режима. Революция вызвала огромный накал страстей. Послереволюционное общество переживало пору разочарований. Скептицизм получил благодарную почву.

Сталь никогда не удовлетворялась критикой. Ей свойственно было стремление к положительному, к идеалам. Она осудила распространенную в послереволюционный период фривольность нравов. В отношении к религии она оставалась приверженницей XVIII века в том смысле, что отвергала церковные установления и догматическое вероучение. Ближе всего ей была религиозность в духе Руссо, религия природы и чувства, и в связи с этим находился важнейший элемент мировоззрения писательницы — культ энтузиазма.

Сталь решительно противопоставляет энтузиазм фанатизму. Слепое и безоговорочное следование какому-нибудь убеждению может приводить к бесчеловечным действиям. Иное дело энтузиазм. Человеку свойственно преклонение перед бесконечным, любовь к прекрасному и непостижимому, вера в лучшие жизненные идеалы, и все это находит воплощение в энтузиазме, как его понимает Сталь. Энтузиазм неотрывен от возвышенных представлений о жизни, в нем называется стремление к идеалу.

Так сливаются во взглядах Сталь эстетическое и этическое. Свобода личности и творчества не означает анархии, нравственный закон (и в этом Сталь следует за высоко ценимым ею Кантом) является врожденным. Прекрасное может быть только одухотворенным. Без этого нет красоты.

Романтический бунт произойдет во Франции значительно позднее, через полтора десятка лет после смерти писательницы. Она подготовила почву для него. Но Жермена де Сталь не может быть оценена только как предшественница романтизма. Верно, что ее романы следующим поколениям уже казались старомодными, чрезмерно сентиментальными. Но если Сталь не

вошла в сонм великих художников, то в истории мысли ей принадлежит, несомненно, значительное место. Ее сочинения знаменуют собой переходную ступень от Просвещения к романтизму. Сохраняя веру в свободолобивые идеалы Просвещения, убежденная сторонница одной из великих идей XVIII века — терпимости, она совершила подвиг, преодолев патриотическую ограниченность соотечественников, и показала образец глубокого уважения к духовной культуре других народов. Она была космополитом в лучшем смысле этого слова, несправедливо ставшего у нас в одно время бранным. Несомненно, что идея Гете о том, что на смену эре национально замкнутых литератур возникает эра литературы мировой, когда народы приобщаются к литературе и искусству всех стран, была подсказана великому немецкому поэту сочинениями Сталь. И, возвращаясь к тому, что в ее теоретическом наследии стало особенно ценным, напомним, что именно она первая сформулировала важнейший принцип обусловленности литературы и искусства всем строем общественной жизни.

*А. Аникст*

---

## ОПЫТ О ВЫМЫСЛЕ

---

У человека нет способности более драгоценной, чем воображение; в жизни так мало счастья, что лишь с помощью иных творений фантазии, образов и сладостных воспоминаний можно собрать воедино редкие земные радости и отыскать на тернистом жизненном пути опору не в философическом мужестве, но в рассеянии — средстве куда более надежном. Много уже было говорено об опасностях, которыми чревато воображение; не станем повторять все, что твердили по этому поводу бессильная посредственность и суровая рассудительность: люди никогда не перестанут искать поводов растрогаться, а те, кто умеют трогать сердца, никогда не откажутся от возможности стяжать лавры на этом поприще. Узкий круг необходимых и очевидных истин никогда не насытит ни ума, ни сердца человеческого. Разумеется, первооткрыватели этих истин заслужили свою славу, — однако и сочинители книг, волнующих наши чувства и навевающих нам упоительные грезы, оказали человечеству немалую услугу. Когда речь идет о душевных привязанностях, людям претит метафизическая точность. Все на земле — лишь начало; ничто не имеет предела: добродетель — величина положительная, счастье же смутно<sup>1</sup>, и тот, кто станет всматриваться в него с неуместной пристальностью, спугнет его, как спугиваем мы, подходя к ним вплотную, великолепные видения, вырисовывающиеся в тумане. Однако вымыслы хороши не только тем, что доставляют удовольствие. Те вымыслы, что радуют взоры, всего-навсего развлекают нас; те же, что трогают нам сердце, оказывают огромное влияние на все наши нравственные представления, являя собою, возможно, могущественнейшее средство направлять и просвещать умы. Две главные способности человека — разум и воображение; все прочее, включая даже чувства, подчинены этим двум. Следовательно, власть вымыслов, как и власть воображения, очень велика; они не только не чуждаются страстей, но, напротив, опираются на них;

философия должна направлять их развитие незримо; показавшись первой, она погубила бы все дело.

Поэтому, ведя речь о вымыслах, я буду иметь в виду и их содержание и их очарование, ибо в сочинениях этого рода польза может сочетаться с увлекательностью, но без увлекательности пользы ожидать не приходится. Призвание вымыслов — пленять, и чем более нравственные и философические цели преследует сочинитель, тем великолепнее должно ему украшать свои вымыслы, дабы читатель не подозревал о том, чего от него добиваются. Говоря о вымыслах мифологических, я буду рассматривать лишь их поэтическое совершенство; разумеется, следовало бы коснуться и их религиозного влияния, однако вопрос этот решительно чужд теме моего сочинения. Меня интересует то впечатление, какое сочинения древних производят сегодня, и мне надлежит рассуждать об их литературных талантах, а не об их верованиях \*.

Вымыслы можно разделить на три вида: 1) вымыслы мифологические и аллегорические; 2) вымыслы исторические; 3) вымыслы, где все — и выдумка и подражание, где все неправда, но все правдоподобно.

Тема эта достойна пространного трактата, который касался бы великого множества литературных сочинений и почти всех идей человеческих, ибо ни одну из них невозможно развить до конца, пренебрегши ее связями со всеми прочими идеями. Моя цель, однако, была скромнее: я хотела лишь показать, что романы, изображающие жизнь такой, какая она есть, написанные тонко, красноречиво, глубоко и нравственно, — самые полезные из всех; то, что не служит доказательству этой мысли, осталось за пределами моего рассуждения.

## I

Вымысел мифологический дарует наслаждение крайне мимолетное; только возвратившись в детство, можно полюбить эти картинки, далекие от природы и истины, можно ощутить при

\* Мне довелось прочесть несколько глав из книги «О духе религий», принадлежащей перу господина Бенжамена Констан<sup>2</sup>. Господин Констан рассмотрел этот вопрос всесторонне; интересы словесно-

виде их чувство страха или любопытства; только опустившись до уровня толпы, философы начинают прятать полезные мысли под покровом аллегорий<sup>3</sup>. Нередко мифология древних сводится к простым басням, какими языческие религии обязаны легковерию народов, духу эпохи и усилиям жрецов; но чаще всего она представляет собою ряд аллегорий — олицетворенные страсти, таланты и добродетели. Разумеется, вымыслы эти — первая удача человечества, блистательный плод воображения, принесший заслуженную славу своим творцам; они расцветили слог и создали язык сугубо поэтический, предохраняющий словесность от употребления вульгарных слов, стертых каждодневным употреблением, однако тот, кто вознамерился бы увеличить ряд этих привычных вымыслов, не принес бы людям большой пользы. Гораздо больший дар надобен, дабы постичь величие природы, рассматривая ее саму по себе; в страстях человеческих таятся тайны, метаморфозы, чудеса, и эта мифология служит неисчерпаемым источником для всякого, кто умеет разглядеть в ней и рай, и ад; что же касается мифологических вымыслов, то они всегда придавали холодность запечатленным в них чувствам. Тому, чья цель — только дарить наслаждение, позволительно обождать читателя тысячью разных способов. Говорят, что глаза всегда дети; то же самое относится и к воображению; ему надобны только забавы, цель совпадает для него со средствами, оно помогает обманывать жизнь и расточать время, навеивает средь бела дня ночные грезы, дарует отдохновение, позволяя забыть за приятными и несложными хлопотами все тревоги и заботы,— однако тому, кто всерьез хочет поставить наслаждение на службу нравственности, потребна и бóльшая связность и бóльшая простота плана. Соединение героев с богами, человеческих страстей с велениями небес портит даже поэмы Вергилия и Гомера. Мало чести — создать произведение, славное только своей изобретательностью. Дидона полюбила Энея оттого, что обняла Амура, которому Венера придала облик Юла<sup>4</sup>, — читая эти строки, мы сожалеем, что, показывая рождение

сти и философии требуют, чтобы он завершил свой обширный труд и обнародовал его.

страсти, поэт не ограничился изображением одних лишь движений души. Если и гнев, и боль, и победы Ахилла — не более чем результат велений богов, мы остаемся равнодушны и к Ахиллу и к Зевсу; Бог — существо отвлеченное, герой — человек, поработанный роком; многочисленные чудеса лишают характеры силы. Кроме того, баснословные вымыслы чередуют известное заранее с непредвидимым и тем отнимают у нас большую часть удовольствия: мы не можем ни страшиться грядущих событий, ни предугадывать их, полагаясь на собственные чувства. Когда Приам отправляется к Ахиллу, дабы вымолить у него тело Гектора<sup>5</sup>, я желала бы содрогаться при мысли об опасностях, которым подвергает старца отцовская любовь, трепетать, видя, как он входит в шатер грозного Ахилла, жадно ловить слова, слетающие с уст несчастного родителя, и угадывать в его речах не только владеющие им чувства, но и предвестие грядущих событий: однако я знаю, что через лагерь ахейцев Приама проведет Гермес, что Зевс уже повелел отдать Приаму тело сына и послал Фетиду известить о том Ахилла. Исход событий для меня очевиден, душа моя развлечена — и только из уважения к божественному Гомеру вслушиваюсь я в речи, являющиеся итогом обстоятельств, а не их движителем. Я сказала, что в баснословии есть и нечто непредвидимое, причем, хотя качество это полностью противоположно чрезмерной определенности, оно также лишает нас удовольствия предугадывать дальнейшие события: я имею в виду случаи, когда боги расстраивают тщательнейшим образом продуманные планы, даруют своим подопечным неотразимую защиту от самого грозного оружия и меняют ход событий, вынуждая действующих лиц поступать вовсе не так, как можно было бы от них ожидать. Разумеется, боги исполняют здесь роль рока, они — не что иное, как олицетворенный случай, однако литераторам не стоит слишком полагаться на его волю: все вымышленное должно быть правдоподобным, все удивительное — объяснимо причинами нравственными; тогда вымыслы обретут значение более философическое, а перед талантом откроется поприще более серьезное — ведь вымышленные либо действительные положения, разрешающиеся только волею рока, всегда противны

разуму. Наконец, мне хотелось бы, чтобы, обращаясь к человеку, литераторы отдавали все силы изображению характера человеческого — это и есть тот неиссякаемый источник, из которого талант должен черпать, дабы трогать и страшить сердца: ужасы Дантова ада не идут ни в какое сравнение с кровавыми преступлениями, свидетелями которых были мы совсем недавно. В прославленных эпических поэмах, замечательных своими мифологическими вымыслами, поистине возвышенны красоты этим вымыслам совершенно чуждые. В Мильтоновом Сатане нас восхищает человек; Ахилл запечатлевается в нашей памяти своим характером; размышляя о Ринальдо и Армиде, мы хотели бы навсегда забыть, что страстью своей герой обязан колдовству<sup>6</sup>; в «Энеиде» нас потрясают чувства вечные и всеобщие; наконец, трагические поэты Франции, заимствуя сюжеты у древних, почти полностью освободили их от мифологических выдумок, которые соседствуют в римских и греческих сочинениях с великолепными красотоми.

Нелепость чудесного еще более очевидна в рыцарских романах; здесь оно не только мешает сочувственно следить за событиями, но и искажает характеры и чувства. Герои — исполины, страсти невероятны, и эта вымышленная нравственная природа еще более неуместна, чем все чудеса мифологии и сказок: ложное здесь теснее переплелось с истинным, а воображение дремлет, ибо сочинителям приходится не выдумывать, но лишь преувеличивать сущее и изображать прекрасное в карикатурном свете; карикатуры эти навеки опорочили бы доблесть и добродетель, если бы историки и моралисты рано или поздно не восстанавливали истину. Впрочем, в суждениях о делах человеческих следует избегать крайностей, поэтому я вовсе не хочу сказать, будто творцы тех поэтических вымыслов, которые уже столько веков питают человечество и которые послужили основой для стольких выразительных и блестящих сравнений, недостойны восхищения. Однако позволительно выразить надежду, что таланты будущего изберут себе иную дорогу, и пожелать их могучему воображению, которому, к несчастью, призраки являются гораздо чаще, нежели картины, ограничиться подражанием природе действительной, а точнее,



возвыситься до этого подражания. Изобретательные выдумки, которыми так дивно умел распорядиться Ариосто, были бы к месту в сочинениях комических, однако чарующая шутка рождается по воле случая, она незаконна и предметы себе избирает свободно; действие ее не поддается исследованию, мыслитель не построит на ее основе никакой теории. Жизнь действительная дает нам так мало оснований для веселости, что в сочинениях, призванных развеселить нас, иной раз необходимо прибегнуть к чудесному. У чувств и мыслей есть источники неисчерпаемые — природа и философия, что же до выразительной и мудрой шутки, то предсказать ее рождение невозможно; каждая фраза, вызывающая смех, может оказаться последней смешной фразой на земле: на этом поприще нет проторенных дорог, здесь нет безотказных средств добиться успеха; смешное существует, ибо мы постоянно сталкиваемся с ним, но ни причины его, ни его движители нам неведомы; даром своим мастера шутки обязаны вдохновению гораздо больше, чем самые великодушные люди — своим энтузиазмом; веселость литературных сочинений, созданных авторами несчастливцами, веселость, которую ощущает не столько писатель, сколько читатель, — это способность, которую человек открывает в себе внезапно и так же стремительно утрачивает и которую самый высокий ум может направлять, но взрастить в своей душе не может. В сочинениях замечательных лишь своей веселостью чудесное присутствует очень часто: дело в том, что сочинения эти никогда не изображают природу во всей ее полноте. В страсти, судьбе, истине ничего веселого нет, и лишь иные мимолетные оттенки этих великих основ бытия могут дать повод для комических противопоставлений.

Есть другой род словесности, который стоит гораздо выше только что описанного, хотя он также стремится вызвать у читателя улыбку, — это комедия. Сила ее зиждется на показе характеров и страстей, какими их создала природа, поэтому комическим сочинениям, как и сочинениям серьезным, чудесное решительно не пошло бы на пользу — оно извратило бы их и лишило выразительности. Примешайся баснословие к изображению Жиль Блаза, Тартюфа или Мизантропа<sup>7</sup>, ше-

девро эти пленили бы и потрясли наш ум далеко не так сильно.

Подражание миру действительному всегда производит больший эффект, нежели обращение к сверхъестественному. Разумеется, метафизика предполагает существование в мирах недоступных нашему разумению мыслей, истин, существ высших, но, не имея об этих отвлеченных мирах ни малейшего понятия, мы не в силах нарисовать их, и чудесное под пером нашим уступает в выразительности даже картинам мира действительного, прекрасно нам знакомого. Да и можем ли мы вообразить себе что-либо, иначе как взяв за основу людей и вещи, нас окружающие. Так называемые творения наши — не что иное, как бессвязное нагромождение идей, наваянных зрелищем той самой природы, над которой мы желаем вознестись. Божественная печать лежит лишь на природе действительной: гения мы называем изобретателем, а между тем славу творца он стяжает, лишь воспроизводя, воссоединяя, познавая сущее.

Есть и другой род вымыслов, который я ставлю еще ниже чудесного,— это аллегории. Как чудесное искажает страсть, так они, на мой взгляд, истощают мысль. Приняв форму аполога, аллегории служили иногда всеобщему распространению полезных истин, но самый пример этот доказывает, что аллегорическая форма принижает мысль до уровня толпы; читатель, который может понять идеи лишь с помощью зримых образов, выказывает слабость своего ума; если мысль может принять зримый облик, ничего не утратив, значит, она недостаточно отвлеченна и тонка. Отвлеченность ускользает от воплощения в образах, в ней есть некая геометрическая точность, требующая выражения положительного. Ум безусловно тонкий чуждается аллегорий; живописцу никогда не сравниться в чуткости к оттенкам с наблюдателем метафизическим; глубочайшие прозрения мысли недоступны ни кисти, ни резцу. Но мало того, что аллегории искажают идеи, которые призваны воплотить,— как правило, они не доставляют читателю никакого удовольствия. Цель аллегории двойная: поведать нравственную истину и облечь ее в рассказ-эмблему; как правило, желая достичь обеих этих целей, сочинитель терпит неудачу

и тут и там: отвлеченная идея в аллегории звучит невнятно, а форма лишена выразительности. Аллегория — это вымысел в вымысле, который не вызывает сочувствия, поскольку призван всего лишь олицетворять открытия философические, и который еще более труден для понимания, нежели изложение строго метафизическое. Чтобы вникнуть в суть аллегории, следует отделить отвлеченную идею от ее образного воплощения, прозреть в персонажах олицетворяемые ими идеи и не столько постичь истину, сколько отгадать загадку. Попробуйте понять, что придает однообразие прелестной поэме о Телемаке, и вы убедитесь, что все дело в Менторе, который, равно принадлежа сферам чудесного и аллегорического, наделен присущими им обоим недостатками. Поскольку Ментор — фигура мифологическая<sup>8</sup>, мы вовсе не тревожимся за судьбу Телемака: всякому понятно, что благодаря богине он восторжествует над всеми опасностями; поскольку он — фигура аллегорическая, он исключает из поэмы изображение душевной борьбы и сообщает ей полную бесстрастность. Моралисты толкуют о столкновении в сердце человеческом двух сил, однако в поэме Фенелона силы эти воплощены в двух разных героях: Ментор лишен страстей, Телемак — самообладания. Читатель разрывается меж ними двумя, не зная, кому отдать свое сочувствие. Аллегии остроумные, вроде Воли, которая странствует в поисках Счастья в «Телеме и Макаре»<sup>9</sup>, аллегии развернутые, где, как в «Королеве фей» Спенсера<sup>10</sup>, каждая песнь — рассказ о битве рыцаря, олицетворяющего некую добродетель, с олицетворением соответствующего порока, не способны вызвать сочувствия, как бы талантливо они ни были исполнены. Под конец романическая сторона аллегории настолько утомляет читателя, что ему недостает сил вникнуть в ее философический смысл.

Басни, где действуют говорящие животные, первоначально представляли собой апологи, смысл которых легко доходил до народа, впоследствии же превратились в особый литературный жанр, в котором пробовали свои силы многие писатели. Жил на свете автор, словно рожденный для сочинения басен, — он обладал естественностью столь безупречной, что у него не могло появиться ни наследников, ни соперников; под его

пером животные разговаривали так, будто они — существа мыслящие, но еще незнакомые ни с предрассудками, ни с притворством. Таланту Лафонтена аллегория решительно противопоказана: он наделяет животных теми свойствами, какие им в самом деле присущи; басни его комичны не оттого, что на что-то намекают, но оттого, что рисуют действительные нравы животного царства. Разумеется, возможности этого жанра не безграничны — сочинения всех прочих баснописцев, под каким бы небом они ни были созданы, грешат аллегоричностью со всеми вытекающими отсюда недостатками.

Аллегии были в большом ходу на Востоке. Первая причина тому — деспотический образ правления. Правду приходилось обнародовать под покровом вымысла, прозрачного для подданных, но непроницаемого для владык, что же до смельчаков, которые пожелали довести истину до сведения султана, то они сочли, что, воплотив ее в эмблеме, почерпнутые из мира физического, они уничтожат ее зависимость от людей, полностью послушных верховному владыке, и от их убеждений; кроме того, излагая истину в форме сказки, нравственный итог которой не высказан впрямую, сочинитель мог льстить себя надеждой, что, если даже султан поймет ее подлинный смысл, он припишет это открытие собственной проницательности и помилует автора. Однако все уловки, к которым принуждает литераторов деспотизм, должны исчезнуть вместе с ним; они интересны лишь постольку, поскольку необходимы.

К области вымыслов относятся, пожалуй, и произведения, держащиеся аллюзиями, — произведения, которые могут оценить по достоинству только современники. Потомки судят такие сочинения, не принимая во внимание то действие, которое производили они некогда, и те трудности, которые приходилось в ту пору преодолевать их авторам. Если талант автора блистателен лишь относительно его эпохи, он теряет свою славу вместе с породившими ее обстоятельствами. Так, поэма «Гудибрас»<sup>11</sup> в избытке наделена тем, что именуется обычно остроумием; однако оттого, что истинный смысл авторских слов нельзя постичь сразу, без труда, оттого, что понять соль его шуток невозможно без многочисленных примечаний, оттого, что ни

один читатель не засмеется и не растрогается при чтении, если не получит предварительных разъяснений, мало кто может оценить «Гудибраса» по достоинству. Требовать от читателя напряжения ума вправе только философ, что же до творца, то он добьется полноты впечатления, лишь если всякий читатель во всякое время сумеет без посторонней помощи ощутить прелесть его выдумок. Деяния человеческие тем полезнее, чем теснее они связаны с сегодняшними обстоятельствами, и лишь эта связь — залог вечной славы; что же до литературных сочинений, то их величие — в свободе от интересов сиюминутных и близости к неизменяемой природе вещей; все написанное на злобу дня — это, по словам Массийона, «время, потерянное для вечности»<sup>12</sup>.

Сравнения, примыкающие, пожалуй, к аллегориям, менее пространны и потому не так сильно развлекают внимание; чаще всего они следуют за мыслью и являются не более чем лишним ее подтверждением, тем не менее применительно к сравнениям можно повторить то, что уже было сказано выше об аллегориях: если чувство или идея ничего не утрачивают, обретая зримую форму, значит, они не достигли всей своей силы. «Он должен был умереть» старого Горация<sup>13</sup> не передашь картинкой; читая главу, где Монтескье, объясняя суть деспотизма, вспоминает луизианских дикарей<sup>14</sup>, сожалешь, что автор не привел вместо этого образа какую-либо идею Тацита или свою собственную, ибо силою мысли автор трактата «О духе законов» не уступает лучшим писателям древности. Конечно, было бы чересчур сурово наложить запрет на все украшения такого рода, ибо, постигая новые идеи либо наскучив старыми, ум нередко нуждается в отдыхе; образы, картины составляют очарование поэзии и всего, что ей родственно, однако всякая мысль звучит мощнее, резче, если черпает силы только в себе самой.

Настала пора сказать несколько слов о тех аллегориях, единственная цель которых — внести в изложение философических идей оттенок шутливости: я имею в виду «Сказку о бочке» и «Гулливера» Свифта, «Микромегаса»<sup>15</sup> и проч. Я могла бы повторить здесь то, что сказала выше о призванном смешить баснословию: если вы вызвали улыбку, победа на вашей стороне,

однако у аллегорий, подобных только что названным, есть и другая цель — прояснить философический смысл авторских идей, — и вот этой цели они достигают крайне редко. Если аллегория забавна, большинство людей запоминают не столько мораль, сколько саму басню; «Гулливер» развлек многих, но мало кого наставил на путь истинный. Аллегория вечно пребывает между двух огней: если смысл ее слишком очевиден, она утомляет, если смысл спрятан слишком глубоко, о нем забывают, а если автор стремится привлечь внимание и к тому и к другому, он теряет читателя.

## II

Я обещала рассказать во второй части своего сочинения о вымыслах исторических, то есть выдумках, в которых есть доля правды. Трагедии и поэмы на исторические сюжеты не могут обойтись без помощи вымысла. Если автору нужно уместить события от завязки до развязки в двадцать четыре часа и пять актов<sup>16</sup> либо описать героя возвышенного настолько, насколько того требуют законы эпопеи, он не найдет себе готовых образцов в истории, однако вымысел, к которому он прибегнет, ничем не будет походить на мифологическое чудесное: в подобных случаях сочинитель не выдумывает некую неземную природу, но лишь выбирает необходимое в природе вещей; он уподобляется Апеллесу, который наделил прекрасную женщину чертами многих красавиц. Поэзии пристал язык душевных движений, который рисует величественные обстоятельства и возвышенные эпические либо драматические характеры, почерпнутые из истории, не искажая их, но освобождая ради вящей славы от всех бранных свойств. В таком вымысле нет ничего чуждого природе; здесь то же развитие и те же пропорции, что и в мире действительном; вот отчего, познакомившись с такими шедеврами, как «Генриада», «Чингисхан», «Митридат» или «Танкред»<sup>17</sup>, человек, созданный для славы, пришел бы в восхищение, но не удивился; он наслаждался бы, не помышляя об авторе, не отдавая себе отчета в том, сколь многим эти изображения геройских подвигов обязаны таланту их создателя.

Есть, однако, и исторические вымыслы иного рода, которые, как мне кажется, следовало бы вывести из употребления; это романы, перемешанные с историей, — такие, как «Анекдоты из жизни при дворе Филиппа Августа»<sup>18</sup> и многие другие. Не будь в них упомянуты подлинные имена, романы эти были бы весьма недурны; однако они скрывают от читателя историческую истину: ведь выдумки, подражающие обычному течению жизни, так тесно переплетаются в них с событиями невыдуманными, что отделить одно от другого становится крайне трудно<sup>19</sup>.

Этот род словесности отнимает нравственный смысл у истории, объясняя многие поступки причинами совершенно недостоверными, но не достигает нравственного величия настоящего романа, ибо автору, обязанному сообразовываться с подлинным ходом событий, недоступны свобода и последовательность плана, возможные в сочинении полностью вымышленном. Разжигать интерес к роману за счет прославленных исторических имен — то же самое, что прибегать к аллюзиям, а я уже попыталась доказать, что вымысел, держащийся воспоминаниями, а не описаниями, сам по себе никогда не бывает совершенен, да и вообще искажать истину всегда опасно. Сочинители романов, о которых я говорю, изображают прежде всего любовные приключения, ибо все прочие события избранной эпохи были уже описаны историками; дабы придать сюжету большее величие, романисты эти пытаются убедить нас, что в основе всех исторических деяний лежит любовь, и тем создают как нельзя более ложное представление о жизни человеческой. Подобные вымыслы ослабляют нравственное воздействие истории — так скверная копия может испортить впечатление от прекрасного оригинала, с которым она имеет лишь весьма отдаленное сходство.

### III

Третья, и последняя, часть моего сочинения посвящена вопросу о пользе тех вымыслов, которые я назвала естественными, ибо все в них и выдумка и подражание разом, все неправда,

но все правдоподобно. Однако трагедий на вымышленные сюжеты мы касаться не будем, поскольку они изображают природу возвышенную, людей и положения необыкновенные. Пьесы эти зиждутся на событиях крайне редких, мораль их применима лишь к очень ограниченному числу людей. Драмы и комедии занимают на театре то же место, какое занимают романы среди сочинений прозаических: сюжеты в них почерпнуты из частной жизни, обстоятельства естественны, однако театральные условности мешают сочинителям изобразить те мелочи, что оживляют примеры и рассуждения. В драме автор волен избирать действующими лицами не королей и не героев, однако, не имея времени входить в подробности, он должен описывать события яркие, а между тем жизнь вовсе не настолько насыщена, не настолько полна контрастов, одним словом, не настолько театральна, насколько это необходимо для создания пьесы. У драматического искусства свои эффекты, свои преимущества, свои средства, которые могли бы стать предметом специального трактата, однако развернутое и благотворное изображение наших повседневных чувствований способны, на мой взгляд, дать только современные романы<sup>20</sup>. Принято выделять в отдельный разряд романы, называемые философическими; все романы должны быть таковыми, ибо все должны иметь нравственную цель, однако, если ради этой цели автор пренебрежет правдоподобием событий, усилия его вряд ли увенчаются успехом: главы романа превратятся под его пером в аллегории, воплощения той или иной максимы. Такие романы, как «Кандид», «Задиг», «Мемнон»<sup>21</sup>, очаровательные во многих отношениях, принесли бы гораздо больше пользы, если бы, во-первых, обходились без чудес, во-вторых, предлагали нашему вниманию примеры, а не эмблемы и если бы, наконец, все составляющие их эпизоды не преследовали слишком явно одну и ту же цель. Романы, написанные таким образом, уподобляются учителям, которые стремятся во что бы то ни стало извлечь уроки из всего происходящего, хотя, как безотчетно предчувствуют дети, в жизни все гораздо сложнее. Иное дело — романы Ричардсона и Филдинга: жизнь человеческая изображена этими авторами со всей ее неспешностью, непоследовательностью



и обилием подробностей, однако всякое описанное ими происшествие обогащает наш нравственный опыт и служит к вящей славе добродетели; события в этих романах вымышлены, но чувства настолько верны природе, что читателю кажется, будто ему рассказывают подлинную историю, где изменены только имена.

Искусство сочинения романов до сих пор не оценено по заслугам<sup>22</sup>, оттого что множество скверных писак засыпают нас своими пошлыми сочинениями в этом роде, где совершенства может достичь лишь величайший гений, плодить же писания заурядные может, к несчастью, любая посредственность. Бесчисленное множество пошлых романов едва ли не бросает тень на описанную в них страсть: мы боимся найти в собственной жизни хоть малейшее сходство с теми историями, что изложены в дурных романах. Только слава великих писателей смогла защитить этот род словесности, опороченный бездарностями. Нашлись и такие сочинители, которые унизили роман еще сильнее, включив в него отвратительные изображения порока; словно забыв о первейшем преимуществе вымысла, которое состоит в том, что он окружает человека картинами, служащими ему уроком или образцом, авторы эти вознамерились принести пользу омерзительными картинами гнусных нравов, как будто читатель, который с гневом отворачивается от них, может остаться так же чист душой, как тот, который никогда их не знал<sup>23</sup>. Что же касается романа, каким он может быть и каким создали его некоторые мастера, то это одно из прекраснейших творений ума человеческого, оказывающее наибольшее влияние на нравственность отдельных людей, от которой и зависит нравственность общественная. Правда, одно серьезное обстоятельство вредит репутации сочинителя романов в глазах публики: заключается оно в том, что романы, по всеобщему убеждению, посвящены изображению любви, которая, будучи самой сильной, самой всеобщей, самой неподдельной из страстей, властна, однако, лишь над сердцами юными и не вызывает интереса у людей иного возраста. Разумеется, на это можно возразить, что все глубокие и нежные чувства родственны любви: что самоотверженная дружба, сострадание несчастью, сыновняя почтительность и родительская нежность незнакомы людям, не изве-

давшим любви и не покровительствовавшим влюбленным. Тот, кто не любил всеми силами своей души, тот, кто не позабыл хотя бы однажды самого себя, дабы ожить в любимом существе,— тот, пожалуй, будет чтить свои обязанности, но никогда не отдастся их выполнению самозабвенно и восторженно. Удел женщин и счастье мужчин, не призванных вершить судьбами держав, часто зависит от того, какую роль сыграла в их жизни любовь; однако, дожив до определенных лет, они забывают о чувствах, испытанных в юности, характер их меняется, они предаются всей душою иным предметам, иным страстям, и эти-то новые интересы должно также изображать в романах. Тогда, на мой взгляд, новое поприще откроется авторам, наделенным талантом живописцев и умеющим растрогать читателя картиной мельчайших движений человеческого сердца. Пружинной романов могли бы сделаться честолюбие, гордость, скупость, тщеславие; тогда в литературу вошли бы события более неожиданные и положения более разнообразные, нежели те, что порождены любовью. Могут возразить, что страсти эти проявлялись в истории и что описанию их место в трудах исторических. Но ведь истории нет дела до людей частных, до чувств и характеров, не сыгравших заметной роли в жизни общества; история не увлекает нас образами нравственными и возвышенными, она далеко не всегда выразительна, к тому же подробности, которые одни только и оставляют глубокие впечатления, замедлили бы стремительный ход повествования исторического и придали бы ему неподобающую в этом случае драматическую форму<sup>24</sup>. Да и вообще нравственный смысл истории очевиден далеко не всегда — оттого ли, что никто не вправе утверждать наверное, будто злодеев в разгар их благоденствия терзало раскаяние, а добродетельные люди, претерпевая невзгоды, находили утешение в незапятнанности своей совести; оттого ли, что судьба человека не исчерпывается его земной участью. Практическая мораль, утверждающая преимущества добродетели, отнюдь не всегда вытекает из чтения истории.

Конечно, великие историки, и в особенности Тацит, пытаются извлечь нравственный урок из всех событий, о которых рассказывают: Тацит хочет, чтобы мы зави-

довали умирающему Германику и ненавидели Тиберия, находящегося на вершине славы<sup>25</sup>; однако историки вправе рисовать лишь те чувства, которые подтверждаются фактами; при чтении исторических трудов мы пленяемся силой таланта, блеском славы, выгодами могущества, но в истории нет места морали спокойной, тонкой и нежной, от которой зависит счастье людей частных и характер отношений меж ними. Бессмысленно упрекать меня в неуважении к истории и пристрастии к вымыслам — ведь выдумки рождаются из опыта, а тончайшие оттенки чувств, которые раскрывают романисты, доступны их перу лишь благодаря основополагающим философическим идеям, вытекающим из великой картины общественных событий. И все же историческая мораль — мораль слишком общая; исторические события приводят к одним и тем же результатам лишь при определенном стечении обстоятельств; уроки истории верны применительно к народам, но не к личностям. Примеры, почерпнутые из истории, верны для наций в целом, ибо удовлетворяют всеобщим и вечным законам, но в истории нет ни слова об исключениях. А ведь между замечательными происшествиями зияют в истории огромные пустоты, скрывающие, возможно, несчастья и ошибки, из которых и состоит большая часть индивидуальных судеб; это и есть исключения, способные пленить всякого отдельного человека. Что же касается романов, то они могут нарисовать характеры и чувства так сильно и так подробно, как никакое другое сочинение, и тем вселить в души глубочайшую ненависть к пороку и любовь к добродетели. Нравственный смысл романа вытекает не столько из описываемых событий, сколько из развернутого изображения душевных движений; не из развязки, придуманной автором ради того, чтобы наказать порок, должен читатель извлекать полезный урок; правдоподобие картин, изображающих нескончаемую цепь заблуждений, страсть к самопожертвованию, сострадание к несчастью, — вот что оставляет в душе следы неизгладимые<sup>26</sup>. Все правдиво в подобных романах, и всякий легко поверит, что все описанное может случиться на деле; роман не история прошлого, а, если можно так выразиться, история будущего. Кое-кто утверждает, что романы дают искаженное

представление о человеке: это верно применительно к романам скверным, создатели которых подражают природе так же неумело, как и творцы бездарных живописных полотен, но если перед нами роман хороший, то составляющие его картины частной жизни и рождаемые ими чувства позволяют взглянуть в сердце человеческое как нельзя более пристально; ничто так не упражняет ум: ведь детали дают ему гораздо больше пищи, чем идеи основополагающие. Той же цели достигали бы и мемуары, не будь они, равно как и труды исторические, посвящены людям прославленным и событиям великим. Романы были бы не нужны, имей большинство людей достаточно ума и чистосердечия, чтобы отдавать себе верный и подробный отчет во всех своих чувствованиях<sup>27</sup>, — впрочем, подобные правдивые повествования уступали бы романам, ибо мы ждем от словесности повествования драматического, которое, не искажая действительности, показывало бы ее более сжато и оттого более выразительно: так на полотне живописца, правдиво изображающего увиденное, предметы выглядят более ярко, чем в жизни. В природе все перемешано, и контрасты зачастую остаются незаметными; рабское копирование здесь бесцельно. Как бы точен ни был рассказ, в нем всегда есть своя особенная правда — правда подражания; поскольку рассказ этот — картина, постольку он нуждается в гармонии, отличающей создания искусства. История подлинная, но замечательная тонкостью чувств и характеров может взволновать, лишь если рассказчик наделен даром творить вымыслы; более того, восхищаясь гением, позволяющим нам проникнуть в тайна тайных человеческого сердца, мы все же с трудом переносим обилие мелочных подробностей, переполняющих даже самые прославленные романы. Автор надеется с их помощью придать картине большее правдоподобие и не замечает, что все рассеивающее внимание уничтожает единственную правду вымысла — производимое им впечатление. Изобразите на сцене все, что происходит в комнате, — и вы полностью разрушите театральную иллюзию. У романов есть свои драматические условности: в выдумке необходимо лишь то, из чего можно извлечь определенный эффект. Пусть взгляд, жест, обстоятельство, скрытое от посторонних

взоров, помогают нарисовать характер, передать чувство: чем проще здесь средство, тем больше заслуга сочинителя; иное дело — излагать во всех подробностях событие заурядное; такой рассказ не только не увеличивает правдоподобия, но, напротив, идет ему во вред. Возвращенные ничего не значащими деталями к голой истине, вы выходите из-под власти иллюзий и вскоре утомляетесь, ибо не находите в книге ни поучительности истории, ни занимательности романа.

Способность волновать сердца — большое преимущество вымысла; романист может придать едва ли не всем нравственным истинам зримый облик. Добродетель имеет такое влияние на счастье или несчастье человеческое, что в зависимость от нее можно поставить большую часть жизненных обстоятельств. Иные непреклонные философы осуждают все чувства и желают, чтобы нравственность правила миром только через посредство обязанностей, — ничто, однако, так не чуждо природе человеческой: чтобы добродетель одерживала победы над страстями, следует воодушевлять ее, следует рождать в душах некий восторг, сообщающий очарование самоотвержению, следует, наконец, восславлять несчастье, дабы уберечь людей от соблазнов порока: читая книги, содержащие трогательные вымыслы, читатель свыкается с великодушными чувствами и безотчетно клянется в верности им; столкнувшись в жизни с обстоятельствами, подобными вымышленным, он устыдится нарушить эту клятву. Но чем могущественнее способность волновать сердца, тем важнее подчинить ее власти все возрасты, сословия и положения. Главный предмет романов — любовь, и характеры, ей чуждые, занимают в романах место второстепенное<sup>28</sup>. Попробуйте изменить план романа — и вам откроется множество новых предметов. Из всех романов «Том Джонс» содержит мораль наиболее общую; любовь здесь лишь одно из средств внушить читателю философический итог<sup>29</sup>. Показать, насколько ненадежны суждения, основанные на внешности, насколько достоинство природные и, можно сказать, невольные превосходят достоинства, сводящиеся к соблюдению условленных приличий, — вот истинная цель «Тома Джонса», и вот почему роман этот — один из самых полезных и по праву знаменитых. Недавно в Англии вышел еще один роман,

который, несмотря на длинноты и небрежности, дает, как мне кажется, наилучшее представление о неисчерпаемых богатствах этого рода литературы: я имею в виду «Калеба Вильямса» господина Годвина<sup>30</sup>. В романе этом любовь не играет никакой роли; единственные пружины действия — страстная забота Фолкленда о своей репутации и любопытство, снедающее Калеба, который жаждет узнать, заслуживает ли Фолкленд уважения. Книга эта читается с увлечением, достойным повествования романического, а между тем замысел ее глубоко философичен. Кое-какие «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля<sup>31</sup>, несколько глав из «Сентиментального путешествия»<sup>32</sup>, отдельные статьи из «Зрителя»<sup>33</sup> и других сочинений моралистов, иные произведения немецкой словесности, которая год от году делается все более достойной внимания<sup>34</sup>, — вот немногие удачные вымыслы, чуждые приключениям любовным. Но не родился еще новый Ричардсон, который описал бы страсти человеческие, со всеми их перипетиями и последствиями, так подробно, как уже описана любовь; подобный роман был бы обязан своим успехом правде характеров, выразительности контрастов, силе положений, а не одному лишь изображению любовного чувства, столь располагающего к себе художников, столь легко трогающего сердца и столь приятного женщинам: ведь даже не отличаясь ни возвышенностью, ни новизной, описание любви пробуждает в женском сердце множество воспоминаний<sup>35</sup>. Как прекрасен был бы портрет Ловласа-честолюбца! К сколь философским выводам пришел бы тот, кто взялся бы исследовать все страсти так обстоятельно, как была исследована в романах любовь! И пусть не возражают мне, что достаточным напоминанием о наших обязанностях служат нам рассуждения моралистов: моралисты не способны вникнуть во все мельчайшие оттенки, во все многочисленные источники страстей. Из хорошего романа можно извлечь урок более чистый, более возвышенный, чем из самого поучительного трактата о добродетели; автор трактата изъясняется более сухо и потому вынужден быть более снисходительным; максима, пригодным для всех, решительно чужда та исключительная щепетильность, которую можно представить как образец, но которую *противосмысленно*

предписывать в качестве долга<sup>36</sup>. Какой моралист вправе сказать: если все ваше семейство желает выдать вас замуж за человека вам ненавистного и если гонения эти принуждают вас выказать некоторое невиннейшее сочувствие человеку, который вам по душе, вы навлечете на себя позор и смерть? А между тем в словах моих заключен план «Клариссы», которую мы читаем с восхищением и тревогой, замороженные происходящим и во всем согласные с автором. Какой моралист стал бы утверждать, что предаться глубочайшему отчаянию, отнимающему разум и грозящему смертью, лучше, нежели выйти замуж за добродетельнейшего из смертных, который, однако, исповедует иную веру? Меж тем, хотя мы и не разделяем предрассудков Клементины<sup>37</sup>, изображение любви, борющейся с угрызениями совести, зрелище долга, превосмогающего страсть, — картина трогательная и волнующая даже тех, чьи убеждения вовсе не столь строги, тех, которые с презрением отвергли бы мысль автора, если бы она была высказана в начале романа в виде максимы, а не вытекала из самого действия. А сколько есть еще романов не столь возвышенных, но научающих женщин тончайшим оттенкам поведения! Назову такие шедевры, как «Принцесса Клевская», «Граф де Комменж», «Поль и Виргиния», «Сесилия», большую часть сочинений госпожи Риккони, «Каролину», перед очарованием которой, как правило, не в силах устоять никто из читателей, трогательный эпизод из «Калисты», «Письма Камиллы»<sup>38</sup>, где ошибки женщины и несчастья, за ними следующие, представляют картину более нравственную и поучительную, чем изображение самой добродетели, а также многие другие французские, английские и немецкие сочинения. Романы вправе преподавать читателям самые суровые уроки, и ни одно сердце этим не возмущается, ибо они пленяют чувство — единственный источник снисходительности; если трактаты моралистов, с их строгими предписаниями, часто вынуждены отступать перед жалостью к несчастью или сочувствием к страсти, то хорошие романы умеют завлечь в союзники даже чувства и заставить их служить своим целям.

Впрочем, противники романов о любви выдвигают против них одно серьезное обвинение: романические

описания любовной страсти, говорят они, могут лишь разжечь ее, а в жизни случаются такие минуты, когда никакие преимущества не способны искупить эту опасность. Что ж! В этом грехе никогда не будут повинны те романы, которые изберут своим предметом все прочие человеческие страсти. Описав зарождение опасной склонности, литератор сможет отвратить от нее и себя и других. Зачастую тщеславие, гордыня, скупость овладевают человеком незаметно для него самого. В отличие от любви, которая разгорается сильнее, если влюбленный читает описание собственных чувств, все прочие страсти боятся света разума; выведите на всеобщее обозрение их особенности, источники, причины и следствия, как это сделали ваши предшественники применительно к любви,— и вы снабдите общество более надежными правилами на все случаи жизни и более утонченными привычками. Даже если бы сочинения философические могли, подобно романам, охватывать и предугадывать все оттенки поступков, у морали драматической все равно осталось бы большое преимущество: ведь романические положения способны рождать взрывы негодования, вдохновенные порывы, тихую меланхолию и тем как бы дополнять жизненный опыт каждого читателя; подобные впечатления мы испытали бы и в жизни, стань мы свидетелями сходных событий, однако жизнь беспорядочна, роман же сосредоточивает мысли и чувства на одном предмете. Наконец, есть люди, которым чуждо чувство долга, но которым, однако, можно помешать погрязнуть в пороке, развив чувствительность их душ. Разумеется, характеры, которым человеколюбие можно привить только вместе с подобной чувствительностью — родом душевного сладострастия,— не слишком достойны уважения, однако, если бы трогательные вымыслы повсеместно пользовались успехом, мы могли бы, пожалуй, быть уверены, что никогда больше не столкнемся с бессердечными существами, чей характер составляет неразрешимую нравственную загадку. Есть чувства, располагающиеся далеко за гранью понятных нам явлений: следует предположить, что никакие обстоятельства, никакие книги не поселили в душах палачей Франции ничего человеческого, не заронили ни одного воспоминания об испытанной некогда жалости, более



того, не развили в них никакой гибкости ума; только этим можно объяснить их жестокость, столь непреклонную, столь чуждую всем естественным привязанностям, жестокость, которая впервые показала человеку, что значит беспредельность — беспредельность преступления.

Есть сочинения, — такие, как «Послание Абельяра» Попа<sup>39</sup>, «Вертер», «Португальские письма» и, наконец, неподражаемая «Новая Элоиза», — основное достоинство которых — красноречивость страсти, и, хотя содержание этих романов, как правило, высоконравственно, главное в них — всемогущество сердца<sup>40</sup>. Эти романы нельзя отнести ни к какому разряду: в столетие рождается одна душа, один гений, способный создать нечто подобное; романы эти не составляют особенного рода, у них нет особенной цели, но разве найдется человек, который осмелится наложить запрет на чудесные речи и глубочайшие впечатления, вторящие чувствованию страстных натур? Восторженных поклонников у таких талантов немного, но на тех, кто ими восхищается, они всегда действуют благотворно. Оставьте эти книги людям с душою пылкой и чувствительной, которых никто не понимает. Чувства, волнующие их, почти для всех окружающих остаются загадкой; все осуждают их; они пребывали бы в полном одиночестве и очень скоро возненавидели бы собственный характер, разлучающий их с человечеством, если бы в пустыне жизни не доносились до них слова страстных и меланхолических сочинений, приносящие мимолетное счастье, недоступное им в свете. Эти уединенные наслаждения успокаивают души, измученные тщетными усилиями и обманутыми надеждами; когда весь мир бурлит вдалеке от обездоленного существа, красноречивое и нежное сочинение заменяет ему верного и понимающего друга. Да, книга, которая хоть на день отвлекла страждущего от его страданий, существует не напрасно: она помогает лучшим из людей. Разумеется, есть беды, проистекающие от изъянов характера, но гораздо больше мучений доставляют людям превосходство ума или чрезмерная чувствительность сердца; насколько счастливее жили бы эти люди, имей они меньше достоинств! Даже не будучи знакомой с человеком страждущим, я уважаю его и восхищаюсь вымыслами, единственная

цель которых — развлечь страдальца и тем облегчить его муки. В жизни нашей, которую надежнее всего прожить, ничего не чувствуя, тот, у кого достало бы таланта заставить человека забыть о себе и о мире и приостановить игру страстей, заменив ее наслаждениями независимыми, даровал бы, пожалуй, себе подобным единственное доступное им счастье.

---

## О ЛИТЕРАТУРЕ, РАССМОТРЕННОЙ В СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ УСТАНОВ- ЛЕНИЯМИ

---

Память о прошлом, зрелище настоящего —  
всё устремляло сердце мое  
к размышлениям возвышенным.

*Вольней. Руины*<sup>1</sup>

### ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Я сочла необходимым ответить в примечаниях ко второму изданию моей книги на некоторые возражения, выдвинутые против первого. Я постаралась сделать мой труд более достойным тех похвал, которых удостоили его просвещенные читатели.

В примечаниях я подкрепляю суждения, вызвавшие критику, ссылками на сочинения, откуда эти суждения почерпнуты \*, поэтому в предисловии я ограничусь об-

\* Примечания эти призваны доказать, во-первых, что римляне знали толк в философии, что известные историки, прославленные ораторы и великие правоведы появились у них прежде, чем поэты; во-вторых, что трагедии римлян не что иное, как подражание трагедиям греческим. В-третьих, я развиваю мысль, которая кажется мне столь бесспорной, что в первом издании я не сочла нужным ее доказывать, а именно что песни Оссиана были известны шотландским и английским литераторам, знающим гэльский язык<sup>1</sup>, задолго до того, как Макферсон написал на их основе свои поэмы, и что исландские саги и скандинавские стихотворения, послужившие образцом для всей северной литературы в целом, очень близки по духу Оссиановым поэмам<sup>2</sup>. Все необходимые сведения о скандинавской поэзии содер-

щими размышлениями о существовании в словесности двух партий и об отвращении, которое внушает некоторым людям учение о совершенствовании рода человеческого.

Меня упрекали в том, что я предпочитаю литературу севера литературе юга и тем самым создаю новую поэтику<sup>4</sup>. Те, кто полагают, будто я намеревалась создать новую поэтику, плохо поняли суть моей книги. Уже на первой странице я говорю, что Вольтер, Мармонтель и Лагарп оставили поэтики, к которым мне нечего добавить<sup>5</sup>; я желала иного — показать, как связана литература с общественными установлениями той или иной страны в ту или иную эпоху, а об этом не говорится ни в одной из существующих на земле книг. Я желала также доказать, что, какие бы испытания ни выпадали на долю человечества, оно неизменно выходило из них с окрепшим разумом и возмужавшей философией. Мои пристрастия в поэзии мало что значат в сравнении со столь серьезными задачами. Меня больше трогают стихи Томсона, чем сонеты Петрарки. Поэзия Грея нравится мне больше песен Анакреона. Но эти особенности моего душевного склада имеют лишь косвенное отношение к замыслу моего сочинения, и даже те из моих читателей, у кого совсем иные привязанности в царстве фантазии, могут оценить справедливость моих наблюдений над связью политического устройства страны с ее литературой, всецело согласиться с моим ходом мыслей и отдать должное философическим взглядам, которые помогли мне изложить историю развития человеческого разума от Гомера до наших дней.

Ныне французские литераторы разделились на две противоположные партии, представители которых придерживаются взглядов столь крайних, что рискуют утратить либо вкус, либо гений<sup>6</sup>. Первые полагают, что, наполнив литературу бессвязными образами, новыми словами, грандиозными картинами, вдохнут в литературу свежие силы. Они вредят искусству, не принося пользы ни красноречию, ни философии. Вместо того чтобы совершенствовать свой природный дар, они его

жаты в превосходном введении Малле к «Истории Дании»<sup>3</sup>. Наконец, в одном из примечаний ко второй части моего труда я попыталась указать строгие правила отбора новых слов, достойных войти в язык нации.

губят. Вторые хотят уверить нас, что хороший вкус состоит в том, чтобы излагать слогом точным, но избитым мысли еще более избитые.

Их точка зрения гораздо менее уязвима. Фразы, известные испокон веков, все равно что старинные друзья дома: их принимают, ни о чем не спрашивая<sup>7</sup>. Но нет такого красноречивого писателя или мыслителя, в чьем стиле нельзя было бы отыскать выражений, которые неприятно поразили первых читателей,— во всяком случае, тех из них, кто равнодушен к возвышенным идеям и благородным порывам души.

Когда Боссюэ произнес великолепную фразу: «Мои седины велят мне посвятить пастве, кою обязан я питать словом жизни, остатки умолкающего голоса и угасающего пыла»<sup>8</sup>, наверняка нашлись незадачливые критики, которые затруднились понять, что такое «остатки... голоса... и... пыла» и как могут седины велесть что бы то ни было. Когда тот же оратор воскликнул, говоря о Генриетте Орлеанской: «Вот она, какой создала ее смерть!»<sup>9</sup>,— то, без сомнения, некий литератор той поры вполне мог бы осудить эти великолепные слова и испортить их, изменив в них хоть самую малость. А когда Паскаль сказал: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий»<sup>10</sup>, то некий критик мог бы разъять эту фразу на части и возмутиться: «Как можно! Паскаль назвал человека мыслящим тростником!» Прекраснейшему из наших поэтов, Расину, принадлежит множество смелых выражений, вызвавших нареkania бесчисленных судей, а на красноречивейшего из наших прозаиков, автора «Эмиля» и «Новой Элоизы», люди, равнодушные к очарованию красноречия, могли бы обрушить самую суровую критику. В самом деле, что осталось бы от стиля Руссо, если бы мы поделили его фразы надвое, лишили их движения, смысла, чувства и извлекли из них отдельные слова, странные поодиночке, но всемогущие на своем месте? \*<sup>11</sup>

\* Пожалуй, здесь кстати будет отметить, что люди, сделавшиеся с некоторых пор нашими литературными судьями, остерегаются называть Ж.-Ж. Руссо в числе лучших французских авторов<sup>12</sup>. Нельзя, однако, поверить, что они забывают о существовании писателя, вдохнувшего в слово столько огня, силы и жизни, писателя, так глубоко взволновавшего души читателей, что о книгах его невозможно

Повторяю, тем, кто пишет банально, нечего бояться критики такого рода. Делите их фразы сколько хотите, слова сами вернутся на место, ибо *привыкли рядом находиться*, однако выразить свои чувства и изложить свои собственные, незаемные мысли удавалось испокон веков лишь авторам, создавшим самобытный стиль, который только и способен приковать к себе внимание и воображение читателей.

Парадоксы, разумеется, также входят в число банальностей. Чтобы высказать парадоксальную мысль, чаще всего достаточно вывернуть наизнанку мысль банальную. Точно так же обстоит дело со слогом напыщенным: фальшивые выражения рождаются из выражений холодных. Не будем, однако, заключать мысль человеческую в заколдованный круг, ибо где нет созидания, в мыслях ли, в стиле ли, там нет и таланта.

Вольтер, наследник века Людовика XIV<sup>13</sup>, обратился к английской словесности в поисках новых красот, которые не были бы противны французскому вкусу\*. Почти все наши поэты XVIII столетия подражали англичанам. Сен-Ламбер черпал образы у Томсона<sup>16</sup>, описательные поэмы Делиля многим обязаны английской поэзии, и в частности «Сельскому кладбищу» Грея<sup>17</sup>, к которому восходит также одно из лучших творений Фонтана — «День поминовения мертвых в сельской местности»<sup>18</sup>. Зачем же нам отрицать достоинства произведений, которым не раз подражали наши лучшие поэты?

Разумеется, долгая жизнь суждена лишь тем произведениям, которые удовлетворяют требованиям само-

судить с сугубо литературной точки зрения. Он чарует, как друг, соблазнитель или наставник. Неужели есть судьи, которые не могут простить Жан-Жаку пламенную любовь к свободе, невзирая даже на блеск его таланта? Мыслимо ли, чтобы гордая и независимая душа, несмотря на весь свой превосходный талант, не устаивалась от противников философических идей ничего, кроме несправедливости и молчания: несправедливости — в тех случаях, когда еще возможно осыпать ненавистного автора бранью, молчания — в тех случаях, когда тень, освященная славой, уже недостижима для упреков.

\* Я думаю, Вольтер, подобно всем англичанам, а равно и всем, кто знаком с английской литературой, не согласился бы с мнением «Меркюр», утверждающего: «Удивительно, что Шекспир прославился даже у себя на родине лишь благодаря похвалам Вольтера»<sup>14</sup>. Аддисон и Драйден, знаменитейшие английские писатели, превозносили Шекспира задолго до Вольтера<sup>15</sup>.

го безупречного вкуса, и я без устали повторяю это на страницах своей книги. Я первой ввела в употребление слово «вульгарность», поскольку не нашла более точного обозначения для образов и выражений, страдающих недостатком изящества и утонченности. Однако долг истинного таланта — уважая законы вкуса, обогащать нашу словесность всем прекрасным, возвышенным, трогательным, что таят в себе мрачные пейзажи, которые так прекрасно изображают северные писатели; и если навязывать французам все несуразности английских и немецких трагедий значит ничего не понимать в искусстве, то взирать равнодушным взором на творения северян, умеющих пережить и выразить самые страстные чувства и самые глубокие мысли, значит не ведать, что такое истинное красноречие, и не уметь потрясать сердца.

Невозможно стать хорошим литератором, не изучив творений древних, не зная в совершенстве классиков века Людовика XIV. Но Франция может проститься с надеждой взрастить великих писателей, если французы заранее отринут все, что способно привести к созданию нового рода литературы, открыть уму человеческому новые пути, наконец, обеспечить будущее разуму; творческое одушевление окончательно покинет нас, если нам вечно будут выдавать век Людовика XIV за образец совершенства, выше которого ни одному красноречивому писателю или мыслителю никогда не подняться.

В своей книге я тщательно отделяю изящные искусства от философии, ибо я убеждена, что искусство не способно совершенствоваться бесконечно, тогда как мысль в своем развитии не знает предела<sup>19</sup>. Меня обвиняют в непочтительном отношении к древним. Между тем я на разные лады твержу в своем сочинении, что большинством поэтических вымыслов мы обязаны грекам, что словесность нового времени *не только не превосходит шедевры древнегреческой литературы, но даже не способна сравняться с ними* \*; не говорю я

\* Я убеждена, что в превосходных сочинениях нового времени любовь изображена более тонко и проникновенно, нежели у древних, ибо есть чувства, сила которых зависит от глубины мыслей. Сами возражения моих критиков подсказывают новые аргументы в пользу моей точки зрения. Приведу лишь два примера; остальное читатель

лишь одного — что за три тысячи лет человечество не обогатилось ни одной новой мыслью, а это в глазах тех, кто обрекает род человеческий на муки Сизифа, скатывающегося вниз всякий раз, когда вершина уже близка, большой порок.

Отчего же учение о совершенствовании рода человеческого служит нынче предметом столь страстных политических споров? Какое отношение имеет оно к политике? \*

Те, кто полагают, будто их политические убеждения предписывают им выступать против совершенствования человеческого ума, проявляют, на мой взгляд, излишнюю скромность. Сторонникам монархии<sup>24</sup>, равно как и приверженцам республики, подобает считать, что проповедуемый ими образ правления способствует лучшему устройству общества и развитию разу-

найдет в других примечаниях. Мне задавали вопрос: сделались ли признания в любви более пылкими со времен Элоизы? На это я могу ответить, что написанные по-латыни послания Элоизы не выдерживают никакого сравнения с теми восхитительными строками, которые вложил ей в уста Поп<sup>20</sup>. Меня спрашивали, есть ли что-либо более трогательное, чем встреча Энея с Андромахой в «Энеиде» и возглас Андромахи: «Где Гектор?»<sup>21</sup> На этот вопрос я могла бы и не отвечать, ибо в книге моей Вергилий назван «чувствительнейшим из поэтов», но мне есть что сказать по этому поводу: чувства Расиновой Андромахи так утонченны, что она предпочитает умереть, лишь бы не уступить домогательствам Пирра; Вергилиева же Андромаха после смерти Гектора дважды соединяется узами брака, сначала с Пирром, а затем с Еленом, причем римский поэт даже не подозревает, что это обстоятельство может уменьшить наше сочувствие к его героине. Если мы добавим к этим примерам многие другие, приведенные в книге, и вспомним все сочинения древних, мы не найдем среди них ни одного, которое не подтверждало бы превосходства римлян над греками; в том, что касается чувствительности, Тибулл совершеннее Анакреона, Вергилий выше Гомера. В свою очередь Расин, Вольтер, Поп, Руссо, Гете и прочие авторы нового времени наделяли своих влюбленных героев чуткостью и верностью, меланхолией и преданностью, совершенно чуждыми нравам, законам и духу древних.

\* Это учение уже было жертвой стольких абсурдных толкований, что я считаю своим долгом пояснить свое понимание совершенствования. Во-первых, говоря о нем, я вовсе не утверждаю, что люди нового времени умнее древних; однако я полагаю, что с течением времени сумма идей, которыми располагает человечество в любой области знания, возрастает<sup>22</sup>. Во-вторых, говоря о совершенствовании рода человеческого, я отнюдь не имею в виду несбыточные мечтания иных мыслителей, я веду речь о последовательном развитии цивилизации во всех сословиях и во всех странах<sup>23</sup>.

ма; не будь они в этом уверены, разве могли бы они с чистой совестью проповедовать свои взгляды? Последнее полвека учение о совершенствовании рода человеческого отстаивали все просвещенные философы, в каком бы государстве они ни жили \*. Шотландские ученые, в частности Фергюсон, развивали это учение в конституционной монархии; Кант открыто исповедует его в феодальной Германии; Тюрго прославлял его в правление нашего последнего короля, правление хотя и умеренное, но все же деспотическое; а Кондорсе, гонимый кровавой тиранией, которая, казалось, должна была внушить ему отвращение к республике, накануне смерти оставался таким же пылким сторонником учения о совершенствовании рода человеческого, как и прежде!<sup>26</sup> Отсюда ясно, какое большое значение придавали мыслящие умы этой системе, которая позволяет людям приобщиться бессмертия еще при жизни и сулит им бескрайнее будущее, нескончаемое движение вперед! \*\*

Учение о совершенствовании не противоречит рели-

\* Самое поразительное в человеке, сказал гражданин Талейран 10 сентября 1791 года в докладе о народном образовании<sup>25</sup>, — его способность к совершенствованию, причем способность эта, заметная и в отдельных людях, наиболее ярко проявляется в человечестве в целом: о том или ином человеке позволительно, пожалуй, сказать, что он достиг предела своих возможностей, но о человечестве в целом, умственные и нравственные богатства которого непрерывно возрастают благодаря усилиям предшествующих поколений, говорить так невозможно.

\*\* Опирается на это учение и Годвин в своем труде о политической справедливости, однако, хотя он человек большого ума, я не настолько доверяю ему, чтобы ссылаться на его мнение. Кое-кто обвинял меня в том, что я почерпнула некоторые идеи моей книги, где, впрочем, идет речь только о литературе, из «Политической справедливости» Годвина<sup>27</sup>; я решительно отвергаю это обвинение. Я уверена, что в труде Годвина нет ни одной идеи, совпадающей с моими идеями, за исключением мысли о том, что род человеческий совершенствуется, которая, к счастью, не принадлежит ни мне, ни Годвину. Я полагаю, что первой попыталась применить это учение к литературе, однако дорожу возможностью показать, сколь много почтенных философов с успехом отстаивали учение о совершенствовании в широком смысле, безотносительно к литературе; замечу также, что я не разделяю мнения одного нынешнего литератора, уверенного, что идея совершенствования человеческого рода исчерпывающе изложена Вольтером в прелестной сатире «Светский человек», в которой якобы «собрано все лучшее, что есть в пространных рассуждениях об этом самом совершенствовании»<sup>28</sup>.



гиозным верованиям. Просвещенные проповедники испокон веков видели в религиозной морали средство возвысить род человеческий; я постаралась доказать, что это прекрасно удалось христианству. Таким образом, ни один мыслитель, кроме тех, что запрещают людям думать, читать и писать, ни одно государство, кроме государства деспотического, не может признать себя противником учения о совершенствовании. Какими же опасностями может оно грозить человеку рассудительному и независимому?

Мне возразят, что под его прикрытием варвары вершили чудовищные злодеяния. Но разве Варфоломеевская ночь велит нам сделаться безбожниками? Разве преступления Карла IX и Тиберия<sup>29</sup> означают, что единовластие недопустимо ни в одной стране? Чем только люди не злоупотребляют! Они убивают друг друга с помощью воздуха и огня, и вся природа в их руках — лишь орудие разрушения. Следует ли отсюда, что добро не нужно почитать добром, и означает ли это, что всякое злоупотребление благородной идеей неуклонно ведет человечество к падению? Видя, как сурово мстят иные люди философии, свободе и разуму, можно подумать, будто виной всему именно философия, предрассудки же, низость и ложь не принесли человечеству ни малейшего зла<sup>30</sup>.

Мне представляется гораздо более вероятным, что противники учения о совершенствовании не обдумали всерьез свое мнение. В самом деле, они согласны, что науки постоянно идут вперед, но отказывают в том же самом разуму. Меж тем наука теснейшим образом связана с нравственным и политическим состоянием нации. Изобретение компаса привело к открытию Америки, в результате которого нравственность и политика в Европе претерпели значительные изменения. Книгопечатанием мы обязаны науке. Если однажды люди научатся летать по воздуху, разве не повлияет это на их отношения между собой?

В конечном счете суеверия несовместимы с развитием опытных наук. Точный расчет рано или поздно помогает исправить любую ошибку. Наконец, разве философия настолько далека от науки, что на разуме человеческом ничуть не сказываются исполинские шаги вперед, которые делают ежедневно ученые, наблюдаю-

щие и преобразующие мир действительный? Разве опыт и наблюдение не озаряют светом своих открытий нравственность, разве не способствуют они совершенствованию человеческого мышления? Скажу больше: расцвет науки делает необходимым расцвет нравственности; ибо чем больше возрастает могущество человека, тем нужнее узда, которая помешала бы ему употребить достигнутое во зло. Расцвет науки делает необходимым и расцвет политики. Нации, чьи познания с каждым днем расширяются, потребно более просвещенное правительство, которое с большим уважением прислушивалось бы к ее мнению, и, хотя в многовековой истории Европы случались непродолжительные периоды, отмеченные печатью бедствий, все же можно с уверенностью утверждать, что ни одна из современных наций не потеряла бы над собою власти стольких низких и жестоких тиранов, скольких знал Рим. Кроме того, совершенствование рода человеческого необходимо отличать от совершенствования человеческого ума. Первое даже более очевидно, чем второе. Всякий раз, когда какая-либо нация, будь то американцы, русские или еще кто-либо, усваивает то или иное благо цивилизации, род человеческий совершенствуется, как совершенствуется он и тогда, когда низший класс общества прощается с рабством и унижением. Пусть не всегда ввысь и вглубь, но вширь просвещение распространяется постоянно, и с этим бесполезно спорить. Одним словом, чтобы опровергнуть все, что говорится в эпоху, когда к спорам примешивается так много личных пристрастий, понадобилась бы целая книга. Но книгу эту напишет само время; потомкам будет так же трудно понять мелочную злобу нынешних противников философических идей, как и жестокость тех, кто повинен в терроре.

Горды сыновним превосходством  
Не знают зависти отцы <sup>31</sup>.

Эти стихи, которых вполне достойны наши современники, покрывшие себя воинской славой, можно применить также к поступательному движению разума, и горе тому, чье сердце не предчувствует этого благородного движения!

Отчего видные ученые, подвизающиеся на разных поприщах, не объединяют свои усилия, дабы поддер-

жать идеи величавые и возвышенные? Разве не замечают они, как повсюду самые подлые чувства, самая низкая алчность с каждым днем овладевают все новыми и новыми душами, развращая людей, пользовавшихся дотоле всеобщим уважением? Что же останется на долю тех, кто еще испытывает некоторый интерес к достижениям человеческой мысли, и даже тех, кто ограничивает круг своих занятий искусством, не желая обращать внимание ни на что иное? Ныне они нападают на философию, но скоро пожалеют об этом; скоро они поймут, что, унижая ум, ослабляют и те душевные силы, которые внушают любовь к поэзии и сообщают сердцам ее благородный энтузиазм.

Люди порочные действуют сообща — значит, и людям талантливым следует объединиться; выступая сплоченно, они помогут друг другу отличиться, если же они будут нападать друг на друга, то уступят первые места расчетливым баловням судьбы, которые осмеют все бескорыстные привязанности: любовь к истине, желание славы и ревность к созиданию, возбуждаемую надеждой принести людям пользу и усовершенствовать их разум\*.

## ВВЕДЕНИЕ

Я намерена рассмотреть, какое влияние оказывают религия, нравы и законы на литературу, а литература — на религию, нравы и законы<sup>1</sup>. Французская словесность насчитывает не один превосходный трактат об искусстве сочинительства и правилах вкуса\*\*, однако, на мой взгляд, никто до сих

\* Я опровергала многие возражения, выдвинутые против моей книги, но я прекрасно сознаю, что есть род критики, с которой я бессильна спорить: это нападки на меня за то, что я, женщина, осмеливаюсь писать и думать. Соображения такого рода Мольер много лет назад вложил в уста Арнольфа из «Школы жен»:

Нет-нет, высокий ум совсем не так хорош,

И сочинительниц не ставлю я ни в грош.

Пускай моя жена в тех тонкостях хромает,

Искусства рифмовать пускай не понимает.

Жену немногому мне надо обучить:

Всегда любить меня, молиться, прясть и шить<sup>32</sup>.

Хотя шутки эти несколько избиты, я понимаю, что кому-то они могут нравиться; не понимаю я иного — как могут мой характер и мои сочинения вызывать столько злобы. Что бы эти люди ни говорили обо мне, я не верю, что они в самом деле так думают.

\*\* Я имею в виду труды Вольтера, Мармонтеля и Лагарпа.

пор еще не уделил должного внимания воздействию нравственности и политики на дух литературы. Никто, мне кажется, не исследовал, как прославленные творения всех родов, от Гомера до наших дней, споспешествовали постепенному развитию человеческих способностей.

Я попыталась доказать, как медленно, но неуклонно движется вперед ум человеческий усилиями философов и какие стремительные, но редкие победы одерживает он в искусстве. Древние и новые труды, посвященные нравственности, политике и науке, неопровержимо доказывают, что чем старше становится человечество, тем лучше работает его мысль. Иначе обстоит дело с поэтическими красотами, которыми мы обязаны одному лишь воображению. Рассматривая отличительные свойства итальянской, английской, немецкой и французской словесностей, я, как мне кажется, смогла показать, что в основе извечного их несходства лежит разница политических и религиозных установлений. Наконец, созерцая то смешение руин и надежд, которое, если можно так выразиться, оставила нам в наследство французская революция<sup>2</sup>, я сочла своим долгом исследовать, какое действие произвела эта революция на просвещение и к каким следствиям могла бы она привести, если бы у нас достало мудрости в равной мере уважать законность и свободу, нравственность и республиканскую независимость.

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению плана моей книги, я должна напомнить о той важной роли, которую играет литература в обществе — если, конечно, толковать литературу как можно более широко, понимая под ней и философические труды, и творения изящной словесности, и вообще все сочинения, в которых запечатлена работа человеческой мысли, за исключением трактатов, относящихся к точным наукам<sup>3</sup>.

Вначале я поведу речь о литературе вообще в ее связи с добродетелью, славой, свободой и счастьем, и, поскольку нельзя не признать, что она оказывает огромное влияние на эти великие движители человеческих поступков, читатели, надеюсь, с тем большим интересом проследят вместе со мной за тем, как развивалась литература в той или иной стране в ту или

иную эпоху и как менялся от страны к стране и от эпохи к эпохе ее дух.

Отчего не властна я возвратить все просвещенные умы к усладам, даруемым философией! Современники революционных переворотов нередко отчаиваются отыскать истину. Когда победу одерживает не правый, а сильный, когда успех искупает преступления, когда добродетели подвергаются хуле, когда власти преследуют обездоленных, когда любое проявление великодушия встречается насмешками, а низменные расчеты прячутся за лицемерными речами, — тогда самые верные поклонники разума теряют веру в его победу. Однако пусть заглянут они в историю человеческого духа и ободрятся при мысли о том, что всякая полезная идея или глубокая истина рано или поздно обретает своих приверженцев. Разумеется, мало радости в том, чтобы возлагать все свои сокровенные надежды на далеких потомков, чужестранцев, незнакомцев — словом, на людей, которых мы не можем ни оживить в памяти, ни нарисовать в воображении. Но, увы, за исключением нескольких верных друзей, большинство тех, кто десятилетие назад, до начала революции, были вам близки, ныне удручают и притесняют вас, подавляют если не своим превосходством, то недоброжелательностью, которая причиняет особенно сильную боль нежным душам и приносит особенно сильные страдания тем, кто их не заслужил.

Не позволим же тяготам жизни согнуть нас, не дадим нашим несправедливым гонителям, нашим неблагодарным друзьям гордиться победой над нашим умом. Они заставляют тех, кто удовольствовался бы нежными привязанностями, искать славы: что ж, мы завоюем ее. Честолюбивые попытки не залечат душевных ран, но зато жизнь будет прожита не зря. Посвятить ее безнадёжной погоне за счастьем — значит навлечь на себя еще большие невзгоды<sup>4</sup>. Лучше приложить все старания к тому, чтобы пройти по дороге, ведущей от юности к смерти, с честью и достоинством.

#### О СВЯЗЯХ ЛИТЕРАТУРЫ С ДОБРОДЕТЕЛЬНО

Безупречная добродетель есть идеально прекрасное в сфере духа. Впечатление, производимое ею на нас,

чем-то подобно чувству, которое рождается в нашей душе при созерцании всего возвышенного как в изящных искусствах, так и в природе. Правильные пропорции древних статуй, чистота и покой, разлитые на некоторых живописных полотнах, гармония в музыке, зрелище прекрасной и плодородной сельской местности преисполняют нас энтузиазма, имеющего немало общего с восхищением, которое вызывает в нашей душе всякий благородный поступок. Диковины, как рожденные природой, так и изобретенные человеком, способны на миг поразить воображение, но отдохновение человеческого уму дарует лишь то, что упорядочено<sup>5</sup>. Желая дать представление о грядущем блаженстве, люди говорили, что дух человеческий возвратится в лоно создателя: едва ли не сходное потрясение испытывают несчастные, погрязшие в заблуждениях страсти, когда до слуха их внезапно доносятся величественные речи, напоминающие о добродетели, гордости, сострадании, и в душе их вновь пробуждается способность чувствовать.

Из литературных красот долговечны лишь те, что зиждутся на безупречной нравственности. Порочные поступки могут пленить людей, порочные суждения — никогда. Никакой, даже самый талантливый поэт не вправе извлекать трагический эффект из положения безнравственного. Люди часто расходятся в оценках жизни действительной, но в оценках творений искусства они единодушны. Литературная критика очень часто оборачивается моральным трактатом. Превосходные писатели, будь они послушны велениям своего таланта, явили бы миру весь героизм преданности, всю трогательность самопожертвования. Тот, кто изучает искусство волновать души, проникает в тайны добродетели.

Лучшие творения писателей, что бы они ни изображали, производят в сердце читателя некое нравственное и физическое потрясение, рождают в его душе тот трепет восторга, который приуготавливает к поступкам великодушным. Греческие законодатели придавали большое значение воздействию музыки — воинственной или сладострастной. Красноречие, поэзия, драматические положения и меланхолические мысли обращаются к разуму, но трогают также и чувства. Благодаря

им добродетель входит человеку в плоть и кровь, овладевает им так же безраздельно, как самая сильная страсть. Достоин сожаления, что творения нынешних сочинителей редко пробуждают этот благородный энтузиазм. Несомненно, вкус воспитывается чтением шедевров литературы прошлого, однако каждый из нас привыкает к ним с детства; каждый из нас знакомится с прекрасной книгой в свой черед, независимо от соотечественников и современников. Если бы мы все толпой устремлялись на первое представление трагедии, не уступающей Расиновой, если бы мы были первыми читателями Руссо и первыми слушателями Цицерона, удивление и любопытство приковали бы наше внимание к истинам, пребывающим в небрежении, и талант, повелевающий умами, возвратил бы нравственности кое-что из того, чем он ей обязан, и поклонился бы тому самому божеству, которое даровало ему вдохновение.

Способности человеческие связаны столь тесно, что, даже совершенствуя свой литературный вкус, мы возвышаем свой нрав: собственный наш язык оказывает на нас некоторое влияние; рисуемые им образы изменяют наши намерения. Выбирая из нескольких выражений самое чистое и возвышенное, писатель или оратор принимает в уме такое решение, какое подобало бы принять его душе в жизни действительной, и такова сила привычки, что одно может повлиять на другое.

Приверженность к духовной красоте, пусть даже речь идет только о литературе, не может не внушить отвращения к любой подлости и жестокости, и это безотчетное отвращение почти так же надежно, как и выношенные убеждения.

На первый взгляд кажется, что незачем воздавать хвалу острому уму — ведь преимущества его очевидны. Тем не менее находятся люди, которые (едва ли не от избытка ума) приписывают ему всяческие пороки. Единственное основание для подобного парадокса — игра слов. Ум поистине острый — не что иное, как способность верно смотреть на вещи; в здоровом смысле ума гораздо больше, чем в заблуждениях. Чем больше у человека здравомыслия, тем более острый у него ум; гений — это здравомыслящий подход к новым идеям. Гений пополняет сокровищницу здравого смысла, он трудится на благо разума. То, что он открывает сего-

дня, вскоре делается общеизвестным, ибо стоит кому-то открыть важную истину, как весть о ней почти мгновенно облетает весь земной шар. Софизмы, суждения несправедливые и противоречивые — проявления не столько остроты ума, как это обычно считают, сколько его изъянов. Итак, острый ум во всех отношениях сродни высшему разуму, и вреда от него ничуть не больше, чем от самого разума. Пробуждать ум нации, препоручать важнейшие должности людям умным — значит способствовать торжеству нравственности.

Зачастую острый ум обвиняют в тех прегрешениях, причиной которых служит недостаток ума. Полуразмышления, полусуждения смущают человека, не просвещая его<sup>6</sup>. Добродетель — и привязанность души и осознанная истина; ее нужно либо почувствовать, либо понять. Но если советы вашего рассудка противоречат велениям инстинкта, не заменяя их, то вас губят не те качества, которыми вы обладаете, а те, которых вы лишены. Спасение от всех бед человеческих следует искать в небесах. Обратите ваши взоры ввысь, и мысли ваши сделаются благороднее: ведь чем выше, тем чище воздух, тем ослепительнее свет. Одним словом, возбуждайте в человеке стремление к превосходному мастерству во всякой сфере, и вы усовершенствуете его нравственность. На долю гения выпадают рукоплескания и доброжелательство, умягчающие его душу. Взгляните на людей жестоких: в большинстве своем они бездарны. Волею случая сами лица их носят на себе печать уродства, и они мстят обществу и природе за все, чем их обделили. Я без страха доверяюсь людям, довольным своей судьбой и способным тем или иным образом заслужить одобрение сограждан. Но разве заботится о сохранении рода человеческого тот, кто не надеется услышать от себе подобных ни единого слова сочувствия? Лишь тот, кто удостаивается восхищения людского, нуждается в людях.

Не раз говорилось, что историки, комические авторы, одним словом, все те, кто изучают нравы, дабы изображать их, постепенно становятся равнодушны к добру и злу. Поверхностное знакомство с людьми может иметь таковые последствия, знакомство более глубокое производит действие противное. Тот, кто рисует людей в духе Сен-Симона и Дюкло, лишь увеличивает



их легкомыслие и вольность нравов <sup>7</sup>, но тот, кто судит их так, как судил Тацит, не может не принести пользы своему веку. Умение наблюдать характеры, объяснять их пружины, обнажать их оттенки оказывает на общество влияние столь сильное, что в стране, где царит свобода печати, ни один государственный муж, ни один человек, пользующийся известностью, не сможет спастись от всеобщего презрения, если его осудит человек талантливый. Сколь часто ненависть к преступлению внушала ораторам прекрасные речи, в которых они, требуя возмездия, взывали к благороднейшим чувствам человеческим! Ничто не способно сравниться с впечатлением, которое производит рассказ о некоторых движениях души или начертанные смелою рукою портреты. Изображение порока, выполненное проницательным наблюдателем, оставляет впечатление неизгладимое. Исследуя потаенные чувства и незаметные подробности, редкой наблюдатель нередко находит слова столь энергические, что они навсегда прирастают к виновному. Позор, на который писатель обрекает преступника, искусно его изображая,— еще одно доказательство нравственной благотворности литературы \*.

Мне остается ответить тем, кто в опровержение моих мыслей напомнит мне, возможно, о произведениях, талантливо описывающих предосудительные нравы. Конечно, производи такие книги впечатление неизгладимое, они могли бы дурно повлиять на нравственность, но, как правило, они оставляют лишь легкий след, который чувства подлинно глубокие без труда стирают. Сочинения потешные развлекают ум, но не задерживаются в памяти. По природе своей человек серьезен и, предаваясь тихим думам, тянется к сочинениям рассудительным либо чувствительным. Лишь таковыми сочинениями приобретали авторы литератур-

\* Безусловно, на наши рассуждения о пользе, которую приносит обнародование истины, нам могут возразить, припомнив отвратительные памфлеты, пятнавшие честь Франции <sup>8</sup>; но ведь я говорю лишь о тех услугах, которые способен оказать человечеству писатель талантливый, а такой писатель не станет опускаться до лжи: он боится вводить людей в заблуждение, ибо не желает потерять их уважение. В любой сфере полагаться можно лишь на людей одаренных, а опасаться следует пороков, пристекающих из скудости ума или души.

ную славу, лишь с их помощью оказывали подлинное влияние на нравы.

Быть может, кто-то скажет, что литературные занятия отвлекают человека от обязанностей семейственных и от исполнения своего долга перед отечеством? Мы живем не в древних республиках, где каждый гражданин мог влиять на судьбу своего отечества; еще сильнее удалились мы от тех патриархальных времен, когда все привязанности человека ограничивались семейным кругом. Сегодня литература европейская должна способствовать развитию всех великодушных порывов. Не общественные добродетели и не семейственные чувства являются ныне соперниками литературы, а самый расчетливый эгоизм и самое низкое тщеславие.

Большинство людей, напуганных ужасными последствиями недавних политических событий, нынче вовсе утратили желание совершенствовать самих себя; они слишком уверовали в могущество случая, чтобы с уважением относиться к могуществу человеческого ума. Попытайся французы добиться новых успехов на литературном и философском поприще, они сделали бы первый шаг на пути к жизни нравственной; даже утехи тщеславия связывают людей некими узами. Так мы постепенно вышли бы из нынешнего ужасного состояния, когда природный эгоизм соединяется с приобретенным в обществе корыстолюбием, когда в сердцах царят развращенность без учтивости, грубость без честности, образованность без просвещенности, невежество без энтузиазма и, наконец, *разочарование* — болезнь людей избранных, которой мнят себя подверженными и иные ограниченные себялюбцы из числа тех, что думают только о себе и равнодушно взирают на чужие несчастья.

#### О СВЯЗЯХ ЛИТЕРАТУРЫ СО СЛАВОЙ °

Если литература совершенствует нравственность, она уже одним этим оказывает услугу славе, ибо без нравственности слава недолговечна. Если бы общественное мнение не исходило из незыблемых моральных законов, если бы каждый человек не стремился привести свои суждения в согласие с суждениями сограждан, блестящие репутации рождались бы и сменяли друг друга совершенно беспорядочно, по воле случая. Неко-

торые замечательные поступки поражали бы воображение, но от удивления еще далеко до возвышеннейшего из всех чувств — восхищения. Судить можно лишь сравнивая. Уважение, одобрение, почтение — это ступени, ведущие к высшей точке — энтузиазму<sup>10</sup>. Слава, эта благородная награда, которой удостаиваются все общественные добродетели, зиждется на нравственности, что же касается литературы, то она споспешествует рождению славы не только благодаря своему единению с моралью, но и непосредственно.

Любовь к отечеству — чувство сугубо общественное. Созданный природой для жизни семейственной, человек простирает свои честолюбивые помыслы далее лишь оттого, что нуждается во всеобщем уважении, уважение же это, плод общественного мнения, подвластно литераторам. В Афинах и Риме, двух столицах цивилизованного мира, ораторы, произнося речи на площадях, распоряжались волей народа и судьбой отечества; в наши дни на события и мысли влияют книги. Чем была бы нация, если бы составляющие ее люди не сообщались друг с другом посредством печатных книг? Молчаливое сожительство множества людей не высекало бы ни одной искры, толпа не имела бы доступа к мыслям гения.

Поскольку род человеческий постоянно обновляется, личность властна лишь над общественным мнением, а дабы мнение это существовало, людям необходимо иметь средство сообщаться меж собой, невзирая на разделяющие их расстояния, необходимо опираться на идеи и чувства, принятые повсеместно. Поэты и моралисты объясняют нам, что такое благородные поступки; знакомство с изящной словесностью дарит нации возможность награждать великих людей, ибо приучает судить их по достоинству. Даже варварам была введена слава — слава военная. Не следует, однако, сравнивать невежество с вырождением; народ, который некогда был просвещенным, а затем охладил к философии и искусству, неспособен к сильным чувствам; в нем живет лишь дух насмешки, противный восхищению, он боится похвалить незаслуженно и, подобно юношам, претендующим на обладание хорошими манерами, полагает более достойным бранить, пусть даже несправедливо, чем снизить до одобрения. Такой народ живет без-

заботно; у всех поголовно душу сковывает старческий холод; нас это не удивляет — мы слишком хорошо знаем подобное состояние: люди разучаются отличать достойное от недостойного; многие иллюзии разрушаются, но истины не приходят на их место; старики впадают в детство, разумники терзаются сомнениями; люди утрачивают интерес к себе подобным и превращаются в тех, кого Данте назвал «ничтожными»<sup>11</sup>. К тем, кто хочет отличиться, относятся с предубеждением; большую публику заранее утомляет всякий, кто ищет ее внимания.

Нация, приобретающая с каждым днем новые познания, любит великих людей, ибо видит в них вожатых, указывающих ей путь; нация же, которая с каждым днем опускается все ниже, видит в горстке гениев, неподвластных всеобщему разложению, грабителей, присвоивших, если можно так выразиться, ее богатства. Она равнодушна к их успехам, внушающим ей лишь зависть.

Распространение идей и знаний, последовавшее в Европе за отменой рабства и изобретением книгопечатания, может привести либо к безостановочному совершенствованию общества, либо к полному его вырождению. Дух исследований, открывающий подлинные основы общественных установлений, сообщает старым истинам новую силу, но те поверхностные исследования, что разрушают привычные представления, не проникая внутрь предмета, лишь ослабляют силу убеждений, выношенных человечеством. Нация нерешительная и пресыщенная неспособна к страстному восхищению, и даже военные успехи не смогли бы удостоиться вечной славы, если бы литература и философия не учили людей чтить героев-воинов и прославлять их<sup>12</sup>.

Неверно, что великому человеку более лестно пребывать на вершине славы в одиночестве, нежели первенствовать среди других знаменитостей. Политическим деятелям известно, что король не мог бы существовать без дворян и пэров; в сфере духовной для существования верховных владык также необходима придворная знать. Чего стоит полководец, по чьей воле во тьме невежества варвары бьются с варварами? Цезарь славен лишь потому, что вершил судьбами Рима, где жили Ци-

церон, Саллюстий, Катон, склонившие свои таланты и добродетели по мановению меча одного-единственного человека. За спиной Александра стояла Греция. Самым доблестным воинам, чтобы снискать известность, потребно, чтобы завоеванная ими страна славилась сокровищами человеческого ума. Я не знаю, настанет ли день, когда мысли человеческой окажется под силу уничтожить такое бедствие, как война, но, доколе день этот не наступил, величие воинских подвигов будет открываться людям по воле красноречия и воображения, по воле самой философии. Позвольте всем деяниям уравниваться, обесцениться — и верх одержит сила, однако ей придется прозябать в безвестности: утрата соперничества унизит человечество в тысячу раз больше, чем все происки зависти, жертвою которых становилась доселе слава.

О СВЯЗЯХ ЛИТЕРАТУРЫ СО СВОБОДОЙ <sup>13</sup>

Свобода, добродетель, слава, просвещение — эти величественные спутники природного достоинства человека связаны между собой, восходят к единому источнику и не смогли бы существовать друг без друга. Каждая нуждается в совокупном действии всех остальных. Души, верящие в божественное предназначение человека, видят в этой совокупности, в этом внутреннем единении всего доброго лишнее доказательство того, что нашим миром правит единый нравственный закон, воля единого Творца.

Успехи литературы, то есть совершенствование искусства мыслить и изъясняться, необходимы для установления и сохранения свободы. Очевидно, что чем деятельнее участвуют граждане в управлении государством, тем сильнее нуждаются они в свете знаний. Но так же верно, что политическое равенство, на котором покоится любое разумно устроенное государство, может существовать лишь там, где различия в познаниях почитаются так же свято, как сословные различия при феодализме. Чистота языка и благородство чувств, свидетельствующие о гордости души, необходимы в первую очередь в государстве демократическом. При другом политическом устройстве людей, получивших разное воспитание, разделяют некоторые искусственные преграды, если же люди приходят к власти лишь бла-

годаря своим личным достоинствам, вдвойне важно, чтобы они обладали подобающими своему высокому положению манерами.

Гражданам демократического государства постоянно грозит опасность пуститься в погоне за популярностью в подражание нравам черни, а там недолго и возомнить, что значительное превосходство над толпой, которой управляешь, бесполезно, если не вредно. Народ вскоре привыкнет избирать своими вождями людей невежественных и грубых, которые сделаются гасителями просвещения, а затем круг замкнется и непросвещенность правителей приведет народ к рабству.

В свободной стране государственные деятели не могут обойтись без искренней поддержки простых граждан. Логика и красноречие — естественные узы, связующие членов республиканского сообщества. Как станете вы управлять свободной волей людей, если вы лишены этой силы, этой правды языка, которая проникает в сердце каждого и одушевляет его вашими чувствами? Там, где к власти приходят люди, не владеющие искусством убеждения, нация чуждается просвещения и не умеет осознать свою собственную судьбу. Косноязычие разъединяет людей, оставляя каждого во власти собственных впечатлений. Тот, кто не способен убедить, начинает угнетать; чем меньше у властителей достоинств, тем сильнее попирают они права подданных.

Если вы мечтаете увидеть свое отечество свободным, добейтесь, чтобы новые установления изменили склад ума граждан. А как привить людям какие бы то ни было убеждения, не прибегая к помощи выдающихся писателей? Вместо того чтобы отдавать приказы, следует внушать людям желания; как бы необходимы ни были новшества, о которых вы мечтаете, важнее всего — шадить общественное мнение и делать вид, что вы идете ему навстречу<sup>14</sup>. В конечном счете изменить некоторые национальные привычки способны только шедевры литературы. В уме своем человек бережет тайный источник свободы, неподвластный силе; не раз случалось, что завоеватели перенимали обычаи побежденных народов: убеждение изменяло древние нравы. Навсегда изгнать старинные предрассудки можно только с помощью литературы. В странах, обретших свободу, правительства вынуждены полагаться в борьбе с многовековыми за-

блуждениями на силу смеха, который отвратит от вредных привычек молодежь, и на силу красноречия, которое переубедит людей зрелого возраста; обновляя общественные установления, правительства вынуждены разжигать любопытство, внушать надежды и энтузиазм, наконец, пробуждать вдохновение, благодаря которому создается все сущее и долговечное, а единственная сила, способная вызвать к жизни все эти чувства,— искусство слова.

Если не все жители страны хотят и могут трудиться на благо просвещения, судьба государства попадает в зависимость от распрей политических партий. Не изучая историю и философию, невозможно ни познать права и обязанности народа и правителей, ни довести эти знания до всеобщего сведения. В деспотиях разум помогает каждому смириться с его жребием, в свободных же странах он охраняет покой и свободу всех граждан.

Среди всех творений человеческого разума самым надежным залогом свободы я почитаю философию, красноречие и логику. Науки и искусства — важная отрасль умственных трудов, но их открытия и успехи не оказывают непосредственного влияния на общественное мнение, от которого зависит судьба нации. Геометры и физики, художники и поэты нередко пользуются покровительством абсолютных монархов, меж тем как философы, размышляющие о материях политических и религиозных, выглядят в глазах этих монархов опаснейшими бунтовщиками.

Люди, посвятившие себя опытным наукам, не стесняются в своих трудах со страстями человеческими и привыкают принимать во внимание лишь то, что можно доказать математически. Все, что невозможно исчислить, ученые относят, как правило, к области иллюзий. В государстве, каким бы ни было его устройство, они оценивают прежде всего его силу, а поскольку главное их желание — спокойно заниматься наукой, они склонны подчиняться любой власти. Глубокие размышления отвлекают ученых от повседневности, а абсолютным монархам это на руку: ведь люди, которые полностью погружаются в изучение физических законов мироздания, оставляют на усмотрение первого встречного его нравственные законы. Разумеется, рано или

поздно открытия ученых сообщают новые силы и той возвышенной философии \*, которая судит народы и королей, но это отдаленное будущее не пугает тиранов: многие из них покровительствовали наукам и искусствам, что же до мыслителей и философов, которые по природе своей не терпят покровительства, то к ним всякий монарх относится с опаской.

Из всех искусств более всего послушна разуму поэзия. Однако дух исследований, помогающий открывать и насаждать философические идеи, ей чужд. Тот, кто хочет провозгласить истину новую и дерзкую, предпочтет, вероятно, язык, точно и четко выражающий мысли: он будет стараться не столько поразить, сколько переубедить. В творениях своих поэты чаще восхваляли деспотическое правление, чем осуждали его. Вообще изящные искусства подчас уже одним тем, что несут с собою наслаждения, пестуют таких подданных, какие угодны тиранам. Ежедневными удовольствиями искусство отвлекает ум от напряженных мыслей; оно отдает человека во власть чувственных радостей, вселяющих в душу философию сладострастия, обдуманную беспечность, любовь к сиюминутному, пренебрежение будущим — все, что так выгодно тирании <sup>16</sup>. Станный па-

\* Меня спрашивали, какой смысл вкладываю я в слово «философия», которое не раз употребляю в этом сочинении <sup>15</sup>. Прежде чем ответить, я прошу позволения привести здесь слова Руссо из второй книги «Эмиля»: «Занимаясь сочинительством, я сотню раз думал, что в длинном произведении невозможно употреблять слова всегда в одном и том же значении. Ни в одном языке нет столько терминов, оборотов и фраз, сколько потребно, чтобы выразить все оттенки нашей мысли. Давать определение каждому понятию и всегда ставить это определение на место определяемого слова невозможно, ибо в этом случае не избежать замкнутого круга. Определения были бы хороши, если бы сами не состояли из слов. Тем не менее я уверен, что, несмотря на бедность нашего языка, мы можем изъясняться понятно, даже если будем употреблять одни и те же слова в разных значениях; для этого нужно только одно: чтобы соседние слова проясняли смысл многозначного слова, а период, в который оно включено, служил ему своего рода определением». Приведя мнение великого писателя, я скажу, что ни разу не употребила в своей книге слово «философия» в том смысле, какой хотят придать ему нынешние противники философии, именующие философами безбожников и софистов. Я понимаю под философией знание общих законов нравственного и физического мира, независимость разума, способность мыслить; к философским я причисляю те книги, которыми мы обязаны не только воображению, сердцу и острому уму, но также рассудку и духу исследования (примеч. ко 2-му изд.).



радокс: искусство услаждает жизнь, но делает человека безразличным к смерти. Одни лишь страсти привязывают людей к жизни прочными узами, ибо заставляют из всех сил стремиться к желанной цели, что же до жизни, посвященной наслаждениям, она забавляет, не покоряя, она приурочивает к опьянению, сну, смерти. Во времена, приобретшие печальную известность кровавыми гонениями, римляне и французы охотно предавались публичным развлечениям<sup>17</sup>, меж тем в счастливых республиках семейные привязанности, серьезные занятия, любовь к славе часто отвращают умы от изящных искусств. Единственная сила в литературе, которая вселяет ужас в души неправедных владык,— это благородное красноречие, это независимая философия, которая подвергает суду мысли все мнения и установления человеческие.

Военный дух, подчиняя себе страну, также оказывается губительным для свободы, и единственный способ предупредить эту опасность — сеять просвещение и развивать философию. Военные нередко презируют литераторов лишь оттого, что талант сочинителя далеко не всегда соединяется с силой характера и правдивостью натуры. Однако искусство письма также сделалось бы оружием, слово также стало бы поступком, если бы выражало сполна величие души, если бы чувства воспаряли так же высоко, как и идеи, если бы благородное негодование и неподкупный разум сообща обрушивались на тиранию. Тогда ничто не угрожало бы свободе, ибо уважением пользовались бы не одни лишь военные подвиги.

Дисциплина не позволяет военным иметь собственное мнение о мире. В этом отношении у них много общего с духовенством: в армии, как и в лоне церкви, рассуждения не в чести, главное здесь — подчиняться начальству. Постоянно убеждаясь во всемогуществе оружия, человек преисполняется презрения к слову, воздействующему на умы постепенно. Восхищение, которое вызывают удачливые полководцы, совершенно не зависит от того, какое дело они защищают — правое или неправое. Они пленяют воображение своим счастьем и отвагой. Военные могут победить противников свободы на поле брани, но приблизить ее торжество в своей стране они не в силах; на это способна лишь

мысль, которая, вооружившись всеми воинскими добродетелями — отвагой, пылом, решимостью, — пробуждает в душах человеческих добровольные порывы, угасшие было из-за длительного господства силы. Воинский дух всегда и повсюду одинаков — он не зависит от национального характера, он не связан ни с одним общественным установлением. С равным успехом он может защищать любое из них. Лишь красноречие, любовь к словесности и искусствам, философия способны превратить полосу земли в отечество, сообщив живущим здесь людям одни и те же вкусы, привычки и чувства. Сила презирает историю и подчиняет себе чужую волю, но именно поэтому она бесплодна. В революционные годы французам постоянно внушали, что свободе не восторжествовать без помощи деспотизма. Бессмыслицу облекали в слова и превращали в звонкую фразу, в которой, однако, не было и толики истины. Порядки, установленные насильно, могут притворяться свободными, но свобода эта мертва; она подобна куклам, которые пугающе похожи на людей, но лишены главного — жизни.

О СВЯЗЯХ ЛИТЕРАТУРЫ СО СЧАСТЬЕМ <sup>11</sup>

Люди так долго и упорно гнались за счастьем, что почти забыли, что это такое, а эгоизм, лишивший людей надежды на помощь ближних, сильно поуменьшил то блаженство, которое сулила им жизнь в обществе. Напрасно чувствительные души стали бы стремиться одарить ближних своим неисчерпаемым доброжелательством; неодолимые трудности помешали бы им выполнить их великодушные намерения, а общественное мнение осудило бы их, ибо оно порицает всякого, кто желает выйти за пределы собственного мирка — этого надежного убежища. Человек, которому запрещено помогать несчастным и не дано надеяться на сочувствие, обречен на одиночество. Он обречен жить один, дабы сохранить в уме образцы великого и прекрасного, дабы сберечь в груди священный огонь истинного энтузиазма, а в памяти — образ добродетели, тот образ, какой всегда предстает воображению свободных граждан и какой испокон веков рисовали люди выдающегося ума. Во что превратилось бы человечество, не будь в мире места доброте и великодушию? Живя в окружении

эгоистов, мы не находили бы применения своим чувствам, беспристрастный разум наш тщетно восставал бы против софизмов порока, а искреннее сострадание постоянно подвергалось бы презрению со стороны безжалостного легкомыслия. Возможно, в конце концов мы перестали бы уважать даже самих себя. Человеку нужна поддержка ближнего; он не осмеливается полностью положиться на собственные ощущения; не видя рядом подобных себе, он казнится и мнит себя безумным; мы так слабы и так сильно зависим от общества, что, если бы окружающие в один голос упрекали нас за добродетели, мы, пожалуй, раскаялись бы в них, как в невольных прегрешениях. К счастью, у нас есть возможность прибегнуть к книгам — памятнику лучшим и благороднейшим чувствам всех времен. Если человек любит свободу, если само слово «республика», повелевающее гордыми душами, неразрывно связано для него с нравственным совершенством, то несколько жизнеописаний Плутарха, любое из писем Брута к Цицерону<sup>19</sup>, речи Катона Утического, пересказанные языком Аддисона<sup>20</sup>, гневные размышления Тацита о тирании, чувства, испытанные или угаданные историками и поэтами, возвысят его душу, оскверненную современностью. Человек великодушный живет с собою в мире, если разделяет эти благородные чувства, если почитает добродетели, которые завещало грядущим векам само воображение. Сколько утешений даруют нам писатели прекрасного таланта и возвышенной души! Великие люди древности, становясь жертвой клеветы, могли черпать силы лишь в самих себе, мы же в трудную минуту ищем поддержку в «Федоне» Сократа<sup>21</sup> и прочих прекраснейших творениях. Нас увещивают и ободряют философы всех стран; проникновенные речи, исполненные высокой нравственности и глубокого знания человеческого сердца, звучат так, словно они обращены непосредственно к каждому из тех, кто нуждается в утешении.

Как человеколюбиво, как полезно искусство слова и мысли! Благодаря литературе образцы добра и справедливости не канут в Лету, человек, в чью душу природа вложила влечение к добродетели, всегда будет иметь наставника; наконец — и услуга эта бесценна! — страждущий сможет на время забыть боль и собраться

с силами. Читая сочинения, исполненные добродетельных мыслей и чувств, мы спасаем себя от жгучей тоски, сиротства, ледяного холода, которым сковывает нам душу несчастье, когда мы ни в ком не вызываем сострадания. В любую пору жизни мы орошаем эти сочинения слезами; они возвышают душу до мыслей всеобъемлющих и отвлекают от личных бед; они сближают нас с писателями, давно покинувшими этот мир, и с теми, кто еще живы, с соотечественниками и современниками, разделяющими наше восхищение прочитанной книгой. Не одна страница чувствительного автора укрепила, быть может, дух человека, гибнущего в изгнании или со страхом ожидающего смерти в темнице; ныне страницу эту читаю я, она трогает мое сердце, я, кажется, различаю на ней следы чужих слез, и сходство чувств роднит меня с теми, кому я столь глубоко страдаю. Жить, наслаждаясь покоем и счастьем, не составляет труда. Но если вам выпадут на долю несчастье и одиночество, вы поймете то, чего не ведали прежде, — поймете, что означают для человека мысли и чувства, потрясшие некогда его сердце и живущие в его памяти. Боль стихает, если человек может оплакать свою судьбу, отнестись к самому себе с тем сочувствием, что, можно сказать, разделяет нас на два существа, одно из которых преисполнено жалости к другому. Лишь добродетельному человеку позволено прибегнуть в несчастье к этому средству. Преступник, попав в беду, не облегчит себе участь живительной думой: пока он коснеет в своем преступлении, он обречен терпеть жестокие муки, и ни одно ласковое слово не прозвучит в безднах его сердца. Человек несчастный, отверженный, ставший жертвой клеветы, мог бы, пожалуй, оказаться в таком же положении, что и настоящий преступник, если бы не находил поддержку в сочинениях, возвращающих ему веру в себя и в ближних, сочинениях, убеждающих его в том, что жили на земле существа, которые отнесли бы к нему с состраданием и оплакали бы его участь, узнай они о его беде.

Как драгоценны эти вечно живые строки, которые заменяют друзей, общественное мнение и отечество! О, если бы в нашу эпоху, когда столько несчастий обрушилось на род человеческий, явился писатель, у которого хватило бы таланта собрать воедино все меланхоли-

ческие размышления, все напряженные раздумья, облегчающие участь несчастных,— тогда по крайней мере слезы наши были бы не напрасны!

Путник, выброшенный бурей на необитаемый остров, спешит начертать на скале названия плодов, которые он употребил в пищу, дабы подсказать тем, кого однажды постигнет та же участь, средства победить смерть. Мы, волею судеб ставшие свидетелями революции, обязаны поведать потомкам о тайном могуществе сердца и о неожиданных утешениях, которые спасительница природа ниспосылала нам, дабы помочь пересечь поле жизни.

#### ПЛАН КНИГИ

Изложив несколько общих соображений о том огромном влиянии, которое способна оказать литература на судьбы человечества, я постараюсь развить их, рассмотрев последовательно все великие эпохи в истории словесности. В первой части моего сочинения я веду речь о литературах греческой и латинской, рассматривая их с точки зрения нравственной и философической; размышляю о тех последствиях, которыми оказалось чревато для человеческого духа нашествие северных народов, торжество христианской религии и возрождение древней словесности; бегло перечисляю отличительные черты литературы нового времени и останавливаюсь более подробно на особенностях итальянской, английской, немецкой и французской словесности, исследуя связи между политическим устройством страны и духом ее литературы. Я пытаюсь показать, как та или иная форма правления изменяет красноречие, какие представления о нравственности взращивает в душе человеческой та или иная религия, как простонародные суеверия влияют на плоды человеческой фантазии, а климат — на поэтические красоты, какой уровень цивилизации придает литературе мощь, а какой — изящество, как переменялся образ жизни женщин после принятия христианства и как отразились эти перемены на книгах и нравах, наконец, как самый ход времени способствует всеобщему распространению просвещения. Вот предметы, которым посвящена первая часть.

Во второй я обзираю состояние науки и литературы во Франции после революции и позволяю себе выска-

зять некоторые предположения о том, какими им следовало бы быть и какими они будут, если однажды мы обретем республиканские свободы и республиканскую нравственность; предположения эти я основываю на сделанных в первой части наблюдениях касательно зависимости литературы от религии, нравов и формы правления. Вторая часть явит читателям и наш нынешний упадок и открытые перед нами возможности возрождения. Рассуждая на эту тему, неизбежно приходится затрагивать политическое положение Франции в последние десять лет, но я рассматриваю его лишь постольку, поскольку оно влияло на литературу и философию.

Изучая ход истории и смену эпох, я в первую очередь обращала внимание на то, как совершенствуется род человеческий \*. Я не верю, что человек, это великое творение нравственной природы, хоть на мгновение останавливается в своем развитии: ум человеческий шел вперед и в светлые и в мрачные эпохи.

Есть люди, которые возненавидели учение о совершенствовании из-за тех ужасных последствий, к которым оно привело в некоторые роковые периоды революции; однако ничто так мало не связано с этим благородным учением, как подобные злодеяния. Воспользовавшись тем, что природа иной раз ставит частные беды на службу общему благу, тупые варвары, возомнившие себя верховными законодателями, обрушили на человечество бесчисленные тяготы и, суля народам счастье, не принесли ничего, кроме горя и разорения. Философия умеет извлекать из давних страданий полезные уроки, внимая целительному времени, однако это никому не дает никаких оснований творить дела несправедливые. Поскольку человеку не дано точно знать свое будущее, он должен слушаться лишь одного пророческого голоса — голоса добродетели. Человек невинен или преступен вне всякой зависимости от последствий своего поступка; он обязан покоряться не беззаконным расчетам, а велениям долга; сама жизнь

\* Философические понятия часто подвергаются таким нелепым толкованиям, что ныне, в предисловии ко второму изданию моей книги, я сочла нужным четко объяснить, что именно понимаю я под совершенствованием рода человеческого и человеческого ума (примеч. ко 2-му изд.).

не раз доказывала, что преступными средствами невозможно осуществить благородный замысел<sup>22</sup>. Если, однако, жестокие люди осквернили своими речами великодушные слова, следует ли из этого, что отныне никому не позволено размышлять о возвышенном? Все политические преступления нынче совершаются во имя добродетели, но не значит же это, что мы позволим негодьям похитить у нас все, чему мы поклоняемся.

Нет, ничто не в силах разлучить разум с идеями благотворными. В какое отчаяние впали бы мы, если бы не надеялись, что с каждым днем будем становиться все просвещеннее, если бы не верили, что с каждым днем философические истины будут обретать над нами все большую власть; ведь удел отважных мыслителей и просвещенных моралистов — гонения, клевета, невзгоды. Честолюбцы и завистники только и знают, что насмехаться над укорами совести да обьяснять великодушные деяния бесчестными побуждениями; нравственность до того ненавистна им, что они преследует ее во всех сердцах, где она еще находит прибежище. Злым людям не по нраву тот ореол, который сияет над челом праведника. Сияние это слепит их взоры, и они стремятся погасить его с помощью клеветы. Что же случилось бы с нравственным человеком, жертвой стольких происков, если бы у него отняли самую святую надежду в мире — надежду на совершенствование рода человеческого?

Я всеми силами буду отстаивать эту философическую веру: она дорога мне прежде всего тем, что возвышает душу, а есть ли в мире наслаждение более чистое, чем обладание возвышенной душой, спрошу я у всех, кто способен меня услышать. Лишь возвышенным душам ведомы мгновения, когда все низкие люди и подлые расчеты пропадают из виду. Надежда познать истину и принести пользу, любовь к нравственности, желание славы придают человеку новые силы; смутные ощущения, неясные впечатления сообщают жизни очарование, и наше нравственное чувство пьянеет от счастья и гордости. Если бы все усилия были напрасны, если бы все творения ума пропадали втуне, если бы время поглощало их без возврата, разве не бесплодны оказались бы уединенные размышления человека добродетельного? Поэтому в моей книге я неустанно стре-

милась доказать: род человеческий совершенствуется. К этому выводу привели меня не пустые умствования, а наблюдения над жизнью. Метафизика, не опирающаяся на опыт, не заслуживает доверия, но не стоит забывать, что в развращенную эпоху метафизикой именуют все, что не сходно с эгоистическими расчетами и корыстными спекуляциями.



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ

## ГЛАВА I О НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

В этой книге я разумею под литературой поэзию, красноречие, историю и философию, иначе говоря, изучение нравственной природы человека. Среди этих различных областей литературы одни являются плодами воображения, другие — плодами разума, поэтому нам предстоит выяснить, до какой степени воображение и разум способны к совершенствованию; тогда мы поймем, в чем причина превосходства греков над другими народами в области искусств, и узнаем, насколько философия их соответствовала их эпохе, образу правления и цивилизации.

Поразительные достижения, которых добились греки в литературе, прежде всего в поэзии, могли бы послужить нашим противникам аргументом против совершенствования человеческого ума. За три тысячи лет, скажут нам, никому не удалось превзойти древнейших поэтов, и в особенности самого первого из них; более того, часто наследники греков сильно уступали им. Однако возражение это отпадет, если применить учение о совершенствовании не к воображению, а к разуму.

Совершенствование искусства знает предел, но возможности мысли безграничны<sup>1</sup>. Меж тем в сфере духа дело обстоит так: дорогу, имеющую конец, человек одолевает очень быстро, по дороге же, которой нет конца, он движется медленно. Наблюдение это касается отнюдь не только литературы. Изящные искусства не способны совершенствоваться бесконечно, поэтому воображение, давшее им жизнь, было гораздо более счастливо в первых своих впечатлениях, нежели в позднейших воспоминаниях.

Поэзия нового времени слагается из образов и чувств. С помощью образов поэт подражает природе, с помощью чувств красноречиво изъясняет живущие

в его душе страсти. Греки в древнейшую пору развития их литературы владели в основном искусством первого рода: они блестяще описывали предметы мира действительного. Поэтам случается прибегать к образам, чтобы в более ярких красках запечатлеть свои чувства, но поэзия в собственном смысле слова призвана описывать внешний мир, а не вызываемые им чувства. Изъявление чувств — шаг поэзии в сторону философии. Мы же говорим пока лишь о поэзии как подражании физической природе. Такая поэзия вовсе не способна к бесконечному совершенствованию.

В новом языке старые поэтические средства выглядят по-новому. Однако портрет способен походить на оригинал, и не более того, а сила ощущений ограничена возможностями наших органов чувств. Описания весны, грозы, ночи, битвы, прекрасного лица отличаются одно от другого мелкими подробностями, но сильнее всего потрясает то описание, что создано самым первым поэтом. Новых образцов не дано выдумать никому. Вы совершенствуете оттенки, но честь изобретения все равно принадлежит тому, кто первым употребил основные цвета и придал своим полотнам блеск, какого не в силах достичь его преемники.

Контрасты природы, поражающие взор виды, будучи впервые описаны поэтическим языком, радуют воображение яркими картинками и естественными противопоставлениями. Когда в поэзию входят мысли, они счастливо дополняют ее красоты, но поэзия в этом случае перестает быть только поэзией — той, которую еще Аристотель называл искусством подражания. Разум с каждым днем обретает все большее могущество и осваивает все новые предметы. В этой сфере века наследуют векам: новое поколение начинает свой путь с той точки, на которой остановилось старое; философы разных веков образуют неразрывную цепь, которую не в силах порвать даже смерть; иное дело — поэзия; она может с первой же попытки достичь таких высот, какие не удастся впредь одолеть никому. В науках сильнее всего поражает самое последнее свершение, в искусстве же наиболее плодоносны самые первые шаги младого воображения.

Древние были наделены пламенной фантазией, они воспринимали мир, не расчленяя своих впечатлений.

Они овладевали землей еще не исследованной, не описанной; изумляясь каждому новому наслаждению и желая продлить его, восхищаясь каждым новым созданием природы и желая прославить его, они отдавали всякое наслаждение, всякое создание природы под покровительство особого божества. Они сочиняли, не имея иного образца, кроме описываемых предметов; они не знали предшественников, у которых могли бы брать уроки; когда поэтическое вдохновение не сознает собственного могущества, оно исполняется силы и простодушия, которым нельзя научиться, и литературные творения дышат очарованием первой любви. Иное дело — автор, у которого за спиной не одно поколение сочинителей; он не сможет не заметить в своей душе чувств, описанных другими; ни одно из его впечатлений уже не будет ему внове; исступление, восторг — все подчинится надзору рассудка, и поэту не суждено будет больше верить в собственную богодухновенность<sup>2</sup>.

Греков можно считать первым народом на земле, создавшим литературу; египтяне, их предшественники, обладали, разумеется, некоторыми познаниями и идеями, но однообразие законов сковывало их воображение; египетская поэзия не стала образцом для греческой, которая, таким образом, оказалась самой первой\* — и самой лучшей, что вовсе не удивительно, ибо превосходством своим греки, как мы вскоре убедимся, обязаны именно тому обстоятельству, что жили прежде всех прочих народов\*\*.

Сопоставляя три различных периода греческой литературы, мы ясно видим, как шел вперед человеческий ум. Вначале, в древнейшие времена, цветом греческой нации были поэты. Начальный период греческой литературы освящен именем Гомера; при Перикле мы наблюдаем стремительный расцвет драматического искусства, красноречия, этики и зарождение философии; при Александре все талантливые литераторы предаются занятиям философией. Разумеется,

\* Считается, что древнееврейская поэзия зародилась раньше творений Гомера<sup>3</sup>, но нет никаких сведений о том, что она была известна грекам.

\*\* Разве говорить так — значит отрицать, что все достойные литераторы обязаны принести грекам дань восхищения? (Примеч. ко 2-му изд.)

дабы преуспеть в поэзии, ум человеческий должен развиваться до определенной степени, но, когда цивилизация и философия входят в силу и исправляют ошибки воображения, поэзия во многом утрачивает свой блеск.

Не раз говорилось, что изящные искусства и поэзия процветают в эпохи разврата; означает это лишь одно: большинство свободных народов пеклись в первую очередь о сохранении своей свободы и нравственности, в то время как короли и деспоты охотно поощряли забавы и развлечения. Однако поэмы Гомера, эти древнейшие шедевры поэзии, выказывающие поразительную яркость фантазии, были созданы в эпоху, славившуюся простотой нравов,— следовательно, дело не в добродетели или разврате, а в особой поре — детстве цивилизации, когда вся природа человеку внове<sup>4</sup>. Поэт может быть юн, но это не возвратит детства человечеству; важно, чтобы слушатели его были жадны до природы во всем ее многообразии, чтобы они изумлялись ее чудесам и внимали ее голосам; слушатели, настроенные более философично, помещают искусству стихотворца исполниться новых красот; подлинного поэта вдохновение посещает лишь в кругу людей, которых легко растрогать.

Происхождение общества, возникновение языка — эти первые шаги человеческого ума покрыты для нас абсолютным мраком; меж тем нет ничего более утомительного, чем та метафизика, что исходит из фактов вымышленных и не может опереться ни на одно бесспорное наблюдение. Замечу, однако, что и в мире нравственном и в мире действительном человек быстрее всего овладевает тем, в чем сильнее всего нуждается. Творец был щедр. Он сразу наделил человека и пищей и идеями. То, чего людям остро недоставало, они познали очень быстро; длиннее был путь к открытиям не столь необходимым<sup>5</sup>. Кажется, будто провидение помогает человеку отыскать средства существования и покидает его, лишь только дело доходит до вещей менее насущных. Так, греческий язык включает множество отвлеченных конструкций, слишком сложных для тогдашних писателей, которые, однако, говорили на родном языке в высшей степени грамотно и изящно: ведь язык — необходимое орудие для приобретения

всех прочих знаний, и орудие это каким-то чудом было создано, хотя в ту эпоху ни один человек не мог похвастать метафизическими талантами, потребными для сочинения грамматики; греческие авторы вовсе не такие глубокие мыслители, как это можно было бы предположить по строению их языка. Зато они превосходные поэты: все способствовало расцвету их поэтического дара.

События, характеры, суеверия, обычаи героических эпох<sup>6</sup> удивительно легко претворялись в поэтические образы. Как ни велик Гомер, он вовсе не исполин, не одиночка, возвышающийся над своей эпохой и над эпохами более блистательными. Самый редкостный гений всегда зависит от того, сколь просвещенны его современники; следовало бы расчислить, как далеко может уйти человек от своего века. Гомер впитал предания своего отчества<sup>7</sup>, а тогдашняя история сама по себе была весьма поэтична. Чем меньше было связей между городами и селениями, тем ярче расцветчивало воображение рассказы о случившемся; грабители и хищные животные, разорявшие землю, ставили безопасность людей в зависимость от подвигов героев; перемены в жизни общества непосредственно сказывались на жизни каждого гражданина, и благодарность вкупе со страхом воодушевляли людские сердца. Люди приравнивали героев к богам, ибо ожидали помощи и от тех и от других; воинские подвиги рисовались устранным умам деяниями титанов. Чудесное, таким образом, было неотделимо и от нравственной и от физической природы. Философия, или, говоря иначе, знание причин и следствий, есть выражение восторга, внушаемого мыслителю величественным зрелищем Вселенной, однако каждый мелкий факт получает в ней объяснение очень простое. Обретая способность предвидения, человек утрачивает способность удивляться, а ведь энтузиазм, как и ужас, часто вытекает из удивления.

В героические эпохи древности наибольшим уважением пользовалась телесная мощь — человека ценили не столько за нравственное совершенство, сколько за физическую силу; щепетильность в вопросах чести, милосердие к слабым — все это благородные приобретения последующих веков. Греческие герои на людях

обвиняют друг друга в трусости, сын Ахилла приносит в жертву юную девушку, и все греческое войско рукоплещет этому злодеянию<sup>8</sup>. Древние поэты умели рисовать самыми яркими красками предметы внешнего мира, но характеры, в которых нравственная красота пребывала бы незапятнанной до конца поэмы или трагедии, были им недоступны, ибо в природе таких характеров не существует. Как ни прекрасны поэмы Гомера в том, что касается расположения событий или величия действующих лиц, нередко комментаторов восхищают в них даже самые обычные слова, как будто слова эти и отлитые в них идеи не существовали до Гомера и принадлежат ему одному.

Гомер и греческие поэты замечательны блеском и обилием образов, но не глубиной мыслей. Поэт смотрит вокруг и показывает вам увиденное; он изумляется и сообщает вам свои впечатления, и все его слушатели в каком-то отношении тоже поэты; они веруют, восхищаются, заблуждаются, изумляются, и страсти зрелых мужей уживаются в их сердцах с любознательностью ребенка. Почитайте Гомера, и вы убедитесь, что он описывает все без исключения; он сообщает, что остров окружен водой, что хлеб укрепляет силы, что солнце в полдень стоит прямо над головой. Он описывает все, потому что современникам его все было интересно. Иной раз он повторяется, но никогда не бывает однообразен, потому что всегда одушевляется новыми впечатлениями. Он не бывает скучен, ибо никогда не ведет речь об отвлеченных материях и знакомит вас с длинным рядом картин более или менее приятных, но неизменно поражающих взор. Метафизика, иными словами, искусство обобщения, сильно ускорила развитие человеческого ума, но, сокращая путь, она, пожалуй, лишила ум блеска. Взгляду Гомера предстают один за другим все предметы; он не всегда строг в выборе, но рисунки его всегда дышат чувством<sup>9</sup>.

Греческие поэты вообще писали бесхитростно: теплый климат, живое воображение, постоянные похвалы рождали в их сердцах некую поэтическую горячку, которая внушала им слова песен, подобно тому как пьянящие аккорды, кружащие головы итальянским композиторам, подсказывают им мелодии. Музыка у

греков была неотделима от поэзии, и гармония их языка довершала слияние стихов со звуками лиры.

Тот, кто по-настоящему любит музыку, редко вслушивается в слова прекрасных мелодий. Он предпочитает отдаться смутным грезам, навеваемым звуками. Сходным образом обстоит дело с поэзией образов в противовес поэзии идей. Отвлеченные идеи вызывают раздумья и тем мешают человеку полностью отдаться поэзии. Это не значит, что, дабы сочинять хорошие стихи в наши дни, нужно отказаться от достижений философии. Ум не только рождает философические идеи, но и беспрестанно возвращается к ним; авторам нового времени не дано забыть обо всем, что они знают, не дано уподобиться древним, которые безыскусно описывали увиденное. Наши великие писатели вложили в свои стихи все богатство нашего века, но все поэтические формы, все, что составляет самую суть искусства поэзии, мы заимствуем у древней литературы, ибо, я повторяю, в искусстве и даже в самом первом из всех искусств — поэзии невозможно подняться выше некоего определенного уровня.

Было совершенно справедливо замечено, что самые ранние литературные произведения (за несколькими исключениями, которых я коснусь, когда буду говорить о драматургии) отличаются безупречным вкусом<sup>10</sup>, да и как ему не быть безупречным, если поэтов в ту пору со всех сторон окружали предметы приятные и новые? Вычурность проистекает из пресыщения, к манерности зачастую ведет тоска по разнообразию, греки же, у которых не было недостатка в ярких образах и ощущениях, могли позволить себе запечатлеть лишь те из них, что доставляли им наибольшее наслаждение. Они были обязаны своим безупречным вкусом самой природе, а мы своими теориями обязаны их впечатлениям.

Греки были язычниками — это одна из основных причин, по которым искусство их столь совершенно; греческие боги, которые постоянно вмешивались в людскую жизнь и тем не менее стояли над людьми, придавали любой картине изящество и красоту очертаний. Да и вообще религия у греков служила важным подспорьем их литературе. По воле жрецов и законодателей люди веровали в образы сугубо поэтические; мис-

терии, оракулы, преисподняя — все в мифологии греков кажется созданием необузданного воображения. Народные верования помогли художникам и поэтам вверить тайные пружины своего искусства покровительству небес. Религиозные обряды одухотворяли обыденную жизнь; иное дело у нас: наша роскошь, создающая удобства, наши машины, придуманные учеными, наши общественные отношения, упростившиеся благодаря торговле, — все это недостойно возвышенных стихов. Нынешние богачи по большей части вовсе чужды поэзии; греческие же обычаи лишь подчеркивали живописность событий и благородство людей. Трапезе предшествовали возлияния, долженствовавшие умиловить бессмертных богов; гости, входя в дом, простирались ниц на пороге перед Зевсом-странноприимцем; хлебопашество, охота, сельские труды, которым предавались прославленные герои древности, также являли собой благодатную почву для поэзии, ибо сближали важнейшие политические события с картинами природы.

Рабство, этот ужасный бич человечества, усугубляя разность сословий, еще сильнее подчеркивало величие героических характеров. Итак, ни один народ не был так предрасположен к поэтическому творчеству, как греческий, однако грекам недоставало тех новых идей и впечатлений, которыми может обогатить поэзию философия более нравственная, чувствительность более тонкая.

Нет ничего легче, чем проследить за развитием философии у греков. Эсхил, Софокл и Еврипид постепенно и последовательно вводили в драматическую поэзию нравственные размышления. Сократ и Платон полностью посвятили себя изучению добродетели. Аристоель оказал неоценимые услуги наукам аналитическим. Но в эпоху Гомера и Гесиода и даже позже, в пору поразительного расцвета поэзии, ознаменованную явлением Пиндара, с его одами, представления о нравственности были еще весьма смутны. Чувства мести и гнева, буйство страстей не вызывали в ту пору никакого неодобрения. Геродот, которого можно считать современником Пиндара, видит в праведных и неправедных деяниях не более чем предзнаменования, он осуждает преступления вовсе не по велению совести, а лишь потому, что считает их дурной приметой. Лю-



бовная лирика Анакреона уступает лирике Горация и в блеске таланта и в глубине философии<sup>11</sup>. Слово «добродетель» у греческих авторов этого времени не имеет значения положительного. Пиндар именует добродетельным победителя колесничных бегов<sup>12</sup>; в пылких умах древних успехи, наслаждения, воля богов, обязанности человека — все смешивалось воедино, и на первом месте всегда оказывалась чувственная сторона жизни. Неопределенность моральных норм в те отдаленные времена вовсе не свидетельствует о развращенности, она лишь показывает, как скудны были в ту пору философические представления человечества; все отвращало людей от размышлений и ничто не склоняло к ним. Раздумья в поэзии греков — большая редкость. Еще труднее отыскать подлинную чувствительность.

Разумеется, людям испокон веков была введена душевная боль, энергическое изображение которой мы находим уже у Гомера; однако способность любить, кажется, возрастала по мере того, как шел вперед человеческий ум, а главное, по мере того, как в обществе воцарялись новые нравы, уравнивавшие женщин с мужчинами. Что знали греки о любви? Бесстыдные гетеры, бесправные рабыни, наконец, матроны, не известные никому в свете, запертые в стенах своего дома, чуждые интересам своих супругов, не способные по вине воспитания понять ни одной идеи, ни одного чувства, — вот греческие женщины. Даже сыновья здесь едва ли питали почтение к матерям. Телемак приказывает Пенелопе молчать, и Пенелопа удаляется, восхищенная его мудростью<sup>13</sup>. Грекам никогда не было ведомо первейшее из человеческих чувств — дружба влюбленных, и они никогда о нем не писали. Любовь они считали болезнью, роком, некоей горячкой, не предполагающей в любимом существе никаких нравственных достоинств. То, что греки именовали дружбой, связывало лишь мужчин; они не знали и даже не могли предположить, что среди женщин может найтись существо, равное мужчинам по силе ума и послушное им лишь по велению сердца, подруга жизни, которая будет счастлива посвятить свои таланты, дни и чувства любимому человеку. Решительное отсутствие подобного понимания женского характера заметно не только в

изображении любви, но и вообще всюду, где речь идет о тонких душевных движениях. Телемак, отправляясь на поиски Одиссея, говорит:

...когда же  
Скажет молва, что погиб он, что нет уж его меж  
  живыми,  
То, незамедленно в милую землю отцов возвратяся,  
В честь ему холм гробовой здесь насыплю и должную  
  пышно  
Тризну по нем совершу; Пенелопу склоню на  
  замужство <sup>11</sup>.

Греки чтили мертвых; их религия предписывала строгое соблюдение погребальных обрядов, но меланхолия, глубокое и длительное горе были не в их характере — воспоминания живут долго лишь в женском сердце. У меня еще не раз будет случай отметить, какие изменения произошли в литературе с тех пор, как женщины обрели свое место в нравственном бытии мужчин.

Я постаралась показать, в чем причина изначального совершенства греческой поэзии и недостатков, которыми она страдала на заре цивилизации; теперь мне остается объяснить, каким образом форма правления и национальный дух афинян ускорили развитие всех родов литературы. Никто не станет отрицать, что законы, установленные в стране, оказывают решающее влияние на вкусы, способности, привычки народа — недаром в одну и ту же эпоху в Спарте и Афинах, расположенных так близко друг от друга, климат и религия были одинаковые, а нравы — разные <sup>15</sup>.

В Афинах все установления возбуждали ревность к творчеству. Афины не всегда были свободны. Но дух поощрения талантов здесь никогда не ослабевал. Ни одна нация не была так чувствительна ко всему, что отмечено печатью гения. Склонность к восхищению рождала шедевры, этого восхищения достойные. Греция, а точнее, расположенная в сердце Греции Аттика, представляла собой крохотную цивилизованную страну, окруженную со всех сторон варварами. Греки были малочисленны, но на них равнялся весь мир. Это маленькое государство являло собой великое поприще, что давало его подданным двойное преиму-

щество: их одушевляла уверенность в том, что они смогут завоевать и признание соотечественников и мировую славу. Ибо то, о чем они говорили меж собой, разносилось далеко по свету. Население их страны было невелико, а свободных граждан и того меньше, ибо половину жителей составляли рабы. Круг людей просвещенных и талантливых был весьма узок, и они постоянно распаляли друг друга и мерялись силами. Демократическая форма правления способствует возвышению людей достойных, поэтому все граждане принимали живое участие в делах государственных. Тем не менее афиняне любили изящные искусства и постоянно в них упражнялись, не замыкая круга своих интересов одной лишь политикой. Они хотели сохранить за собой славу просвещенной нации. Ненависть и презрение к варварам укрепляли их привязанность к искусству и изящной словесности. Конечно, человечество только выигрывает, если просвещение проникает во все уголки земного шара. Но ревность к наукам и искусствам у просвещенных людей тем больше, чем меньше их число. Прославленные творцы вызывали в древности гораздо больше восхищения, чем ныне, зато безвестные обыватели вкушают ныне гораздо больше счастья, чем в древние времена <sup>16</sup>.

Главной страстью афинского народа были развлечения. Известно, что афиняне приняли закон, грозивший смертной казнью всякому, кто предлагал истратить, пусть даже на нужды армии, деньги, предназначенные для публичных празднеств. Греки, в отличие от римлян, не стремились к завоеваниям. Они воевали с варварами, дабы защитить неприкосновенность своих вкусов и привычек. Они любили свободу, поскольку она позволяла им вволю наслаждаться любимыми развлечениями. Но та глубокая ненависть к тирании, которую чувство собственного достоинства вселяло в сердца римлян, была им неведома. Афиняне мало тревожились о том, насколько точно блюдутся в их отечестве законы. Они хотели лишь одного: смягчить все повинности и внушить вождям постоянную потребность угождать гражданам и ублажать их.

Афиняне охотно рукоплескали талантам. Они превозносили великих людей; их законы об изгнании, их

обыкновение подвергать сограждан остракизму свидетельствуют лишь о том недоверии, с каким относились они к жившему в их сердцах энтузиазму. Греческий народ не скупился на изъявления восторга, ибо стремился придать славным именам еще больше блеска и возбудить в сердцах великих людей еще большее желание славы. Вступая на поприще, освященное именем Эсхила, трагические поэты приносили жертвы на его могиле<sup>17</sup>. Пиндар и Софокл являлись на состязаниях с лирой в руке, увенчанные лавром, приглашенные по слову оракула<sup>18</sup>. Книгопечатание, благоприятствующее развитию и распространению просвещения, идет во вред поэзии; мы изучаем, исследуем стихи, а греки пели и слушали их среди празднеств, когда звуки музыки и большое скопление народа горячили им кровь.

Многое в греческой поэзии объясняется особенным характером славы, которой алкали поэты. Стихи их предназначались для публичных торжеств. Толпе чужды размышления, меланхолия, уединенные наслаждения; толпа возбуждает и пьянит. Монотонность Пиндаровых гимнов, столь утомительная для нашего слуха, отнюдь не казалась скучной участникам греческих празднеств; у жителей некоторых горных районов есть любимые мелодии, состоящие из очень небольшого числа нот. Примерно так же, пожалуй, обстояло дело у древних греков с идеями в лирической поэзии. Толпа рукоплескала одним и тем же образам, одним и тем же чувствам и, главное, одной и той же гармонии.

Греческий народ выражал свое одобрение более живо, чем люди нового времени, тщательно обдумывающие свои суждения. Нация, которая столь щедро поощряла выдающиеся таланты, не могла не возбудить в душах творцов острое чувство соперничества, однако соперничество это шло искусству лишь на пользу. Самые славные победы древних поэтов вызывали меньше ненависти, чем скупомысленные свидетельства уважения наших суровых современников. В древние времена гению позволено было объявлять о своем существовании, добродетели — предлагать людям свою помощь, и все, кто считали себя достойными известности, могли безбоязненно притязать на нее. Нация была благодарна им за то, что они взыскают ее уважения.

Ныне же всемогущая посредственность принуждает высшие умы таиться. К славе нынче нужно пробираться украдкой, успех похищать тайком. Мало усыплять людскую бдительность скромностью манер,— если хочешь заслужить одобрение публики, следует выказывать совершеннейшее к нему равнодушие. Одних необходимость эта озлобляет, в других гасит искру таланта, которому, чтобы разгореться ярким пламенем, потребны простор и независимость. Честолюбцы упорствуют, истинные же гении нередко опускают руки. У греков зависть иногда поселялась в сердцах авторов-соперников, теперь ее питают зрители, и по странной случайности толпа осуждает именно тех людей, которые пытаются доставить ей удовольствие и заслужить ее похвалу<sup>19</sup>.

## ГЛАВА II О ГРЕЧЕСКИХ ТРАГЕДИЯХ<sup>1</sup>

Нравы, верования и законы той или иной страны ярче всего видны по театральным пьесам, с успехом в ней представляемым. Чтобы понравиться зрителю, драматический поэт должен помимо литературного таланта обладать некоторыми достоинствами политического деятеля, а именно — хорошо знать своих соотечественников, их привычки и предрассудки.

Главные пружины любого трагического положения — страдание и смерть; человек терпит страдания и ждет смерти так, как учит его религия. Посмотрим же, что добавляла религия греков к их трагедиям и чего она их лишала.

Греческая религия была на редкость театральна: по преданию, на представлении Эсхилových «Эвменид» женщины преждевременно разрешались от бремени<sup>2</sup> — так сильно потрясало толпу увиденное зрелище, причем дело было не столько в совершенстве пьесы, сколько в суеверном страхе перед преисподней. Подспорьем поэту служили и вера в богов и людские страсти. Если бы трагедия на тот же сюжет была представлена в стране с иными верованиями, она произвела бы со-

всем иное действие. Рассматривая литературу северных народов, мы увидим, какие чувства пробуждает искусство у зрителей, исповедующих иную веру, а говоря о литературе нового времени, я покажу, что, поскольку христианские представления слишком отвлечены и проникнуты мистицизмом, чтобы быть изображенными на театре, драматические поэты христианской эпохи были вынуждены ограничиться живописанием страстей. Пока же вернемся к грекам. Как действовало на них зрелище смерти и боли? Каким образом религия и политическое устройство предписывали им рисовать заблуждения страсти?

Греческая религия наделяла богов умением вселять в преступника угрызения совести. Она расписывала самими зловещими красками муки преступника. Подобное положение не раз становилось основой трагедии, неизменно рождая в сердцах зрителей нестерпимый ужас. Благодаря этому верованию законодатели держали в повиновении народ, а народ чтит нравственные устои. Мысль о смерти страшила греков гораздо меньше, чем людей нового времени. Языческие верования в значительной мере смягчали страх смерти. Древние представляли загробное существование в самых радужных тонах; многообразные описания, картины и рассказы сообщали миру иному вещественность, — мифология, если можно так выразиться, заполняла пропасть, которой природа отделяет жизнь от смерти. В политическом отношении воззрения такого рода весьма полезны, иное дело — словесность; на людей нового времени мысль о смерти действует гораздо сильнее и острее, и потому трагические поэты чаще кладут ее в основу своих творений.

Греки меньше, чем любой другой древний народ, были склонны к унынию; случаи самоубийства у них наперечет, политические установления и национальный дух предрасполагали их, скорее, к наслаждениям и к счастью. Вообще некоторую легковесность чувствования древних следует отнести за счет языческих суеверий. Сны, предзнаменования, речи оракулов, открывая доступ в жизнь необычному и неожиданному, убеждают, что любая беда поправима. Люди верят, что из самого безнадежного положения может отыскаться выход, и всечасно ожидают чуда. Исчисление нравст-

венных вероятностей зачастую может непреложно доказать неизбежность того или иного результата, меж тем для того, кто верит в сверхъестественное, невозможного не существует: следовательно, он до конца дней не теряет надежду на лучшее. Греки не умели изображать то глубокое отчаяние, в которое повергает человека несчастье, то горестное уныние, которое так блестяще передал Шекспир, ибо чувства эти не были им знакомы. В Греции прославленным людям могли грозить гонения, но не одиночество, не забвение. В ту пору горести великих людей еще удивляли человечество; предполагая, что они вызваны причинами сверхъестественными, люди окружали их мифологическими преданиями. Человек повсюду находил поддержку.

Поскольку для нас религия греков не более чем поэзия, нам никогда не испытать того, что испытывали они на представлении трагедии. Греческие трагики сочиняли свои пьесы в расчете на богобоязненных зрителей, которым страх перед небесами нередко заменял естественные человеческие чувства.

У греков все было исполнено очарования юности, все обладало ее преимуществами: само страдание, можно сказать, было грекам еще внове; они питали надежду на счастье и повсюду встречали сочувствие. Зрителей было так легко растрогать, они принимали такое живое участие в страданиях героев, что поэт всегда мог быть уверен в публике; он не опасался (как опасаются сегодня даже сочинители романов), что наскутит своими жалобами себялюбцам, которые ничего, не желают слышать о невзгодах, пусть даже невзгоды эти вымышлены.

У греков несчастье было исполнено величия; оно внушало художнику благородные композиции, поэту — возвышенные образы, оно сообщало дополнительную торжественность религии — однако трагедии нового времени трогают сердца в тысячу раз глубже. Трагические поэты наших дней видят в страдании не просто величественное зрелище, для них главное — боль одинокого существа, не имеющего ни поддержки, ни надежды, боль, *какой сделали ее*<sup>3</sup> природа и общество.

В отличие от нас греки не нуждались ни в игре положений, ни в контрастах характеров; их трагические

поэты рисовали прекрасные образы, не прибегая к игре теней. Драматическое искусство греков схоже с их живописью, где все предметы изображены на переднем плане, без соблюдения законов перспективы, и раскрашены ярчайшими красками.

Избирая в качестве движущей силы большинства своих пьес волю богов, трагические поэты Греции мало заботились о правдоподобном ходе событий; катастрофы у них разражались внезапно, никак не подготовленные; ум зрителей, пропитанный языческими верованиями, был всегда предрасположен к встрече с ужасным и чудесным, поэтому греческим трагикам, в отличие от авторов нового времени, не приходилось добиваться философического правдоподобия характеров, а между тем это — сложнейшая из задач, встающих перед драматическим поэтом. Все, что вызывает сочувствие зрителей — противоборство добродетели и порока, душевное смятение, чувства сложные и противоречивые, — едва намечено в трагедиях греков. Объяснением всему служит у них воля богов.

Орест замышляет убийство матери, Электра напугивает его; оба не ведают ни колебаний, ни жалости; убив Клитемнестру, Орест мучится угрызениями совести, однако перед убийством душа его спокойна: он действовал по велению оракула Аполлона, а, когда убийство свершилось, попал во власть Эвменид; чувства его едва различимы за поступками<sup>4</sup>. Раздумья, колебания, рассуждения и опасения отданы хору; герои же всегда поступают так, как приказывают им боги.

Расин в своих трагедиях на греческие сюжеты объясняет преступления, внушенные богами, игрой человеческих страстей; господству рока он противопоставляет логику чувств; в стране, чуждой язычеству, такое объяснение необходимо, греки же полагали, что страшит лишь та трагедия, которая зиждется на сверхъестественной воле. Вера греков в чудесное неминуюемо лишала движения души в их пьесах свободы и разнообразия.

Подобно тому как во всяком дереве, во всяком источнике обитало свое божество, за каждым чувством стояла религиозная догма. Ко всякому, кто имел при себе оливковую ветвь, обвитую шерстью, или обнимал алтарь божества, греки обязаны были отнестись с уча-



стием. Именно в этом состоит сюжет трагедии «Просительницы»; подобные верования придают всем поступкам поэтическое изящество, но они изгоняют из сердца все необычное, непредсказуемое, неодолимое \*.

Любовь, а равно и все прочие сильные страсти греки познают лишь оттого, что так судил рок. Поразительно, до какой степени бедны были сердечные тревоги в эпоху, когда ощущения и суждения женщин ничего не значили. Алкеста у Еврипида жертвует собой ради Адмета, но лишь после того, как Адмет безуспешно молит о той же жертве своего отца<sup>5</sup>. Греки могли изобразить поступок великодушный, но разве ведомо было им, как упоительно пойти ради любимого существа на смерть, как ревниво можно оберегать от соперников право на эту внушенную страстью жертву. Было замечено, и весьма справедливо, что большую часть греческих трагедий, будь они даже превосходно переведены, нельзя поставить на французской сцене, и дело не в мелких несовершенствах этих прекрасных, самобытных пьес; дело в том, что сегодняшние зрители с трудом могли бы примириться с недостатком тонкости в изображении чувств. Легче всего доказать эту истину на примере двух «Федр»<sup>6</sup>.

Расин отважился показать на французской сцене любовь на греческий манер — любовь, внушенную мстительными богами. Однако как по-разному трактуют авторы разных веков, наблюдатели разных нравов один и тот же сюжет!

Еврипид мог бы вложить в уста Федры слова:

В крови пылал не жар, но пламень ядовитый,—  
Вся ярость впившейся в добычу Афродиты!

Но грек никогда не смог бы написать:

Жить будут врозь они.

Но будут жить — любя!<sup>7</sup>

Итак, на мой взгляд, греческие трагедии значительно уступают трагедиям нового времени, ибо драматическому поэту потребен не только талант стихотворца,

\* Изредка мифологические догмы помогают древнему автору растрогать зрителя, но гораздо чаще их всевластие избавляет поэта от необходимости убеждать, отыскивать источники душевных движений, и он живописует человеческие страсти поверхностно и скупо (примеч. ко 2-му изд.).

но и глубокое знание страстей, а в этом отношении трагедия могла идти вперед лишь по стопам человеческого разума<sup>8</sup>.

Впрочем, если вспомнить, в какую эпоху жили древнегреческие поэты, их свершения в области трагедии, да и во всех прочих, покажутся достойными восхищения. Они перенесли на сцену все, что было прекрасного в их фантазиях, в характерах древности, в языческой религии, а поскольку философия со времен Гомера весьма усовершенствовалась, театральные пьесы века Перикла гораздо глубже всех предшествующих.

Насколько изменилась трагедия, видно даже из сравнения трех поэтов — Эсхила, Софокла и Еврипида; более того, разница между Эсхилом и двумя другими авторами слишком велика, а срок, разделяющий их, слишком мал, чтобы несходство трагедий можно было объяснить только естественным движением вперед человеческого разума: все дело в том, что в эпоху Эсхила Афины благоденствовали, Софокл же и Еврипид стали свидетелями тяжких испытаний, выпавших на долю отечества, и драматический талант их от этого лишь выиграл; несчастье также бывает плодотворно.

Пьесы Эсхила лишены нравственного итога; герои его не склонны к размышлениям и редко соотносят физическую боль с болью сердечной\*. Вопль отчаяния, немногословная жалоба, касающаяся только настоящей минуты, не связанная ни с прошлым, ни с будущим,— вот самое большее, на что была способна душа до тех пор, пока разум не помог человеку познать собственные чувства.

Софокл часто вкладывает философические максимы в уста хора. Еврипид щедро одаряет такими максимами своих персонажей, не слишком заботясь о том, подходят ли они к положению и характеру. В пьесах трех трагиков видны и особенный талант каждого и свершения их эпох, но ни одному из них не удалось нарисовать ту душераздирающую и меланхолическую картину страдания, которой мы обязаны английским трагическим поэтам, да и многим другим писателям нового времени,— ни один из них не проник так глубоко в тайну страдающей души. Человечество стареет, и

\* Вспомните «Прометей»<sup>9</sup>.

разжалобить его становится все труднее; пришлось искать новые способы пробудить его чувствительность; одинокий страдалец стал изливать свои жалобы с бóльшей душевной силой.

Бесчисленные почести, которыми осыпали греки своих драматических поэтов, бесспорно, способствовали совершенствованию театрального искусства, однако в каком-то отношении сама сладость похвал вредила трагическому гению. Поэт был чересчур доволен жизнью, чересчур восторжен, чтобы найти подлинно меланхолические слова для рассказа о несчастье. В трагедиях же нового времени сам слог почти всегда выдает, что автор сам испытал многие из тех бедствий, которые он изображает.

Греческие трагедии, как правило, отличаются безупречностью вкуса. Поскольку греки первыми вступили на поприще трагедии, им некому было подражать, — если они и грешили, то не вычурностью, а простотой. Всякая словесность нового времени начиналась с попыток превзойти древних или хотя бы творить иначе, чем они. Грекам же единственным образцом служила природа, и они подчас бывали грубыми, но никогда не становились манерными<sup>10</sup>. Греки не тратили усилий даром; они были на верном пути.

Иной раз речи действующих лиц в греческих трагедиях чересчур пространны, однако в ту пору зрители еще не знали, что такое скука, а ведь авторы начинают ограничивать себя, лишь когда боятся скоро наскучить. Философический склад ума заставляет бережнее расходовать время, народы же, наделенные буйным воображением, не только не требуют быстрой смены картин, но, напротив, наслаждаются подробностями и скорее утомились бы от сжатых пересказов.

На наш сегодняшний вкус, греки допускают также много ошибок в изображении женщин. Женские роли они поручали мужчинам и не ведали о том очаровании, какого исполнен женский образ для людей нового времени. Но если не принимать во внимание эти немногочисленные погрешности, следует признать, что вкус греческих трагиков безупречно правилен. Греческий народ, столь буйный в политике, выказывал во всех искусствах (кроме комедии) большую мудрость и уме-

ренность. Своей верностью благородству и простоте греки обязаны в первую очередь религии.

Афиняне, в отличие от англичан, не требовали, чтобы деяния героические смешивались на сцене с комическими происшествиями обыденной жизни. Греки разыгрывали трагедии на празднествах, посвященных богам, и, как правило, клали в их основу религиозные догмы. Поэты с благочестивым почтением удаляли из своих творений, словно из храма, все подлое и грубое. Героям греческих трагедий, конечно, далеко до благородного величия героев Расина, но виной тому вовсе не снисходительность их творцов; рисунок характеров изменился лишь после того, как придворные и рыцарские обычаи научили писателей некоторым условностям.

Действующие лица греческих трагедий в большинстве своем взяты из «Илиады» или из героической истории той же эпохи. Гомер нарисовал своих героев так ярко, что трагические поэты не замедлили этим воспользоваться. Уже сами имена Аякса, Ахилла, Агамемнона волновали слушателей, пробуждая воспоминания в их сердцах. Судьба этих героев была для греков неотрывна от национальной истории; драматическому поэту оставалось лишь дорисовывать легендарные образы: ему не было нужды создавать заново ни характеры, ни положения; люди, которых он избирал своими героями, заведомо вызывали у зрителей почтение и сочувствие. Так славны и величавы были эти герои, что к преданиям о них прибегали даже авторы нового времени. Прекраснейшие и безыскуснейшие сюжеты наших трагедий заимствованы у греков. Дело не в том, что греки превосходят авторов нового времени, а в том, что они первыми изобразили те главные чувства, которым суждено вечно составлять основу трагедии.

Во всякой трагедии материнская любовь чем-то похожа на страдания Клитемнестры, а дочерняя привязанность напоминает об Антигоне\*. Нравственная природа, подобно солнечному свету, состоит из не-

\* Впрочем, из того, что греки описали все самые печальные и поразительные события, никак не следует, что они могут сравниться с авторами нового времени глубиной мыслей и тонкостью чувств (примеч. ко 2-му изд.).

скольких цветов: смешивая их, вы можете создавать оттенки, но создать совершенно новый цвет вам не дано.

Эсхил, Софокл и Еврипид использовали одни и те же сюжеты; им и в голову не приходило изобретать новые трагические положения; зрители этого не ждали, да такое изобретение, скорее всего, оказалось бы греческим трагикам и не по силам. О событиях невероятных предания повествуют гораздо лучше, чем поэты. В философии к открытиям приводят длительные размышления, поэзия же почти всегда обязана счастливыми находками воле случая. Воображение писателей питают история, обычаи, даже сказки. Софокл не смог бы придумать сюжет «Танкреда», но и Вольтеру не по силам было бы придумать сюжет «Эдипа»<sup>11</sup>. Никто не в состоянии измыслить новые баснословные сказания, если толпа больше не верит в них. Напрасно даже пытаться: уму с этой задачей не справиться.

Значительная роль, отводимая хору, который должен представлять за народ, — едва ли не единственное проявление республиканского духа в греческих трагедиях. Комические поэты часто напоминали о действительном государственном устройстве их отечества, трагики же только и делали, что живописали бедствия царей и стремились вызвать сочувствие к их невзгодам\*. Почитая свое республиканское правительство, афиняне на театре хранили, однако, верность королевской власти. Судя по всему, они вовсе не так страстно любили свободу, как римляне: она досталась им гораздо менее дорогой ценой; в отличие от римлян, им не пришлось низвергать династию жестоких царей, способных внушить отвращение ко всему, что связано с властью монархической. У греков любовь к свободе входила в привычку, в обычай и вовсе не была всеобъемлющей страстью, настоятельно требующей выражения.

\* Бартелими в прославленном «Путешествии юного Анахарсиса» пишет, что афиняне изображали в трагедиях злоключения царей, дабы укрепить в своих соотечественниках республиканский дух<sup>12</sup>. Я не думаю, что постоянно напоминать о горестях царей — лучший способ истребить любовь к царской власти. Великие несчастья драматичны, они потрясают воображение: таким путем невозможно разрушить предрассудки, каковы бы они ни были.

Афиняне любили свои установления и свое отечество, но чувство это у них, в отличие от римлян, не было ревнивым и пристрастным. В их трагедиях высказалась одна характерная черта демократии: и главные герои и хор часто размышляют о непостоянстве и вероломстве фортуны. Философические наблюдения такого рода — следствие внезапных переворотов, которые часто свершаются в государствах демократических. В этом отношении Расин не стал подражать грекам. Под властью такого короля, как Людовик XIV, судьбу заменяет монаршая воля, предполагать же, что у монарха могут быть прихоти, никто не смел; что же до страны, которой правит народ, там первое, что потрясает умы,— это резкие перемены в судьбах людских — быстрое и ужасное низвержение с вершин власти в пропасть бедствий.

Трагические поэты всегда стремятся оживить в душе народа, к которому обращаются, память о пережитом. В самом деле, в воспоминаниях всегда есть нечто трогательное, и тому, кто хочет исторгнуть у зрителей слезы, вовсе нет нужды прибегать к новым мыслям и чувствам — ему достаточно лишь напомнить им о прошлом.

### ГЛАВА III О ГРЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

---

Для создания трагедии (исключая несколько шедевров) потребно меньшее знание человеческого сердца, чем для написания комедии; чтобы изобразить то, что непрестанно предстает нашим взорам,— страдание, необходимо воображение, и ничего более. Все трагические характеры имеют меж собой некоторое сходство, исключаяющее тонкость наблюдений, к тому же трагик черпает образцы из героической истории — путь его predetermined заранее. Но для того, чтобы ум человеческого возвысился до тонкого вкуса и благородной философии, которых исполнены комедии Мольера, должны были пройти века; живи человек, равный талантом Мольеру, в древних Афинах, он не создал бы образцовой комедии.

Что же касается комедий Аристофана, то, читая их, с изумлением спрашиваешь себя, как могло случиться, что пьесы эти вызывали рукоплескания у зрителей эпохи Перикла и что греки, выказавшие столько вкуса в изящных искусствах, опускались до столь отвратительных грубостей в своих шутках. Все дело в том, что хороший вкус их происходил от развитого воображения, а не от безупречного нравственного чувства. Прекрасные формы любого рода радовали их взоры, но душа их не ведала, что есть вещи, которые деликатность и такт велят нам обходить молчанием. К величию характера они относились с энтузиазмом, но без уважения. Несчастье, могущество, вера, гений — все, что поражало воображение афинян, рождало в их душе иступленный восторг, но впечатление это с легкостью вытеснялось любым другим, лишь бы оно было не менее сильным. Демократические нравы не располагают к плавным переходам и поискам оттенков, а поскольку поэты стремились быть понятными толпе и заслужить ее одобрение, они на потребу ей щедро вводили в комедию резкие контрасты, действующие на всех людей без исключения.

В трагедии это желание угодить толпе высказывалось не так сильно: ведь трагедия, как я уже говорила, составляла часть религиозного праздника. К тому же, чтобы растрогать публику, не нужно быть особенно сведущим ни во вкусах, ни в познаниях народа; чувство жалости находит дорогу ко всем сердцам. Сочиня трагедию, вы обращаетесь к человеку вообще, но сочинитель комедии, если он желает снискать одобрение народа, должен знать определенную эпоху, определенную нацию, определенные нравы: зритель плачет над изображением природы человеческой и смеется над изображением людских привычек<sup>1</sup>.

Как правило, нравственные устои заменяют низшим классам общества правила вкуса, и зачастую это помогает литературе просвещать народ. Однако у афинян не было той щепетильности, что служит заменой самому изощренному и тонкому уму; они были подвержены религиозным суевериям, но не имели четкого понятия о нравственности и в погоне за извлечениями не знали ни законов, ни границ, ни стыда.

Отсутствие женщин на сцене и в публике также

мешало грекам достичь большого совершенства в искусстве комедии. Поскольку у авторов не было необходимости соблюдать скромность, щадить чувства публики, изъясняться намеками, шуткам их, естественно, недоставало изящества и вкуса. Все эти маски, рупоры и прочие диковинные приспособления древних, подобно карикатурам в живописи, предрасполагали ум к странным выдумкам, а не к изучению природы<sup>2</sup>.

Аристофан умело подслушивал народные шутки; смеясь над пороками частных людей и всего общества, он клал в основу комедии несколько заурядных по мысли и грубых по форме противопоставлений; что же до правдоподобия характеров или разнообразия положений, то ни того ни другого в его пьесах не сыщешь.

Большая часть комедий Аристофана — сколок с недавних событий в жизни Афин<sup>3</sup>. В ту пору еще никому не приходило в голову увлечь зрителя интригой романической, — любовные приключения становятся увлекательны, лишь когда женщина начинает играть в обществе одну из главных ролей. Комическое искусство греков не могло обойтись без аллюзий: древние поэты еще не настолько глубоко изучили тайные пружины человеческого сердца, чтобы вызывать интерес одним лишь изображением страстей; зато насмехаясь над отцами государства, можно было без труда угодить толпе.

Комедию на случай сочинить так легко, что ей не суждена сколько-нибудь прочная слава. Эпиграммы на современников, остроты на злобу дня и прочие семейные шутки-однодневки зачастую перестают быть смешны всего за какой-нибудь год; на чужестранцев и потомков они неизменно наводят скуку. Если вы не можете припомнить, на что намекает пьеса, вам не понять, что в ней забавного, а кого может развеселить шутка, смысла которой не уловить без долгих раздумий?

На представлении трагедии зритель полностью отдается во власть иллюзии; сострадание его к герою пьесы так велико, что позволяет свыкнуться с чужеземными нравами, перенестись в заморские края. Волнение все оправдывает и со всем примиряет. Иное дело — комедия; здесь фантазия зрителя дремлет, и автору нечего ждать от нее помощи; веселье так легко



и непосредственно, что самое незначительное усилие, самая ничтожная помеха могут его спугнуть.

Все комедии Аристофана — не более чем пьесы на случай: грекам решительно недоставало философической мудрости, чтобы создать комедию характеров — комедию, интересную для зрителей всех времен и народов. Менандр и Теофраст оказали искусству комедии важные услуги; первый больше чтит приличия, второй лучше изучил сердце человеческое, ибо оба жили веком позже Аристофана, но вообще в демократическом государстве ни один автор не способен устоять перед непреодолимым соблазном — соблазном завоевать любовь толпы. Вот серьезная опасность: в свободной стране успех обеспечен всякому, кто выведет в комедии государственных мужей своего времени. Не знаю, выигрывает ли от этого свободное государство, но драматическое искусство, безусловно, проигрывает<sup>4</sup>.

Афинскому народу, как я уже сказала, было ведомо благородное воодушевление, но это не мешало ему любить сатиру, оскорбляющую людей выдающихся. Комедии в Афинах, подобно газетам во Франции, способствовали демократическому уравнению граждан, с той разницей, что представление комедии, изобилующей личностями, — оружие такой силы, против которого не устояла бы ни одна из сегодняшних знаменитостей. В наше время люди так мало склонны к восхищению, что охотно верят самой страшной клевете, и так легко отворачиваются от друзей, попавших в беду, что тем приходится самим сражаться с кознями недругов. Афиняне могли объясниться с соотечественниками, оправдать себя в их глазах, выступив на площади, но в нашем обществе, состоящем из различных сословий, насмешкам в лицах, разыгранным на театре, можно противопоставить только постепенное утверждение истины с помощью печатного слова. Ни один знаменитый человек, ни один прославленный политический деятель не способен выстоять в этой неравной борьбе.

Если Афинская республика утратила независимость, то виной тому именно чрезмерная преданность афинян комедиям, пристрастие к шуткам дурного тона, постоянная потребность в увеселениях. Комедия «Облака» способствовала осуждению Сократа. А в следую-

щем столетии Демосфен убедился, что афинянам больше хочется наслаждаться зрелищами и забавами, чем отстаивать свою свободу в сражениях с Филиппом<sup>5</sup>. Мыслителей республики сильнее всего страшило, как бы один из великих государственных мужей не стал пользоваться в ней большим влиянием, чем другие; погубило же ее равнодушие ко всем вождям вообще.

Принеся в жертву забавам свою славу, афиняне лишились независимости, а с нею тех самых удовольствий, из-за которых они пренебрегли защитой своей свободы<sup>6</sup>.

#### ГЛАВА IV О ФИЛОСОФИИ И ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В Афинах философия и ораторское искусство были тесно связаны. Платон обязан своей славой не столько метафизическим и политическим теориям, сколько красоте языка и благородству слога. Греческие философы по большей части не кто иные, как риторы, блестяще рассуждающие об отвлеченных материях. Однако мне придется вначале рассмотреть греческую философию отдельно от красноречия; ведь моя цель — проследить за развитием человеческого ума, а надежнейший показатель этого развития — философия.

Потому ли, что ораторское искусство близко к поэзии, или потому, что в свободной стране политические споры вызывают всеобщий интерес, но искусство это достигло в Греции такого совершенства, что до сих пор служит образцом для потомков; что же касается философии, то здесь греки, на мой взгляд, сильно уступают своим подражателям — римлянам, а римляне в свою очередь не выдерживают сравнения с философами нового времени, что не удивительно, ибо два тысячелетия, потраченные на размышления, не прошли для человечества даром.

У самих греков на протяжении трех столетий философия значительно усовершенствовалась. Мыслители

последнего из этих трех веков, века Александра, — Менандр, Теофраст, Евклид, Аристотель — сделали, каждый в своей области, значительные шаги вперед. Одна из главных конечных причин<sup>1</sup> всех известных нам великих деяний — это распространение цивилизации. Я еще буду иметь случай развить эту мысль, пока же замечу только, что греки умели и просвещать мир и пробуждать в умах любовь к просвещению. Философы создавали секты, приносившие в ту пору столько же пользы, сколько вреда они приносят ныне. Они обставляли поиски истины всем, что способно поразить воображение: совместные прогулки, на которых юные ученики внимали мудрым мыслям учителя под ясным небом<sup>2</sup>; мелодичный язык, воспламенявший душу еще прежде, чем она успевала осознать смысл преподанного урока; тайна, окутывавшая Елевсинские мистерии, где свершалось познание некоторых нравственных законов<sup>3</sup>, — благодаря всему этому наставления философов надолго врезались в память. Мифология с младенчества приобщала людей к истине. Тысячью способов разжигали греки в детях охоту к учению; ряды юношей, желающих учиться философской премудрости, росли благодаря восторженным хвалам, которых удостоивались ее ревнители.

Мы убеждены, что древние были превосходными сочинителями, ибо знаем, что влияние их на публику было огромно; однако, судя так, мы забываем, что они творили в совсем другую эпоху. Малочисленность людей просвещенных, которых рождала Греция на радость всему миру, затрудненность сообщения между городами, незнакомство толпы с большей частью открытий, сделанных учеными авторами, недостаток копий — в ту пору все способствовало возбуждению живейшего интереса к прославленным сочинениям. Постоянные проявления этого всеобщего интереса возбуждали желание учиться философии, хотя отсутствие метода и неумение обобщать идеи чрезвычайно затрудняли учебу. Славы, которую завоевывают нынешние философы, не достало бы для того, чтобы вознаградить подобные усилия; силу для преодоления столь серьезных препятствий могла дать лишь слава древняя. Древние философы пользовались среди современников куда более громкой известностью, чем философы нового време-

ни, хотя нынешние ученые, безусловно, добились в метафизике, морали и опытных науках гораздо больших успехов, чем древние.

Философы древности развенчали несколько заблуждений, но куда большее число заблуждений они объявили истиной. Когда кругом царят нелепейшие суеверия, писатели, несущие людям свет разума, не могут освободиться до конца от общепринятых предрассудков. Иной раз они ниспровергают заблуждение, дабы заменить его убеждением ничуть не менее ложным, иной раз нападают на господствующие верования, дабы утвердить власть милых их сердцу суеверий. Пифагор боялся пустословия<sup>4</sup>; Сократ и Платон верили в то, что у каждого человека есть свой демон<sup>5</sup>; Цицерон опасался дурных снов<sup>6</sup>. Отягощенная каким-то недугом или заботой, душа уже не в силах противостоять суевериям своей эпохи: человеку недостаточно полагаться на самого себя, он нуждается в поддержке себе подобных. Исследуйте свою жизнь, и вы поймете, что в тяжелую минуту вы склонны больше доверять другим, чем самому себе, что, отыскивая причину своих страхов и надежд, вы полагаетесь вовсе не на собственный разум. Самый незаурядный мыслитель не в силах самостоятельно преодолеть исконную человеческую тягу к сверхъестественному: лишь если вся нация заодно с философом ополчится против каких-либо предрассудков, он сможет сразиться со всеми предрассудками без исключения.

Греков до безумия волновало строение мира. Чем менее сведущи были греческие философы в науках, тем больше верили они в то, что возможности человеческого разума безграничны. Их влекло все неизведанное и необъяснимое. Пифагор утверждал, что *реально лишь то, что духовно, а материальное не существует*<sup>7</sup>. Платон, писатель, наделенный блестящим воображением, едва ли не во всех своих сочинениях рисует странную картину мира, человека и любви, противоречащую и физическим законам мироздания и истине чувств. Метафизика, не покоящаяся на фактах и не руководствующаяся надежным методом, — скучнейшая из наук, и этого, на мой взгляд, нельзя не почувствовать, читая философические творения греков, пусть даже написанные самым поэтическим слогом.

Древние были сильнее в этике, чем в метафизике;

метафизика зиждется на достижениях точных наук, тогда как все, что ведет к добродетели, заложено в сердце человеческое самой природой. Тем не менее свод нравственных законов древних крайне беспорядочен и противоречив. Пифагор, кажется, придавал пословицам, учащим хитрости и осторожности, такое же значение, какое и урокам доблести<sup>8</sup>. Сходная путаница царит в трудах многих греческих философов: страсть к учению они, например, ценят наравне с исполнением главнейших человеческих обязанностей. Наибольшее восхищение и почтение вызывает у них острый ум: они возбуждают в человеке желание блистать, ничуть не тревожась о том, что происходит в его душе.

Не думаю, чтобы греки хоть раз употребили в своих творениях слово «счастье» в его современном смысле. Они не придавали большого значения частным добродетелям. Политика считалась у них отраслью этики, предметом их размышлений был человек в обществе, — о людях они судили в основном по их поведению в кругу сограждан; поскольку население свободных государств было в ту пору весьма немногочисленным, а женщины — бесправными\*, все существование человека сводилось к общественным его отношениям, и труды философов были посвящены исключительно усовершенствованию этого политического существования. Платон в диалоге «Государство» предлагает ради счастья человечества отменить супружескую и родительскую любовь, введя общность жен и детей<sup>10</sup>. Монархический образ правления и протяженность нынешних империй лишают большинство подданных возможности принимать непосредственное участие в делах общественных: они живут интересами семейственными и оттого лишь более счастливы; древние же видели смысл жизни в том, чтобы проявить себя на поприще политическом, и нравственные их наставления тем и ограничивались. Отсюда, впрочем, еще не

\* В характерах Теофраста нет ни одного женского портрета<sup>9</sup>; женское имя ни разу не называется здесь, когда речь идет о полноправных членах общества. Критики, пытаясь оспорить мою мысль, вспомнили об Аспазии. Однако подобает ли нам судить о той роли, которую законы и нравы страны отводят женщине, по славе куртизанке? (Примеч. ко 2-му изд.)

следует, что они не завещали нам ничего истинно прекрасного. Если во всех случаях жизни полезно сохранять самообладание, то для государственных мужей это первейшая необходимость.

Как восхитительно описаны нравственные устои, сводящиеся к спокойствию, стойкости и преклонению перед мудростью, в «Апологии Сократа» и «Федоне»!<sup>11</sup> Веришь, что тот, чья душа проникнется подобными идеями, будет надежно защищен от любой обиды. Древние нередко исходили из заблуждений, из ложных посылок, но они шли на смерть ради того, что почитали добродетелью, мы же превыше всего ценим собственную корысть и если в чем и нуждаемся, то в оружии против эгоизма.

Философы в Греции были наперечет и не имели предшественников, на чьи труды могли бы опереться. Вынужденные заниматься всеми областями науки, они не достигали успеха ни в одной из них; им недоставало того, что могут дать лишь точные науки, — метода, то есть искусства подводить итоги. Платон не смог бы удержать в памяти то, что без труда запоминают нынешние юноши; кроме того, до тех пор пока философы не призвали на помощь логику и математику, они гораздо чаще грешили заблуждениями.

В диалогах Платона сам Сократ, критикующий софистов, не свободен от некоторых их недостатков: он то и дело пускается в пространные рассуждения, которых ныне никто не допустил бы в свой труд. Ясность и простота древнего искусства достойны подражания; мощь древних, их преклонение пред всем великим — сильные и юные чувства народа, живущего на заре цивилизации, — достойны восхищения; что же до философических рассуждений греков, то это — не что иное, как строительные леса, при помощи которых разум человеческий должен был возводить свое здание.

Впрочем, Аристотель, философ третьего периода греческой цивилизации, периода самого позднего и, следовательно, превосходящего оба предыдущих, заменил измышления наблюдениями и уже одним этим заслужил славу. В трудах, посвященных литературе, физике, метафизике, он рассматривает идеи своих современников. Он пишет историю науки — пересказывает чужие мысли, располагая их по собственному

разумению. Для своего времени Аристотель — личность исключительная, но утверждать, будто все философические истины содержатся в сочинениях древних, — значит повернуть человечество вспять и обратить дух исследования к прошлому, меж тем как в нем нуждается настоящее. Древние, а особенно Аристотель, были почти так же сведущи, как и люди нового времени, в некоторых областях политики, но это исключение из всеобщего закона совершенствования объясняется только тем, что Греция пользовалась республиканской свободой, неведомой людям нового времени.

О важнейших вопросах, которых не коснулись историки его времени, Аристотель не имеет никакого представления; он не допускает, что естественное право распространяется на рабов. Расходясь с Платоном во многом другом, он единодушен с ним в том, что касается рабства: он даже не подозревает, что здесь есть о чем спорить, но зато в том же сочинении с редкостной пронизательностью рассуждает о причинах переворотов и основах государственной власти, ибо рассуждения эти по большей части навеяны ему примером греческих республик<sup>12</sup>. Если бы республиканский строй не прекратил своего существования, философы нового времени превзошли бы Аристотеля в науке об обществе так же значительно, как и в других областях. Мысли должно опираться на жизнь действительную, поэтому, изучая историю человеческого разума, мы постоянно видим, как обстоятельства или время служат вожатыми гению. Мыслитель умеет вывести из основополагающей идеи надлежащие следствия, но открытием самой этой идеи он обязан, как правило, не размышлению, а случаю.

Греческие историки замечательны и своим умением повествовать просто и увлекательно, и живостью некоторых картин, но они не умеют ни глубоко проникать в суть характеров, ни оценивать общественные установления. В ту пору люди были так жадны до событий, что обращали мало внимания на их причины. Греческие историки следуют за описываемыми происшествиями, они повинуются их течению и не останавливаются, дабы оценить происходящее. Можно сказать, что, поскольку жизнь им внове, они не подозре-

вают, что события могли бы развернуться и иначе; они не осуждают и не одобряют, они пересказывают нравственные предписания наравне с действительными происшествиями, прекрасные речи — наравне со скверными поступками, справедливые законы — наравне с приказаниями тиранов, не вникая ни в характеры, ни в идеи. Они, если можно так выразиться, описывают людей, как растения, с полным беспристрастием \*. Сказанное относится лишь к греческим историкам раннего периода. Плутарх, современник Тацита, принадлежит совсем иной эпохе.

Философы в Греции были почти так же красноречивы, как ораторы. Сократ и Платон предпочитали говорить, а не писать, ибо безотчетно ощущали, что их стихия — вдохновение, а не логика. Им необходима была живая речь, исполненная чувства и жара, они настолько же старательно искали способов потрясти воображение, насколько старательно педантичные метафизики и суровые моралисты наших дней стремятся вытравить из своих сочинений всякую поэзию. Философическое красноречие греков до сих пор поражает нас благородством и чистотой языка. Учение греческих мудрецов, проникнутое силой и покоем, сообщает их сочинениям достоинства, неподвластные времени. Древности простота к лицу, однако, будь рассуждения греческих философов о привязанностях души написаны в наши дни, они показались бы слишком однообразными: им недостает двух качеств, способных взволновать слушателя, — меланхолии и чувствительности.

Стоики полагали, что чувствительность не связана с нравственностью; литература северных народов в ту пору еще не научила людей любить мрачные картины, человечество, если можно так выразиться, еще не до-

\* Фукидид, бесспорно, один из самых выдающихся греческих историков. Все нарисованные им картины дышат живым воображением; выведенные им лица, подобно персонажам Тита Ливия, изъясняются весьма красноречиво: повествуя о бедствиях, принесенных гражданскими войнами, он проливает яркий свет на политические страсти<sup>13</sup> и превосходит, казалось бы, историков нового времени, которые только и знают, что толковать о войнах да о королях. Разве можно, однако, сравнить Фукидиду с Юмом или Макиавелли, автором «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», в том, что касается философии и глубины ума!<sup>14</sup> (Примеч. ко 2-му изд.)



росло до меланхолии; борясь с душевными страданиями, человек противопоставлял им одну лишь силу, а не то чувствительное смирение, которое не подавляет боль и не стыдится сожалений. Без этого смирения даже самый великий гений не способен черпать в несчастье вдохновение.

Ораторское мастерство в Афинской республике было настолько совершенно, насколько это нужно, чтобы увлечь и убедить толпу. Там, где словом можно изменить судьбу государства, красноречие процветает. Если известна награда, известны и способы ее достижения. Пока афиняне были свободны, красноречие казалось им чем-то вроде гимнастики; оратор забрасывал народ аргументами, словно желал сразить его наповал. В речах Демосфена на первом месте — гнев против афинян; он только и делает, что возмущается афинским народом, как это, по-видимому, принято в демократических государствах. О себе же он говорит в достойной манере — коротко и равнодушно.

В следующей главе я остановлюсь на некоторых политических причинах различий между Цицероном и Демосфеном; в общем же о греческих ораторах можно сказать, что круг их идей весьма ограничен, — потому ли, что толпа внимает лишь малому числу доводов, повторенных энергически и обстоятельно, потому ли, что речи греков страдали тем же пороком, что и греческая литература, — однообразием. Древние, как правило, не могут похвастаться разнообразием мыслей. Писания их похожи на шотландскую музыку, знающую всего пять нот, — совершенная гармония шотландских мелодий безукоризненна, но глубоко задеть душу ей не дано.

Одним словом, как ни поразительны достигнутые древними греками успехи, мы расстаемся с ними без сожалений. Народ, живший на заре цивилизации, и не мог быть иным. У греков было все, что необходимо, дабы возбудить в человеческом разуме тягу к совершенствованию, но их уход с исторической арены вовсе не так горестен для нас, как исчезновение римлян и римского характера. Нравы, привычки, философические познания, военные успехи — все у греков было недолговечно; свершения их уподобились семенам, которые ветер разносит из родных краев по всему свету.

В основе всех поступков греков лежала их любовь к славе; научным изысканиям они предавались, чтобы завоевать похвалу; боль терпели, чтобы вызвать сострадание; теории изобретали, чтобы иметь последователей; отечество защищали, чтобы им править \*. Но они не знали, что такое быть преданным отечеству сердцем, мыслью, всем своим существом, как были преданы римляне. Грекам мы обязаны первыми шагами литературы и изящных искусств. Иное дело — римляне: печать их гения лежит на всех свершениях человечества <sup>16</sup>.

## ГЛАВА V

### О РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВРЕМЕН РЕСПУБЛИКИ

Во всякой литературе следует отличать самобытное от подражательного. Когда Рим подчинил себе мир, где прежде первенствовали Афины, латинская литература пошла по пути, проложенному литературой греческой, оттого что путь этот был во многих отношениях лучшим и отклониться от него означало бы изменить вкусу и истине; а может быть, и оттого, что лишь нужда рождает изобретения, а тот, кто располагает образцом, близким ему по духу, предпочитает усваивать чужое, вместо того чтобы творить свое. Человечество охотно совершенствует старое, когда нужда не заставляет его открывать новое.

Римское язычество имело много общего с греческим. Основы изящных искусств и литературы, множество законов, значительная часть философических теорий заимствованы римлянами у греков. Поэтому я не стану рассматривать схожие следствия, происшедшие от схожих причин. Все особенности греческой литературы, объясняющиеся языческими верованиями, рабством, обычаями южных народов, общим духом древности до нашествия варваров и установления

\* Алкивиад и Фемистокл, желая отомстить родной стране, перешли на сторону ее врагов; римлянин никогда не запятнал бы себя подобным преступлением. Единственное исключение — Кориолан, да и тот не смог довершить предательства <sup>15</sup>.

христианства, свойственны, за некоторыми незначительными исключениями, и литературе римской.

Гораздо важнее исследовать, чем римская литература отличалась от греческой и как развивалась она в течение трех периодов: того, что предшествовало веку Августа, того, что носит имя этого императора, и того, который наступил после его смерти и продлился до воцарения династии Антонинов<sup>1</sup>. Первые два периода близки по времени, но совершенно различны по духу. Цицерон умер в правление триумvirата Октавиана, но гений его целиком принадлежит республике; сочинения же Овидия, Вергилия и Горация, несмотря на то, что все трое родились еще до падения республики, проникнуты духом монархическим. В царствование Августа были и писатели (прежде всего Тит Ливий), сохранившие верность республиканским идеям, однако правильно оценить названные периоды развития римской литературы сможет лишь тот, кто станет исследовать их главные черты и пренебрежет исключениями.

Римский характер проявлялся вполне лишь до тех пор, пока Рим был республикой. Характер есть лишь у нации свободной. Римская аристократия была аристократией до некоторой степени просвещенной. Хотя звание сенатора было, как правило, потомственным, отцы Рима чтили свободу и относились к подданным по-семейному. Однако завоевания принесли вождям государства неограниченную власть, и римские патриции, цвет города, царившего над миром, возомнили себя хозяевами всей земли. Именно этими аристократическими чувствами знати, этим ощущением превосходства, присущим всем римлянам, объясняется особенная черта римской словесности, языка, нравов и привычек римлян — чувство собственного достоинства.

Римляне в любых обстоятельствах хранили хладнокровие; даже желая затронуть слушателей за живое, оратор старался не утратить спокойного достоинства, отличающего сильные души, не изменить уважительности, лежавшей в основе всех римских политических установлений и общественных отношений. Латинский язык с его властными интонациями, торжественным звучанием и симметрией периодов был мало пригоден для выражения порывов смятенной души либо бурных

приступов веселья. В битвах римляне блистали отвагой, однако главным их богатством была нравственная сила, зиждившаяся на величавой гордости, которой преисполнило каждого из них звание римского гражданина. Не было такой цели, включая победу в предстоящем сражении, которая могла бы оправдать в их глазах измену вечным законам послушания, предупредительности и мудрости.

Римский народ был силен не столько пылкостью страстей, сколько постоянством воли. Римлян следовало убеждать, обращаясь к их разуму, и держать в повиновении, внушая им уважение. Более религиозные, чем греки, хотя и куда менее фанатические, менее строптивые, менее восторженные и, следовательно, менее тщеславные, они ни при каких обстоятельствах не переставали прислушиваться к голосу своего рассудка.

Римляне презирали изящные искусства, и в частности словесность, до тех пор пока философы, риторы и историки не поставили умение сочинять на службу политике и общественной нравственности. Когда отцы города посвятили себя литературным занятиям, они очень скоро превзошли греков, ибо знали людей и государственные дела не понаслышке, однако в писаниях своих они соблюдали гораздо большую осторожность. Цицерон нападал на предрассудки римлян не без робости. Тот, кто искал поддержки нации и притязал на власть в республике, не мог позволить себе порицать убеждения сограждан: писатель дорожил репутацией государственного мужа.

В стране демократической, каковой были Афины, философические штудии почти так же редко сочетаются в жизни одного человека с деятельностью политической, как любомудрие с ремеслом царедворца — в стране монархической. Завоевать любовь толпы нелегко, но для этого совсем не обязательно трудиться на ниве просвещения. Вождей народа не занимает мысль о потомках; бури, свидетелями которых им выпадает быть, так ужасны, невзгоды и радости чередуются так стремительно, что сегодняшние события поглощают всеобщее внимание. Аристократическое правление дает возможность двигаться вперед медленнее и размереннее; оно позволяет задуматься о будущем; дабы снискать

уважение узкого круга избранных, необходимы знания, толпу же можно поразить при наличии одного лишь живого воображения.

За исключением Ксенофонта, который сам участвовал в походе, описанном в его историческом сочинении<sup>2</sup>, но никогда не был облечен властью в республике, ни один из афинских государственных мужей не блистал литературными талантами; ни одному из них, в отличие от Цицерона и Цезаря, не пришлось в голову упрочить свою политическую репутацию, взявшись за перо. Сципиону приписывали комедии, известные под именем Теренция<sup>3</sup>; Саллюстия считали участником заговора, который он изобразил как историк<sup>4</sup>; в Афинах же мы не найдем ни одного человека, который прославился бы на обоих поприщах — литературном и политическом. У греков глубокая пропасть отделяла философические штудии от дел государственных, и оттого писатели их слушались голоса своего воображения, латинские же авторы и в мыслях хранили верность жизни действительной.

Латинская литература — единственная литература, начавшаяся с сочинений философических; у всех прочих народов, в том числе у греков, первые творческие опыты рождены воображением. Комедии Плавта и Теренция — не что иное, как подражания греческим комедиям. Прочие сочинители до Цицерона либо ничем не замечательны, либо, как Лукреций, перекадывают в стихи философические теории\*. Рим-

\* Поскольку эта точка зрения вызвала несогласия<sup>5</sup>, я считаю своим долгом привести некоторые факты, подтверждающие ее. Я сказала, что поэты — предшественники Цицерона и Лукреция — ничем не замечательны. Мне возразили, назвав имена Энния, Акция и Пакувия<sup>6</sup>. Энний, самый талантливый из трех, — автор стихов темных, неправильных и почти не одушевленных воображением. Это мнение, основанное на дошедших до нас фрагментах, удостоверяет Вергилий. Его суждение об Эннии вошло в поговорку<sup>7</sup>. Гораций в одном из своих посланий издевается над теми, кого восхищают старинные римские поэты — Энний и его современники<sup>8</sup>. Овидий в «Грустных элегиях» запрещает женщинам читать стихотворные «Анналы» Энния, ибо, говорит он, нет ничего более грубого, чем это сочинение<sup>9</sup>; плохим поэтом считали Энния и многие латинские комментаторы.

Я сказала, что римляне начали заниматься философией прежде, чем у них появились поэты. Первые стихотворные комедии, сочиненные Титом Андроником, были поставлены в 514 году<sup>10</sup>, а Энний прославился год спустя. Пятью столетиями раньше Нума уже преда-

ские авторы ставили на первое место пользу, греческие — потребность в развлечениях. Снисходя к желаниям толпы, римские патриции устраивали зрелища и празднества, на которых исполнялись песни и гимны, но вался философическим размышлениям<sup>11</sup>, а через полтора столетия после его смерти Пифагор был провозглашен римским гражданином<sup>12</sup>. Философические секты Великой Греции имели постоянные сношения с Римом; латинский язык заимствовал много слов и грамматических правил из эолийского диалекта, завезенного в Великую Грецию переселенцами. Прежде чем стать поэтом, Энний был членом пифагорейской секты, и в стихах его, дошедших до нас, философических идей гораздо больше, чем мифологических вымыслов.

Законодательство, которое можно рассматривать как отрасль философии, достигло в Риме величайшего совершенства еще прежде, чем там появились поэты. Дух законов изучали в публичных школах; у законов имелись свои комментаторы. Секст Паприй, Секст Целий, Граний Флакк и прочие писали на эту тему в III, IV и V веках. Трудясь над Законами двенадцати таблиц, трактующими о религии, государственном и частном праве, римляне отправили гонцов к просвещеннейшим мужам Греции, дабы просить у них совета, и составленный ими свод законов превзошел, по словам Цицерона, все, что когда бы то ни было создали философы<sup>13</sup>.

Павел Эмилий поручил воспитание своего сына философу Метродору, которого привез из Афин. Катон Старший, порицавший пристрастие римлян к греческой литературе и выказывавший особенное презрение к Эннию, поскольку тот был стихотворцем, сам учился у пифагорейца Неарха и был видным писателем и оратором<sup>14</sup>; Катона возмутили лишь речи Карнеада, греческого философа из секты академиков<sup>15</sup>, зато Диоген-стоик, посланный в Рим вместе с Карнеадом, пришелся здесь ко двору, и последователями его сделались Сципион, Лелий и многие другие сенаторы<sup>16</sup>; более того, можно полагать, что учение стоиков было известно и славно в Риме еще до приезда Диогена.

Если упорно продолжать именовать философией софистику<sup>17</sup>, то справедливость требует сказать, что до тех пор, пока не пала республика, римляне отвергали это лжемудрствование греков; если же понимать под философией ту почтенную науку, каковой она неизменно пребывала в древности, то следует признать, что лишь благодаря философии римляне становились великими государственными мужами, прозорливыми законодателями и великолепными ораторами.

До Энния в Риме было много сочинителей, писавших прозой. Римлянин Постум Альбин сочинил по-гречески историю Рима, Фабий Пиктор написал такую же историю на латыни. Еще до рождения Энния римляне гордились знаменитыми ораторами, которых с восхищением упоминает Цицерон; это Гракхи, Аппий<sup>18</sup> и прочие. Записи многих их речей дошли до времен Цицерона. Одним словом, великие люди многократно прославили Римскую республику задолго до того, как в ней появились поэты.

Разве можно сравнить пути, которыми шел вперед человеческий разум в Риме и в Греции? Величайший из греческих поэтов, Гомер,

власть прочно принадлежала сенату и дух нации определялся именно им.

На латинском языке не существовало еще ни одного творения изящной словесности, а римляне были уже прославленной нацией, охраняемой мудрым правительством и крепкими законами. Литература в Риме зародилась, когда ум римлян прошел уже многовековую школу и овладел искусством претворять в жизнь философские идеи. Искусство сочинительства развилось у римлян много позже, чем талант действателей; поэтому в Риме литература носила совсем иной характер, нежели в тех странах, где первым проснулось воображение, и повествовала о совсем иных предметах.

жил на четыре столетия раньше первого известного нам греческого прозаика, Ферекида Сирросского, на три столетия раньше Солона и на одно раньше Ликурга<sup>19</sup>; первое из искусств, поэзия, достигло в Греции высочайшего уровня развития прежде, чем греки составили себе о прочих предметах понятие, достаточное для написания свода законов и создания политического общества.

Наконец, главное в любой литературе — ее дух. Никто не станет спорить, что итальянская словесность началась со стихов, и, хотя во времена Петрарки было немало дурных прозаиков, вспоминать о них так же бессмысленно, как и ставить Энния, Акция и Пакувия рядом с великими ораторами и философами, составившими славу первых веков Римской республики. Назови мы Цицерона поэтом за то, что в юности ему случилось сочинить поэму о Марии, никто не понял бы, что мы хотим сказать. Точно так же обстоит дело с бесформенными и холодными писаниями тех стихотворцев, которых хотят выдать за родоначальников латинской литературы. Бывают случаи, когда излишние познания служат помехой, ибо, погружившись в глубь времен, исследователь рискует погрязнуть в мелочах и упустить главное.

Истинно знаменитые писатели, жившие накануне века Августа, — это Саллюстий, Цицерон и Лукреций; к этому перечню можно, пожалуй, добавить еще Плавта и Теренция, переводчиков греческих комедий. Но разве знаем мы хоть одного римского поэта, прославившегося до появления Цицерона и пользовавшегося такой же известностью, как этот прозаик? Разве до появления великих поэтов века Августа в Риме был хоть один стихотворец, который оказал на римскую литературу действие, мало-мальски сравнимое с воздействием Гомера на литературу греческую? Латинская литература началась с Цицерона, как греческая — с Гомера, однако для того, чтобы родился на свет философ, подобный Цицерону, цивилизация должна была совершенствоваться не одно столетие, тогда как рождением Гомеровых поэм мы обязаны исключительно воображению слепого певца и чудесным преданиям героических времен.

Если замечания мои покажутся кому-то чересчур пространными, я прошу вспомнить, что отвечала на критику, нуждающуюся в опровержении (примеч. ко 2-му изд.).

Сословные различия не могли не сделать вкус римлян более строгим, чем вкус греков. Стремясь к господству над согражданами, люди знатного происхождения быстро убеждаются, что благородство манер и отменная образованность лучше подчеркивают дистанцию между сословиями, чем любые официальные знаки отличия. Римляне никогда не потерпели бы в своих театральных представлениях грубых шуток наподобие Аристофановых; они не допустили бы насмешек над недавней историей страны, над отцами города, они согласны были смотреть на театре лишь некие вымышленные сцены, не имеющие никакого отношения к их патриархальным добродетелям, — пантомимы или грубоватые фарсы на сюжеты, заимствованные у греческих авторов и крайне далекие от римских нравов, с рабами-греками в главных ролях<sup>20</sup>. Такой же выдумкой, не связанной с жизнью действительной, почитали римские зрители мыслы и чувства, положенные в основу этих комедий, и тем не менее Теренций даже в пьесах на чужестранные сюжеты соблюдал приличия и умеренность, как то и подобает человеку благородному, пусть даже среди его слушателей нет женщин.

Женщины в Риме имели больше прав, чем в Греции, но лишь в семейном кругу; в общественной жизни они не значили ровным счетом ничего. Римский вкус, римская общежительность несли на себе некую печать мужественности; решительно чуждые женской чувствительности, они брали начало исключительно в суровых римских нравах.

Ни бурное красноречие греков, ни тонкая лесть французов не пристали аристократической форме правления: здесь нужно угождать не народу и не королю, а некоему сословию, горстке людей, связанных общими интересами. При таком порядке вещей патриции были обязаны чтить друг друга, чтобы внушить почтение всей нации; каждый из них должен был тщательно блюсти свою репутацию и жить степенно, сосредоточенно, чтобы по нему народ мог судить обо всем его сословии. Все, что служит возвеличиванию отдельного человека, все, что вызывает чрезмерные восторги либо чрезмерную зависть, порочит сословие. Поэтому римляне, в отличие от греков, не стремились прославиться неслыханными тео-



риями, бесцельными софизмами, диковинным образом жизни \*. В Риме все наперебой стремились завоевать уважение патрициев; у патрициев могли быть враги, но и враги желали походить на них.

Хотя в Риме литературе уделяли меньше внимания, чем в Греции, в том, что касается этики и философии, римляне превосходили греков проницательностью и широтой взглядов. Сказывались разделявшие их несколько столетий, в течение которых разум человеческий неуклонно шел вперед. К тому же чем больше условностей приходится автору соблюдать, тем более глубокий требуется ему ум. Демократический строй рождает острую и почти всеобщую потребность в соперничестве на всяком поприще, зато аристократический строй понуждает всякого в совершенстве знать свое дело. Сочинитель всегда старается угадать мнение современников, на чей суд отдает свое творение, так что оно является плодом совместных усилий талантливой автора и просвещенной публики.

Грекам гораздо лучше, чем римлянам, удавались быстрые и остроумные реплики, приносившие шутнику известность среди находчивых и веселых соотечественников, зато у римлян ум был более глубок: они тщательнее обдумывали все свои идеи и лучше постигали их взаимную связь. Достаточно сравнить Цицерона с Тацитом, чтобы увидеть, какой путь вперед проделала римская философия. Изящная словесность в Риме развивалась неравномерно, но познание человеческого сердца и его нравственных устоев совершенствовались безостановочно. Основные положения своей философии римляне заимствовали у греков, но, поскольку те предписания, о которых греки толковали в книгах, римляне соблюдали в жизни, их добродетели помогли им гораздо глубже вникнуть во все вопросы этики. Цицерон осветил науку об обязанностях более широко, ясно, энергично, чем кто бы то ни было из его предшественников<sup>22</sup>. До принятия благодетельной христианской религии и уничтожения рабства политического и гражданского нельзя было сказать больше, чем сказал он.

\* Что сказали бы в Риме о странном поведении Диогена?<sup>21</sup> Ничего, ибо в стране, где странности не принесли бы ему ни малейшей славы, он бы обошелся без них.

В отличие от некоторых современных моралистов древние не стремились познать механизм страстей человеческих; их понятия о добродетели этому противились. Добродетель, как ее понимали древние, состояла в умении владеть собой и в любви к славе. Эти побудительные причины, носящие характер не столько внутренний, сколько внешний, не позволяли людям проникнуть в тайны собственного сердца, чем во многих отношениях обедняли нравственную философию.

Превыше всего римляне ставили стоическое самообладание. Все политические союзы независимо от образа правления покоятся на какой-либо одной добродетели, иначе говоря, всякая нация отдает какому-либо одному достоинству предпочтение перед другими и даже извиняет его наличием отсутствие всех прочих. Достоинство это зависит от места рождения, оно отличается всех уроженцев одного края. У спартанцев таковым было презрение к физической боли, у афинян — яркость таланта, у римлян — душевная стойкость, у французов — безграничная отвага; римляне ценили абсолютное самообладание так высоко, что стоик даже самому себе почти не отдавал отчета в своих чувствах — ведь ему полагалось их подавлять.

Если благородный человек ощущает страх, он с такой яростью спешит изгнать это недостойное чувство из своего сердца, что у него не остается ни времени, ни желания исследовать его свойства. Точно так же обходились римские философы с чувствами гнева и боли, зависти и сожаления: они считали все невольные движения души признаком изнеженности и не желали изучать их ни в себе, ни в других. В сердце человеческом они различали только два свойства — силу или слабость. Устремляя все свои помыслы к славе, они презирали веления характера и поступали лишь так, как требует долг.

Лишь в сочинениях Цицерона видна личность, да и то причина этой откровенности — самолюбие автора, а не его убеждения<sup>23</sup>. Философия Цицерона покоится не на наблюдениях, а на наставлениях. Римлян нельзя назвать лицемерами, но они воспитывали себя напоказ. У них был образец — римский

характер, и все великие люди перекраивали свою природу по этому образцу; не случайно все моралисты у них на одно лицо.

Рассуждая в трактате «Об обязанностях» о нравственной красоте и «подобающем» (*decorum*)<sup>24</sup>, Цицерон причисляет к нравственным обязанностям различные способы внушать уважение, вплоть до чистоты языка и изысканности произношения. Римляне почитали добродетелью все, что способно преумножить достоинство человека. Наградой за принесенные жертвы служила им не милосердная и возвышенная вера, но наслаждения философические. Они не искали утешений для души человека, но всецело полагались на его гордость — так величавы были они от природы, так стремились истребить в себе все зародыши чувствительности, пусть даже чувствительность эта удовлетворяла самым строгим требованиям нравственности!

Поэтому поначалу мы не найдем в римской литературе ни глубокого понимания человеческого сердца, ни проникновения в тайну характеров, ни сознания бесконечного многообразия нравственной природы. Римляне, вероятно, полагали, что исследовать причины слабостей — значит открывать им путь в сердце, и отрицали само их существование. Даже красноречие у них отнюдь не одушевляется неистовыми страстями; разум их пылок, но душа покойна.

Меж тем в чувствах своих римляне были искреннее греков; у людей сурового нрава душевные привязанности крепче, чем у тех, кто, как некогда греки, выше всего ценит наслаждения.

Плутарх, чьи картины надолго врезаются в память, рассказывает, что, готовясь покинуть Италию, Брут и Порция перед разлукой прогуливались по берегу моря и вошли в храм, дабы обратиться с мольбой к бессмертным богам<sup>25</sup>. Взоры их остановились на картине, изображающей прощание Гектора с Андромахой. Увидев картину, дочь Катона, до тех пор крепившаяся, не могла более сдерживать свои чувства. Брут, также растроганный, обратился к сопровождавшим его друзьям: «Поручаю вашему покровительству эту женщину, соединяющую добродетели своего пола с отвагою нашего» — и удалился.

Не знаю, оттого ли, что на память мне приходят наши междоусобицы — пора, когда множество прощаний оказывались прощаниями навеки<sup>26</sup>, — но сцена эта кажется мне одной из трогательнейших в мире. Чем более сурово держались римляне, тем величавее выглядят те редкие проявления чувства, которые они себе позволяли. Непреклонный стоик Брут, выказывающий столь нежное чувство, не может оставить нас равнодушными: ведь мы знаем, что вскоре ему предстоит свершить свои последние подвиги и погибнуть; грозная решимость и страшная участь последнего римлянина настраивают нас на мрачный лад и лишь увеличивают наше сострадание к Порции\*.

Сравните Брута, каким он предстает в этом эпизоде, с Периклом, вымаливающим у ареопага пощаду Аспазии; царственное величие, очарование красоты, соблазны любви — все эти сильные средства использованы в рассказе о защитительной речи Перикла<sup>27</sup>, но ни одно из них не трогает нас до глубины души. Нас трогает лишь то, что согласно с велениями нашей совести. Сердцу нашему приказывают не предрассудки общества и не наставления философов; сердце слушается лишь голоса добродетели, какой она заповедана нам свыше; заключается ли эта добродетель в любви или в самоотверженности, она всегда — сама истина и сама чуткость.

Хотя нравы у римлян были чище, а ум глубже, чем у греков, и потому они были способны на сильные чувства, до века Августа ни чувства эти, ни вдохновленные ими идеи не находили никакого выражения в творчестве римских авторов. Привычка тщательно скрывать собственные ощущения и смотреть на мир лишь с философической точки зрения делает сочинения римлян энергическими, но сухими и однообразными. «Что же до чувства, которое обычно именуется любовью, не стоит и доказывать, до какой степени оно недостойно человека», — говорит Цицерон. В другом месте он замечает, что сожаления и

\* Несчастного она до двери довела;  
То встреча их, увы, последняя была.  
«Гракхи» господина де Гибера<sup>28</sup>.

слезы на могилах пристали одним лишь женщинам и являются к тому же дурными предзнаменованиями<sup>29</sup>. Так, желая укротить природу, человек попадает во власть предрассудков.

Мы не станем обсуждать здесь, какую услугу оказывает нации суровая нравственная сила — плод совместного действия установлений и обычаев; ясно, однако, что когда ум каждого человека — точный слепок с разума нации, когда все люди воспитывают себя по одному образцу, вместо того чтобы совершенствовать только им присущие таланты, литература неминуемо становится однообразной.

Гладиаторские бои, являвшие зрителям картины сражений и смерти, волновали римский народ, однако даже и от рабов, приносимых в жертву их жестокой страсти, римляне требовали, чтобы те подавляли страдание и скрывали терзающую их боль<sup>30</sup>. Подобная бесстрастность слабо вдохновляет трагических поэтов, поэтому римляне не оставили ни одной подлинно значительной трагедии\*. Римский характер был, безусловно, исполнен трагического величия, но для театра он не годился из-за своей чрезвычайной сдержанности. Даже в низших сословиях люди вели себя степенно и серьезно. Человека, лишившегося ума от горя, римляне сочли бы позором нации; нужен был Шекспир, чтобы потрясти публику ужасным зрелищем тела, сломленного душевными страданиями. Римская история не знает ни одной женщины, ни одного мужчины, у которых горе отняло бы разум. Римляне часто кончали жизнь самоубийством, но внешние проявления страданий у них крайне редки. Они презирали всякого, кто выставляет свое горе напоказ; человек, считали они, обязан преодолеть боль или умереть.

Кроме того, греки охотно смотрели трагедии на сюжеты, почерпнутые из истории\*\*, римляне же ни за что не согласились бы положить в основу трагедии

\* Гораций жалуется, что римляне прерывают театральные представления громкими криками, требуя, чтобы им показали гладиаторские бои<sup>31</sup> (примеч. ко 2-му изд.).

\*\* Единственная трагедия на сюжет из римской истории посвящена смерти Октавии и, следовательно, сочинена через много лет после падения республики; хотя она дошла до нас среди сочинений Сенеки,

эпизоды из истории своего отечества, изобразить в ней свои национальные предания и привязанности \*. Ко всему, что им дорого, римляне относились со священным трепетом. Афиняне верили тем же богам, так же защищали отечество, так же любили

автор ее неизвестен, как неизвестно и другое: была ли она хоть единожды сыграна?

\* Противники мои ссылаются на Горация, сказавшего в «Науке поэзии»:

Наши поэты брались за драмы обоего рода  
И заслужили по праву почет — особенно там, где  
Смело решались они оставить прописи греков  
И о себе, о самих претексты писать и тогаты <sup>32</sup>.

Я не знаю наверное, какие пьесы имел в виду Гораций и о каком периоде латинской литературы всл он здесь речь. Когда он сочинял «Науку поэзии», славнейшие поэты века Августа уже явились на свет; пожалуй, даже «Энеида» была уже известна <sup>33</sup>. Приведенные строки — единственное место в сочинениях Горация, да и всех латинских классических авторов, где можно усмотреть намеки на существование трагедий из римской жизни, да и то подобное толкование не бесспорно. Бесспорно другое: Гораций и Цицерон считали римских трагических поэтов подражателями греков; все трагедии, упомянутые в сочинениях древних (а их более двухсот), написаны на греческие сюжеты.

Акций, говорит один комментатор, сочинил трагедию о Бруте, которая была представлена на играх в честь Аполлона. Но Цицерон в письме к Аттику говорит, что на играх этих была представлена трагедия «Терей», а другой комментатор утверждает, что Акций написал не трагедию о Бруте, а стихи, посвященные своему приятелю Бруту — потому что и тезке славного героя <sup>34</sup>. В Риме вопрос о том, может ли та или иная пьеса быть представлена, решали эдилы <sup>35</sup>; как же могло случиться, что они позволили сыграть трагедию из римской жизни, а мы даже не знаем ее названия, тогда как трагедий на греческие сюжеты нам известно, хотя бы по названиям, около двух сотен?

Было бы рискованно утверждать, что есть правила без исключений. Однако наш вывод сделан на основе большого числа примеров, и мы вправе предположить, что римляне времен республики относились к трагедиям, изображающим события их собственной истории, неблагоприятно. Ни Гораций, ни Цицерон не упоминают ни добрым, ни злым словом ни одной подобной трагедии, а ведь оба они пользовались любым случаем прославить латинскую литературу.

Что же касается стихов Горация, приведенных в опровержение моих слов, то я отвечу на них другими строками того же поэта:

Римлянин острый свой ум обратил к сочинениям греков  
Поздно; и лишь после войн с Карфагеном искать он спокойно  
Начал, что пользы приносят Софокл и Феспис с Эсхилом;  
Даже попробовал дать перевод он их сочинений,  
Даже остался доволен собой: возвышенный, пылкий,  
Чует трагический дух, и счастлив и смел он довольно,  
Но неразумно боится отделки, считая постыдной <sup>36</sup>.

свободу, но одни лишь римляне чтили предметы своего поклонения со страстью, которая, овладев разумом, не позволяет человеку согрешить даже в мыслях и чем-то уподобляется суеверной любви.

В Афинах философия была, можно сказать, одним из изящных искусств, совершенствованию которых посвятил себя жадный до славы афинский народ. Римляне же полагали философию опорой добродетели; в Риме государственные мужи изучали ее, дабы лучше править родной страной. Единственной целью их усилий было величие Римской республики: воины, писатели и магистраты<sup>37</sup> купались в лучах ее славы и служение ей ставили выше личного преуспеяния.

Эта цель не могла не окрасить римскую литературу времен республики в единый цвет, не могла не придать ей единого духа. Сочинения этого времени отличает законченность, но не самобытность, достоинство, но не страстность, мудрость, но не избрительность. Каждое слово здесь звучит полновесно, ибо в нем слышен властный голос разума, видно поразительное величие души. Ни один оттенок смысла не пропадает, напротив, кажется, что значение слов становится шире обычного. Идеи свои римляне развивали с обстоятельностью едва ли не чрезмерной, на чувства же были скупы.

Поскольку первый этап римской литературы близок к последнему этапу литературы греческой, римским авторам присущи те же погрешности, что и греческим; причина этих погрешностей — в молодости окружавшего сочинителей мира. Одни произведения римлян отягощены длиннотами, другие — ошибками и заблуждениями. На поприще мысли римляне значительно опередили греков, но как же сильно отстали они в этом отношении от людей нового времени!

Есть ли в этих строках хоть одно слово, позволяющее предположить, что у римлян имелись оригинальные трагедии, и разве недостаточно рекомендует римский характер это гордое нежелание поправлять сочиненные пьесы? Разве римский народ даже во времена республики уподоблялся характером, талантами и вкусами народу греческому, известному своей страстью к отделке творений драматического и поэтического искусства? (Примеч. ко 2-му изд.)

Читая немногочисленные сочинения, оставшиеся от начального периода римской литературы, мы восхищаемся прежде всего характером римлян и их государственным устройством. Исторические сочинения Саллюстия, письма Брута \*, трактаты Цицерона имеют над нами неограниченную власть; за красотами слога проступает величие души; мы видим не только писателя, но и человека, не только человека, но и нацию, а у ее ног — весь мир.

Без сомнения, Саллюстий и даже Цицерон — не лучшие люди своего времени, но большой талант помог им проникнуться духом прекрасной эпохи; их устами говорит сам Рим.

Цицерон находил разные слова, обращаясь к сенату, жрецам или Цезарю. Речи его дают представление не только о римском характере в целом, но и о том, каковы были пристрастия и вкусы государственных мужей разного склада ума и разных привычек. Следовательно, сравнить Цицерона с Демосфеном — значит сравнить ум и нравы римлян с умом и нравами греков. Гневный пыл Демосфена и величавое красноречие Цицерона, умение Демосфена пробудить в народе выгодные ему страсти и мастерство, с которым Цицерон смирят страсти, ему противные, пространные объяснения Цицерона и настойчивые, энергические повторения заветных мыслей у Демосфена — во всем отразились характер и образ правления двух народов <sup>39</sup>.

Писатель, творящий в одиночестве, слушается только своего таланта, иное дело — оратор, участвующий в политических спорах; он старательно усваивает себе национальный дух, подобно тому как опытный полководец заранее изучает поле, на котором намеревается дать бой.

\* В письмах своих Брут не заботился о слоге, его волновала только судьба отечества, и тем не менее письмо, где он ставит в упрек Цицерону его льстивые речи, обращенные к юному Октавию, — быть может, лучшие строки во всей латинской прозе <sup>38</sup>.



## ГЛАВА VI ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЦАРСТВОВАНИЕ АВГУСТА

Обыкновенно Цицерона и Вергилия считают современниками, писателями той эпохи, что именуется золотым веком латинской литературы. Однако авторы, чей гений созрел среди кровавых сражений за свободу, не могут не отличаться от авторов, чьи способности расцвели в мирную пору, каковой были последние годы принципата Августа. По времени эпохи эти очень близки, однако общий дух латинской литературы после падения республики разительно изменился.

В течение первых лет правления Августа римляне, по свидетельству некоторых историков, еще хранили некоторые республиканские привычки. Но поэзия их уже несет на себе отпечаток придворных нравов; поэты, в большинстве своем мечтавшие угодить Августу и приближенные ко двору, придали литературе тот характер, который она неминуемо принимает под властью монарха, желающего властвовать над всем, включая людские мнения. Эта черта, сближающая век Августа с веком Людовика XIV, дала основания сравнивать две эпохи, во всем остальном, впрочем, совершенно различные.

В Риме философия родилась раньше поэзии; обычный порядок был нарушен, чем, возможно, и объясняется великолепие латинской поэзии.

До эпохи Августа поэзия не становилась поприщем для соперничества<sup>1</sup>. Политические интересы и борьба за власть почти всегда берут верх над чисто литературными достижениями, и, если у кормила правления стоят люди одаренные, они посвящают себя красноречию, истории или философии, иными словами, отраслям литературы, предполагающим основательное знакомство с характерами и историей. Напротив, при правителе единовластном изящные искусства являются единственным поприщем, на котором выдающиеся умы могут снискать славу, и, если монарх добр, поэты нередко

имеют слабость воспевать его царствование в своих шедеврах.

Тем не менее Вергилий, Гораций, Овидий, хотя и расточали хвалы Августу, показали себя лучшими философами и мыслителями, нежели любой из греческих поэтов. Преимуществом этим они отчасти обязаны глубоким изысканиям своих предшественников. В каждой литературе рано или поздно наступает время поэзии. Иные образы и красоты поэты молодой нации перенимают у своих предшественников, но когда поэтические способности нации расцветают, как это случилось в Риме, в эпоху просвещенную, на пользу поэзии идет также и философическая мудрость ее времени. Повсюду век воображения предшествует веку философии, но, если однажды поэты находят философские идеи уже созревшими и получившими всеобщее признание, это лишь прибавляет поэзии блеска.

В эпоху Августа почти все поэты были эпикурейцами; учение Эпикура поощряет стихотворство, сообщая к тому же беззаботности толику благородства, сладострастию — толику философичности и даже рабству — толику достоинства<sup>2</sup>. Учение это безнравственно, но не раболепно, оно проповедует отказ от свободы, как и от всякого другого блага, за которое нужно бороться, но не прославляет деспотизма и не требует от людей слепого послушания, о котором пеклись льстивые подданные Людовика XIV. Краткость жизни, о которой Гораций неустанно напоминает, даже рисуя самые радостные картины, мысль о смерти, которая не оставляет его даже в минуты высшего блаженства, — все это служит некоторым философическим противовесом подобострастию. Римские поэты изображают бренность человеческой жизни не по велению добродетели; будь их душа способна на глубокие нравственные чувства, они свергли бы тирана и узурпатора, вместо того чтобы воспевать его. Вспомним, однако, что на жизнь они смотрели как на ручей, который струится, даруя свежесть в летний зной, и были равнодушны не только к нравственности и свободе, но и к бегу времени, к самому земному бытию.

Всех поэтов века Августа отличает слабость характера, но это не мешает нам восхищаться их творениями. Они заимствовали у греков многие поэтические

приемы, которые затем перешли в сочинения нового времени и которым, по-видимому, суждено вечно пребывать основой изящных искусств. Но все трогательное и философическое в стихах римских поэтов — создание их собственного гения.

Любовь к сельской жизни, внушившая столько прекрасных стихотворных строк, носит у римлян совершенно иной характер, нежели у греков. Оба эти народа, жившие в одном и том же климате, привержены одним и тем же образам. И греки и римляне с наслаждением возвращаются мыслью к свежему ветерку, спасающему от безжалостного зноя, но римляне ищут в сельском уединении еще и другого — они стремятся убежать из-под власти тирана, отдохнуть от тягостных чувств, забыть о постыдном гнете. К описаниям примешиваются у них рассуждения нравственные; каждая строка дышит сожалениями и воспоминаниями — оттого-то, без сомнения, они и трогают нашу душу сильнее, чем стихи греков. Греки жили будущим, римляне же, подобно нам, охотно обращали свои взгляды в прошлое.

Пока Рим был республикой, отношение римлян к женщинам было исполнено нежности. Женщины тогда не пользовались еще той независимостью, какую обеспечивают им современные законы, но, пребывая вечно у домашнего очага, подле родных пенатов, они, подобно этим божествам, внушали некое священное почтение.

Во времена республики сердечные излияния в литературе были совершенно невозможны; стихи, полные таких трогательных чувств, каких не сыщешь ни в одном греческом сочинении, римские поэты создали в тот короткий период, когда суровые республиканские нравы уже ушли в прошлое, но еще не сменились ужаснейшим развратом. В царствование Августа прежние строгости были еще свежи в памяти римлян, и эти воспоминания о былых добродетелях сообщали особенную прелесть описаниям любви\*.

Элегии Тибулла, обращенные к Делии, четвертая песнь «Энеиды», предания о Кеике и Алкионе и о

\* Приведу в подтверждение своих слов два выбранных наугад примера: это — строки, где чувствительность римских поэтов высказалась с особенной силой. Когда принявшие земное обличье боги спрашивают у Филемона, какую награду он и Бавкида хотели бы получить от небес, Филемон отвечает:

Филемоне и Бавкиде в «Метаморфозах» Овидия <sup>5</sup> живописуют нам привязанности души величественным языком латинян. Как же потрясает нас этот язык силы и разума, когда поэт изъясняет им чувства нежные! Могучий и величавый, внушающий нам беспредельное уважение, он особенно сильно волнует нас, когда снисходит до выражения сердечных чувствований. Тем не менее даже в век Августа римлянам очень редко удавалось говорить подлинным языком глубоких и страстных чувств. Учение Эпикура, фатализм, нравы древних до принятия христианства — все это изменяло движения души почти до неузнаваемости.

Овидий, изъяснявшийся зачастую чересчур утонченно и манерно и злоупотреблявший антитезами, отнимал у языка любви правдивость. Стихи его отличаются тем же дурным вкусом, каким впоследствии грешили поэты века Людовика XIV <sup>6</sup>. Желание хладнокровно упражнять свой ум, говоря о чувствах, приводит, по-видимому, в разные эпохи к одним и тем же следствиям.

Для того чтобы писать о любви, древним недоставало нравственных и философических познаний. Когда я поведу речь о литературе нового времени, в особенности же о литературе XVIII столетия — о «Танкреде»,

...поскольку ведем мы в согласии годы,  
Час пусть один унесет нас обоих, чтоб мне не увидеть,  
Как сожигают жену, и не быть похороненным ею <sup>3</sup>.

Из Вергилия, поэта, оставившего больше чувствительных стихов, чем любой поэт в мире, я возьму строки, рисующие отцовскую нежность; тому, кто не говорит языком влюбленных, растрогать читателя особенно трудно; для этого потребны чувства глубочайшие. Эвандр, провозжая на битву своего сына Палланта, говорит ему:

К вам, о боги, к тебе, о Юпитер, богов повелитель,  
Я взываю теперь: над властителем сжальтесь  
аркадцев,  
Просьбам внимайте отца! Если вашей воле угодно  
Сына мне возратить, если рок сохранит мне Палланта,  
Если живу, чтоб вновь увидеть его, встретиться  
снова,—  
Дайте мне жизни! Я бремя ее понесу терпеливо.  
Если же мне небывалый удар ты готовишь, Фортуна,  
Дайте, о дайте сейчас оборваться жизни жестокой,  
Есть надежда доколь и неведом исход опасений,  
Сына доколе — ведь в нем лишь одном моя поздняя  
радость —  
Крепко в объятьях держу, доколе вестник несчастья  
Ранить мой слух не успел <sup>4</sup>.

«Новой Элоизе», «Вертере» и стихах английских поэтов,— я покажу, что чем совершеннее философия нации и чем дальше ушла ее мысль, тем с бóльшей силой и страстью говорят ее писатели о любви.

Век Августа так много раз сравнивали с веком Людовика XIV<sup>7</sup>, что я не стану вновь братья за эту тему; выскажу лишь одну мысль, имеющую непосредственное отношение к учению о совершенствовании, которое я отстаиваю. В том, что касается достижений человеческого разума, Декарт, Бейль, Паскаль, Мольер, Лабрюйер, Боссюэ и современные им английские философы не идут ни в какое сравнение с римлянами века Августа. С другой стороны, древние, и прежде всего римляне, могут похвастаться великолепными историками, равных которым не найдется среди авторов нового времени, особенно у французов, не оставивших ни одного всеобъемлющего исторического труда.

Французам никогда не удавалось преуспеть в историческом роде<sup>8</sup>. Подробнее я остановлюсь на этом в главе, посвященной веку Людовика XIV, пока же рассмотрю некоторые причины превосходства древних историков над историками нового времени и покажу, что превосходство это отнюдь не опровергает учения о совершенствовании человеческого разума.

Есть исторические труды, в которых наибольший интерес представляет философическая основа, и есть другие, главное достоинство которых — в живости рассказа и красоте языка; греческие и римские историки прославили себя сочинениями второго рода.

Великий моралист должен знать человеческую душу гораздо лучше, чем великий историк. Тацит — единственный автор древности, соединивший в себе моралиста и историка. Страдания и страх, которые порождает деспотизм, заставили его мысль работать более напряженно, сообщили ему опытность, недоступную современникам. Тит Ливий, Саллюстий, а также историки менее замечательные, Флор, Корнелий Непот и другие, покоряют нас величием и простотой рассказа, блеском речей, вложенных в уста героев, драматической силой картин. Но историки эти рисуют, если можно так выразиться, лишь внешнюю сторону жизни. Они изображают человека таким, каким видят его посторонние, таким, каким он себя им показывает; они кладут крас-

ку густыми мазками, сталкивая порок с добродетелью, однако в их сочинениях мы не найдем ни философического анализа нравственных впечатлений бытия, ни глубоких наблюдений над характерами, ни пронизательных истолкований душевных движений. Ни один древний автор не сравнится в прозорливости с Монтенем. Конечно, историк и не обязан выказывать подобные таланты; он должен рисовать человеческую природу в общем, дабы герои его пребыли великими в памяти потомков. Моралисты ищут в человеке тайные слабости, сближающие его со всеми остальными людьми, — историк же должен подчеркивать в своих героях то, что отличает их от толпы. Древние, склонные предаваться восторгу и изображавшие порок как можно более скверным, а добродетель — как можно более возвышенной, обладали одним достоинством, почти столь же полезным для повествования о событиях действительных, сколь и для сочинения вымыслов: они были постоянны в любви и ненависти, так что нередко историки их наделяли своих героев даже более цельными характеристиками, чем поэты.

Не забудем и о том, что у древних историков было еще одно важное преимущество перед историками нового времени, — события, о которых им приходилось рассказывать, носили особенный характер. Республиканский строй сообщает величие и людям и деяниям; судьба одного свободного города гораздо интереснее многовековой истории деспотической монархии или феодальных войн. Сочинения Светония, описавшего царствования нескольких императоров, последняя часть труда Веллея Патеркула и история Аммиана Марцеллина<sup>9</sup> не идут ни в какое сравнение с книгами историков, живших при республике; Тациту же удалось превзойти их всех, вместе взятых, лишь оттого, что в душе его жило негодование республиканца и он, не считавший власть императоров законной и не нуждавшийся в одобрении каких бы то ни было властителей, был свободен от врожденных или благоприобретенных предрассудков, сковывавших всех историков нового времени вплоть до сегодняшнего дня.

По всем названным причинам древние историки лучше историков нового времени владели искусством рисовать и повествовать живо, увлекательно и вдохно-

венно, но гораздо хуже разбирались в тайнах человеческого сердца и философических основаниях событий \*. Да и как могли древние сравниться с позднейшими авторами, черпавшими в многовековой истории поучительные примеры преступлений, невзгод и страданий, о которых прежде никто не имел и понятия!

## ГЛАВА VII О РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕ АВГУСТА И ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ ДИНАСТИИ АНТОНИНОВ

---

После смерти Людовика XIV, в эпоху Людовика XV, философия сделала большой шаг вперед, изящная же словесность осталась на прежнем уровне. Примерно так же обстояло дело в период, отделяющий принципат Августа от начала царствования Антонинов, с той, однако, разницей, что, поскольку в это время Римом правили отвратительные чудовища, империя была близка к гибели, общество вырождалось и лишь единицы сохранили достаточное присутствие духа, чтобы посвятить себя философии и литературе.

Царствование Августа развратило души; низкие забавы почти вовсе изгладили из памяти римлян воспоминания о доблестях, которым Рим был обязан своей славой. Гораций не стыдился признаться в стихах, что бежал с поля брани. И Цицерон и Овидий с трудом переносили изгнание. Но как различно выражали они свою скорбь! «Грустные элегии» Овидия — вялые жалобы сломленного отчаянием человека, Цицерон же

\* Достоин внимания хотя бы то, что ни один историк, включая самого Тацита, не объясняет, какими средствами, исходя из каких взглядов и опираясь на какие общественные силы безжалостнейшие и бездарнейшие императоры царили над Римом, не встречая никакого сопротивления. Тиберий не утратил власти, даже поселившись на острове Капри, Калигула — даже отправившись воевать с германцами. Разве не оставили лучшие историки древности без ответа эти и многие другие философские вопросы? (Примеч. ко 2-му изд.)

даже в письмах к ближайшему другу Аттику с беспредельным мужеством скрывает боль, которую причиняет ему несправедливая кара<sup>1</sup>. Подобное несходство объясняется разностью не только характеров, но и эпох. Главенствующие в тот или иной период взгляды так или иначе влияют на всякого частного человека, и, если дух эпохи не может в корне изменить характер, формы его проявления он, бесспорно, меняет.

При Августе Рим процветал, но вслед за ним к власти пришли самые жестокие и грубые тираны древности, и их беспримерные злодеяния закалили души римлян. Умеренная власть расслабляла и высшие умы и толпу; зверства и жестокости, которые римлянам пришлось сносить на протяжении многих лет, развратили нацию еще сильнее, однако нашлась горстка просвещенных мужей, которые отыскиали в своей душе силы не уподобиться толпе и более чем когда бы то ни было сознали важность философии стоической.

Сенека (я говорю здесь о нем только как о писателе), Тацит, Эпиктет, Марк Аврелий находились в разных положениях и обладали совсем несхожими характерами, но у каждого из них в груди кипела ненависть к преступлению. Их сочинения, по-латыни они написаны или по-гречески, резко отличаются от книг эпохи Августа; силой и лаконичностью эти авторы превосходят даже философов времен республики. Цицерона заботило в первую очередь воздействие, которое рассуждения его окажут на других людей; для Сенеки же главное — работа над самим собой; один искал законной и благородной власти над людьми, другой — спасения от боли; один желал воодушевить праведника, другой — сразить преступника; один рассматривал человека лишь в связи с судьбами отечества, другой, отечества не имевший, размышлял о человеке частном. В Сенеке больше меланхолии, в Цицероне — желания славы.

Когда тираны грозят им смертью, философы, принужденные сносить ужаснейшие тяготы и наблюдать беспримерные преступления, замыкаются в себе, пристально вглядываются в движения своего сердца. Писателям третьего периода римской литературы еще не было доступно то безупречное знание характеров и умение смотреть на них глазами философа, какое



отличало Монтеня и Лабрюйера, но они уже немало знали о себе: гнет обратил их взоры в глубь души.

Деспотизм, как все страшные общественные бедствия, может послужить развитию философии, но литературе он наносит гибельный удар, ибо извращает вкус и уничтожает в авторах страсть к благотворному соперничеству.

Существует мнение, что, достигнув расцвета, искусство, литература и сами империи спустя некоторое время непременно приходят в упадок<sup>2</sup>. Мнение это ошибочно; у искусства есть предел, выше которого ему не подняться, но на достигнутой высоте оно, я полагаю, вполне может удержаться сколь угодно долго; что же касается наук, то они способны совершенствоваться и развиваются непрерывно. Прошлые успехи влекут за собой успехи будущие, и прервать эту цепь могут лишь несчастные случайности, никоим образом не связанные с предшествующими достижениями.

Писатели императорского Рима, несмотря на ужасные обстоятельства, с которыми им приходилось бороться, в философии сильно опередили писателей эпохи Августа. Слог их, однако, менее изящен и чист: трудно было сохранить тонкий вкус, живя под властью грубых и беспощадных тиранов. Толпа унижала себя, льстя деспотам и подражая их нравам, а те редкие люди, что сохранили достоинство и талант, были разобщены и не могли совместно довершить то литературное законодательство, которое раз и навсегда отделило бы подлинный ум и подлинную силу от манерных и безвкусных подделок.

В царствование императоров-тиранов нечего было и думать о том, чтобы вдохновенными речами одушевлять народ; философические и литературные сочинения не оказывали на жизнь общества никакого влияния. Поэтому ни одно из творений этой эпохи не проникнуто надеждой принести пользу людям, пробудить в них здравыми советами желание действовать, добиться с помощью слова результата необходимого и ощутительного. Люди разобщенные, которым ученые штудии не принесут ни выгоды, ни славы, ждут от литературы одних развлечений. В подобных обстоятельствах писатели нередко грешат манерностью, ибо более всего пекутся о том, чтобы сообщить своему

слогу замысловатость. Этим пороком страдал Сенека и особенно Плиний Младший.

Вкус изменяет и тому, кто, как Ювенал, стремится всеми возможными способами пробудить в оцепеневшей нации ненависть к преступлениям. Скверна истории марает и мысли автора: принужденный рисовать картины самые отвратительные, он уже не заботится о чистоте слога. Однако, несмотря на все эти несомненные недостатки, третий период римской литературы ознаменован появлением выдающихся мыслителей, затмевающих всех предшественников.

В трактате Квинтилиана об ораторском искусстве больше новых идей и остроумных замечаний, чем в посвященных тому же предмету сочинениях Цицерона. Квинтилиан соединил свои мысли с Цицероновыми; он начал с того места, где Цицерон остановился. Сенека проницательно вскрыл многие тайны человеческого сердца. Плиний Старший высказал больше верных научных идей, чем любой другой древний автор. Тацит во всех отношениях выше лучших римских историков.

Авторы, пишущие и говорящие на прекрасном языке, заморожены его гармоническим звучанием; поэтому ни Цицерон, ни его слушатели не замечали, что слог их эпохи недостаточно насыщен идеями. Однако по мере развития словесности ум человеческий наскучивает игрой воображения и начинает тянуться к отвлеченностям, к обобщениям; взаимные отношения людей усложняются, разнообразие жизненных положений создает и обнажает новые сочетания идей, рождает наблюдения глубочайшие; время работает на мысль. Римская литература последнего периода являет собою пример именно такого совершенствования, которому не могли помешать даже те особенные обстоятельства, которые замедляли в ту пору неуклонное совершенствование ума человеческого.

К чести римского народа, изящная словесность при императорах-тиранах пришла едва ли не в полный упадок. Лукан сочинял лишь ради того, чтобы с помощью великих воспоминаний снова пробудить в сердцах любовь к республике, и смерть его доказала, сколь небезопасен был этот благороднейший замысел<sup>3</sup>. Самые свирепые из римских императоров питали безудержную любовь к играм и зрелищам, но в их

бесславную и раболепную эпоху не было создано ни одной пьесы, которая снискала бы сколько-нибудь значительный успех, не было сочинено ни одного стихотворения, которое осталось бы жить в веках. Литераторы той поры не желали славить тиранов, и единственным занятием, которому они охотно предавались под властью этих ненавистных повелителей, было изучение философии и красноречия; писатели ковали оружие, призванное свергнуть тяготевшее над ними иго.

Некоторые философы той поры запятнали себя лезть; сами недомолвки их были постыдны. Меж тем отсутствие печатных книг в некотором отношении благоприятствовало свободе печати; когда возможности распространения новых сочинений ограничены, власти менее пристально следят за их содержанием. Авторы сочинений полемических, стремившиеся повлиять на убеждения современников и изменить ход текущих событий, до изобретения книгопечатания не могли рассчитывать на сколько-нибудь серьезный успех; рукописные копии были слишком немногочисленны, чтобы воздействовать на нацию в целом — здесь потребно было устное красноречие, поэтому литераторы тех лет либо посвящали свои писания предметам всеобщим, либо излагали в назидание потомству историю свершившихся событий. У тогдашних тиранов имелись, следовательно, основания смотреть на свободу печати снисходительнее, чем смотрят тираны нынешние; будущее их не волновало, и они охотно позволяли философам держать речь перед потомками.

Трудно объяснить, почему точные науки не получили в этот период значительного развития и почему мало кто из римлян посвятил себя их совершенствованию. Независимые исследования испокон веков влекут к себе людей, живущих под властью деспотов, если они не склонны ни бунтовать, ни раболепствовать. Быть может, неотвратимые опасности, угрожавшие в ту пору людям выдающегося ума, не оставляли досуга, потребного для ученых занятий; вероятно и другое: в душах римлян еще не остыло республиканское негодование, и они не могли равнодушно взирать на судьбы своего отечества. Философические мысли неотрывны от обуревающих душу чувств, науки же переносят

человека в совершенно иной мир. Наконец, поскольку в ту пору истинный метод для изучения физической природы еще не был открыт, научные штудии не увенчались значительными успехами и желающих подвизаться на этом поприще не находилось.

Вот одна из причин падения древних империй: в то время еще не были сделаны многие важные научные открытия, уравнившие меж собой не только отдельных людей, но и целые народы. Падение империй ничуть не более неотвратимо, чем упадок литературы и науки. Но до тех пор пока достижения цивилизации не распространились по всей Европе; пока политическое и военное устройство европейских держав вкупе с изобретением артиллерии не уравнило их силы; наконец, пока человечество не узнало, что такое книгопечатание, — просвещенные нации были осуждены становиться добычей могучих варваров. Знай римляне тайну книгопечатания, просвещение с каждым днем набирало бы новую силу, общественное мнение укреплялось бы в правах, характер римлян пребывал бы неизменным, и это спасло бы республику и нацию; тогда не исчез бы с лица земного этот народ, любивший свободу без своеволия, а славу без зависти, народ, который не только не требовал от людей одаренных, чтобы они оглуляли себя ему в угоду, но, напротив, возвышался до признания добродетелей и талантов и удостаивал их своего почтения; народ, избиравший предметы восхищения под диктовку разума, но не утративший, несмотря на всю свою разумность, способности восхищаться.

Будь мы уверены, что знаменитые нации рано или поздно непременно исчезают с лица земли, нам незачем было бы совершенствовать наш ум и трудиться во славу отечества. Нет закона, согласно которому всякой нации обязательно приходит на смену другая, перенимающая у нее первенство. Изучая величественный труд Монтескье о причинах упадка Римской империи<sup>4</sup>, всякий заметит, что большей части этих причин в наши дни не существует.

Нецивилизованной половине Европы суждено было завоевать другую, цивилизованную половину. Блага жизни общественной должны были сделаться всеобщим достоянием, ибо в природе все стремится к

равновесию: радости семейственные, распространение просвещения, торговые сношения — залог равенства в наслаждениях — постепенно смягчают соперничество народов.

Неслыханные преступления, которыми запятнали себя римские императоры, — вот одна из основных причин упадка империи. Только молчаливое согласие общества сделало возможным подобные злоупотребления\*. Ныне жестокость не свойственна европейским народам — исключения составляют только годы террора во Франции. Римляне же совершали дикие злодеяния, и причин тому было много; среди них — рабство, освобождавшее целый класс людей от нравственных обязательств перед себе подобными; ограниченность средств, способных служить всеобщему образованию; разнообразие философических сект, смешивавших в умах людей справедливое с несправедливым, внушавших безразличие к смерти — безразличие, которое начинается с отваги и кончается полной утратой природной доброты.

Мерзостный разврат, равно противный и природе и нравственности, довершил падение римлян, некогда столь великих, и это-то падение южных народов привело к победе народов севера. Европейская цивилизация, принятие христианства, научные открытия, повсеместное распространение просвещения — все это остановило вырождение и уничтожило древние основания варварства. Следовательно, ныне упадок наций и вытекающий из него упадок искусств грозит человечеству гораздо меньше, чем в древние времена. Надеюсь, что следующая глава окончательно утвердит это мнение.

\* Когда Калигула воевал в Германии, он отправил одного из своих верных сторонников, Протогена, в Рим. Сенатор Скрибоний подошел к нему со словами приветствия, но Протоген вместо ответа закричал: «Как смеет враг императора приветствовать меня?» Услыхав эти слова, сенаторы накинулись на Скрибония и за неимением другого оружия закололи его перочинными ножиками. Пожалуй, в истории нового времени не найдется другого примера столь безграничной низости<sup>5</sup> (примеч. ко 2-му изд.).

ГЛАВА VIII  
О НАШЕСТВИИ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ, О  
ПРИНЯТИИ ХРИСТИАНСТВА  
И ВОЗРОЖДЕНИИ СЛОВЕСНОСТИ

---

Считается, что в течение почти десяти столетий развитие ума человеческого шло вспять. Если бы в самом деле в течение столь долгой череды лет, столь обширного отрезка истории великое дело совершенствования не двигалось с места, это было бы серьезным аргументом против учения о безостановочном поступательном движении просвещения; однако аргумент этот ни на чем не основан и может быть без труда опровергнут. На мой взгляд, в течение всего этого периода ум человеческий двигался отнюдь не вспять; напротив, я полагаю, что за эти десять столетий человечество сделало гигантские шаги вперед и в том, что касается распространения просвещения, и в том, что касается развития умственных способностей<sup>1</sup>.

Изучая историю, нельзя не проникнуться убеждением, что все главные события в ней ведут к одной цели — повсеместному воцарению цивилизации. С каждым столетием все новые и новые народы вкушали блага жизни общественной; даже войны, какие бы бедствия они ни порождали, нередко способствовали насаждению просвещения. Римляне несли цивилизацию в те земли, которые завоевывали. Свету разума суждено было вначале воссиять из одной блистающей точки — из небольшой страны, какой была Греция; несколько веков спустя племена воинов суждено было подчинить себе половину мира и объединить завоеванные народы под сенью одного закона, дабы просветить их. Затем пришли северные народы; на время заставив замолчать литературу и искусства, которые цвели на юге, они, однако, заимствовали у победенных кое-какие знания; таким образом, жители большей части Европейского континента, до тех пор не знавшие, что такое цивилизация, извели ее преимущества. Итак, с течением времени в цепи событий, которые могли бы показаться всего лишь нагромождением слу-

чайностей, проступает замысел; из бездны происшествий и столетий взорам нашим является идея — вечная идея совершенствования.

Разумеется, нашествие варваров было большим несчастьем для народов той эпохи; однако благодаря этому событию просвещение раздвинуло свои границы. Когда уроженцы севера породнились с изнеженными жителями юга, сила первых соединилась с гибкостью вторых, а гибкость — залог расцвета умственных способностей. Политическая распря двух равно просвещенных народов — страшнейшее из порождений страстей человеческих, однако порой война несет с собой незабываемые уроки и победители своею властью быстро прививают побежденным некие важные идеи.

Многие авторы утверждали, что причиной упадка литературы и философии явилось христианство, я же убеждена, что в пору своего становления именно христианская религия насаждала цивилизацию<sup>2</sup> и помогла южным народам усвоить себе дух народов севера. Более того, я считаю, что христианские умозрения сами по себе располагали ум к занятиям точными науками, метафизикой и этикой.

Существуют эпохи, когда кажется, будто любовь к славе, самоотверженность — одним словом, все деятельные чувства души исчезли с лица земного. В стране, где повсюду царит несчастье, каждый печется только о себе; невзгоды вселяют отвагу в души неудачников, лишь если окружающие достаточно счастливы, чтобы восхищаться их мужеством или сострадать их горю, а если жизнь всей нации совершенно безрадостна, людям неоткуда черпать силы. Когда беда приходит ко всем сразу, общественное мнение не способно оказать поддержку никому: люди влачат существование, лишённое смысла. Они утрачивают страсть к соперничеству на поприще литературы, и единственной целью их жизни — бесславной, бесчестной и безнравственной — остаются любовные утехы; так, судя по всему, и жили уроженцы юга под властью византийских императоров.

Другой народ, ничуть не больше приверженный истинным основам добродетели, поработил развращенных римлян. На глазах устрешенного человечества свирепые воины и невежественные владыки противо-

полагали низости южных племен преступления менее подлые, но ничуть не менее опасные. Укротить подобных победителей, возвысить подобных побежденных мог лишь энтузиазм — благородная душевная сила, которой случается иногда сбить человека с верного пути, но которая одна только и способна побороть природное себялюбие, непрестанно крепнущий эгоизм; энтузиазм, внушающий, что счастье — в самопожертвовании.

Разумеется, я не собираюсь защищать преступные и безрассудные суеверия, вызывающие сегодня справедливое негодование; однако я оцениваю каждую крупную эпоху философической истории мысли по тому уровню, которого достиг в эту эпоху человеческий разум, и полагаю, что христианская религия на заре своего существования благоприятствовала развитию разума<sup>3</sup>.

Северные народы вовсе не ценили свою жизнь. Они не жалели ни себя, ни других. Наделенные воображением, склонные к меланхолии и мистицизму, они глубоко презирали знания, ослабляющие, как им казалось, воинский дух. Женщины были образованнее, ибо имели больше досуга, мужчины любили их, хранили им верность, поклонялись им<sup>4</sup>. Любовь была первым чувством, поселившимся в душе северных воинов. Сила и воинская честь — вот все, что было им известно о добродетели. Правда, считали они, на стороне сильного. Они верили в сладость загробной мести. Женские сердца они надеялись пленить шрамами и числом убитых врагов. Возлюбленным своим они приносили человеческие жертвы, словно божествам. Воображение северных народов, живших в пасмурном климате, питалось бурями и мраком; время они исчисляли не днями, а ночами<sup>5</sup>, годы — зимами. Жители севера верили, что их героям покровительствуют инеистые великаны, что во время потопа земля была залита кровью<sup>6</sup>, что с высоты небес бог Один благословляет их резню, что лишь воинские подвиги удостоятся награды в загробном мире, а возмездие достигнет лишь того, кто струсил в бою. Человек рождался на свет, чтобы убивать других людей. Воины презирали старость, ни во что не ставили учение, не ведали сострадания. Все силы души уходили на укреп-



ление мускулов. Единственной целью жизни была война.

И вот этим-то людям предстояло научиться совершать благородные поступки, питать нежные чувства и любить науку.

Не менее решительные перемены должны были произойти с народами юга. Римского характера, этого чудесного плода национальной гордости и политических установлений, больше не существовало; жителям Италии претила сама мысль о славе; они не верили ни во что, кроме сладострастия, признавали всякого бога, в честь которого можно устроить празднество, и склонялись перед любым правителем, которого возводила на трон горстка солдат; живя под вечной угрозой незаконной расправы, они презирали смерть не из мужественной стойкости, но из распутного легкомыслия. Смерть не обрывала славных замыслов, не нарушала хода важных размышлений, не разбивала драгоценных уз, не разлучала людей, связанных глубокими чувствами,— она всего-навсего лишала возможности вкусить завтра то наслаждение, которое, возможно, уже наскучило сегодня. Всеобщий разврат изгладил из сердец самую память о добродетели. Тот, кто вознамерился бы напомнить о ней, вызвал бы лишь недовольное изумление. Нравственную природу уроженцев юга губило ненасытное сладострастие, а нравственную природу северных народов — ненасытная жажда крови. Горстка людей на юге еще питала любовь к словесности, искусству и философии, но усилия их сводились в основном к уяснению метафизических премудростей; софистический дух унижал доводы разума, а легкомысленная беззаботность — сердечные привязанности.

В таком-то прискорбном упадке пребывали народы юга, когда христианство открыло им глаза на их обязанности, научило их самопожертвованию и вселило в них твердую веру. Не лучше ли было бы, однако, возразят нам, чтобы на стезю добродетели народы вернула философия? В ту пору, отвечу я, невозможно было повлиять на ум человеческий, не прибегая к посредству страстей. Разум подавляет страсти, религия использует их в своих целях.

Все народы земли алкали энтузиазма. Магомет,

удовлетворивший эту жажду, с удивительной легкостью вселил в сердца людей фанатическую веру. Магомет был велик, но своими поразительными успехами он обязан прежде всего нравственным потребностям своего времени; впрочем, религия его, созданная для уроженцев юга, стремилась лишь к тому, чтобы пробудить в людях воинственность, и сулила наслаждения в награду за подвиги. Она взрастила победоносных завоевателей, но не в ее силах было споспешествовать духовному росту человечества. Полководец-пророк требовал лишь повиновения; он сумел воспитать лишь солдат. Фатализм выковывает непобедимых бойцов, но в мирное время он лишь отупляет. В конечном счете ислам привел к застою: продвинув ум человеческий на несколько шагов вперед, он сам же и остановил его развитие. Христианству же, основатель которого стремился в первую очередь усовершенствовать нравственность человека и объединить под одним знаменем самые различные нации, мы обязаны и нашими добродетелями и богатством наших чувств.

Дабы овладеть такими несходными характерами, как северный и южный, христианству пришлось прибегнуть к средствам многообразным.

Северные народы христианство покорило, воспользовавшись их склонностью к меланхолии<sup>7</sup>, приверженностью к мрачным образам, постоянной и глубокой тревогой о судьбе умерших. Язычество по природе своей и сути было вовсе не властно над такими людьми. Догматы христианской религии и пылкая вера первых христиан поощряли страстную печаль жителей туманных краев: некоторые из их добродетелей — правдивость, целомудрие, верность слову — были освящены господними заповедями. Не меняя природу северного мужества, христианство изменило его предмет. Уроженцы севера готовы были сносить любые лишения и муки ради того, чтобы отличиться в битве. Религия же требовала от них, чтобы они, презирая страдания и смерть, защищали свою веру и выполняли свой долг. Разрушительная отвага обратилась в твердую решимость, сила, не имевшая прежде иной цели, кроме утверждения своей власти, подчинилась требованиям нравственности. Заблуждения фанатизма нередко извращали эти требования, однако люди, кичившиеся

прежде своей непобедимостью, поняли, что есть сила превыше их, сознали свой долг и убоялись кары небесной. Слабый человек смог противостоять сильному, и на горизонте забрезжила заря равенства.

Природа наградила жителей юга склонностью к энтузиазму, и они охотно предались жизни созерцательной, которая так пристала их климату и вкусам. С восторгом укрывались они в стенах новооткрытых монастырей<sup>8</sup>. Пресытившаяся наслаждениями нация испустила все религиозные обряды, охотно предавалась самоистязаниям и умерщвлению плоти. В легковверных и фанатичных южных головах созревали противные разуму суеверия и преступления. Религия принесла южным народам меньше пользы, чем северным, ибо они были гораздо более развращены, а ведь легче приобщить к цивилизации невежественный народ, чем вернуть на стезю добродетели народ порочный. И все же нашлись люди, жившие одиноко и без цели, в которых христианство пробудило нравственное чувство; оно не смогло вернуть им отечество, но сумело вдохнуть в них силы. От земной скверны оно обратило их взоры горé. Как ни безрассудно поступали святые мученики, их готовность к самопожертвованию, бескорыстие и способность к отвлеченным умозрениям оказали человечеству неоценимую услугу.

Христианская религия связала северные и южные народы неразрывными узами; она, если можно так выразиться, переплавилa противоположные нравы в единое целое и, сблизив бывших противников, создала нации, где люди деятельные укрепляли дух людей просвещенных, а люди просвещенные развивали ум людей деятельных.

Конечно, слияние это происходило медленно. Предвечный отводит столетия на осуществление своей воли, а мы, чей век длится мгновение, удивляемся и негодуем; но наступила пора, когда победители и побежденные в разных концах Европы слились в единый народ, и обязаны мы этим прежде всего христианской религии.

Прежде чем я продолжу разговор о преимуществах этой религии, да будет мне позволено сказать несколько слов о поразившем меня сходстве между эпохой падения Римской империи и эпохой французской революции.

Аристократы и те, кто примыкали к первому словию, были, как правило, блестяще образованны, однако за долгие годы благоденствия характер их сделался изнеженным и постепенно они лишились добродетелей, которые могли бы оправдать их главенствующее положение в обществе. Люди из народа, напротив, были вовсе не образованны и вдобавок распущенны; законы удерживали их от преступлений, но природная жестокость то и дело прорывалась наружу. Люди эти, если можно так выразиться, вторглись как завоеватели в жизнь господствующих классов; и все, что мы ставим в вину нашей революции,— не что иное, как следствие рокового закона, согласно которому власть над обществом чаще всего попадает в руки подобных победителей варваров<sup>9</sup>. На их знамени написана философическая идея, цели у них благие, но в образовании они отстали от тех, над кем одержали победу, на несколько столетий. Характер нынешних победителей — и тех, что бились с чужестранцами, и тех, что сражались внутри страны,— имеет много общего с северным характером, меж тем как знания и предрассудки, пороки и светские манеры побежденных сближают их характер с характером уроженцев юга. Победителям необходимо получить образование; знания, которыми прежде владел крайне ограниченный круг, должно распространить вширь, и заняться этим следует немедленно, не дожидаясь, пока у кормила власти станут люди, совершенно чуждые пошлости и дикости. Будем надеяться, что нынешним северянам не потребуются десяти или даже двенадцати столетий на то, чтобы приобщиться к цивилизации и слиться воедино с нынешними южанами. Мы сможем двигаться вперед быстрее, чем наши предки, ибо во главе людей необразованных встают подчас люди светлого ума и обширных знаний; кроме того, мы живем в эпоху книгопечатания и просвещения, и это должно ускорить развитие сословия, недавно взявшего в свои руки бразды правления; однако пока никто не может сказать наверное, каким образом закончится война прежних властителей с новоявленными завоевателями<sup>10</sup>.

Хорошо, если на помощь нам придут, как в эпоху нашествия варварских племен, философические идеи, благородный энтузиазм, справедливые и могучие за-

коны; хорошо, если они, как некогда христианство, примирят между собою победителей и побежденных!

Это примирение, это слияние воедино севера и юга, сыгравшее столь благотворную роль в судьбе мира, — не единственная заслуга христианской религии. Христианству обязаны мы отменой рабства. Ему же человечество должно быть благодарно за то, что научилось наслаждаться жизнью семейственной и сострадать несчастным.

У древних отвратительный институт рабства отравлял отношения даже внутри семейств. Повсеместно отцы распоряжались жизнью и смертью своих домашних, родители подкидывали новорожденных, права супруга приближались к правам отца, наконец, все гражданские законы чем-то походили на то ужасное установление, которое предавало одного человека во власть другого и разделяло людей на два класса, из которых один не имел никаких обязательств перед другим. В этих обстоятельствах о полной свободе нечего было и думать. Женщины оставались рабынями всю свою жизнь, дети обретали некоторую самостоятельность лишь в юности.

В ту пору, когда в Римской империи царил безудержный разврат, женщины могли получить свободу, лишь навсегда простившись с добродетелью; христианство даровало им равенство — по крайней мере в том, что касается нравственности и веры. Сделав брак священным таинством, христианство укрепило супружескую любовь и все связанные с нею чувства. Учение об аде и рае сулит одинаковые воздаяния людям обоего пола. Евангелие проповедовало частные добродетели, скромную безвестность и набожное смирение; женщины могли быть причислены к лику святых наравне с мужчинами. Чувствительность, незащитность, развитое воображение располагают к набожности. Неудивительно, что в первые века распространения христианства в Европе женщины оказывались более ревностными сторонницами новой религии, чем мужчины.

Узнав, что такое христианская вера и домашний очаг, кочевые народы сделали оседлыми; они поселились в раз и навсегда избранной местности, начали жизнь общественную. Законы религии легли в основание

бытия гражданского. Тогда-то женщины сделали первый шаг к тому, чтобы стать полноправными членами общества. Тогда-то люди вкусили счастье семейственное. Избыток могущества лишает доброты, извращает благородные порывы; владыка слишком привык повелевать и внушать страх, чтобы сохранить в сердце чувства и добродетели. Чем независимее стала женщина, тем счастливее сделался мужчина, питающий к ней нежные чувства: он смог поверить, что любим, ощутил себя избранником свободного существа, по доброй воле подчиняющегося его желаниям. Прозрения ума и заметы сердца множились вместе с новыми идеями и впечатлениями, и заново родившиеся души после долгих лет прозябания вступали в жизнь нравственную.

Женщины не создали подлинно значительных сочинений, и тем не менее они оказали литературе великую услугу, ибо общение с этими живо и тонко чувствующими существами пробудило множество мыслей в умах мужчин. Взглянув на мир с совершенно новой точки зрения, мужчины, если можно так выразиться, увидели все предметы в двойном свете. Прежние трактаты и учения изображали человека таким, каким он желает выглядеть в глазах ближнего; доверительные отношения с любимым существом позволили понять нравственную природу человека как он есть.

Жалость жила в глубине человеческого сердца испокон веков, однако мораль древних зиждилась на силе, и лишь христиане положили в основу морали сочувствие. Воинственное прошлое древних отразилось даже в учении стоиков, которые призывали человека подавлять собственные страсти с пылом поистине боевым. Древних моралистов мало заботило чужое счастье; их идеалом было не служение ближним, а независимость от них.

Христианская религия также предписывает самоотречение, и суровые монастырские уставы заходят в этом отношении гораздо дальше древней философии, но христианин жертвует собой из любви к Господу и ближним, а стоик — из гордости и чувства собственного достоинства. Если отбросить всяческие ложные толкования, нетрудно убедиться, что главная мысль Евангелия — проповедь благотворительности. Призвание

человека, по Евангелию, состоит в том, чтобы всей душой откликаться на горе другого человека.

Поразительно, насколько эта зиждущаяся на сочувствии мораль<sup>11</sup> помогла человеку познать собственное сердце; хотя христианство, подобно всем прочим религиям, предписывало смирять страсти, оно гораздо больше, чем стоицизм, склонно было признавать их могущество. В евангельских заповедях было больше смирения и снисходительности, в покаяниях грешников христиан — больше откровенности: все это позволяло человеческим характерам раскрыться глубже, чем прежде; так христианство оказало огромную услугу философии, призванной исследовать душевные порывы.

Не меньшую услугу оказало оно и литературе, открыв ей мощные средства воздействия на читателя, таящиеся в меланхолии. Северным народам меланхолия была знакомой испокон веков благодаря их первобытной религии; французские же ораторы обязаны мрачными и выразительными образами, сообщившими величие их речам, именно христианству.

Христианскую религию упрекали в том, что она лишила характеры твердости. Евангелие восстает против жестокости, — а разве может милосердие к ближним уживаться с полным равнодушием к самому себе? Необходимо было напомнить людям, как ужасно убивать себе подобных, необходимо было внушить им отвращение к крови и смерти, — а разве способен человек сочувствовать только окружающим, оставаясь совершенно равнодушным к своей собственной участи? Религиозный фанатизм не раз отнимал у христианства его доброту, но я веду речь об исконном духе этой религии; в протестантских странах и сегодня можно увидеть, сколь благотворное влияние оказывает евангельская проповедь на нравственность.

Сравнивая язычество, по природе своей терпимое к другим религиям, с фанатизмом иных христиан, философы горюют о древней вере. Однако, хотя сильные страсти и ведут к преступлениям, которых никогда не породило бы равнодушие, бывают эпохи, когда в страстях этих таится залог возрождения общества. Есть идеи, которые человечество постигает только с помощью страстей; изобрести эти идеи не помогут ни разум, ни время. Чтобы обратить ум человеческий на

предметы совершенно новые, потребности происшествия необычайные: так землетрясения и извержения вулканов открывают взорам людей богатства, о существовании которых они сами никогда не узнали бы.

Лишнее подтверждение моей мысли я вижу во влиянии, которое оказало богословие на развитие метафизики. Занятия богословием многие считают бесполезнейшей тратой времени и винят богословов в невежестве, господствовавшем в Европе в первые века нашей эры. Тем не менее этот род умственной деятельности поразительно развивал разум. Если судить о богословии только по тому влиянию, какое оказало оно на изящные искусства, впечатление будет весьма гнетущим. Педантичные предрассудки писателей-богословов, казалось, навсегда изгнали из искусства благородство, изящество, прелесть форм. Однако, какими бы абсурдными и ребяческими ни были богословские распри, они готовили ум к научным исследованиям.

Внимательность и способность к отвлеченному мышлению — самое мощное оружие мыслящего человека; только они в силах помочь совершенствованию ума человеческого. Воображение и художнический дар пробуждают воспоминания, но истинно новую идею не открыть без помощи метафизического метода. Богословие приучало людей к восприятию отвлеченностей, а длительное напряжение ума, потребное для того, чтобы вникнуть в хитросплетения богословской премудрости, готовило человечество к занятиям точными науками. Как же могло случиться, возразят нам, что, погружаясь в изучение ложной науки, люди приближались к познанию науки истинной? Все дело в том, что искусство рассуждать, искусство мыслить, позволяющее схватывать самые отвлеченные отношения между предметами, прозревать связующие их узы, их порядок, их строй,— прекрасное упражнение для развития умственных способностей, благотворность которого не зависит ни от темы размышлений, ни от их цели.

Разумеется, не примени человек развившийся таким образом способности к новым предметам, результат был бы самый прискорбный, но, когда вспоминаешь, какой гигантский скачок сделала мысль человеческая в эпоху возрождения словесности и как стремительно



расцвели в эту пору все науки, понимаешь, что, даже предаваясь заблуждениям, ум человеческий набирает силы, дабы вернуться на путь истинный, под эгиду разума и философии.

Есть люди, которые тянутся к отвлеченным размышлениям по зову души, но большинство обращается к ним лишь под влиянием единомышленников. В первые годы французской революции множество людей сильно преуспели в изучении политики, ибо от нее зависели честолюбивые планы большинства французов и жизнь всех их без исключения. В свое время предметом столь же живого интереса и столь же глубоких исследований было богословие, ибо богословские споры возбуждали в сердцах жажду власти и страх гонений. Если бы вражда партий не вмешивалась в метафизику, если бы исход философских споров не затрагивал честолюбивых интересов их участников, люди никогда не стали бы принимать отвлеченности так близко к сердцу и не приобрели бы, осваивая эту нелегкую премудрость, навыки, необходимых для грядущих открытий.

Таковыми путями приходит просвещение к народам. Когда некая партия берется отстаивать с оружием в руках некую идею, все связанное с этой идеей и зависящее от нее становится предметом ненависти, ярости, ревности, а после, когда страсти утихают, разум подбирает на поле брани обломки и, вооружившись ими, устремляется на поиски истины.

Всякое установление, пригодное для истребления сиюминутного зла, но не для насаждения вечных истин, исправив опасные заблуждения, само превращается в заблуждение немногим менее опасное. Рыцарство, с его поклонением прекрасным дамам и истовой верой, было призвано смягчить свирепую воинственность, но, будучи орденом, сектой, оно разделяло людей, вместо того чтобы объединять, и сделалось страшным злом, лишь только перестало быть спасительным лекарством.

Римское законодательство принесло огромную пользу народам, признававшим лишь право сильного, но оно же превратилось вскоре в запутанную и педантичную премудрость, в которой погрязли ученые мужи, ускользнувшие из-под власти богословов.

Изучение древних языков возвратило литераторам понятие об истинном вкусе, но оно же породило не

одно поколение горе-знатоков, помешанных на грехах и римлянах. С головой уйдя в пустопорожние размышления о мельчайших подробностях прошедшего, они не желали думать ни о настоящем, ни о будущем. Вместо того чтобы посвятить себя философическим раздумьям, все принялись строчить комментарии к сочинениям древних; казалось, будто между человеком и природой от века стояли книги. Ученость одерживала победу над творческим духом. Решительно все, что касается древних, вызывало равный интерес; можно сказать, что тогдашним ученым мужам было все равно, что знать, лишь бы знать.

И все же, несмотря на все эти несовершенства, средние века принесли немало пользы; взглядыываясь в эпоху Возрождения, мы понимаем, что столетия, именуемые варварскими, не менее других помогли многим народам приобщиться к благам цивилизации, а уму человеческому — пойти вперед по пути совершенствования.

Конечно, если принимать во внимание лишь состояние изящной словесности и изобразительного искусства, может показаться, что шестнадцать столетий протекли напрасно, что в течение долгой череды лет и веков, отделяющей эпоху Вергилия от эпохи, когда на парижских подмостках разыгрывались католические мистерии, воображение и вкус двигались назад, к бессмысленной дикости; однако с философией дело обстоит иначе. Из тьмы варварских времен внезапно и почти одновременно являются миру в разных странах Бэкон, Макиавелли, Монтень, Галилей, опередившие последних сочинителей древности, в особенности же последних ее философов, на несколько столетий.

Пусть мы мало что знаем о путях, которыми шел ум человеческий в течение всех этих столетий, но, если бы все это время он стоял на месте, разве смогла бы эпоха Возрождения подарить миру людей, которые свершили в науках нравственных, политических и естественных гораздо больше, чем величайшие ученые древности? Если последние знаменитые мудрецы Рима бесконечно отстали от первых ученых мужей нового времени, прославившихся на ниве науки и словесности; если Бэкон, Макиавелли и Монтень превосходят и мыслями и познаниями Плиния, Марка Аврелия и

прочих, — разве не очевидно, что за время, отделяющее первых от вторых, человеческий ум ушел далеко вперед? Ибо не стоит забывать правило, которое я привела в самом начале книги: самый удивительный гений — плоть от плоти своей эпохи и способен подняться над ее уровнем разве что на очень небольшую высоту.

История человеческого ума в эпоху, отделяющую Плиния от Бэкона, Эпиктета от Монтеня, Плутарха от Макиавелли, известна нам очень плохо, ибо люди и народы были в это время поглощены одним-единственным делом — войной. Воинские же подвиги интересны лишь современникам. От основания мира внимание просвещенного человека привлекает в истории лишь одно — приращение знаний и расцвет разума. Тем не менее, подобно тому как ученый наблюдает скрытую деятельность природы, моралист прозревает в истории четырнадцать столетий совокупность причин, определивших сегодняшнее состояние науки и философии.

С какой силой внезапно заявил о себе ум человеческий в середине XV столетия! Сколько важных открытий было сделано в эту пору! Сколь короткий срок потребовался человечеству, чтобы вступить на совершенно новый путь! Неужели столь стремительное движение вперед, увенчавшееся столь поразительными успехами (даже в искусстве дурной вкус очень скоро лишился своих прав), могло возникнуть на пустом месте? Отыскать основы истинно прекрасного во всех родах позволили лишь победы разума; молниеносным преобразованием литературы мы обязаны тому, что, единожды вступивши на верный путь, ум человеческий устремился вперед исполинскими шагами.

Отчего в эпоху Возрождения множество людей страстно желало померяться силами на поприще словесности? Оттого, что наградой им служила в ту пору блестящая слава. Невозможно без удивления читать о бесчисленных почестях, воздававшихся Петрарке, о неслыханном нетерпении, с каким ожидали выхода его сонетов. Людям надоела глупая заносчивость воителей, ни во что не ставящих литературу, и они ударились в противоположную крайность. Впрочем, почести, возможно, оттого оказывались столь пышны, что были призваны вдохновить авторов на тяжкие труды: ведь в течение последующих трех столетий им предстояло

усовершенствовать новые языки, воскресить философический дух и создать новый метод для метафизики и точных наук.

Остановимся же на эпохе, послужившей началом новой эры, когда удивительнейшие завоевания человеческого гения стали множиться непрерывно, и, сравнивая наши богатства с сокровищами древности, не будем в бесплодном отчаянии завидовать достижениям наших далеких предшественников; преисполнимся энтузиазма и надежд, объединим наши усилия, и пусть свежий ветер, надувая паруса, мчит нас в будущее.

## ГЛАВА IX

### О СУЩЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Средние века обогатили новыми сокровищами не воображение, а разум. Изящные искусства, как я уже сказала, основаны на подражании и потому не способны к бесконечному совершенствованию; в этой области люди нового времени только и могут, что перепевать древних. Образы и описания почти не подвержены переменам, однако пробуждение неведомых прежде чувств и более глубокое знание человеческих характеров позволяют ярче живописать страсти и сообщают шедеврам литературы дополнительное очарование, какого не смогла бы придать им одна лишь поэтическая фантазия.

Древние считали дружбу уделом мужчин, а в женщинах видели не более чем рабынь. Большинство женщин, пожалуй, заслуживали этой печальной участи: ни одна мысль не посещала их ум, ни одно великодушное чувство не поселялось в их сердце. Поэтому-то у древних поэтов любовь, как правило, сводится к чувственным наслаждениям. В женщинах древние ценили лишь красоту, а этим достоинством обладают многие представительницы слабого пола. Литераторы нового времени, узнавшие о существовании иных отношений и иных привязанностей, первыми поведали о чувстве, на всю жизнь связывающем мужчину с одной-единственной женщиной.

Романы, которым несть числа в новое время, были почти неизвестны древним. В эпоху, когда греки уже лишились свободы и искали, чем занять свой досуг, они сочинили несколько пасторалей в форме романов, но до тех пор, пока женщины не наполнили смыслом жизнь частную, мужчин очень мало волновали любовные приключения; все их внимание поглощала политика<sup>1</sup>.

Из потребности ли властвовать или из страха упасть в зависимость, но женщины открыли в характерах множество оттенков: благодаря им драматические поэты узнали новые способы потрясать сердца. Все чувства, дозволенные женщинам, — страх смерти, любовь к жизни, безграничная преданность, безмерный гнев — обогащают литературу. Поскольку женщины, если можно так выразиться, не отвечают за себя, в речах и чувствах они заходят так далеко, как того требует их душа. Оратор умный и мужественный может многому научиться, вслушиваясь в женские откровения, где сердце человеческое высказывает себя сполна. Вот почему моралисты нового времени, как правило, более тонки и проницательны, чем моралисты древности.

У древних тот, кто не надеялся снискать славу, не имел никаких побудительных причин для совершенствования своих способностей. С тех пор как семья стала состоять из двух равноправных членов, в этом узком кругу постоянно происходит обмен познаниями и взаимное воспитание нравственности; супруги, питающие друг к другу нежные чувства, сильнее любят своих детей; одним словом, божественный союз любви и дружбы, уважения и влечения, заслуженного доверия и произвольного обольщения оставил отпечаток на всех привязанностях.

Прежде старость была бесплодной порой, когда сердце замолкало навеки и на долю человека славного и добродетельного оставался один лишь почет; ныне ее украшают чувствования меланхолические; старикам дано вспоминать, сожалеть, изведать возрат пружней любви. Нравственные привязанности, в юности опалаяющие сердце огнем страсти, живут в душе человека до конца его жизни, и их благородный образ различим под траурным покровом протекших лет.

В новое время явились сочинители, глубоко погруженные в грезы и чувства; своим восхитительным стилем сочинители эти обязаны влиянию женщин, которые, не имея в жизни иного призвания, кроме любви, научили их нежности. Читая книги, написанные в эпоху Возрождения и позже, мы встречаем на каждой странице мысли, которых человечество не знало до тех пор, пока женщины не обрели нечто вроде гражданского равенства.

В новое время такие понятия, как великодушие, доблесть, человеколюбие, наполнились, можно сказать, новым смыслом. Древние были добродетельны из любви к отечеству; женщины проявляют свои добрые качества бескорыстно. Жалость к слабому, сочувствие к несчастному, великодушие, не преследующее никакой цели, кроме сладостного сознания собственного благородства, свойственны им гораздо больше, нежели доблести политические. Мужчины нового времени, найдясь под влиянием женщин, быстро прониклись уважением к филантропии, и ум их, сделавшись более терпимым, обрел большую свободу философических мнений.

Вот единственное преимущество изящной словесности последних столетий перед словесностью древней: сочинителям нового времени вняты гораздо более тонкие чувства; знание сердца человеческого помогает им расширить круг положений и характеров. Что же касается нынешней философии, то ее преимущества перед философией древних неисчислимы! Наши философы даровали ученым метод исследования, научились обобщать идеи и толковать результаты. В руках у них бесконечная нить, которая никогда не позволит им сбиться с пути.

С математическими выкладками дело обстоит так же, как с двумя основополагающими понятиями высшей метафизики — пространством и вечностью. Как бы правильно вы ни складывали лье и ни умножали столетия, вы не узнаете таким образом, что такое пространство и что такое вечность. Величайший шаг, сделанный умом человеческим, состоял в том, чтобы отказать от систем, выбранных наугад, и создать метод доказательный, ибо только те истины служат всеобщему счастью, что очевидны для всех.

Наконец, красноречие, хотя оно, как правило, и

страдает от отсутствия того соперничества, что царило в этой области у древних, обрело тем не менее благодаря философии и меланхолии возможности новые и едва ли не безграничные.

Не думаю, что у древних найдется такое сочинение и такой оратор, которые сравнялись бы в возвышенном искусстве волновать души с Боссюэ, Руссо, английскими поэтами и немецкими прозаиками. Мастерским умением коснуться, ведя речь о единичном событии, вопросов всеобщих и трогательных, потрясти души всех слушателей, всколыхнуть в их памяти бесчисленное множество воспоминаний и обнажить в человеке все человеческое — этим умением авторы нового времени обязаны христианской духовности и мрачным философическим истинам.

Древние умели приискивать к каждому случаю особенные аргументы; но по прошествии веков люди настолько пресытились рассуждениями об интересах отдельного человека, а быть может, и о насущных интересах той или иной нации, что красноречивому писателю приходится воспарять мыслью к тому вечному, что волнует всякого смертного.

Разумеется, литератор должен живописать во всех подробностях то, к чему он желает привлечь сочувственное внимание слушателя или читателя, но одной лишь силы воображения и способности рисовать картины недостаточно, чтобы пробудить сострадание, — здесь потребны заметы меланхолического сердца.

К тому красноречию, единственная цель которого — взволновать читателя, авторы нового времени добавили красноречие мыслей, которым в древности мог похвастать лишь Тацит. Монтескье, Паскаль, Макиавелли умеют с помощью одного-единственного слова, одного разительного эпитета, одного стремительно набросанного образа не только разъяснить мысль, но и сообщить ей величие. Впечатление, производимое их стилем, можно сравнить с тем, какое производит разгадка страшной тайны: вы ощущаете, что за мыслью, которую только что узнали, стоит множество мыслей, что каждая идея — плод глубочайших раздумий и что одно-единственное слово внезапно раскрывает пред вами необозримые пространства, подвластные гению.

Философы древности, бывшие, если можно так

выразиться, общепризнанными наставниками человечества, всегда пеклись в первую очередь о всеобъемлющих знаниях; они открывали составные части, закладывали основы, не имея нужды оглядываться назад; им еще не грозило обилие прописных истин, которые следует упоминать вскользь, не останавливаясь на них подробно, дабы не утомлять читателя. Ни один писатель древности не мог быть похож на Монтескье, да такое сравнение и не имеет смысла — иначе получится, что столетия сменяли друг друга без всякой пользы, что поколение за поколением рождались на свет напрасно, что годы шли бесплодной чередой.

Вместе с умом человеческим совершенствовалась, разумеется, и нравственность. Философические выкладки применимы к нравственности как нельзя лучше. Не следует сравнивать людей нового времени с древними в том, что касается добродетелей общественных: граждане постоянно помнят о своем долге перед отечеством и с неизменным великодушием пекутся о его судьбе лишь в свободных странах. В деспотических государствах люди свершают славные воинские подвиги под действием предрассудков или привычки, но посвятить жизнь исполнению нелегких гражданских обязанностей, до последних дней бескорыстно служить общественному благу может лишь тот, кем движет любовь к свободе. Поэтому поступательное движение нравственности сказывается прежде всего в добродетелях частных лиц, в человеколюбивых чувствах и некоторых превосходных литературных произведениях.

Философия нового времени споспешествует счастью частного человека гораздо больше, нежели философия древних. Наши моралисты предписывают нам быть добрыми, милосердными, сострадательными, отзывчивыми. Древние проповедовали безграничное сыновнее послушание. Люди нового времени острее чувствуют любовь отцовскую, а ведь бесспорно, что отцу пристало не только быть благодетелем сына, но и питать к нему нежность, превосходящую сыновнюю.

Древние любили справедливость, но вовсе не считали себя обязанными помогать ближним. Законы могут принудить человека поступать по справедливости, но научить людей быть добрыми и презирать тех, кто



не умеет сострадать чужому несчастью, способно лишь общественное мнение.

Древние моралисты предписывали человеку воздерживаться от злых дел, и не более; они просили лишь об одном: чтобы ближние «не заслоняли им солнца»<sup>2</sup> и оставляли их наедине с самими собой и с природой. Люди нового времени наделены более тонкой чувствительностью: они нуждаются в помощи, поддержке, сострадании; они возвели в добродетель все, что способно послужить взаимному счастью, связать людей целительными узами. Семья ныне зиждется на разумно понимаемой свободе; закон запрещает человеку расправляться с другим человеком по своему произволу.

Некогда северные народы числили среди добродетелей осторожность, ловкость и сверхъестественное терпение, помогающее перевозмогать боль. Люди нового времени лучше различают свои обязанности; превыше всего они ценят в человеке не попечение о самом себе, но расположение к ближним и умение переменить к лучшему их судьбу. Наши моралисты не вменяют нам в обязанность заботу о нашем собственном счастье; преступником они считают не того человека, который не таясь страдает от боли, а того, кто заставляет страдать ближних.

Наконец, и Евангелие и философия проповедуют одно и то же — человеколюбие. В новое время люди научились глубоко чтить жизнь; человек почитает чужое бытие священным и не питает к нему равнодушия политика, которое иные древние причисляли к добродетелям. Кровь леденеет в жилах при виде крови; воин, бестрепетно идущий навстречу любой опасности, не может думать о том, что несет людям смерть, без содрогания. Если выясняется, что судьи вынесли несправедливый приговор, что меч закона обрушился на голову невинного, целые народы горестно вслушиваются в плач о непоправимой потере. Ужасные предания о незаслуженной каре передаются из поколения в поколение, от родителей к детям: когда красноречивый Лалли спустя двадцать лет после казни своего отца потребовал от французов оправдания его доброго имени, юноши Франции, не знакомые с погибшим, никогда его не видевшие, оплакивали судьбу несчаст-

ной жертвы так горько, словно память о страшном дне, когда была безвинно пролита праведная кровь, беспрестанно жгла им сердца<sup>3</sup>.

Так шли мы к завоеванию свободы, ибо добродетель есть ее предвестие. Увы, как забыть о прискорбном противоречии, живо поражающем воображение! Долгая череда лет прошла под знаком преступления, бесчисленные жестокости свершались на глазах французов и немедленно изглаживались из их памяти! И эти отвратительные злодеяния творились во имя республики — величайшего, благороднейшего, возвышеннейшего создания человеческой мысли! О, как безрадостны и как неизбежны эти сближения: стоит нам задуматься о судьбе человеческой, нашему внутреннему взору предстает недавняя революция! Напрасно пытаемся мы перенестись в глубь времен, напрасно пытаемся рассмотреть события и свершения прошлого под знаком вечности, напрасно предаемся размышлениям о предметах отвлеченных — достаточно одного слова, чтобы воспоминания нахлынули вновь и овладели нашей душой. С этой минуты мысль бессильна нам помочь — в свои права вступает жизнь.

Не будем, однако, предаваться унынию. Вернемся к метафизике, к литературе, ко всему, что может отвлечь от личных чувствований, слишком сильных и горестных. Легкое волнение идет таланту только на пользу, но нескончаемая череда бедствий отупляет гений; свыкнувшись со страданием, человек уже не стремится излить свою скорбь ни в стихах, ни в прозе.

## ГЛАВА X

### О ЛИТЕРАТУРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И ИСПАНСКОЙ

---

Памятники древнего искусства, большая часть древних рукописей, одним словом, все свидетельства величия и просвещенности римского народа — вот сокровища, которые сберегла для нас итальянская земля. Дабы отыскать их, потребовались немалые средства и благорасположение мест-

ных властей. Понятно, что возрождение словесности началось именно на этой земле — ведь здесь родились все науки; столь же понятно, что итальянская словесность делала первые шаги под покровительством князей: ведь разнообразные способы поощрения, необходимые юной словесности, находились в руках правителей и судьба литературы зависела от их доброй воли.

Итак, итальянские князья немало способствовали возрождению словесности, однако они же чинили препятствия распространению философской мудрости, причем дело тут не только в религиозных предрассудках, не раз встававших на пути искателей истины.

Здесь я вынуждена вновь напомнить о том смысле, который вкладываю в слово «философия». Я называю философией исследование сущности всех политических и религиозных установлений, познание исторических обстоятельств и характеров, наконец, изучение человеческого сердца и естественных прав человека. Подобная философия — учение людей свободных или борющихся за свободу.

Итальянские литераторы, разыскивавшие древние рукописи, из которых им предстояло почерпнуть драгоценную премудрость, нуждались в помощи и одобрении князей, и оттого независимость, потребная философии, была чужда им более, чем ученым мужам любой другой страны. В крупных городах Италии существовало множество академий и университетов. Эти ученые собрания, полагавшие своей целью извлечение из-под спуда как можно большего числа древних шедевров, были слепо преданы правительству, философия же для безостановочного движения вперед нуждается не столько в деятельности тех или иных цехов, конгрегаций, классов и сект, ограниченных узкими целями, сколько в усилиях и талантах одиноких мыслителей.

Добавлю, что долгие и кропотливые разыскания, необходимые для изучения древних рукописей, особенно притягивали обитателей монастырей; не случайно самыми ревностными исследователями литературных сочинений были монахи. Следовательно, те же самые обстоятельства, которые благоприятствовали возрождению словесности в Италии, затрудняли совершен-

ствование разума в этой стране. Итальянцы сделали первые шаги на том поприще, где ум человеческий добился впоследствии блистательных успехов, но им не суждено было уйти далеко вперед по пути, ими открытому.

Итальянская поэзия и итальянская живопись пьянят воображение неподражаемыми красотами, что же касается итальянских прозаиков, то среди них, пожалуй, не отыскать ни моралистов, ни философов, а в своих стараниях показаться красноречивыми они не знают никакой меры \*. Тем не менее, поскольку ум человеческий по природе своей не способен стоять на месте, итальянцы, лишенные возможности заниматься философией и не способные перейти предел, положенный совершенствованию искусства, предали себя занятиям точными науками, на каком-то поприще по сей день одерживают победу за победой. После эпохи Льва X, после Ариосто и Тассо в Италии не появилось ни одного великого поэта, но зато здесь родились Галилей, Кассини и другие; даже в самое недавнее время итальянцы прославили себя множеством важных открытий в области физики<sup>1</sup>, внося свой вклад в совершенствование человеческого ума.

Хотя духовенство ополчилось на Галилея, несколько итальянских князей выступили в его защиту. Наука и искусство страдают от религиозного фанатизма не меньше, чем философия, но ученым и художникам нередко покровительствуют абсолютные монархи и владетельные князья, независимость же философов не охраняет никто.

В странах, где властвует духовенство, пред-рассудки, как правило, влекут за собой неисчислимые бедствия, однако раздробленность Италии ослабляла гнет священников; княжества и князья, соперничая меж собой, предоставляли ученым и художникам неко-

\* Насколько мне известно, многие мои читатели уверены, будто я отзываюсь об итальянской литературе без должного восхищения (хотя Тассо, Ариосто и Макиавелли, мне кажется, получили в моей книге заслуженно высокую оценку). Будь Италия свободна, все итальянцы, наделенные выдающимися способностями, добились бы, без сомнения, гораздо больших успехов. Но разве может нация, где мыслители так зависимы и имеют так мало возможностей для соперничества на поприще литературы, достичь полного расцвета? (Примеч. ко 2-му изд.)

тору ю свободу, столь для них важную. Мы уже сказали, что вклад Италии в дело просвещения ограничился открытиями в области науки; рассмотрим же теперь подробнее причины побед и поражений итальянцев в различных областях человеческого знания — в философии, красноречии и поэзии.

Раздробленность страны, как правило, благоприятствует расцвету философии,— я подробнее рассмотрю этот вопрос, когда поведу речь о немецкой литературе. Однако в Италии дела пошли иначе: деспотическая власть священников, тяготея равно над всей страной, уничтожила все выгоды, какие имеет обычно словесность при федеральном правлении, иначе говоря, при разделении на множество самостоятельных мелких государств. Кто знает, не лучше ли было бы всем итальянцам воссоединиться: в их груди скорее проснулась бы память о древней славе, и сознание собственной силы вернуло бы им утраченную добродетель.

Гражданские войны, заговоры и интриги раздирали многочисленные итальянские государства, которыми правили единовластно князья либо папы, но смуты эти нимало не приближали торжество свободы. Раздоры, причиной которых была не любовь к отечеству, а сведение личных счетов, развращали характеры; люди подчинялись тиранам и свикались с убийствами. У большей части нации вера перерастала в фанатизм; безбожники были наперечет, а людей здравомыслящих не имелось вовсе.

Итальянцы истово молятся, ни во что не веря; они лучше умеют шутить, чем рассуждать. Они насмеются над собственным образом жизни. Но лишь только они изменяют комическому дару, заповеданному им природой, и пробуют свои силы в высоком красноречии, как начинают грешить манерностью. Воспоминания о былом величии без всякого сознания величия настоящего рождают страсть к преувеличениям. Итальянцы вели бы себя с достоинством, будь им ведомо мрачная скорбь; однако, не имея нынче ни славы, ни политической свободы, наследники римлян по-прежнему остаются одним из самых веселых народов на земле,— о каком же величии тут толковать?

Быть может, именно в противовес итальянской страсти к преувеличениям Макиавелли исследовал ти-

ранию с такой ужасной простотой; он желал, чтобы само описание ее основ рождало ненависть к ней, и, заходя, пожалуй, даже слишком далеко в презрении к риторическим приемам, во всем полагался на чувства читателей. Рассуждения Макиавелли о Тите Ливии гораздо выше его «Государя»<sup>2</sup>. Книга эта — одно из глубочайших творений человеческого ума, и обязаны мы ею только гению ее автора; в тогдашней итальянской литературе мы ничего похожего не найдем.

Безусловно, на Макиавелли оказали немалое влияние флорентийские смуты, однако, вчитываясь в его сочинения, всякий, мне кажется, согласится, что главное в них — своеобразие личности автора, решительно не похожего ни на кого из соотечественников. Он пишет, вовсе не заботясь о действии, какое произведут его сочинения. Можно подумать, что он вообще не помышлял о читателях и не считал нужным распространяться об исходных посылках своих рассуждений — ведь самому ему они были прекрасно известны.

Макиавелли, пожалуй, виноват в том, что не предвидел пагубного воздействия своих книг, но я ни за что не поверю, что этот гений создал теорию, оправдывающую преступление<sup>3</sup>. Такая теория, какой бы хитроумной она ни выглядела, оказалась бы слишком близорукой и недалёковидной.

Ни один из многочисленных итальянских историков, включая двух лучших, Гвиччардини и Фра-Паоло, не выдерживает никакого сравнения ни с древними историками, ни с английскими историками нового времени. Итальянские историки — люди весьма ученые, но они не всматриваются глубоко ни в идеи, ни в характеры: потому ли, что в Италии было опасно высказывать философические суждения об установлениях и характерах, потому ли, что итальянский народ, некогда столь великий, а ныне утративший величие, уподобился Ринальду в садах Армиды<sup>4</sup> и гнал от себя всякую мысль, способную нарушить его покой и прервать его наслаждения.

Можно было бы ожидать, что церковное красноречие расцветет в Италии так пышно, как ни в какой другой стране, ибо здесь более всего блюдут церковную обрядность. Тем не менее ничего значительного в этой области итальянцы не создали, меж тем как Франция

по праву гордится величайшими и блистательнейшими проповедниками. Итальянцы, если не считать немногочисленного класса людей просвещенных, относятся к религии так же, как к любви и свободе: они во всем любят чрезмерность и ничего не видят в истинном свете. Они мстительны и раболепны разом. Они — рабы женщин, не знающие, однако, что такое глубокая и долговечная сердечная привязанность. Они суеверно исполняют все предписания церкви, нисколько не веря, однако, в нерушимый союз нравственности и религии.

Иным и не может быть народ, пребывающий во власти фанатических предрассудков, народ, живущий в раздробленном государстве, где человек подчас любит одну землю, а защищает другую; народ, возрастающий под палящим солнцем, которое обостряет все ощущения и будит любовные страсти, если только их не заглушают, как это было у римлян, страсти политические.

Наконец, во всякой стране, где правительство суеверно ограничивает философов в их поисках и где питать честолюбивые надежды дозволено одним лишь художникам, просвещенные люди, не имеющие ни поприща для приложения сил, ни цели, ни будущего, впадают в уныние и с трудом находят в себе силы даже на то, чтобы скрашивать свой досуг забавами.

Высказав, быть может даже чересчур строго, всю свою неудовлетворенность сочинениями итальянцев, вернусь к чарующему действию их блестящей фантазии.

Эпоха, когда было открыто искусство возбуждать читательское любопытство рассказом о вымышленных приключениях частных лиц, достойна самого пристального внимания. Северная и южная литература обязаны появлением романов обстоятельствам различного рода. В рыцарскую эпоху самые невероятные приключения происходили в жизни и, дабы увлечь северных воинов, приходилось рассказывать им о подвигах, близких к тем, которые совершали они сами. Описывать в произведениях изящной словесности подлинные или вымышленные рыцарские доблести было единственным способом побороть отвращение, которое питали к литературе вчерашние варвары.

На востоке подданные деспотов поневоле пристрастились к игре воображения; высказывать нравственные истины они осмеливались не иначе как в форме аполога. Люди одаренные вскоре научились придумывать и описывать баснословные приключения. Рабы, должно быть, всегда любят уноситься мыслями в мир грез, а поскольку южное солнце возбуждает игру фантазии, арабские сказки бесконечно более разнообразны и красочны, чем рыцарские романы.

Итальянцы слили оба вида романов воедино; северные племена принесли с собой на юг рассказы о рыцарских подвигах, а из Испании в Италию пришло бесчисленное множество историй и образов, восходящих к арабским сказкам. Этим-то плодотворным смешением обязаны мы появлению поэм Ариосто и Тассо.

Искусству возбуждать ужас и сострадание одним лишь рассказом о сердечных страстях способна научить людей только философия; иное дело — повествование о чудесных событиях; оно особенно сильно потрясает легковверных читателей, если развязка его никак не подготовлена и совершенно непредсказуема, если вниманию досужей публики предлагается рассказ о событиях неожиданных и невероятных.

В рыцарских романах самым удивительным образом смешались христианские идеи, в которые авторы веруют, и колдовские суеверия, которых они боятся, а в сочинениях восточных авторов идет постоянная борьба между новой религией и старинным идолопоклонничеством, над которым одержал победу Магомет. Мифология греков и римлян гораздо более однородна. Она теснее связана с нравственностью; многие олимпийские божества — своего рода эмблемы или аллегории моральных идей. Зато чудесные предания арабов гораздо более увлекательны. Арабская мифология — страшный сон, мифология древних — удачное сопоставление нравственного мира с миром физическим.

Казалось бы, испанцы призваны были, соединив северную фантазию с южной, рыцарское величие с восточным великолепием, воинский дух, закаленный в бесчисленных сражениях, с поэзией, вдохновленной красотами природы и мягкостью климата, создать литературу более совершенную, чем итальянская. Однако мракобесие, пользуясь покровительством королей, по-



давило все эти благородные задатки<sup>5</sup>. Раздробленность, помешавшая итальянцам стать единой нацией, даровала им, по крайней мере, свободу, достаточную для развития науки и искусства, испанская же единодержавная монархия при энергическом пособничестве инквизиции не оставляла мыслящим людям Испании ни одной лазейки, ни одной возможности ускользнуть из-под гнета. Лишь по нескольким разрозненным пробам, дошедшим до нас, можем мы судить о том, чем могла бы стать испанская литература.

Мавры, обосновавшиеся в Испании, заимствовали у рыцарей их культ прекрасной дамы; жителям Востока такое отношение к женщине было вовсе не свойственно. Африканские арабы и арабы испанские смотрели на женщин совершенно различно. Испанцы заимствовали у мавров их любовь к пышности, а мавры у испанцев — рыцарские понятия о любви и чести. Такое смешение весьма благоприятно для изящной словесности, но словесность испанская не имела условий для развития.

Среди испанских романов один лишь «Сид» дает некоторое представление о величии, какого могла бы исполниться испанская литература<sup>6</sup>. В поэме португальца Камозенса, родственной по духу сочинениям, написанным по-испански, есть эпизод редкостной красоты — явление призрака, охраняющего вход в Индийский океан<sup>7</sup>. В комедиях Кальдерона и Лопе де Веги бесчисленные погрешности искупаются неизменной возвышенностью помыслов<sup>8</sup>. В своих пьесах испанцы любят и ревнуют совсем иначе, чем итальянцы в своих; у них не встретишь ни витиеватости, ни пошлости, они никогда не живописуют ни коварные поступки, ни развращенные нравы; стиль их страдает чрезмерной пышностью, но, как бы цветисты ни были их речи, подлинность их чувств не вызывает никакого сомнения. Не то в Италии. Лишите иные итальянские сочинения их изысканной формы, и от них ничего не останется; меж тем, исправив погрешности испанских пьес, мы получили бы творения совершенные, исполненные мужественного достоинства и глубокой чувствительности.

В Испании ни одна отрасль философии не была способна к развитию. Северные завоеватели принесли с собой одну лишь воинственность, а арабы не были

расположены к философствованиям. Деспотический государственный строй восточных народов и их фаталистическая религия внушали им ненависть к философским знаниям. Эта ненависть заставила их сжечь Александрийскую библиотеку<sup>9</sup>. Впрочем, они не были чужды ни наукам, ни поэзии, однако то была наука астрологов и поэзия солдат. Арабы слагали стихи в честь воинских подвигов; природу они изучали лишь в надежде овладеть колдовской премудростью. Они и не помышляли о том, чтобы укреплять свой разум. В самом деле, разве пригодились бы им знания, развенчивающие их кумиров — деспотизм и суеверия.

Испания была столь же чужда философическим штудиям, что и Италия, однако по вине самовластной и зловещей инквизиции здесь сделалось невозможным и соперничество на поприще словесности; испанцы вовсе не воспользовались бесчисленными поэтическими сокровищами арабов. Италия гордилась древними памятниками и постоянно поддерживала связи с византийскими греками; итальянцы заимствовали у испанцев восточные сказания, которые принесли с собою мавры, сами же испанцы ими пренебрегли.

В итальянской литературе плоды греческого влияния легко отличить от плодов влияния арабского. Манерность и напыщенность — дань грекам, с их витиеватыми софизмами и богословскими премудростями; поэтические картины и предания — дань восточной фантазии. Этот двойственный характер итальянской словесности бросается в глаза, несмотря на однородность, которую придают творениям одного народа общность языка, климата и нравов.

Боярдо, первый автор, творивший в том роде, который впоследствии возвеличил его соотечественник Ариосто, создал поэму, во многом похожую на восточные сказки<sup>10</sup>. Здесь те же вымыслы и те же чудеса; единственное, что отличает «Влюбленного Роланда» от «Тысячи и одной ночи», — это присутствие рыцарского духа и свобода, которой пользуются женщины. Хотя арабы отличались чрезвычайной воинственностью, сражались они во имя своей религии, а не во имя любви и чести; северные же народы, как бы глубоко ни чтили они свою веру, всегда пеклись в первую очередь о славе. Ариосто, как и Боярдо, подражал восточным сказаниям.

Ариосто — первый мастер описаний и, следовательно, величайший поэт нового времени. Однако этим особенностями его манеры не исчерпываются; как никто иной, он владел искусством извлекать комический эффект даже из самых серьезных вещей, прибегая к преувеличениям<sup>11</sup>. Ничто не могло больше прийти по вкусу итальянцам, чем это умение выставить на посмешище все заветные идеи рыцарства. Итальянцы, даже ведя речь о предметах важнейших, любят сопрягать величавые слова с легкими чувствами, и книга Ариосто — прелестнейший образец этой национальной манеры.

У восточных народов заимствовал блистательнейшие свои картины и Тассо, однако пленительная чувствительность, которой они исполнены, — порождение его собственного гения. В итальянской словесности каждая строка дышит любовью, но чувствительности там не сыщешь. Любовные сцены у итальянских литераторов испокон веков слишком изысканны, чтобы стать по-настоящему трогательными.

Петрарка, первый поэт, рожденный Италией, и один из кумиров итальянской публики, явился родоначальником той злосчастной манеры, основанной на антитезах и *кончетти*, от которой итальянская литература не освободилась и по сей день. Все сочинения, написанные в духе Петрарки, в том числе «Аминта» Тассо и «Верный пастух» Гварини<sup>12</sup>, грешат недостатками, восходящими к витиеватостям византийской литературы. Остроумием, которое византийцы пускали в ход в богословских спорах, итальянцы блистали в повествованиях о любви. У любви и благочестия есть нечто общее, однако богословский язык не имеет решительно ничего общего с языком чувств, что не помешало итальянцам живописать пристрастия и суровость своих возлюбленных тем же самым языком, каким в Константинополе обсуждали природу Троицы\*.

Подражая итальянским авторам, писатели всех европейских стран, и в частности Франции, едва не по-

\* Из тысячи примеров итальянской манерности я приведу один, достаточно яркий. Мать Петрарки скончалась тридцати восемью лет от роду, и он не нашел более трогательного и естественного способа выразить свою скорбь, кроме как сочинить на ее смерть сонет из тридцати восьми строк<sup>13</sup>.

губили свои дарования. Бессмертными красотами своих творений итальянцы обязаны языку, климату и преданиям своей страны, а также множеству других обстоятельств, недоступных другим народам; иное дело — недостатки итальянской словесности: они весьма заразительны и опасны для любой нации. Не сохранись на туманном севере, где выживают только сильные духом, глубоких страстей, женщины смогли бы научить мужчин одним только льстивым и манерным любезностям, которые навсегда лишили бы наши чувства природной простоты.

Из всех недостатков, присущих людям и книгам, манерность опаснее всего, ибо она губит все хорошее, отвращая умы от той самой истины, которой тщится подражать.

Во всяком литературном роде слова, послужившие однажды для изъяснения ложных идей и холодных преувеличений, надолго лишаются жизни; целый язык может сделаться решительно непригодным для трогательного повествования о том или ином предмете, если говорящие на этом языке слишком часто поминают его всуе. Быть может, именно поэтому из всех европейских языков итальянский менее всего подходит для страстного объяснения в любви, а французский с некоторых пор вовсе не годится для проповеди свободы.

В то самое время, когда Петрарка писал свои стихи, исполненные романтических преувеличений, Боккаччо ударился в противоположную крайность. Новеллы его на редкость непристойны; равным образом и большая часть итальянских комедий содержит вольности, до которых далеко самой рискованной французской пьесе. Вот еще одно губительное следствие манерной сентиментальности: она вселяет в душу такое уныние, что изнемогающие литераторы, дабы развеяться, прибегают к средствам совершенно противоположным. Ханжество приводит к безбожью, а чересчур изысканные объяснения в любви — к скабрзностям.

Тем не менее Петрарка, а равно и несколько других прославленных поэтов, писавших в том же духе, достойны внимания благодаря чарующей гармонии их языка, близкого по звучанию небесным мелодиям итальянских композиторов. Впрочем, звучные слова украшают отнюдь не всякий слог и даже не всякий род поэзии.

Музыка итальянского языка не располагает ни писателя, ни читателя к размышлениям; игра созвучий так навязчива, что заставляет забыть не только о мыслях, но даже о чувствах. Для выражения идей итальянскому языку недостает краткости, для выражения меланхолических чувств — печали. Язык этот настолько мелодичен, что фраза здесь может потрясти слух независимо от смысла. Действие итальянского языка подобно действию музыкального инструмента.

Всякий, кто читает у Тассо:

Chiama gli abitator dell'ombre eterne  
 Il rauco suon della tartarea tromba:  
 Treman le spaziose atre caverne,  
 E l'aer cieco a quel romor rimbomba \*,

преисполняется восторга. Однако в смысле этой строфы нет ровно ничего величественного: она потрясает своей музыкой, как, наверное, потрясла бы нас прекрасная мелодия Йомелли. Вот преимущество итальянского языка; поговорим теперь о его недостатках.

Смерть Клоринды от руки Танкреда<sup>15</sup> — едва ли не самый трогательный эпизод во всей мировой поэзии; эта сцена из поэмы Тассо исполнена неизъяснимого очарования. Однако строка, завершающая рассказ о Клоринде:

Passa la bella donna e par che dorma \*\*,

слишком гармонична, слишком красива, слишком нежит душу, чтобы потрясти настолько сильно, насколько должно потрясать такое страшное несчастье.

Желая доказать поэтичность итальянского языка, обычно напоминают о множестве весьма знаменитых импровизаторов, которые сочиняют стихи быстрее, чем иные люди разговаривают. Я, напротив, полагаю, что подобная легкость стихосложения — один из пороков языка, мешающий даровитым поэтам добиться серьезных успехов в совершенствовании слога<sup>16</sup>. Переходы от мысли к мысли, воспроизведение оттенков чувства требуют размышлений, что же до бесчисленных сладост-

\* «Хриплый звук адской трубы сзывает обитателей загробного мира; огромные черные подземелья содрожают, и в темноте далеко разносится ужасный шум» (итал.)<sup>11</sup>.

\*\* «Прекрасная женщина скончалась, но казалось, что она спит» (итал.).

ных слов, которыми располагают итальянские стихотворцы, то они подобны толпе придворных льстецов, которые избавляют от необходимости искать истинного друга, а зачастую даже мешают его узнать.

Дух народа влияет на его язык, но и язык в свою очередь влияет на дух народа<sup>17</sup>. Человека мыслящего итальянский язык утомляет; эти сладострастные звуки понять много труднее, чем четкие слова, не отвлекающие ум от стоящих за ними понятий. В Италии все, от изящных искусств до солнечных лучей, не имеет, кажется, иной цели, кроме как ублажать человека.

Утратив власть над миром, итальянский народ презирает всякую политическую деятельность и, если перефразировать слова Цезаря, почитает за лучшее быть первым в наслаждениях, а не вторым в славных подвигах<sup>18</sup>.

Данте, который, как и Макиавелли, принимал участие в гражданских смутах, раздиравших на части его отечество, выказал в некоторых фрагментах своей поэмы мощь, какой не сыщешь ни в одном из сочинений его времени; зато бесчисленные погрешности, в которых можно упрекнуть автора «Комедии», бесспорно, объясняются духом его эпохи<sup>19</sup>. Творения безупречного вкуса появились в итальянской литературе лишь при Льве X, прелате, чье влияние придало раздробленной Италии подобие единства.

Возник очаг просвещения: здесь воспитывали вкус, здесь вершили суд над всей тогдашней словесностью.

После эпохи Медичи итальянская литература не сделала ни одного шага вперед — потому ли, что для единения талантов необходимо было воссоединить отдельные княжества, потому ли — и это гораздо более вероятно, — что в Италии вовсе не развивалась философия. Если изящная словесность на том или ином языке достигла самого высокого уровня, на какой ей суждено подняться, она должна уступить место философии, иначе ум человеческий остановится в своем развитии. Во Франции вслед за Расином пришел Вольтер, ибо XVIII столетие было гораздо более склонно к философским размышлениям, чем XVII. Да и можно ли слагать стихи лучше Расина? Итальянцы, которым князья и монахи не позволяли заниматься философией, топтались на месте, и талант их истощался.

В отличие от англичан и французов итальянцы не сочиняют романов: им нечего сказать о любви, ибо они не считают ее сердечной страстью. Они слишком беспутны, чтобы вникать в оттенки чувств.

В итальянских комедиях много шутовской веселости, проистекающей из неумеренных насмешек над грешками и слабостями людскими, но ни в одной из них, за исключением нескольких пьес Гольдони, вы не найдете того сильного и правдивого изображения изъянов сердца человеческого, какое содержат комедии французские. Этот род литературы требует такой превосходной наблюдательности и прозорливости, от которой недалеко до самых серьезных философических обобщений. Итальянцы, сочиняя свои комедии, желали только посмеять зрителей; никакой глубокой мысли, пусть даже облеченной в комическую форму, в этих пьесах не сыщешь; это не портрет жизни, а карикатура на нее <sup>20</sup>.

В новеллах, а нередко и на театре итальянцы издеваются над священниками, которым, впрочем, слепо повинуются. Они нападают на злоупотребление духовенства отнюдь не с философической точки зрения; в отличие от некоторых наших литераторов они не надеются исправить пороки, над которыми насмеяются; единственная их цель — позабавить публику, и, чем серьезнее предмет, тем старательнее они его вышучивают. В глубине души они сопротивляются всем видам гнета, которым вынуждены повиноваться, но сопротивление это выражается лишь в презрении к власти имущим. Они хитрят, словно школьники, которые на уроке внимательно слушают учителя, с тем чтобы потом хихикать над ним за его спиной.

Поэтому все сочинения на итальянском языке, исключая разве что труды, касающиеся точных наук, не преследуют никакой полезной цели, а между тем без такой цели никакая мысль не имеет силы. Исключение составляют труды Беккариа, Филанджери <sup>21</sup> и некоторые другие. Развитие философии в соседних странах может благотворно повлиять на положение этой науки в Италии, однако форма правления и всемогущие предрассудки мешают итальянцам состязаться на философическом поприще; местные установления не располагают к любознательности.

Мне осталось рассмотреть еще один вопрос. Сильно ли преуспели итальянцы в искусстве трагедии? Как бы восхитительны ни были творения Метастазियो, какой бы мощью ни дышали пьесы Альфьери<sup>22</sup>, я склонна ответить на этот вопрос отрицательно. Итальянцы мастерски изобретают сюжеты и вкладывают в уста героев пышные речи, но характеры персонажей, выведенных в их пьесах, не врезаются в память, а страдания вызывают мало сочувствия. Политическое и нравственное положение героев итальянских трагедий оставляет нас едва ли не равнодушными; страсти их неглубоки, поступки лишены подлинного величия, печаль скоропреходяща. Материал для трагедии итальянский сочинитель черпает только в собственном сердце, закрывая глаза на все, чем живут его соотечественники, на свои собственные мысли и ощущения, — меж тем быть правдивым, оставаясь столь чуждым нравам родной страны, крайне трудно.

Лучше всего итальянцы живописуют месть\*. Страсть эта внезапно вырывает изнеженных людей из круга повседневных наслаждений; свою обиду они изливают в словах простых, естественных, ибо обижаются всерьез.

Успехом в Италии пользуются только оперы — благодаря пленительной музыке, предмету гордости и любви итальянцев. Актеры не научаются играть в трагедиях, поскольку зрители неохотно посещают их представления; иначе и не может быть там, где искусство не способно завладеть душой каждого человека и заставить его позабыть обо всех прочих удовольствиях. Итальянцы не ищут чувствительных зрелищ, поэтому авторы за неимением публики, а публика за неимением авторов не ведают о том, что такое глубокое воздействие драматического искусства.

Впрочем, Метастазियो сумел приблизить свои оперы к трагедиям, и, хотя задача его осложнялась тем, что, сочиняя слова, он вынужден был применяться к музыке, пьесы его отличаются превосходным слогом и подлинно драматическими положениями. Возможно, что существуют и другие исключения, чужестранцам неизвестные, однако, желая дать понятие о характере той или иной словесности в целом, мы обязаны пренебрегать мелочами. Правил без исключений не существует, но, если бы ум

\* «Розамунда» Альфьери и проч.<sup>23</sup>.



человеческий всегда имел дело с одними лишь частными фактами, не умея обозреть их совокупность, он никогда не добился бы ничего путного.

На первый взгляд кажется, будто меланхолия, вдохновившая столько гениальных сочинений, ведома одним лишь народам севера.

Меж тем восточные народы, которым итальянцы нередко подражали, также знали ее. Следы меланхолических чувствований различимы в некоторых арабских стихотворениях, в особенности же в ветхозаветных псалмах; однако восточная меланхолия по природе своей несхожа с меланхолией северной, о которой мы вскоре поведем речь.

На Востоке, у мусульман и иудеев, душа обретает в религии опору и путеводную нить. Восточная меланхолия — вовсе не та ужасная смута, что погружает душу во мрак и заставляет искать прибежища в философии. Люди Востока наслаждаются всеми благами природы; единственное, что омрачает их настроение, — это воспоминания о том, что жизнь коротка, что блаженство быстротечно \*, и вот причина их меланхолии. Меланхолия же народов Севера имеет иной источник — душевные муки, ощущение пустоты существования, грезы, в которых человек блуждает между томительной жизнью и неведомой смертью.

## ГЛАВА XI О ЛИТЕРАТУРЕ СЕВЕРА

Я убеждена, что существуют две совершенно различные литературы: одна — рожденная народами юга и другая — которой дали жизнь

\* Древнееврейские песнопения, в особенности жалобы Иова, проникнуты меланхолией, не имеющей ничего общего с меланхолией северных народов. Во-первых, картины, которые представляются глазам народов юга, решительно непохожи на те, которые вдохновляют поэта северного; во-вторых, религиозные предания иудеев крайне далеки от тех, что до сих пор одушевляют наследников скандинавских сказителей и шотландских бардов. Я рассмотрю этот вопрос подробнее в следующей главе <sup>24</sup> (примеч. ко 2-му изд.).

народы севера; у истоков первой стоит Гомер, у истоков второй — Оссиан \*<sup>1</sup>.

Сочинения греков, римлян, итальянцев, испанцев и французов века Людовика XIV я отношу к литературе юга. Творения англичан, немцев, а также, за некоторыми исключениями, датчан и шведов принадлежат к литературе севера, ведущей свое происхождение от песен шотландских бардов, от исландских саг и скандинавских поэм. Прежде чем перейти к характеристике английских и немецких писателей, я полагаю необходимым обрисовать основные различия названных двух литератур.

Нельзя сказать, чтобы англичане и немцы вовсе не подражали древним. Они с большой пользой для себя брали уроки у этих первоклассных наставников, однако своеобразной красотой своих творений английские и немецкие сочинители обязаны северной мифологии; их величавая поэзия имеет немало общего с той, которую завещал нам Оссиан. Однако, возразят нам, английские поэмы замечательны своим философическим складом ума, заметным во всех их сочинениях, меж тем как Оссиану почти не свойственно размышлять на отвлеченные темы: его поэмы — цепь событий и впечатлений <sup>7</sup>. На это возражение я отвечу, что самые частые у Оссиана мысли и образы напоминают о краткости жизни, о почтении к умершим и увековечении их памяти, о почестях, которые живые обязаны отдавать тем, кто отошли в мир иной. Если поэт не добавил сюда моральных максим и

\* Повторю еще раз то, что я сказала в предисловии ко второму изданию моей книги. Песни Оссиана (барда IV столетия) были известны шотландцам и тем из англичан, кто не чужд литературных занятий, прежде чем Макферсон собрал их. Называя Оссиана родоначальником северной литературы, я, как будет видно из нижеследующего изложения, имела в виду лишь одно: что Оссиан — старейший из известных нам поэтов, творениям которого присущи все особенности северной литературы. Исландские саги, скандинавские поэмы IX столетия — источники словесности английской и немецкой — весьма схожи с эрскими <sup>2</sup> песнями и с поэмой о Фингале <sup>3</sup>. Великое множество ученых посвятили свои труды рунической литературе и северным древностям; впрочем, результаты их исследований вкратце изложены в книге господина Малле <sup>4</sup>, и достаточно прочесть напечатанные там переводы нескольких од IX столетия, например оды Рагнера Кожаные Штаны, Гаральда Смелого <sup>5</sup> и проч., чтобы убедиться, что скандинавские поэты исповедовали ту же веру, что и бард Оссиан, живший пятью столетиями раньше, пользовались теми же образами, навеянными войной, так же поклонялись женщинам <sup>6</sup> (примеч. ко 2-му изд.).

философических рассуждений, то лишь оттого, что в его эпоху ум человеческий еще не поднимался до обобщений. Однако оссианические песни так сильно потрясают воображение читателя, что наводят его на самые глубокие размышления.

Меланхолическая поэзия дружна с философией. Печаль более чем любое другое расположение души позволяет вникнуть в характер и судьбу человека. Английские поэты, пришедшие на смену шотландским бардам, добавили к их картинам все размышления и идеи, которые эти картины навевают; однако они, как и прежде, ищут вдохновения на берегу северного моря, в шуме ветра, среди вересковых зарослей, и душа их, утомленная своим жребием, алча покоя, уносится в будущее, в мир иной. В мечтах жители севера покидают родную землю, они устремляются за облака, которые клубятся на горизонте и, кажется, служат эмблемой таинственного перехода от земной жизни к жизни вечной.

Итак, существуют две поэтические манеры, у истоков которых стоят Гомер и Оссиан, и сказать раз и навсегда, какая из них лучше, невозможно. Чувства и ум советуют мне отдать предпочтение северной литературе, но сейчас речь не о моих пристрастиях, а об основных свойствах этой литературы.

Северные поэты привержены одним картинам, южные — другим, и объясняется эта разность прежде всего несходством климатов. Воображение может подсказать поэту образы самые необычные, но во всем, что выходит из-под его пера, неминуемо отражаются впечатления повседневные. Отказаться от них значило бы лишить себя величайшего преимущества — возможности описывать то, что испытал на собственном опыте. О чем бы ни рассказывали жители юга, им не обойтись без свежего ветерка, густых дубров и прозрачных ручьев. Даже говоря о сердечных радостях, они не могут не сравнить их с благодетельной сенью, призванной спасти от палящих солнечных лучей. Щедрая природа, окружающая их, рождает мало мыслей и много чувств. На мой взгляд, не правы те, кто утверждают, будто на юге страсти сильнее, чем на севере. У южан интересы более разнообразны, но зато ни одному из многочисленных своих занятий они не предаются всей душой, а ведь без настойчивости и страсть и воля бессильны.

В жизни северных народов больше горестей, чем радостей, и воображение их от этого разыгрывается гораздо сильнее. Живейшее воздействие оказывает на жителей севера природа их туманного и сумрачного отечества. Разумеется, в их жизни случаются и обстоятельства, отвлекающие от грустных мыслей, однако отличительной чертой северного национального характера является именно склонность к меланхолии. О народе, как и об отдельном человеке, следует судить по его основополагающему свойству: все остальные черты случайны, в главном же свойстве видна самая сущность человека или народа.

Свободному народу больше пристал дух северной поэзии, чем настрой южной. Создатели литературы юга, афиняне, ревниво оберегали свою независимость, что не помешало им быстрее, чем любому северному племени, смириться с неволей. Утешением им служили занятия искусством и прекрасный климат. Северные же народы видели в независимости свое первое и единственное благо. Суровая природа и печальные небеса взрастили в северных душах гордость и презрение к смерти, которые никогда не позволили бы им стать рабами; задолго до того, как англичане узнали о существовании конституций и выгодах представительного правления, эрские и скандинавские поэты, с восторгом воспевавшие упоение битвы, внушали человеку чудесную уверенность в его собственных силах и в могуществе его воли. Еще прежде, чем вся нация обрела свободу, каждый ее представитель уже обладал независимостью.

В эпоху Возрождения философия начала развиваться на севере, ибо религиозные предрассудки здесь были не так сильны, как на юге. Древняя северная поэзия проникнута суевериями в гораздо меньшей степени, нежели греческая мифология. В «Эдде»<sup>8</sup> есть несколько нелепых догматов и басен, но в целом религиозные представления северных народов ничем не оскорбляют пылкий ум. Тени почивших предков, являющиеся на облаках<sup>9</sup>, не более чем одушевленные воспоминания\*.

\* Есть люди, которые утверждают, будто поэмы Оссиана совершенно лишены религиозного духа<sup>10</sup>. Мифологии в них в самом деле нет, однако они проникнуты великодушием, почтением к умершим, ве-

В оссианической поэзии все рождено природой, поэтому она способна взволновать человека любой страны; иное дело — греческая мифология: дабы ввести ее в французскую поэзию, не погрешив против вкуса, потребен талант поистине чудотворный. Вообще говоря, мало что так манерно и безжизненно, как религиозные верования, перенесенные на чуждую почву и низведенные до уровня замысловатых метафор. Северные поэты редко прибегают к аллегориям; они умеют пленять умы и не прибегая к местным суевериям. Искренний энтузиазм, чистый восторг вняты всем народам; в них — источник истинного вдохновения, которое всякий ощущает, но не всякий может выразить; облечь его в слова дано лишь гению. Вдохновение это рождает небесные грезы и любовь к сельскому уединению; нередко оно обращает сердце к религии и возбуждает в существах избранных самоотверженность и великодушие.

Все великие подвиги человек свершает, движимый горестным ощущением неудовлетворенности своей судьбою. Люди посредственные, как правило, вполне довольны жизнью; они, если можно так выразиться, скругляют свое существование; обольщения тщеславия восполняют им недостающие блага; однако всем возвышенным в мыслях, чувствах и деяниях человек обязан потребности вырваться из тесных пределов, ограничивающих полет его фантазии. Нравственный героизм, вдохновенное красноречие, честолюбивое желание славы даруют сверхъестественные радости, коих алчут лишь души восторженные и меланхолические, утомленные всем исчислимым, всем скоропроходящим — одним словом, всем, что имеет какой-либо, пусть даже самый дальний предел. Это расположение души, являющееся источником всех великодушных

рой в загробное существование — чувствами, которые гораздо ближе к христианству, чем язычество южан. Однообразие поэмы о Фингале объясняется отнюдь не отсутствием в ней мифологии; я уже называла различные его причины. Авторы нового времени были бы также обречены на однообразие, будь их единственным источником греческое баснословие, ибо чем пленительнее греческие мифы в произведениях древних, тем труднее использовать их нашим поэтам. Творения сочинителя, чье воображение вечно вышивает узор по одной и той же канве, быстро наскучивают (примеч. ко 2-му изд.).

порывов и всех философических идей, берет начало в северной поэзии.

Я далека от мысли сравнивать Гомера с Оссианом. То, что дошло до нас от творений Оссиана, не может считаться произведением изящной словесности в полном смысле слова: это сборник народных песен, известных всем шотландским горцам. Подобные сказания наверняка передавали из уст в уста и греки задолго до рождения Гомера. Поэмы Оссиана, вероятно, ничуть не более совершенны, чем греческие предания, из которых выросли «Илиада» и «Одиссея»\*. Поэтому мы не вправе рассматривать на равных греческий эпос и «Фингала». Но зато мы вправе задать вопрос, вызывают ли картины южной природы чувства столь же благородные и чистые, что и образы природы северной, рождают ли южные картины, в некоторых отношениях более ослепительные, столько же мыслей и столько же отзвуков в душе? Философические идеи льнут к мрачным образам. Южная поэзия, в отличие от северной, не только не располагает к размышлениям и не внушает, если можно так выразиться, прозрений, которые разум призван обосновать,— нет, эта сладострастная поэзия чуждается серьезных идей.

Оссиана упрекают в однообразии. Этим недостатком меньше грешат стихотворения его английских и немецких преемников. Земледелие, промышленность, торговля внесли разнообразие в картины сельской жизни. Однако поскольку северное воображение осталось прежним, ни Юнг, ни Томсон, ни Клопшток, не говоря уже о прочих поэтах севера, не избежали некоторой монотонности. Меланхолическая поэзия не терпит частых перемен. Есть в природе красоты, пронзающие все наше существо восторгом неизменяемым; стихи, вдохновленные этим восторгом, действуют на нас, как звуки гармоник<sup>12</sup>. Нежно волнуемая душа желает длить блаженство, пока достанет сил. Не поэзия, а не-

\* Про меня писали, что я сравниваю Гомера с Оссианом, а ведь во втором издании я не переменяла в этом отрывке ни слова<sup>11</sup>. Нынче иные люди позволяют себе высказывать утверждения, не имеющие ничего общего с истиной, и те, кто сами ничего не читают, им верят. Они не допускают мысли, что критик, каким бы пристрастным он ни был, может полностью исказить суть дела (примеч. ко 2-му изд.).

совершенство наших органов чувств виной тому, что через какое-то время нас охватывает усталость; мы утомляемся не от скуки, а от того, что не умеем вынести непосильное наслаждение, как не смогли бы вечно пленяться музыкой небесных сфер.

Английские, а следом и немецкие трагические поэты чуждаются сюжетов, извлеченных из греческой истории и мифологии. Англичане и немцы внушают ужас, опираясь на иные предрассудки, тесно связанные с верованиями последних веков. В особенности же удается этим людям, чьи чувства сильны и глубоки, изображенные несчастья. Я уже говорила, что отношение человека к смерти зависит в большой мере от его религиозных убеждений. Верования шотландских бардов испокон веков были мрачнее и возвышеннее, чем верования южан. Христианская религия, которая (если отделить ее от выдумок священников) довольно близка к чистому деизму, прогнала тех воображаемых спутников, что прежде окружали человека у гробового входа. Природа, которую древние населяли божествами — покровителями лесов и рек, дня и ночи, — эта природа опустела, и душу человека объял еще больший страх. Христианская религия, самая философическая из всех, оставляет человека наедине с самим собой<sup>13</sup>. Северные трагические поэты не всегда довольствовались изображением естественных душевных движений; нередко они выводили в пьесах привидения, призраков — плоды суеверий, родственных их сумрачному воображению, но, пусть даже им удавалось поселить в сердце зрителя глубокий ужас, мы должны признать, что обращение к потусторонним силам скорее порок, чем достоинство<sup>14</sup>.

Драматическому поэту труднее творить для нации, не страдающей легковерием. В этом случае он должен потрясать воображение зрителя не устрашающими призраками, а красноречивым изображением движений души, сердечных тревог, одинокого раскаяния. Чудесное поражает, однако, что ни говори, ему никогда не сравняться с эпизодом трогательным или пугающим, который подсказан самой природой. Эвмениды, преследующие Ореста, не так ужасны, как сон леди Макбет.

Северные народы, если судить по нравам и пре-

даниям германцев, испокон веков питали к женщинам почтение, неведомое народам юга; на севере женщины наслаждались независимостью, на юге им выпадала рабская доля. В этом — одна из основных причин своеобразия северной литературы, литературы чувствительной.

На историю любви у всех народов можно взглянуть с философической точки зрения. Казалось бы, изображение ее зависит исключительно от чувств того или иного сочинителя. Однако нравы соотечественников так сильно влияют на литераторов, что нередко изменяют самый язык их страсти. Возможно, что Петрарка любил Лауру сильнее, чем автор «Вертера» и многие английские поэты, такие, как Поп, Томсон, Отвей, — своих возлюбленных. Сравните, однако, итальянского поэта с поэтами севера: вы словно перенесетесь в иной мир, с иной природой и иными отношениями меж людьми. Разумеется, гений везде сочиняет стихи мастерски, но не менее очевидно, что, родись северные авторы в Италии, они, испытывая сходные чувства, писали бы иначе. Ибо, если автор ищет успеха, мы найдем в книге выражение не столько его личности, сколько общего духа нации и эпохи.

Более философическим складом ума северные народы нового времени обязаны и протестантской религии. Реформация — историческая эпоха, благодаря которой ум человеческий возмужал и окреп. Чуждое суевериям, протестантство, однако, покровительствует всем чувствам и убеждениям, питающим добродетель. Оно вовсе не препятствует философическим изысканиям и блюдет чистоту нравов. В этой книге было бы неуместно распространяться на подобную тему. Однако я спрашиваю просвещенных мыслителей: если бы мы могли отыскать такие узы, которые связывали бы мораль с идеей Бога, но не были бы способны превратиться в человеческих руках в орудие подавления, разве не даровала бы такая религия величайшего счастья роду человеческому — роду, который, делаясь с каждым днем все более жалким и бесплодным, беспрестанно попирает законы чуткости, приязни и доброты?



## ГЛАВА XII

### О ГЛАВНОМ ПРЕГРЕШЕНИИ, В КОТОРОМ УПРЕКАЮТ ФРАНЦУЗЫ СЕВЕРНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

---

Французы упрекают северную литературу в том, что ей недостает вкуса. Северные писатели отвечают, что законы этого вкуса нередко основываются на чистом произволе, лишаящем чувства и мысли их природной красоты. Думаю, что правда где-то посередине. Законы вкуса вовсе не произвольны; не следует путать основы, на которых покоятся всеобщие истины, с воплощениями этих истин на той или иной земле.

Обязанности добродетельного человека — этот свод законов, зиждущийся на единодушном согласии всех мыслителей, — до некоторой степени зависят от нравов и обычаев народа, и, хотя сами законы остаются незабываемы, та или иная добродетель ценится по-разному в странах с разным укладом и государственным строем. Вкус, если позволительно сравнивать его с возвышеннейшими обязанностями человека, также неизменен в своих основах. Вкус той или иной нации следует судить, исходя из этих основ: чем ближе он к ним, тем ближе к истине<sup>1</sup>.

Часто спрашивают: следует ли приносить гений в жертву вкусу? Разумеется, нет, но вкус и не требует такой жертвы. В северной литературе со сценами, исполненными величайших красот, соседствуют нередко сцены, вызывающие смех. Меж тем должно почитать прекрасным лишь то, что удовлетворяет требованиям вкуса, тому же, что оскорбляет вкус, в литературе не место. Погрешности — неперенные спутники красот лишь по слабости человеческой природы, не позволяющей поэту вечно парить на одной и той же высоте. Иногда красоты бывают так могучи, что затмевают погрешности, но, как бы там ни было, ни одна погрешность не служит к украшению таланта; более того, многие из них ослабляют производимое талантом впечатление.

Если вы спросите меня, что лучше — сочинение, отличающееся серьезными недостатками и велико-

лепными красотами, или сочинение посредственное, но правильное,— я не колеблясь отвечу, что предпочитаю творение, озаренное хотя бы одним-единственным проблеском гения. Нация расписывается в своей слабости, если, вместо того чтобы возвышать ум и душу человеческую, только и знает, что искать в людях смешное, хотя найти смешное в другом так же легко, как не быть смешным самому. Отсутствие пороков еще не добродетель, однако многие ищут в жизни лишь отсутствия тягот, в книгах — отсутствия ошибок, повсюду — одного лишь отсутствия. Мужественные души жаждут жизни, меж тем книге сообщают жизнь только новые мысли и страстные чувства.

Французская литература может похвастаться сочинениями, исполненными первоклассных красот и ничем не погрешающими против вкуса. Они-то и являются произведениями безупречными и образцовыми.

Северных литераторов отличает одна странность, объясняющаяся, пожалуй, не столько убежденностью, сколько предвзятостью. Они отстаивают недостатки своих соотечественников-писателей почти так же страстно, как и их достоинства, меж тем им уместнее было бы повторить слова одной остроумной женщины, отозвавшейся о слабостях некоего героя таким образом: «Он велик вопреки, а не благодаря этому».

Человек читает шедевры изящной словесности в поисках сладостных ощущений. Вкус — не что иное, как умение угадать эти источники. Напоминая о предметах отвратительных, вы причиняете человеку боль, которой он стремится избежать в жизни действительной; изображая сцены безобразные и превращая нравственное отвращение в физический ужас, вы утрачиваете все преимущества поэта, подражающего природе, и просто-напросто вызываете у зрителя нервное потрясение; впрочем, и этого вы можете не добиться, если не будете знать меры, ибо в театре, как и в жизни, человек, раз заметив преувеличение, перестает верить даже самой истине. Если вы чересчур многословны, если речи ваших героев темны, а случающиеся с ними происшествия неправдоподобны, вы утомляете зрителя и он перестает внимать вам — на время, а то и навсегда. Если низкие картины соседствуют у вас с возвышенными подвигами, вам будет

очень трудно сберечь сценическую иллюзию: она крайне пуглива, и самое незначительное обстоятельство может развеять ее чары. Простые картины даруют мысли покой и придают ей новые силы, но картины низкие могут отбить вкус даже к мыслям благородным и возвышенным.

В глазах англичан достоинства Шекспира искупают его недостатки, но в глазах других народов они наносят сильный ущерб его славе. Конечно, удивление — могучее средство воздействия на зрителя, но было бы смешно сделать отсюда вывод, что трагическую сцену непременно следует предварять сценой комической, дабы сочетание противоположностей изумило зрителя. Красноречивое выражение, явившись среди грубых и неряшливых фраз, может показаться еще прекраснее; но при этом мы больше проигрываем в целом, чем выигрываем в частностях. Величие должно изумлять само по себе, а не благодаря соседству с ничтожеством любого рода. Живописи потребна светотень, а не кляксы. Тех же правил должна держаться и словесность. Образцом ей служит природа, значит, безупречный вкус — не что иное, как результат наблюдений разумного человека над окружающим миром<sup>2</sup>. Эти рассуждения можно было бы продолжить, но достаточно заверить: вкус не требует, чтобы литература жертвовала хоть одним из своих чарующих свойств, напротив, он указывает способы умножить их; законы вкуса вовсе не стесняют гений, — напротив, именно исследуя гениальные творения, люди и вывели эти законы.

Помимо законов вкуса существуют еще законы ремесла; я не стану упрекать Шекспира за то, что он презрел их, ибо, в отличие от законов вкуса, которые предписывают, что следует делать, законы ремесла указывают лишь, чего делать не следует. Трудно ошибиться в оценках, когда имеешь дело с бездарностью, меж тем возможности гения непредсказуемы: он может пойти нехоженными путями и, однако, достичь цели. От верности законам ремесла зависит вероятность успеха, но тому, кто уже завоевал успех, не обязательно следовать этим законам. Иное дело вкус: поставить себя выше его предписаний — значит изменить красоте природы, а разве есть в мире что-нибудь выше природы?

Итак, не станем говорить, что Шекспир сумел обойтись без вкуса и был вправе презреть его законы. Признаем, напротив, что возвышеннейшие его творения исполнены вкуса, а изменяет ему вкус лишь там, где слабеет его талант.

### ГЛАВА XIII О ТРАГЕДИЯХ ШЕКСПИРА \*

Шекспир вызывает у англичан такое неподдельное восхищение, какого ни один писатель не вызывал еще ни у одного народа. Свободные нации относятся ко всем творениям, составляющим их славу, весьма ревниво и питают к ним почтение, исключаящее какую бы то ни было критику.

В пьесах Шекспира первоклассные красоты, внятные людям любой нации и любой эпохи, соседствуют с недостатками, принадлежащими его веку, и странностями, которые так по сердцу англичанам, что до сих пор имеют величайший успех на их театре<sup>2</sup>. Именно эти красоты и эти странности я намереваюсь исследовать в их связи с английским национальным характером и духом северной литературы.

Шекспир вовсе не подражал древним; в отличие от Расина он мало что взял у греческих трагиков. У него

\* Я не привела в первом издании отзывов английских авторов об английской литературе, в частности не сослалась на «Риторику» его преподобия Блера<sup>1</sup>, оттого что английские сочинители преследовали совершенно иные цели, нежели я; к тому же их высказывания могли лишить меня независимости в суждениях об иностранных писателях, которой я дорожу. Блер обучал своих учеников ораторскому искусству и в подтверждение своих мыслей приводил отрывки из древних и новых авторов. Его книга — одна из лучших в Англии, но она обращена к юношеству и содержит лишь те суждения, которых требует ее замысел. К тому же пастор Блер, живущий в Англии, не смог бы судить о Шекспире с беспристрастием чужестранца; он не смог бы сравнить английские шутки с французскими: наблюдения такого рода не входили в его задачу; кроме того, сан этого ученого помешал бы ему отозваться с похвалой о романах и беспристрастно оценить своих соотечественников филологов. Таким образом, книга его, какой бы превосходной она ни была, не могла мне пригодиться (примеч. ко 2-му изд.).

есть одна пьеса на греческий сюжет, «Троил и Кресида», в которой изображены нравы отнюдь не гомеровские. Гораздо лучше удавались ему трагедии на римские сюжеты. Однако исторические сочинения, и в частности «Жизнеописания» Плутарха, которые Шекспир, по-видимому, читал очень внимательно и откуда черпал сюжеты, не принадлежат к изящной словесности: человек в них изображен почти таким же, как в жизни. Всякий, кто только и делает, что равняется на древних драматических поэтов, иными словами, подражает подражаниям, лишен своеобразности таланта; ему не дано рисовать с натуры, он не ведает той гениальной непосредственности, если позволено мне будет употребить это слово, которая отличает Шекспира. От древних греков до Шекспира авторы наследовали один другому, обращаясь к общим для всех истокам. С Шекспира начинается новая литература; конечно, его сочинениям присущ дух и колорит северной поэзии в целом, но английская литература, и в частности английское драматическое искусство, обязана своим возникновением и особенностями ему одному.

Нации, завоевавшей свободу и прошедшей через все ужасы гражданских войн, пьесы Шекспира говорят больше, чем трагедии Расина. Нескончаемые страдания оставляют в памяти народной следы, стереть которые не под силу даже наступившему благоденствию. Английские и немецкие авторы идут по стопам Шекспира, который первым живописал высшую степень нравственного страдания; горькие муки, изображенные им, могли бы показаться выдумкой, если бы человеческий опыт не свидетельствовал об обратном.

Древние верили в рок, который обрушивается на человека, как молния, и губит его. Авторы нового времени, и прежде всего Шекспир, верят в философическую необходимость. В их творениях память о множестве непоправимых несчастий, множестве бесцельных усилий, множестве обманутых надежд становится источником чувств гораздо более глубоких, чем прежде. Древние жили в слишком молодом мире, обладали слишком малым запасом преданий и были слишком жадны до будущего, чтобы изобразить горе таким мучительным, каким оно предстает у англичан.

Страх смерти — чувство, о котором древние, послушные языческой вере и философии стоицизма, говорили очень редко,— изображен у Шекспира всесторонне. Английский поэт сообщает зрителю страшное ощущение, от которого холодеет кровь,— ощущение человека, который, будучи еще полон сил, узнает о грозящей ему гибели. Шекспир изображает последние минуты детей и стариков, преступников и героев, ничем не погрешая против природы. Как трогательны жалобы Артура, отрока, приговоренного к смерти королем Иоанном<sup>3</sup>; как умилителен сон детей Эдуарда, о котором рассказывает Ричарду III убийца Тиррел!<sup>4</sup> Когда гибель грозит благородному герою, мы поглощены воспоминаниями о его былых подвигах и думами о величии его характера. Но когда погибнуть суждено людям слабой души и бесславной судьбы, таким, как Генрих VI, Ричард II, король Лир, внимание наше сосредоточивается исключительно на великом единоборстве между существованием и небытием. Шекспир сумел со всею мощью своего гения изобразить предсмертные порывы и раздумья человека, которого уже не пьянят страсти, человека наедине с самим собой.

Есть и еще одно чувство, которое Шекспир первым сумел вызвать у публики,— это жалость, к которой не примешивается ни малейшего восхищения жертвой\*, жалость к существу незначительному\*\*, а подчас и ничтожному\*\*\*. Чтобы перенести это чувство во всей его силе из жизни в театр, потребен необъятный талант; автор, способный справиться с подобной задачей, потрясает нас, как никто иной: мы сострадаем не великому человеку, а человеку вообще, и иллюзия становится тем полнее, что нас волнуют уже не трагические условности, а впечатления жизни действительной.

Даже изображая людей прославленных, Шекспир заставляет зрителя сочувствовать им, как простым смертным. Деяния персонажа велики, но сам он отличается от прочих людей далеко не так сильно, как

\* Смерть Екатерины Арагонской в «Генрихе VIII».

\*\* Герцог Кларенс в «Ричарде III».

\*\*\* Кардинал Вулси в «Генрихе VIII».

в наших трагедиях. Шекспир рисует прославленного героя изнутри; он посвящает нас во все оттенки мужества, повествует обо всех вехах долгого пути к славе, так что душа наша, следуя за героем, поднимается ввысь, ни на секунду не переставая быть самой собой.

Национальная гордость — следствие ревливой любви к свободе — мешает англичанам, в отличие от французов, с их рыцарственной преданностью монарху, фанатически поклоняться вождям политических партий. Англичане не преминут вознаградить добропорядочного гражданина за услуги, оказанные отечеству, но беспредельный восторг, к которому установления, привычки и характер предрасполагают французов, им чужд. Должно быть, именно это гордое презрение к восторженному угодничеству, испокон веков отличающее англичан, подсказало их великому поэту, что жалость — лучшее средство растрогать зрителей, нежели восхищение. Наши трагики исторгают у нас слезы, живописуя характеры возвышенные, английский же автор рисует страдания людей безвестных и заброшенных, и изображенная им цепь бедствий немало умножает наше знание о жизни.

Если Шекспир превосходно умеет внушать сострадание, то еще искуснее он вселяет в душу ужас. О преступлении, нарисованном пером Шекспира, можно сказать словами, какими Библия говорит о смерти: «князь ужаса». Как искусно переплетены в «Макбете» угрызения совести и суеверные страхи!

Вообще говоря, колдовство гораздо страшнее самых диких религиозных догматов. Существование силы неведомой, неподвластной человеческой воле доводит ужас до крайности. Любая религия внушает страх, имеющий какой-то предел, какие-то разумные причины, но ворожба не признает никаких законов и вносит в ум полную сумятицу.

В «Макбете» Шекспир оправдывает преступного героя, изображая его деяния результатом предопределения, но фатализм не отнимает у поэта умения передать все оттенки владеющих героем чувств. Пьеса эта была бы еще великолепнее, не прибегни автор к чудесному; впрочем, чудесное здесь не что иное, как ожившие призраки, роящиеся в воображении героя.

Это не безжизненные мифологические божества, вмешивающиеся в дела людей и якобы диктующие им свою волю, — это воплощенные грезы человека, волнуемого бурными страстями. Сверхъестественные фигуры у Шекспира всегда исполнены философического значения. Когда ведьмы пророчат Макбету, что он станет королем, когда они вторично повторяют свое предсказание, дабы вдохнуть решимость в душу полководца, страшщегося осуществить кровавые замыслы своей жены, всякий понимает, что в этих уродливых фигурах автор воплотил борьбу честолюбия и добродетели.

В «Ричарде III» Шекспир не стал прибегать к этому средству. Ричард еще более преступен, чем Макбет, однако он не ведает угрызений совести, внутренней борьбы, невольных порывов души, он жесток, как дикий зверь, а не как человек, ныне преступный, но некогда бывший честным. Шекспир проникает взором в бездну преступления; он спускается в Тенарскую пещеру, дабы увидеть мучения грешников<sup>5</sup>.

В абсолютных монархиях кровавые политические преступления свершаются лишь по воле королей, приемники которых не желают, чтобы им показывали эти преступления на театре \*. Гражданские войны, предшествовавшие установлению в Англии конституционного строя и вызывавшиеся стремлением к независимости, гораздо чаще, чем во Франции, рождали страшных злодеев и великих героев. Английская история гораздо богаче трагическими происшествиями, чем французская, и ничто не препятствует англичанам братья за эти сюжеты, к которым не может остаться равнодушен ни один их соотечественник.

Почти все европейские литературы начинались с манерности. Поскольку изящная словесность родилась в Италии, авторы других стран сперва подражали итальянцам. Север быстрее Франции сбросил иго вычурности, следы которого заметны, однако, в творениях старинных английских поэтов — Уоллера, Каули и прочих. Гражданские войны и философический склад ума исправили эти погрешности против вкуса,

\* «Карл IX» — первая трагедия, изображающая преступного короля, которая была представлена в монархическом государстве<sup>6</sup>.



ибо истинное горе не терпит наигранных чувств, а разум гонит прочь фальшивые речи. Тем не менее Шекспир, столь энергически изображающий страсть, подчас грешит манерностью. Не обошлась без подражания слабым сторонам итальянской словесности и трагедия «Ромео и Джульетта», написанная на итальянский сюжет, но какое величие сообщает северный поэт ничтожным итальянским прикрасам! Как мастерски одухотворяет он картину любви!

В «Отелло» любовь нарисована совсем иными красками, нежели в «Ромео и Джульетте». Как, однако, она возвышенна! Какой исполнена силы!<sup>7</sup> Как верно понял Шекспир, что взаимное чувство мужчины и женщины зиждется на его отваге и ее слабости! Отелло убеждает венецианский сенат, что единственным ухищрением, с помощью которого он покорил Дездемону, был рассказ о выпавших на его долю испытаниях\*, — всякая женщина от всей души подтвердит вам, что это чистая правда, ибо все они сознают, что поклонники пленяют их отнюдь не лестью! Забота, которой мужчина окружает свою робкую избранницу, слава, отблеск которой падает на ее скромную персону, — вот чары поистине неотразимые!

Во времена Шекспира положение женщин в Англии еще не определилось окончательно: политические смуты не позволяли упорядочить ни одного общественного установления. Следовательно, автор мог отводить женщинам в трагедиях то место, какое пожелает: вот почему Шекспир то отзывается о них в самых возвышенных выражениях, какие только может подсказать любовь, то отпускает по их адресу грубые простонародные шутки. Когда страсть вселялась в этого гения, словно бог в жреца, все слова его делались вещими, но стоило ему успокоиться, и он вновь становился обычным человеком.

В Англии большим успехом пользуются исторические хроники Шекспира: две пьесы о Генрихе IV, пьеса о Генрихе V и три пьесы о Генрихе VI; мне,

\* Какими дивными стихами кончает Отелло свою речь:

Я ей своим бесстрашьем полюбился,  
Она же мне — сочувствием своим.

Лагарп прекрасно перевел эти строки<sup>8</sup>.

однако, кажется, что они значительно уступают его трагедиям на вымышленные сюжеты, таким, как «Король Лир», «Макбет», «Ромео и Джульетта». В хрониках Шекспир гораздо чаще нарушает единства времени и места и делает гораздо больше уступок вкусам толпы. Изобретение книгопечатания не могло не уменьшить зависимости авторов от вкусов их соотечественников: ныне сочинители больше пекутся о том, что скажут об их творениях просвещенные мужи всей Европы, и хотя драматическому поэту по-прежнему важно, чтобы пьеса его понравилась публике, с тех пор как у авторов появилась возможность познакомиться со своим искусством чужестранцев, они стали избегать намеков и шуток, ясных только их соотечественникам. Впрочем, англичане подчиняются требованиям европейского вкуса в последнюю очередь; поскольку их свободы зиждутся не столько на философических убеждениях, сколько на национальной гордости, они недоверчивы ко всему чужестранному как в политике, так и в литературе.

Чтобы выяснить, какие достоинства английских трагедий следовало бы перенять нашим авторам, нам предстоит рассмотреть пьесы Шекспира еще в одном отношении, а именно тщательно разграничить погрешности, допущенные им в угоду черни, грубые ошибки против вкуса и, наконец, смелые нововведения, идущие вразрез со строгими правилами французской трагедии.

Английская публика требует, чтобы трагические сцены чередовались на театре с комическими. Однако на людей со вкусом контраст благородства и низости производит, как я уже сказала, весьма тягостное впечатление. Оттенки украшают высокий стиль, однако слишком резкие противопоставления не что иное, как прихоть. Разум осуждает все способы угодить черни — игру слов, непристойные двусмысленности, обращение к сказкам и пословицам, с незапамятных времен хранящимся в памяти народа. Те прекрасные пьесы, где Шекспир мастерски вкладывает возвышенный смысл в самые простые слова и обыденные положения, которых совершенно напрасно чуждается наш театр, свободны от этих ухищрений.

Шекспир в своих трагедиях не раз потакает грубым умам<sup>9</sup>. Сделавшись кумиром толпы, он защитил себя

от упреков людей с безупречным вкусом. В этом случае он повел себя как ловкий политик, но не как превосходный писатель.

В течение многих веков северные народы вели жизнь общественную и дикую разом, и оттого в сердцах северян осталось много грубости и жестокости. Не свободен от этих пороков и Шекспир. Многие его герои живут представлениями тех веков, когда людей не интересовало ничего, кроме сражений, физической силы и воинской доблести.

Заметно в пьесах Шекспира и неведение законов литературы, характерное для всей его эпохи. Глубоким пониманием людей и страстей английский поэт превосходит греческих трагиков\*, но форма его пьес далеко не так совершенна. Шекспир то и дело грешит многословием, бесполезными повторами, неуместными сравнениями. Публика в его время была так охоча до зрелищ, что у автора не было нужды относиться к себе с подобающей требовательностью. Меж тем, совершенствуя свое искусство, дабы стать достойным отпущенного ему таланта, драматический поэт не должен слушать ни пресыщенных старцев, ни страстных юношей.

Французы нередко осуждали страшные сцены в трагедиях Шекспира. На мой взгляд, недостаток этих сцен заключается не в том, что они возбуждают

\* Среди множества мудрых наблюдений, рассеянных в пьесах Шекспира, даже наименее известных, меня особенно поразила одна. В пьесе «Мера за меру» Луцио, друг Клавдио, приходящегося братом Изабелле, умоляет ее отправиться к правителю Анджело, приговорившему Клавдио к смерти, и просить его помиловать брата; юная и робкая Изабелла отвечает, что не верит в благоприятный исход дела, что Анджело разгневан и будет непреклонен, и проч.

Луцио настаивает и говорит ей:

Сомнения — предатели: они  
Проигрывать нас часто заставляют  
Там, где могли бы мы выиграть, мешая  
Нам попытаться<sup>10</sup>.

Кто из людей, переживших революцию, усомнится в справедливости этих слов! На какие только уловки не пускаются люди, страшящиеся оказать услугу, как только не стараются убедить самих себя, что это дело им не по силам! «Если я заступлюсь за вас, я сделаю вам только хуже», — говорят иные заботливые друзья, которые будут столь же предусмотрительны, даже если вам вынесут смертный приговор.

в душе зрителей слишком сильное волнение, но в том, что подчас они вовсе уничтожают театральную иллюзию. Несомненно ведь, что иные эпизоды, единственная цель которых — навеять ужас, под пером дурных подражателей Шекспира не вызывают ничего, кроме отвращения, тогда как трагедия должна доставлять наслаждение<sup>11</sup>; более того, есть множество положений, которые сами по себе трогательны, но, будучи представлены на театре, рассеивают внимание и уменьшают сочувствие.

Так, когда владелец замка, где заключен юный Артур, велит принести раскаленный прут, чтобы выжечь ему глаза<sup>12</sup>, сцена эта не просто бесчеловечна, — она не предназначена для сцены, и потому зритель станет столь напряженно следить за тем, как актеры выходят из сложного положения, что позабудет о смысле происходящего.

Характер Калибана в «Буре» изумительно своеобразен, но почти животный облик, который следует придать ему с помощью костюма, отвлекает внимание от философского содержания образа.

Когда читаешь трагедию «Ричард III», восхищаешься среди прочих красот тем эпизодом, где заглавный герой рассуждает о своем уродстве. Чувствуешь, что внушаемое им отвращение сказывается на его душе и делает ее еще более черной. Однако есть ли что-нибудь более трудное, чем сыграть уродца, который остался бы героем высокой трагедии и не выглядел смешным?! В природе нет ничего, чему человек не мог бы сочувствовать, однако драматическим поэтам следует тщательно заботиться о том, чтобы не оскорбить взоров публики, иначе она не примет представление всерьез.

Кроме того, Шекспир слишком часто изображает физические страдания. История Филоктета — единственная, которую можно с успехом представить на театре, да и то мы сочувствуем раненому герою лишь оттого, что помним о его самоотверженности<sup>13</sup>. О физической боли можно рассказывать, но показывать ее нельзя; автор способен сохранить благородство, изображая ее, актеру же это не под силу; здесь против подражания восстает не мысль, но ощущения.

Наконец, один из основных недостатков Шекспира

состоит в том, что рядом с великолепными сценами соседствуют у него сцены надуманные. Нередко гений изменяет ему и он утрачивает простоту. Ему не хватает умения держаться на достигнутой высоте, иначе говоря, быть столь же естественным в сценах второстепенных, что и в основных эпизодах, рисующих прекрасные порывы души.

Отвей, Роу<sup>14</sup> и другие английские поэты, из числа которых следует исключить лишь Аддисона, творили в духе Шекспира. Отвей в «Спасенной Венеции» почти сравнялся с ним. Однако два наиболее трагических положения, какие может вообразить человек — безумие, рожденное горем, и страдание, претерпеваемое в одиночестве,— Шекспир изобразил первым.

Аякс впадает в бешенство; Ореста преследует гнев богов; Федру снедает любовный жар<sup>15</sup>. Но Гамлет\*, Офелия, король Лир, как ни различны их характеры и положения, поражены одной и той же болезнью\*\*. Их устами говорит только скорбь; навязчивая идея изгнала из их ума все обыденные представления; из всех чувств им осталось одно страдание, и эта трогательная горячка, кажется, освобождает несчастных от робкой сдержанности, воспрещающей изливать душу в жалобах. Зрители, быть может, отказали бы в сочувствии стенаниям существа разумного, но они всей душой сострадают человеку, не отвечающему за свои поступки. Безумие, нарисованное Шекспиром,— прекраснейшая картина нравствен-

\* Хотя среди трагедий Шекспира «Гамлет» сильнее всего грешит против вкуса, основу этой пьесы составляет одно из трогательнейших положений, какие только могут быть изображены на театре. Известие о страшном преступлении потрясает Гамлета: он так чист душой, что даже не подозревает о коварном злодеянии, но, когда он узнает, что отец его умер не своей смертью, а мать отдала руку убийце, рассудок его омрачается. Каждое его слово говорит о презрении к человеческому роду, и он больше помышляет о самоубийстве, нежели о мести; какого благородства исполнена мысль изобразить добродетельного человека, который не в силах ни жить в окружении негодяев, ни свершить свой горестный долг и, преступив закон, отомстить убийце!<sup>16</sup>

\*\* Джонсон считал, что Гамлет притворяется безумным, ибо так ему удобнее мстить<sup>17</sup>. Мне кажется, однако, что, читая эту трагедию, можно без труда отличить в Гамлете напускное безумие от непридуманного (примеч. ко 2-му изд.).

ного кораблекрушения, которое терпит человек, сломленный жизненными бурями.

В французских пьесах герои даже в страдании свято блюдают приличия. Несчастный окружен на сцене друзьями-наперсниками и врагами-свидетелями. Шекспир же с восхитительной правдивостью и душевной силой изображает одиночество. Когда героя Шекспира постигает несчастье, люди предают его и он остается наедине с природой; единственное существо, которое иногда сопутствует ему,— это старый слуга, еще памятующий о тех временах, когда его господин был королем. Шекспир прекрасно знал, что мучительнее всего для человека, что делает его боль нестерпимой. Тот, кто страдает и умирает на глазах у ближних, вызывая у них ужас или жалость, забывает о собственных чувствах и заботится о чувствах, которые он внушает окружающим; Шекспир же, поэт могучего таланта и столь же могучего характера, выводит героев, которые встречаются несчастью один на один и испытывают чашу страданий до дна. Человек испытывает потребность поделиться с ближними своими чувствами даже на вершине блаженства; энергическое же и мрачное воображение англичан рисует нам несчастного, которого превратности судьбы, словно заразная болезнь, отлучили от людей. Общество вычеркивает его имя из памяти друзей и отнимает у него жизнь прежде, чем природа ниспошлет ему смерть.

Теперь, когда Франция стала республикой, не появятся ли на нашем театре, как и на английском, герои добродетельные, но не чуждые слабостей и способные на поступки опрометчивые? Увидим ли мы на нашей сцене рядом с положениями возвышенными обстоятельства обыденные? Что станет двигателем трагических характеров — воспоминания или воображение, жизнь или идеал? Чтобы ответить на эти вопросы, мне придется рассмотреть трагедии Расина и Вольтера, а затем, во второй части книги, высказать некоторые соображения о том, как должна измениться под влиянием революции французская литература.

## ГЛАВА XIV ОБ АНГЛИЙСКОМ ЮМОРЕ

---

Литераторы разных стран шутят по-разному, и ничто так не помогает узнать нравы нации, как излюбленные шутки ее писателей. Наедине с собой мы серьезны; шутим мы, особенно на бумаге, ради того, чтобы рассмешить окружающих, а смешит лишь та шутка, соль которой всякий может понять сразу, без усилий.

Однако, хотя автору комического произведения одобрение соотечественников важнее, чем сочинителю философского трактата, шутки, как и все прочие плоды ума человеческого, должны удовлетворять всеобщим правилам вкуса, верным для всех наций. Чтобы понять, почему одна фраза смешна, а другая нет, необходимо тончайшее чутье, а ведь комические шедевры нуждаются во всеобщем признании ничуть не меньше, чем сочинения, относящиеся к иным литературным родам.

Веселость, вдохновленная, если можно так выразиться, вкусом и гением, веселость другого рода, проистекающая из игры ума, и, наконец, та веселость, которую англичане именуют юмором, не имеют меж собой почти ничего общего, а природная веселость решительно отличается от всех перечисленных, ибо множество примеров доказывает, что недостаточно обладать веселым нравом, чтоб написать смешную книгу. Умно пошутить может всякий острослов, но для создания настоящей комедии необходимы гений одного человека и вкус многих.

В одной из следующих глав я назову причины, благодаря которым только у французов появились тот безупречный вкус, то изящество, та проницательность и то знание человеческого сердца, на которых зиждутся шедевры Мольера. Пока же попытаемся понять, почему нравы англичан не способствуют созданию подлинно смешных творений.

В большинстве своем англичане — люди деловые и ищут удовольствий лишь для того, чтобы отдохнуть от дел; и вот, как человек усталый и голодный рад любому кушанью, человек, долго и напряженно трудив-

шийся, согласен на любое развлечение. Жизнь в четырех стенах, суровость религии, преданность солидным занятиям, унылый климат нередко поселяют в сердцах англичан скуку, и именно по этой причине ум их не удовлетворяется развлечениями утонченными. Вывести скучающих людей из подавленного состояния могут лишь сильные встряски, и авторы в этом отношении либо разделяют вкусы зрителей, либо приравниваются к ним.

Сочинителю, желающему написать хорошую комедию, потребно отличное знание характеров. Чтобы развить свой комический гений, он должен много бывать в свете, добиваться светских успехов и узнать как на собственном, так и на чужом опыте, что такое тщеславие, с его бесчисленными смехотворными потребностями и уловками. Англичане же — домоседы, вместе они собираются лишь для политических прений о судьбах нации. Посредника между семьей и обществом политическим, именуемого светом, у них, пожалуй, нет вовсе, а ведь, что ни говори, именно в этом легкомысленном кругу воспитываются тонкость и вкус<sup>1</sup>.

В политике характеры людей проявляются ярко, но без оттенков. Величие целей и могущество средств заставляют забыть обо всем, что не может незамедлительно принести пользу. В монархических государствах, где все зависит от характера и воли одного человека и кучки его наместников, каждый учится разгадывать тайные мысли окружающих, улавливать самые не приметные колебания чувств и распознавать самые мелкие слабости\*. Но там, где на первом месте — общественное мнение и репутация в глазах народа, честолюбцы пренебрегают всем, что не способствует осуществлению их честолюбивых замыслов, и не обращают внимание на мимолетные душевные движения, поскольку не ждут от них никакой выгоды.

У англичан нет комического поэта, подобного Мольеру, а если бы он появился, они не оценили бы всей прелести его остроумия. «Скупой», «Тартюф», «Мизантроп» — комедии, где Мольер изобразил человека вообще, вне зависимости от его национальности, — полны

\* Англией правит король, но все тамошние установления имеют своей целью охрану гражданских свобод и защиту политических прав подданных.



тонких насмешек над человеческим самолюбием, которых англичанин даже не заметил бы; как ни правдивы комедии Мольера, английские зрители не приняли бы их на свой счет: они не знают сами себя так досконально; увлеченные глубокими страстями и важными делами, они воспринимают жизнь в общем, а не в частностях.

У Конгрива иной раз встречается острое слово или рискованная шутка, но правдиво изображенных чувств вы в его комедиях не найдете. Странная вещь: чем проще и чище нравы англичан в частной жизни, тем грубее в их комедиях изображение порока. Пьесы Конгрива из-за их непристойности никогда не были допущены на французскую сцену: в диалогах немало остроумных находок, но нравы действующих лиц заимствованы из скверных французских романов, рисующих нравы, каких у французов никогда не бывало<sup>2</sup>. Ничто так мало не походит на англичан, как их комедии.

Быть может, желая прослыть веселыми, они считают необходимым изображать нравы, совершенно чуждые их действительной жизни, а может быть, глубоко чтя чувства, служащие залогом семейного счастья, не желают выставлять их напоказ на театре.

Кажется, будто Конгрив и многие его подражатели задались целью, не соблюдая меры и не заботясь о правдоподобию, вывести в своих комедиях все возможные пороки. Англичане вовсе не воспринимают подобные картины всерьез и видят в них потешные сказки либо фантастические изображения какого-то чужого мира. Во Франции же комедия рисует подлинные нравы и могла бы влиять на них, отчего особенно важно установить для нее жесткие правила.

В английских комедиях редко встретишь истинно английские характеры: возможно, будучи народом свободным, англичане, как некогда римляне, считают ниже своего достоинства изображать на сцене собственные нравы. Французы охотно смеются над собой. Шекспир и некоторые другие английские авторы, к вящей радости публики, выводят в своих пьесах карикатурные фигуры, такие, как Фальстаф, Пистоль<sup>3</sup> и прочие, но обилие преувеличений в характерах этих персонажей почти полностью исключает правдоподобие. Чернь повсюду

радуется грубым шуткам, но только французы умеют шутить остро, ни в чем не погрешая против вкуса.

Господин Шеридан сочинил на английском языке несколько комедий, где едва ли не каждая сцена блестяще остроумием и оригинальностью<sup>4</sup>, но, во-первых, исключение лишь подтверждает правило, а во-вторых, не всякий, кто весел от природы, обладает мольеровским талантом. Писатель любой национальности, если он богат идеями, непременно научится противопоставлять их забавным образом. Но как недостаточно изъясняться одними антитезами, чтобы говорить красноречиво, так недостаточно подмечать контрасты, чтобы писать смешно; французским комическим поэтам ведомо искусство более естественное и загадочное: оно внятно разуму, но разум сам по себе бессилён овладеть им; тут требуется некая электрическая сила, рождаемая духом нации.

Веселость и красноречие имеют меж собой нечто общее: и ораторы и комические писатели обязаны совершенством своих творений лишь невольному вдохновению. Общение с современниками и соотечественниками скорее, чем учение и размышления, воспитает в вас способность убеждать и шутить. Ощущения приходят к нам извне, и все таланты, зависящие непосредственно от ощущений, нуждаются в ободрении публики. Веселость и красноречие не просто следствие игры ума; подлинного успеха и в комической словесности и в ораторском искусстве талантливый человек может добиться, лишь если он чем-то взволнован и потрясен. Меж тем умонастроение большинства англичан отнюдь не располагает к веселости.

Свифт в романе о Гулливере и в сказке о бочке<sup>5</sup>, как и Вольтер в философских повестях, очень удачно высмеивает противоречие между общепринятыми заблуждениями и недозволенными истинами, между человеческими установлениями и естественным порядком вещей. Комические поэты часто прибегают к аллюзиям, аллегориям и прочим выдумкам, однако напрасно полагают они заменить этими потугами ума ту невольную легкость и гибкость, тот нечаянный блеск, какие приходят к поэту сами собой, по вдохновению.

Тем не менее и у англичан найдется несколько сочинений, отличающихся веселостью естественной и

самобытной. Для обозначения этой веселости, к которой располагают англичан и склад ума и голос крови, в английском языке существует специальное слово «юмор»; юмором англичане обязаны климату и нравам своего отечества; в других условиях он был бы невозможен<sup>6</sup>. Полное представление об английском юморе дают сочинения Филдинга и Свифта, романы о Перегрине Пикле и Родрике Рендоме<sup>7</sup>, а особенно произведения Стерна.

В веселости англичанина много угрюмства и, я бы даже сказала, печали; он смешит вас, но самому ему вовсе не смешно. Видно, что он берется за перо в мрачном расположении духа и, хотя он намеревается вас повеселить, смех ваш едва ли не раздражает его. Бывает, что похвала звучит тем убедительнее, чем она грубее; сходным образом серьезность англичан лишь подчеркивает остроумие их шуток\*. В английских пьесах юмор крайне редок; пожалуй, он вообще мало пригоден для театра.

У англичан даже в шутках сквозит мизантропия, а у французов — общежительность; английские комические сочинения следует читать в одиночестве, а французские производят тем большее впечатление, чем обширнее круг слушателей. Английская веселость почти всегда заключает в себе философический и нравственный урок; французская, как правило, не имеет иной цели, кроме самого веселья.

Англичане — мастера описывать странные характеры, ибо таковые в их отечестве не переводятся. Жизнь в свете стирает различия, сельская жизнь умножает их<sup>8</sup>.

Англичане вовсе не созданы для подражания: там, где французы изящны и веселы, англичане, копируя их, как правило, обнаруживают недостаток тонкости и занимательности. Они разъясняют в подробностях

\* В Лондоне мне случилось побывать в кабинете занимательной физкультуры, где люди преклонного возраста с самым чопорным видом, храня самую непреклонную серьезность, проделывали диковиннейшие упражнения: прыгали, бросали кольца, качались на качелях. Не помышляя ни о чем, кроме своего здоровья, они, кажется, даже не подозревали, до какой степени комичен контраст между их глубокомысленным видом и детскими забавами, которым они предаются.

все мысли, огрубляют все оттенки; они убеждены, что их услышат, только если они будут кричать во все горло, и поймут, только если они выскажут все до конца. Любопытно, что люди, предающиеся безделью, гораздо более привередливы в выборе развлечений, чем люди деловые. Тот, кто привык к серьезным занятиям, не смущается пространными объяснениями; напротив, люди, свыкшиеся с наслаждениями, утомляются гораздо быстрее; опытность рождает пресыщение.

Умы, ставящие превыше всего практические результаты, редко могут похвастать большой чуткостью. Отличить бесспорно полезное от бесполезного нетрудно, особой прозорливости тут не требуется. Кроме того, в стране, уважающей равенство, люди не так чувствительны к нарушениям приличий. Поскольку нация здесь более однородна, писатель привыкает обращаться в своих сочинениях к мыслям и чувствам всех слоев общества; наконец, в свободных странах люди более серьезны, и это закономерно.

Правительство, зиждущееся на силе, может не бояться наклонности подданных к шуткам, но там, где царят свобода и политическое равенство, власти нуждаются в доверии нации, в поддержке со стороны общественного мнения и видят в талантливом насмешнике, отыскивающих повсюду смешное и получающих удовольствие от злословия, людей крайне опасных. Мы уже говорили о тех несчастьях, к которым привела афинян их неумеренная любовь к шуткам; если бы революционные события не помешали характерам развиваться естественным путем, история Франции лишней раз убедительно доказала бы нам неизбежность этого итога.

## ГЛАВА XV О ВООБРАЖЕНИИ АНГЛИЧАН, КАК ОНО ВЫРАЗИЛОСЬ В ИХ ПОЭЗИИ И РОМАНАХ

---

Одно дело — выдумывать приключения; совсем иное — чувствовать и описывать природу. Литераторы юга больше преуспели в сочи-

нениях первого рода, писатели севера — в творениях второго рода. Я уже говорила о причинах, обусловивших эту разность. Теперь мне осталось рассмотреть особенности английского поэтического воображения.

В отличие от Тассо и Ариосто англичане не изобретают новых сюжетов. В их романах не найдешь чудес и необычайных происшествий, какими изобилуют арабские и персидские сказки; северная религия оставила англичанам в наследство разрозненные образы, которым далеко до богатой и блестящей мифологии греческой, зато английским поэтам неисчерпаемым источником мыслей и чувств служит природа.

Выдумки имеют свой предел: число сверхъестественных событий невелико, причем они, в отличие от любых нравственных истин, мало подвержены совершенствованию; расцветивая же красками воображения философские истины и страстные чувства, поэты, можно сказать, вступают на ту дорогу, по которой просвещенные мужи движутся вперед безостановочно, если только самовластное невежество не отнимает у них свободу.

Англичане, удаленные от континента, *semotos orbe Britannos* \*, испокон веков живут своей особенной жизнью, сторонясь соседних народов, и во всем хранят независимость: поэзия их не похожа ни на французскую, ни даже на немецкую, не умеют они и изобретать поэтические мифы, как это делали, к вящей своей славе, греки и итальянцы. Англичане понимают природу и умеют изображать ее, но творцами их не назовешь. Их сильная сторона — умение передавать свои впечатления от увиденного; они мастерски сопрягают философские размышления с описаниями прекрасных пейзажей. Зрелище неба и земли во всякое время дня и ночи пробуждает в нашем уме множество мыслей, оттого душа человека, черпающего вдохновение в природе, постоянно исполняется чувствами чистыми, возвышенными, достойными великих нравственных и религиозных идей, благодаря которым человек прозревает грядущее.

В эпоху Возрождения, когда английская словесность делала первые шаги, многие англичане изменили на-

\* Британцы, отделенные от мира (*латин.*) <sup>1</sup>.

циональному духу и принялись подражать итальянцам. К их числу принадлежат, как я уже говорила, Уоллер и Каули; добавлю еще Донна, Чосера<sup>2</sup> и прочих. Англичане преуспели в подражании итальянцам еще менее, чем другие народы, ибо им решительно недостает изящества, необходимого для сочинений такого рода: они лишены стремительности, легкости, непринужденности — качеств, которыми обладают люди, бывающие в свете и стремящиеся во что бы то ни стало понравиться друг другу.

Поэма Попа «Украденный локон»<sup>3</sup> изобилует погрешностями против вкуса, хотя ей следовало бы блистать особенным изяществом; «Королева фей» Спенсера — скучнейшая вещь в мире; поэма «Гудибрас»<sup>4</sup> остроумна, но шутки в ней столь пространны, что скоро приедаются. Басни Гея<sup>5</sup> смешны, но манерны, а легкая поэзия англичан и их бурлескные сказки не идут ни в какое сравнение с творениями Вольтера, Ариосто или Лафонтена. Зато англичане умеют говорить языком глубоких чувств — разве не бледнеют перед этим все прочие способности?

Как возвышенны думы англичан! Как щедра эта нация на чувства и мысли, рождаемые уединением! Какой глубокой философией проникнут «Опыт о человеке»!<sup>6</sup> Возможно ли вознести душу и воображение на большую высоту, чем вознес ее творец «Потерянного рая»? Достоинства этого сочинения заключаются не в богатстве поэтической фантазии; сюжет его почти полностью заимствован из Книги Бытия; аллегории, добавленные кое-где автором, не отличаются безупречным вкусом. Видно, что поэта сковывала его истовая преданность религии, и тем не менее величавые характеры, нарисованные Мильтоном, дают ему право считаться одним из лучших поэтов мира. Его творение замечательно прежде всего мыслями; поэт искал достойного воплощения плодам своих раздумий, в чем и преуспел; чтобы сделать свои идеи внятными, он ввел в поэму ужаснейшие картины, потрясающие воображение: прежде чем придать Сатане зримый облик, он представил себе его бестелесную сущность, он постиг его нравственную природу и лишь потом поместил эту исполинскую фигуру в устрашающее адское царство. С каким талантом переносит он нас из ада в рай! С ка-

ким мастерством передает пьянящие ощущения юных и невинных существ среди первозданной природы! Он противопоставляет преступлению не пылкие наслаждения, а умиротворенный покой, и контраст от этого становится лишь ярче! Благочестие Адама и Евы, изначальные различия в характерах и судьбе двух полов он изображает так, как подобает философу и поэту \*.

«Сельское кладбище» и послание об Итонском колледже Грея, «Покинутая деревня» Голдсмита<sup>8</sup> исполнены той благородной меланхолии, что возвышает чувствительного философа. Где отыщем мы больший пиитический восторг, чем в оде музыке, сочиненной Драйденом?<sup>9</sup> Какой страстью дышит послание Элоизы!<sup>10</sup> Существует ли более восхитительное изображение супружеской любви, чем стихи, венчающие первую песнь Томсоновой поэмы? \*\*<sup>11</sup> На сколь глубокие и страшные размышления наводят «Ночи» Юнга<sup>12</sup>, где

\*

Схожи не во всем  
Создания эти; видимо, присущ  
Им разный пол. Для силы сотворен  
И мысли — муж, для нежности — жена  
И прелести манящей; создан муж  
Для Бога только, и жена для Бога  
В своем супруге<sup>7</sup>.

\*\* Эти строки из «Весны» Томсона всем известны, но я не могу отказать себе в удовольствии привести их здесь, дабы женщины, которым случится читать мою книгу, могли лишний раз насладиться прекрасными стихами:

Но счастливы стократ средь смертных те,  
Чьи жизни, судьбы и сердца навек  
Соединяет доброе созвездье.  
Не узы человеческих законов,  
Наклонностям враждебные нередко,  
Их свяжут, но гармония сама —  
Все страсти их в любви согласовав.  
Здесь ласковое дружество всесильно,  
Здесь совершеннейшее уваженье  
Оживлено влеченьем душ, здесь мысль  
Льнет к мысли, воля предваряет волю  
С доверьем безграничным...

...Что им весь этот мир,  
Его утехи, роскошь и бездумье,  
Им, обретающим друг в друге все,  
Что можно пожелать мечтой высокой,  
И зрящим то, что красоты дороже,  
В душе, в лице, душою осиянном,—  
Честь, нежность, истину, добро, любовь  
И всю щедроту милости небесной.

человек созерцает течение и исход своей жизни, не обольщаясь иллюзиями, выдающими дни за столетия, скоропреходящее за вечное!

Юнг судит человеческую жизнь так, словно сам не принадлежит к племени смертных, и возносится мыслью над своей человеческой сущностью, дабы подчеркнуть, сколь ничтожен всякий человек, затерянный в бескрайних просторах мироздания.

...Что сей мир? Могила.  
В любой пылинке прежде тлела жизнь.

...Что жизнь? Война.  
Всегдашняя война с несчастьем.

В поэме Юнга это мрачное воображение сказалось сильнее всего, но вообще им проникнута вся английская поэзия. Стихи англичан зачастую богаче мыслями, нежели их проза. Если Оссиана можно упрекнуть в монотонности, потому что картины его, сами по себе весьма однообразные, не содержат мыслей и не распо-

Достоинства их между тем сольются  
В улыбчивом потомстве. Постепенно  
Прелестный человечества цветок  
Раскроется, с красою материнской  
Соединяя доблести отца.  
Чтоб возрастал скорее детский разум,  
Потребно попеченье добрых рук —  
Труд сладкий! Пестовать молодые мысли,  
Идей незрелых направлять развитие,  
Вдыхать живящий дух и вкоренять  
Благое рвенье в пламенную грудь...  
О, изъясните свой восторг, счастливыцы,  
Чьи очи увлажняются нежданно,  
Когда, кругом взирая, лишь блаженства  
Вы видите картины — и Природа  
Многообразно полнит сердце вам!  
Достаток, нужный для изящной жизни,  
Тишь сельская, довольство, дружба, книги,  
Труды в чередовании с досугом,  
Вседневно крепнущая добродетель  
И одобренье Неба — вот в чем радость  
Таких супругов. Средь волнений мира  
Находит их любое время года  
Счастливыми; весна же с умилением  
Венком из роз чело их украшает.  
И ясный, тихий к ним приходит вечер,  
Кончая жизни долгий вешний день,—  
Тогда, еще сильнее любя друг друга,



лагают к раздумьям, то с английскими поэтами дело обстоит иначе; предаваясь своей философской печали, они никогда не наскучивают, ибо печаль их созвучна нашей природе и судьбе. Самое усладительное чтение — то, что возвращает нас к привычным грезам: и если мы захотим припомнить любимые отрывки из сочинений разных народов, мы увидим, что все они проникнуты одной и той же возвышенной меланхолией.

Могут спросить, отчего англичане, счастливые в своем правительстве и нравах, гораздо более склонны к меланхолии, чем французы? Оттого, что свобода и добродетель, два великих свершения человеческого разума, требуют мыслей, а человек мыслящий всегда серьезен.

Во Франции люди, замечательные своим умом или положением в обществе, обладали, как правило, изрядным запасом веселости, однако веселость высших сословий вовсе не залог счастья для нации в целом. Природой заповедано: политическое и философическое устройство страны должно быть таким, чтобы самым завидным был удел посредственностей, люди же выдающиеся, на каком бы поприще они ни подвизались, должны ставить превыше всего благо рода человеческого и даже приносить себя ему в жертву.

Счастлива страна, где писатели печальны, а торговцы радуются жизни, где богачи меланхоличны, а простой народ весел!

Хотя английский язык не так ласкает слух, как языки юга, его энергическое произношение дает поэзии большие преимущества: резко звучащие слова западают в душу, ибо нам слышится в них живое чувство; французский язык изобилует простыми словами, в поэзии неупотребительными<sup>13</sup>; в английском же языке слова эти благодаря своему звучанию исполнены благородства. Приведу пример: когда Макбет, подходя к пиршественному столу, видит на предназначенном ему месте дух убитого им Банко, он несколько раз восклицает: «Места все заняты!»<sup>14</sup> — и такой чудовищный ужас слышится в его словах, что зрители содрогаются.

Воспоминаний полные, они  
Спокойно погружатся в общий сон,  
И вместе воспарят их души в царство  
Любви и бесконечного блаженства.

Однако, будь те же самые слова написаны по-французски, величайший актер мира не смог бы произнести их так, чтобы вычеркнуть из памяти зрителей их повседневный смысл; во французском языке нет этой интонации, вдыхающей во все слова жизнь и достоинство, сообщающей им всем равно трагическое звучание, позволяющей сполна излить в них тревоги души.

Англичане могут позволить себе в сочинениях любого рода большие вольности, ибо живут страстями, а сильное чувство, какова бы ни была его природа, передается читателю. Напротив, хладнокровный автор, как бы он ни был умен, вынужден делать многочисленные уступки вкусу читателей; читатели же, узнав, что автор способен быть столь покладистым, незамедлительно вменяют послушание ему в обязанность.

Впрочем, английские поэты нередко злоупотребляют теми возможностями, какие предоставляют им их язык и склад ума. Они сгущают краски при изображении характеров, вдаются в излишние тонкости при изложении идей, желают выговорить все до конца, а вкус их молчит и не подсказывает, когда остановиться. Но «им многое простится»<sup>15</sup>, ибо устами их говорят чувства неподдельные. Недостатки их сочинений ближе к несовершенствам природы, чем к погрешностям искусства.

В одном роде изящной словесности превосходство англичан бесспорно: им лучше всего удаются романы, где нет ни чудес, ни аллегорий, ни исторических воспоминаний,— романы, основанные исключительно на описании характеров и происшествий частной жизни. До сих пор содержание этих романов составляла любовь. Неисчерпаемым источником вдохновения служит английским писателям, избравшим этот род словесности, образ жизни, который ведут женщины в Англии. Чувствительность и нежность вносят в отношения между мужчинами и женщинами тысячи оттенков.

В древних республиках, в Азии, во Франции тиранические законы, грубые желанья и развращенные нравы судили женщинам жалкий жребий. Нигде, кроме Англии, не наслаждались женщины счастьем семейственным. В странах небогатых нравы всех сословий, в особенности же средних классов общества, отличаются, как правило, необычайной чистотой, однако подавать

пример безупречной нравственности должны высшие сословия. Только им дано выбирать свой образ жизни, все же прочие безропотно принимают то, что выпало им на долю, меж тем человеку, чья добродетель — результат лишений или гнета обстоятельств, никогда не узнать всех идей и чувств, какие живут в душе человека, добродетельного по своей воле. Именно нравы высших классов влияют на литературу. Когда нравы эти чисты, в высшем обществе чтут любовь, любовь же вдохновляет писателей на создание романов. Не рассматривая здесь положение женщин в обществе с точки зрения философической, скажем с уверенностью, что лишь семейственные добродетели женщин пробуждают в сердцах мужчин всю нежность, на которую те способны.

Англия — страна, где мужчины питают к женщинам любовь самую неподдельную. Конечно, от англичан не приходится ждать той галантности, которой славилось некогда французское светское общество. Однако не победы тщеславия должен живописать в романе автор, желающий растрогать читателя, хотя, как показывает опыт, многие люди довольствуются подобными суетными радостями. Английские нравы подсказывают романисту множество тонких оттенков чувств и трогательных положений. На первый взгляд кажется, будто самый благодатный материал для сочинителя романа — безнравственность, не признающая никаких препон, но при более внимательном рассмотрении становится ясно, что это несчастное свойство совершенно бесплодно. Страсти, не встречающие сопротивления, развязки, наступающие мгновенно, жертвы, приносимые без сожалений, узы, не подкрепленные чувствами, — все это лишает роман всякого очарования, и если ничтожная часть сочинений такого рода, созданных французами<sup>16</sup>, имела кое-какой успех, то лишь среди людей, с которых списаны персонажи этих сочинений.

Романы англичан, как и все прочие их творения, грешат многословием, однако созданы они для людей, живущих в сельской местности, занятых домашними делами и ограниченными семейным кругом, то есть ведущих тот самый образ жизни, который описан в этих романах. Что же касается французов, то они терпеливо преодолевают английские романы, переполнен-

ные бесполезными подробностями, лишь оттого, что им любопытны чужеземные нравы. В произведениях своих соотечественников они не потерпели бы ничего подобного. Впрочем, хотя английское многословие утомительно, его искупают справедливые и глубоко нравственные наблюдения над сердечными привязанностями человека<sup>17</sup>. Англичане всегда внимательно всматриваются в мир; оттого они умеют описывать то, что видят, и обретать то, что ищут.

«Том Джонс»<sup>18</sup> — не только роман. Плодотворнейшая из философических идей — противопоставление природных достоинств и общественного лицемерия — вплетена здесь в действие с бесконечным мастерством, любовь же, как мне уже приходилось писать\*, служит в этом романе лишь вспомогательным средством. Но самое лучшее представление о неизъяснимой притягательности английских романов дают сочинения Ричардсона, а равно и некоторые романы, сочиненные женщинами.

Старинные французские романы описываютключения рыцарей, ничем не похожие на жизнь действительную. «Новая Элоиза» — сочинение красноречивое и страстное, в котором, однако, выразились не столько нравы нации, сколько гений автора. Все прочие французские романы, милые нашему сердцу, — не что иное, как подражание англичанам. Сюжеты в них свои, но манера повествования и общий дух сугубо английские.

Именно англичане первыми уразумели, что ум и сердце читателя можно пленить картинами частной жизни, что для того, чтобы разбудить его фантазию, не требуются ни прославленные герои, ни великие свершения, ни чудесные происшествия и что, изображая одну лишь любовную страсть, писатель может бесконечно обновлять образы и положения, не рискуя наскучить. Именно англичане первыми превратили романы в сочинения нравственные, где превозносятся добродетели и судьбы новых героев — людей безвестных.

Сочинения эти проникнуты чувствительностью покойной и гордой, энергической и трогательной. Нигде так сильно не ощущается очарование той попечитель-

\* В «Опыте о вымысле».

ной любви, что избавляет слабое существо от забот о собственном благополучии и устремляет все его помыслы к тому, как заслужить нежную признательность своего защитника.

## ГЛАВА XVI ОБ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ И АНГЛИЙСКОМ КРАСНОРЕЧИИ

Политическая история Англии делится на три совершенно различные эпохи: дореволюционные времена, революция и период после 1688 года, когда в стране установилась конституционная монархия. Перемены эти не могли не отразиться на литературе. Английская философия дореволюционной поры может похвастаться лишь одним ученым — это канцлер Бэкон. Во время революции все силы английских мыслителей были, как и прежде, отданы одному лишь богословию. В правление сладострастного и самовластного Карла II<sup>1</sup> англичане не сочиняли ничего, кроме стихов, и только после 1688 года, когда конституция даровала Англии покой и свободу, последствия прочного общественного порядка незамедлительно сказались на состоянии литературы.

В сочинениях Бэкона проявился не столько дух эпохи, сколько гений автора. Этот мыслитель взялся в одиночку за все науки и, хотя ему случалось изъясняться туманно и рассуждать схоластически, высказал множество новых идей в самых различных областях, не сумев, впрочем, развить ни одну из них. Гениальный человек может сделать несколько шагов вперед по неизведанным тропам, но для того, чтобы проложить торные дороги, потребны совместные усилия веков и народов.

В XVII столетии религиозные смуты<sup>2</sup> грозили вернуть Англию в состояние, из которого Европа только что вышла, однако просвещенные мужи, пользовавшиеся уже в ту пору немалой известностью и на континенте и в самой Англии, воспротивились этим пусто-порожним распрямам, чреватых гибельными последствия-

ми. Гаррингтон, Сидни<sup>3</sup> и прочие философы, равнодушные к богословским дебатам, приложили все силы к тому, чтобы вернуть согражданам любовь к свободе, и старания их не пропали даром.

Лишь в конце XVII столетия английская философия приняла свой подлинный вид и вот уже сто лет одерживает все новые и новые победы.

Английские философы действуют научными методами, иначе говоря, рассуждая о нравственности, они прибегают к отвлеченным понятиям, подсчетам и логическим доказательствам, какими пользуются ученые, совершая открытия и разъясняя их суть.

Французская философия теснее связана с чувствами и воображением, но не уступает английской в проницательности, ибо, ведомые разумом, чувство и воображение проникают в самые глубины человеческого сердца.

Христианская вера в той форме, в какой ее исповедуют в Англии, и конституционный строй в том виде, в каком он здесь существует, предоставляют пытливым умам немалую свободу для изысканий в области морали и политики. Тем не менее английские философы, как правило, подвергают рассмотрению отнюдь не все сущее; они пекутся прежде всего о пользе, и это кладет некий предел их независимости.

Они превосходно усовершенствовали метафизическую теорию человеческих способностей, однако характеры и страсти хуже известны им и реже становятся объектом их размышлений. Среди англичан нет авторов, равных Лабрюйеру, кардиналу де Рецу или Монтеню.

В странах, где царят свобода и покой, люди не слишком внимательно приглядываются друг к другу. Взаимоотношения граждан здесь по большей части упорядочиваются законами. В таких государствах все располагает ум не столько к частным наблюдениям, сколько к обобщениям; напротив, там, где политическую судьбу нации решают блестящие придворные и аристократы, необходимость узнать их обычаи, дабы преуспеть, рождает множество метких суждений, и, хотя опытная философия развита в таких странах не столь сильно, люди здесь более прозорливы и мудры.

Для англичан политика сделалась предметом рас-

суждений чисто умозрительных. Гоббс, Фергюсон, Локк и прочие, исходя из различных принципов, размышляют об исходном состоянии общества, дабы понять, какие законы следует положить в основание общества нынешнего. Смит, Юм, Шефтсбери изучают сугубо метафизической точки зрения чувства и характеры. Они просвещают читателей и дают им почву для размышлений; они пробуждают внимание, но отнюдь не заботятся о занимательности. Иное дело Монтескье — под его пером идеи словно оживают, и в каждой строчке за отвлеченными понятиями видна нравственная природа человека. Поскольку французские философы испокон веков представляют свои мысли на суд светского общества, они стремятся покорить читателя, чье внимание быстро рассеивается, пытаются сообщить идеям то очарование, каким дышат чувства, и, следовательно, внушить читателю большее число истин разом.

В философии, как и в торговле, англичанам помогли преуспеть терпение и время. Казалось бы, склонность английских философов к отвлеченностям не могла не привести их к заблуждениям, но страсть к подсчетам, возвращающая отвлеченные рассуждения на твердую почву, приверженность к моральным наукам — самым положительным из всех человеческих наук, — умение торговать и любовь к свободе неизменно возвращали английских философов на путь практический. Как много пользы принесли англичане человечеству: какой огромный вклад внесли они в воспитание детей, благотворительность, политическую экономию, уголовное законодательство, точные науки, этику, метафизику! Сколько мудрости в их замыслах, сколько осмотрительности в выборе средств!

Этим обилием соревнователей просвещения Англия обязана свободе. Французские сочинители так редко могли льстить себя надеждой изменить установления своей страны, что, о каких бы серьезных вещах ни вели речь, старались прежде всего блеснуть остроумием. Теорию, истинную в каком-то одном отношении, французы доводили до крайности; не имея возможности принести пользу, они желали блистать великолепными парадоксами. К тому же в правление абсолютного монарха можно было безнаказанно восхвалять чистую

демократию, как это сделал Руссо в «Общественном договоре»<sup>4</sup>, но строить более осуществимые планы никому позволено не было. Во Франции все, кроме постановлений королевского совета, было всего-навсего игрой ума; напротив, в Англии, где каждый может так или иначе повлиять на решение представителей нации, люди привыкают сопоставлять идеи с деяниями и, питая надежду послужить общественному благу, проникаются любовью к нему.

Это всевластие пользы, придавшее английской словесности, если можно так выразиться, немалую основательность, помешало, однако, англичанам достичь в словесном искусстве того совершенства, какого достигли французы; оно лишило их слог лаконичности. Все англичане — большие патриоты, и судьбы отечества волнуют их так же сильно, как будущность их семейств; в Англии каждый согласен слушать оратора, рассуждающего об общественном благе, так же долго, как если бы речь шла о его собственных делах, и авторы, полагаясь на эту особенность публики, нередко злоупотребляют своими правами. Всякую мысль англичане разъясняют с обстоятельностью школьного учителя: быть может, это наилучший способ просветить большинство соотечественников, но далеко не лучший способ усовершенствовать философию.

Французы рассказали бы об английских открытиях лучше англичан; они изложили бы их идеи более логично и точно: опуская многие промежуточные звенья, французы требуют от читателя предельного внимания, но — от сжатости ли изложения или оттого, что авторы идут к цели не отвлекаясь, — система их рассуждений гораздо более стройна. В Англии литераторы вначале приобретают известность среди народа, а уж затем слава их доходит до высших классов. Во Франции, напротив, первыми высказывают свое суждение представители высших классов, а народ прислушивается к их оценкам. Не берусь судить, что полезнее для счастья нации, однако словесное искусство и мастерство композиции не могут дойти в Англии до такого совершенства, до какого дошли они во Франции в ту пору, когда писатели применялись к вкусу первых людей страны.

В Англии философы либо посвящают себя отвле-



ченностям, либо размышляют о предметах, имеющих практическую пользу, что же до того промежуточного рода литературы, где глубокие мысли изложены красно-речивым слогом, где поучительность соединяется с увлекательностью, яркость выражения — с меткостью суждения, то он англичанам почти недоступен; книги их всегда преследуют какую-то одну цель: либо приносят пользу, либо доставляют удовольствие.

В стихах англичане говорят прежде всего красно-речивым языком сердца; они — великие поэты, но не прозаики; в английской прозе редко найдешь ту пылкость и мощь, какой исполнена английская поэзия. Всю силу своего воображения англичане вкладывают в белые стихи, не требующие от поэта особой изобретательности, а прозу считают языком логики; они убеждены, что единственная обязанность прозаика — быть понятным, в увлекательности же проза не нуждается. Возможно, английский язык еще не показал всего, на что он способен. Поскольку деловые люди пользовались им чаще, чем литераторы, ему недостает множества оттенков, а ведь проза требует от сочинителя гораздо большей чуткости и правильности, чем поэзия.

Правда, есть и среди англичан литераторы, слывшие хорошими прозаиками, — Болингброк, Шефтсбери, Аддисон, — однако слогу их не хватает оригинальности, а образам — живости: стиль здесь не выражает характера пишущего и не передает читателям его душевных движений. Кажется, будто англичане могут изливать душу только в поэтических строках; когда они пишут прозой, чувства их сковывает некая стыдливость: робкие и страстные разом, они открывают свое сердце лишь наполовину. Англичане охотно переносятся в идеальный мир поэзии, но их сочинения, посвященные миру действительному, почти всегда как-то холодны. Английские писатели правы, когда упрекают французских собратьев в эгоизме, тщеславии, самолюбовании и пренебрежении общественным благом. Однако бесспорно, что красноречив лишь тот, кто высказывает заветные свои чувства; устами автора должны говорить не корысть, но волнение, не тщеславие, но характер; пренебрегая собственными ощущениями, писатель пренебрегает и ощущениями читателя.

Записки, исповеди, повествования о собственной

жизни в Англии — редкость; гордость не позволяет англичанам делать подобные признания и опускаться до такого рода подробностей, и из-за этого чересчур сурового отречения от всех личных пристрастий проза теряет очень многое.

В Англии к литературе подходят как к серьезному предприятию и изгоняют из основательных сочинений всякое обращение к чувствам читателей, все, что способно хоть малейшим образом ограничить свободу их суждения. В сочинении непримиримейшего противника Франции господина Берка, направленном против французов<sup>5</sup>, есть немало страниц, написанных в духе французского красноречия, — так вот, хотя у господина Берка в Англии немало поклонников, многие англичане не одобряют не только чрезмерную резкость его взглядов, но и чрезмерную яркость его слога, находя, что здравые идеи не подобает излагать в таком стиле.

Одно из самых красноречивых английских сочинений в прозе — «Письма Юниуса»<sup>6</sup>. Впрочем, возможно, что, читая эту книгу, мы восхищаемся прежде всего свободными устоями страны, где частный человек может нападать столь язвительно на министров и даже на самого короля, не угрожая общественному порядку и спокойствию, а люди, облеченные государственной властью, обязаны беспрекословно выслушивать от него самые нелюбезные суждения<sup>7</sup>.

В Англии парламентские дебаты много ярче прозы. Необходимость импровизировать, течение спора, возражения, замечания приковывают всеобщее внимание, приводят в волнение слушателей и тем нередко воодушевляют говорящих; однако на первом месте в парламентских речах всегда стоит продуманная система доказательств. Знаменитые ораторы древности и красноречивейшие ораторы Франции, окажись они в палате общин, вызвали бы скорее изумление, нежели восхищение. Рассмотрим вкратце причины этой разности вкусов.

Английская революция, разбудившая народные страсти, явилась следствием богословских споров. Посему красноречие в эту пору не смогло развиваться в полную силу и, приняв форму, отвечающую своему тогдашнему предмету, целиком свелось к системе доказательств. Английский парламент занялся в первую

очередь вопросами финансов и торговли, а когда речь идет о денежных интересах, люди слушаются только голоса рассудка. Другая тема парламентских дебатов — дипломатическое положение Европы — в силу своей чрезвычайной важности также требовала немалой осмотрительности. Две партии, на которые раскололся английский парламент, боролись одна против другой не так, как плебеи против патрициев, то есть не со всей силою страсти; здесь, как правило, несколько политических соперников вступали в борьбу, движимые честолюбием, и само это честолюбие побуждало их к сдержанности; здесь оппозиция, желая навязать королю своего министра, всегда действовала с подобающей осмотрительностью. Да и вообще англичане считали бесчестным переходить на личности. Наконец, не могло не внести некоторых изменений в ораторское искусство и почтение, которые люди нового времени питают к законам. Древние также повиновались законам, однако они сами, своей властью отменяли их или снова вводили в силу. Что же до людей нового времени, то их роль почти всегда сводилась к тому, чтобы толковать законы уже существующие. Такое постоянство имеет много выгодных сторон, однако по его вине в современных политических собраниях ценится не столько способность волновать сердца, сколько умение спорить и рассуждать.

Оратор ныне не сражается с противником врукопашную, как Демосфен, но, вооружившись логикой, нападает на него с помощью неких условленных приемов, действие которых более заметно. Кроме того, поскольку представительная форма правления неизбежно сужает круг обсуждаемых предметов и уменьшает число спорящих, Демосфенова мощь была бы в английском парламенте неуместна; ораторы здесь обращаются к немногочисленным и хорошо знакомым слушателям; однообразным жестом отмечают они повторение одних и тех же аргументов и всем своим поведением напоминают скорее государственный совет, нежели народное собрание; они, кажется, ни на минуту не упускают из виду, что лучшее оружие для них — это хладнокровие, логика и ирония\*.

\* Представитель оппозиции, на чьи плечи не возложены никакие государственные обязанности, как правило, должен быть более

Многие из названных мною особенностей ораторского искусства в странах с представительным правлением были бы, возможно, присущи и французскому революционному красноречию, если бы в самом начале революции французские ораторы не столкнулись с предметами обсуждения, достойными древних. Речи Мирабо и некоторых других ораторов более драматичны и увлекательны, чем речи англичан; практического смысла в них меньше, а потребности блеснуть умом больше. Пространные же рассуждения всегда встречали во Франции более прохладный прием, чем в Англии. Английские ораторы, подобно Цицерону, часто толкуют идеи уже известными, повторяют выражения и приемы, уже имевшие однажды успех. Французы же столь ревнивы к славе, что, если бы некий оратор захотел дважды удостоиться похвалы за одно и то же изъяснение чувства, за одну и ту же удачную фразу, публика упрекнула бы его в самонадеянности и не только отказалась бы вторично рукоплескать ему, но, пожалуй, вовсе лишила бы его своей благосклонности.

Истинному таланту такое умонаправление французов помогает вознестись очень высоко, но посредственность оно вынуждает к усилиям исполинским и смешным. Кроме того, порой оно роковым образом способствует успеху самых нелепых утверждений. Если бы оратор стал развивать свою мысль, ее ошибочность сделалась бы очевидной; если бы его противники имели возможность опровергнуть ошибочное заключение, напомним о вещах элементарных, самые заурядные умы поняли бы, в чем соль вопроса. С английской диалектикой софистам справиться гораздо труднее, чем с нашей. В английских собраниях речи напыщенные, но ложные — большая редкость; к тому же англичане придают нравственным побуждениям меньшее значение, чем мы, и слова их идут прямо к цели, не позволяя уму сбиваться с пути.

Поскольку язык французской прозы гораздо более совершенен, истинные мастера красноречия, рожденные во Франции, могли бы сильнее волновать слушателей и

красноречивым, чем министр. Ныне в Англии соперничают меж собой два чудесных таланта; трудно отдать предпочтение одному из них — все же по велению души мы всегда сочувствуем тому, кто не стоит у власти<sup>8</sup>.

сообщать каждой из своих речей достоинства многообразные. Англичане ценят искусство слова, как любую другую человеческую способность, лишь постольку, поскольку из нее можно извлечь пользу; такая судьба, должно быть, постигает всякий народ, стоит ему вкушать покоя, зиждущегося на свободе.

Покой, насаждаемый властью деспотической, произвел бы действие совершенно противоположное: честолюбцы принялись бы отстаивать собственные интересы, позабыв об интересах нации. В свободной же стране политическое значение каждого гражданина таково, что он больше дорожит своей долей общественного блага, чем всеми личными выгодами, если выгоды эти идут во вред обществу.

## ГЛАВА XVII О НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ \*<sup>1</sup>

Возраст немецкой литературы исчисляется одним столетием. До начала XVIII века немцы с большим успехом занимались опытными науками и метафизикой, но при этом гораздо охотнее писали на латыни, чем на родном языке; личность автора в этих ученых трактатах не выражалась вовсе. Причины, замедлившие развитие немецкой литературы, в некоторых отношениях остаются в силе и ныне; они-то и препятствуют ей обрести совершенство. Вообще никому народу не идет на пользу, если в его отечестве словесность появляется позже, чем у соседей, ибо в

\* Я принуждена напомнить здесь о цели моего сочинения. Я вовсе не стремилась рассмотреть все значительные произведения той или иной литературы; мне хотелось дать общее представление о духе каждой литературы в ее связях с религией, нравами и образом правления. Разумеется, я не могла рассуждать на подобную тему, не упоминая многих писателей и многие книги, но я приводила эти примеры в подтверждение своих мыслей и вовсе не намеревалась обсуждать достоинства каждого автора, что было бы куда более уместно во всеобщем каталоге. Замечание это относится к данной главе еще больше, чем ко всем предшествующим. Я умолчала о множестве превосходных немецких сочинений, поскольку в тех, о которых я рассказала, дух немецкой литературы выразился достаточно ярко (примеч. ко 2-му изд.).

этих случаях подражание литературам уже сложившимся часто лишает молодую литературу национальной самобытности. Рассмотрим сначала основные обстоятельства, под влиянием которых сложился дух немецкой литературы, а затем особенности истинно прекрасных произведений, которыми она гордится, и недостатки, которых ей следовало бы избегать.

Поскольку в раздробленном государстве нет столицы, собирающей в своих стенах всех выдающихся людей, немцам труднее, чем французам, совершенствовать свой вкус. В стране, поделенной на множество мелких областей, изобилуют искатели литературной славы, соперничающие на поприще словесности, однако там, где каждый город желает иметь собственных гениев, не приходится ждать от литературных судей справедливости и строгости. Когда несколько университетов, несколько академий пользуются одинаковым влиянием, медленно идет и становление языка. В этом случае многие писатели присваивают себе право без конца изобретать новые слова, и то, что поначалу кажется изобилием, кончается путаницей<sup>2</sup>.

Никто, я полагаю, не станет спорить, что федерация — политическая система, которая ведет к свободе и к счастью, но отнюдь не благоприятствует развитию искусства и росту талантов, ибо искусство держится безупречным вкусом. Когда люди выдающиеся живут в одном городе и постоянно общаются друг с другом, они образуют некое литературное законодательное собрание, указующее умам наилучший путь.

Феодальный строй, господствующий в Германии, не позволяет ей пользоваться всеми политическими преимуществами, которые таит в себе федерация. Тем не менее немецкая литература — это литература свободного народа, и причина тому ясна. Немецкие литераторы образуют своего рода республику, и чем более возмутительные злоупотребления допускают высокородные деспоты, тем сильнее отдаляются просвещенные люди от общества и службы. Они рассматривают все предметы в свете их естественного предназначения; установления же, господствующие в их отечестве, настолько расходятся с простейшими философическими истинами, что разум не позволяет литераторам им подчиняться.

Германцы судят о религии и политике более незави-

симо, чем англичане. Английский государственный строй обеспечивает англичанам покой и свободу, и в угоду ему они соглашаются поступиться кое-чем в своей философии. Дорожа собственным счастьем, они уважают иные предрассудки, — так человек, женившийся на любимой женщине и не нуждающийся в разводе, выступает за нерасторжимость брака. Немецкие же философы, видя кругом порочные установления, которым нет никакого оправдания и от которых никому нет выгоды, подвергают общепринятые истины самому тщательному исследованию.

Феодальная разрозненность не обеспечивает политической свободы, но почти непременно благоприятствует свободе печати. Страна, раздробленная на множество небольших государств, не знает ни господствующей религии, ни единого общественного мнения: правители мелких княжеств удерживают власть благодаря покровительству великих держав, однако они почти не властны над убеждениями своих подданных, которые могут говорить о чем хотят, хотя и бессильны что бы то ни было предпринять.

Поскольку светское общество в Германии еще менее привлекательно, чем в Англии, большинство немецких философов, не питающих, в отличие от англичан, интереса к общественным делам, живут уединенно. Князья почитают литераторов и нередко награждают их. Тем не менее к политической деятельности в большей части княжеств допускаются лишь родовитые дворяне; впрочем, непосредственное участие всех классов в управлении страной возможно лишь при правлении представительном. Литераторам ничего не остается, кроме как обратиться к созерцанию природы и исследованию собственного характера.

Немецкие авторы превосходно владеют искусством выражать горестные чувства и рисовать меланхолические картины. В этом отношении немецкая литература мало чем отличается от прочих литератур севера, литератур оссианических, однако созерцательный образ жизни германцев поселяет в их душах упоение красотой и негодование против злоупотреблений государственных и тем предохраняет от скуки, подстерегающей англичан. В Германии просвещенные люди всецело посвящают жизнь свою ученым занятиям, и в уме

их непрерывно свершается некая внутренняя работа, более постоянная и напряженная, нежели у англичан.

Для германцев до сих пор нет на свете ничего дороже идей<sup>3</sup>. Поскольку политическая деятельность в их стране не ведет ни к славе, ни к свободе, у философов нет оснований предпочитать наслаждения власти наслаждениям мысли; к тому же они живут уединенно и общение с людьми не охлаждает пыла их сердец.

Немецкие литераторы не так пекутся о практической пользе, как английские; они охотнее занимаются построением систем, ибо, не имея надежды изменить установления, принятые в их отечестве, не преследуют своими рассуждениями никакой конкретной цели; они принимают на веру все мистические учения, они находят тысячу способов спрятаться от времени и жизни, употребив весь отведенный им срок земного существования на деятельность умственную. Зато нет страны, где писателям лучше ведомы страсти человеческие, душевные муки и заветы философической мудрости, помогающие претерпевать боль. Общий дух литературы во всех странах севера одинаков, но у литературы немецкой есть свои отличительные черты, которыми она обязана политической и религиозной обстановке в Германии.

Прекраснейшая книга, какой могут гордиться немцы, книга, не уступающая шедеврам других литератур,— это «Вертер»<sup>4</sup>. Поскольку книгу эту называют романом, многие люди не принимают ее всерьез. Между тем, по моему убеждению, нет сочинения, которое содержало бы более выразительную и правдивую картину заблуждений восторженной души, более пронзительное исследование несчастья, этой природной бездны, в которой опытному глазу открывается вся полнота истины.

На свете не много людей, наделенных характером Вертера. Юноша этот изведал все то унижение, на которое обрекает человека энергического ума скверный общественный строй; в Германии это случается чаще, чем в любой другой стране. Нашлись критики, которые упрекали автора «Вертера» в том, что он заставил своего героя страдать не только от любви, но и от унижения и испытывать пылкое негодование против тех надменных вельмож, которые ему это унижение при-



чиняют; что до меня, то я вижу в этом одну из гениальных находок автора. Гете хотел изобразить существо, страдающее от всех невзгод, какие только могут выпасть на долю души нежной и гордой; он хотел изобразить тот клубок бедствий, который может довести человека до крайней степени отчаяния. Природа, мучая человека, оставляет ему проблеск надежды; чтобы разум человека затмился окончательно и у него появилась настоящая потребность умереть, в рану должно вонзиться ядовитое жало общества.

Какое возвышенное единение мыслей и чувств, восторженности и мудрости находим мы в «Вертере»! Только Руссо и Гете сумели изобразить страсть размышляющую<sup>5</sup>, страсть, которая судит самое себя и сознает, что бессильна себя укротить. Такой разбор собственных ощущений показался бы холодным в устах любого человека, сгорающего от страсти, — любого, кроме гения. Ничто, однако, так не трогает нас, как эта смесь страданий и дум, наблюдений и горячечного возбуждения, как это зрелище несчастного человека, обдумывающего свой жребий и изнемогающего под гнетом горя, постоянно видящего в воображении самого себя, достаточно мужественного, чтобы созерцать собственные страдания, и тем не менее ничем не способного облегчить свою участь.

Иные полагают, что книга Гете опасна<sup>6</sup>, что она разжигает страсти, вместо того чтобы управлять ими, и судьба нескольких фанатиков, последовавших примеру Вертера, подтверждает эту мысль. Меж тем восторг, который возбудил «Вертер» в сердцах читателей, по преимуществу немцев, объясняется тем, что книга эта по духу совершенно немецкая. Гете не придумал своего героя, но лишь сумел блестяще изобразить его. Все германцы, как я уже сказала, весьма восторженны, а таким характерам книга Гете может пойти только на пользу.

Изображение самоубийства вообще не может быть заразительным. Глубокий след в душе оставляют вовсе не вымышленные события, описанные в романе, но нарисованные там чувства, что же до того душевного недуга, которому истоком служит величие характера и который, однако, в конце концов обязательно поселяет в сердце отвлечение к жизни, то он изобра-

жен в «Вертере» превосходно. Недуг этот, без сомнения, грозил, и не раз, всякому чувствительному и великодушному существу; вероятно, не одному прекрасному человеку, ставшему жертвой клеветы и неблагодарности, случалось спрашивать себя, можно ли, оставаясь добродетельным, сносить жизнь такой, как она есть, и не отнимает ли несправедное устройство общества у честных и нежных душ желания жить на этом свете.

Чтение «Вертера» учит, что душу восторженную даже честность может довести до безумия, оно показывает, что, если чувствительность человека переходит некий предел, ему становится не по силам снести самые обычные происшествия. Мы можем догадаться о своих преступных склонностях, размышляя, сопоставляя, читая моральные трактаты, однако если человек великодушный и чувствительный от природы всецело доверяется зову своего сердца, он может испить до дна чашу бедствий, даже не подозревая о цепи заблуждений, доведших его до последней черты. Именно таким людям полезно прочесть «Вертера» — книгу, которая напоминает добродетели о необходимости слушаться голоса рассудка\*.

«Мессиада» Клопштока<sup>7</sup>, несмотря на неисчислимое множество погрешностей, длиннот, фраз безнадежно темных и проникнутых мистицизмом, содержит первоклассные красоты. Характер Абадонны, преступника, хранящего в душе любовь к добру, ангела, претерпевающего адские муки,— характер совершенно новый<sup>9</sup>. Правдивые описания любви и природы надолго врезаются в память, несмотря на сопутствующие им странные выдумки.

С чувством и силой описано в одной из песен «Мессиады» изумление, с которым существо бессмертное впервые узнает о смерти. Обитатель планеты, где жизнь не имеет конца, расспрашивает ангела о нашей земле и о том, что такое смерть. «Как,— говорит он,—

\* Гете сочинил множество других произведений, пользующихся в Германии большой известностью: «Вильгельма Мейстера», «Германа и Доротею» и проч. Если бы я пожелала подробно остановиться на литературных достоинствах од Клопштока, трагедий Шиллера, сочинений Виланда, пьес Коцебу и проч., мне пришлось бы посвятить им несколько глав<sup>8</sup>, однако, как я уже говорила, цель моей книги иная (примеч. ко 2-му изд.).

правда ли, что вы знаете край, где сын может быть навсегда разлучен с той, которая окружала его нежнейшей заботой на заре жизни, где мать может лишиться дитя, на которого возлагала все свои упования, край, где тем не менее царит любовь, где два существа долгие годы живут бок о бок, посвящая друг другу свои дни, а затем один из них остается в одиночестве! Может ли быть, что на этой земле люди не отказываются от дара жизни, хотя жизнь эта связует людей узами, не способными устоять перед смертью, хотя в жизни этой людям суждено любить то, что обречено на гибель, и запечатлеть в сердце образ существа, которое может покинуть этот мир прежде своего возлюбленного!» «Мессиада» — сумрачное царство, где легко сбиться с пути, где взору вашему порой представляются предметы восхитительные, но где вы постоянно испытываете печаль, не лишнюю, впрочем, некоторой приятности.

Немецкие трагедии, в частности трагедии Шиллера, неизменно выдают твердость духа их авторов. Во Франции острота ума, забота о приличиях, боязнь выглядеть смешным нередко ослабляют живость впечатлений. Привыкнув к сдержанности, люди светские неизбежно утрачивают способность к пылким излияниям и скрывают от посторонних искреннейшие свои чувства. Прославленные же немецкие трагедии содержат множество слов, выражений, мыслей, которые позволяют нам лучше понять самих себя и обнаружить в глубинах нашей души чувства, которые светские приличия приглушают либо обуздывают. Выражения эти придают нам силы, преисполняют нас восторга, на миг вселяют в нас уверенность, что мы сможем стать превыше всех условностей, всех неписанных правил, благодаря чему обретем после долгой разлуки лучшего друга в себе самих, в собственном нашем характере. Немцы — превосходные мастера описывать природу. Сочинители пасторалей — Геснер<sup>10</sup>, Захария и многие другие — внушают любовь к природе и черпают вдохновение в ее пленительных видах. Они описывают ее такой, какой она предстает внимательному и любящему взору, и под их пером все в ней выдает присутствие трудящегося на ее нивах человека, все напоминает о прелестях мирных будней. Чтобы на-

слаждаться этими описаниями, потребно соответствующее расположение духа: нужно, чтобы на сердце снизошел покой. Для души, мучимой страстями, зрелище безмятежной природы — лишняя пытка. Напротив, мрачные и дикие картины, печальные предметы помогают сносить сердечную муку.

Трагедия «Гец фон Берлихинген» и несколько известных романов рассказывают о временах рыцарских<sup>11</sup> — немцы умеют изображать эту эпоху, богатую занимательными происшествиями, увлекательно и живо.

Перечислив основные достоинства немецкой литературы, я должна остановиться на недостатках немецких писателей и на тех последствиях, к которым эти недостатки могут привести, если не будут исправлены.

Из всех родов литературы наиболее коварен род возвышенный: только очень большой талант способен передать свой восторг, не отклонившись от истины и не погрешив против вкуса, а ведь для возвышенного описания любая погрешность губительна. «Вертер» породил больше скверных подражаний, чем любой другой шедевр словесности; в устах восторженного автора фальшивые слова режут слух особенно сильно. Виланд в «Перегрине Протее»<sup>12</sup> прекрасно показал всю неуместность этого деланного энтузиазма, столь далекого от чувств истинного гения. Немцы в этом отношении гораздо снисходительнее нас; они приемлют, а нередко даже приветствуют многие расхожие философические идеи, касающиеся богатства, благотворительности, родовитости, заслуг и проч., — общие места, которые оставили бы француза совершенно равнодушным. Немцы до сих пор получают удовольствие от общеизвестных истин, хотя уму их ежедневно открываются истины, прежде им неизвестные.

Немецкий язык еще не обрел свою окончательную форму; в Германии у каждого писателя свой слог, а писателями мнят себя тысячи людей. Как может совершенствоваться литература в стране, где ежегодно выходит около трех тысяч томов? Писать по-немецки так, чтобы увидеть свою книгу в печати, не составляет большого труда: вам простят и неясности, и непристойности, и общие места, и длинноты, и обилие новосозданных слов, а между тем законы словесности

должны быть так строги, чтобы посредственностям было не под силу их соблюдать. Истинному таланту трудно отличиться в толпе немецких сочинителей; разумеется, в конце концов он привлекает к себе внимание, но множество пошлых книг влияют на вкус публики самым пагубным образом и в конце концов лишают ее уважения к труду литератора.

Немцам случается выказать недостаток вкуса даже в сочинениях, вдохновленных их национальным духом; подражая же словесности других народов, они погрешают против хорошего вкуса постоянно<sup>13</sup>. Авторы, которым недостает самобытности, заимствуют пороки английской либо французской литературы. Говоря о Шекспире, я уже пыталась показать, что подражать его достоинствам может лишь автор, не уступающий ему в таланте, недостатков же его следует тщательно избегать. Немцы во многом близки англичанам, поэтому, беря уроки у соотечественников Шекспира, они делают меньше ошибок, чем французы. Тем не менее они так же охотно противополагают возвышенным предметам предметы низкие, чем уменьшают силу воздействия множества превосходных пьес.

Портят сочинения немецких авторов и другие досадные погрешности, в частности склонность к метафизическому исследованию чувств, которое нередко вносит холодность в самые трогательные сцены. Мыслители и созерцатели от природы, немцы вкладывают в уста самых страстных героев свои излюбленные отвлеченности, пространные рассуждения и толкования; все — мужчины и женщины, древние и новые — разговаривают у них языком немецкого философа. Это распространенный недостаток, с которым немецким писателям следует бороться. Гений их нередко помогает им находить для выражения самой возвышенной страсти простые слова; когда же они начинают изъясняться чересчур темно, творения их уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу читателя.

Немецких писателей не раз упрекали в отсутствии изящества и веселости. Некоторые из них, видя суровый укор в том, что англичане почитают величайшей похвалой, начинают искать образцы для подражания в французской литературе и совершают ошибку еще более грубую, поскольку, изменив своему национальному духу,

утрачивают ту силу и трогательность, что заставляла забыть обо всех их несовершенствах. Только во Франции, точнее, в Париже до революции, светское общежитие благоприятствовало рождению сочинений, исполненных дивного изящества и веселости. Тем не менее даже среди французов, воспитанных на превосходнейших образцах, многие потерпели поражение на этом поприще, что же говорить о немцах, которые, принимаясь за подражания, зачастую не могут выбрать себе достойные образцы.

Иные немецкие авторы уверены, что писания Кребийона и Дора<sup>14</sup> — это верх изящества, и, подражая им, становятся до того манерны, что французу вынести это не под силу. Когда немецкие писатели, которые могли бы отыскать в глубине своего сердца слова, способные растрогать представителей любого народа, смешивают греческую мифологию с французскими любезностями, они создают произведения, решительно во всем противные природе и истине. Французы из боязни быть поднятными на смех рано или поздно всегда возвращаются к простоте, но в Германии, где общественное мнение столь маломощно и разноречиво, не стоит и браться за сочинения, предполагающие давнее и близкое знакомство с условленным языком светского остроумия и безупречное чувство меры. Немецким писателям следует хранить верность всеобщим законам высокой литературы и избирать такие предметы, для описания которых достаточно взять в наставники природу и разум.

Порой немцы грешат тем, что совершенно неподобающим образом разукрашивают серьезные философические сочинения\*. Они хотят угодить читателям, которые, как они предполагают, уступают им самим в уме и образованности; меж тем обязанность автора — излагать мысли так, как они зародились в его уме. Нужно не опускаться до уровня толпы, но стремиться к высшему совершенству: в конечном счете суждения публики сводятся к суждениям замечательнейших людей нации.

Иногда смешение серьезных предметов с легкомысленными, отличающее сочинения немецких авторов, объ-

\* Один немецкий литолог<sup>15</sup>, рассуждая в своей книге о камне, который ему до сих пор не удалось обнаружить, именует его «ускользающей беглянкой нимфой», а исчислив достоинства другого камня, восклицает: «О сирена!»

ясняется не слишком уместным в данном случае желанием доставить удовольствие дамам. Англичане пишут вовсе не для женщин; во Франции женщины в силу своего общественного положения — превосходные ценительницы творений ума и вкуса; немцам же следует относиться к женщинам так, как относились некогда древние германцы, — они должны боготворить их. Женщины нуждаются в поклонении, а не в снисходительности.

Наконец, иные немецкие авторы сочли, что дабы привить философические взгляды жителям страны, где философия еще не получила всеобщего одобрения, необходимо облечь их в форму сказки, диалога или аполога; особенно прославился сочинениями такого рода Виланд<sup>16</sup>. Быть может, иногда истину следует высказывать обиняками. Быть может, иногда полезно вкладывать в уста древних то, что хочешь объяснить людям нового времени, и, изображая прошлое, намекать на настоящее. Не берусь сказать наверняка, до какой степени предосторожности Виланда вызваны соображениями политическими, но повторю еще раз \*: заблуждается тот, кто думает, что следует расцвечивать философические истины рассказами о похождениях вымышленных персонажей. Соединяя исследование с романом, мы отнимаем у первого его глубину, а у второго его увлекательность. Вымышленные события приковывают к себе внимание, если ход их напряжен и стремителен; рассуждения звучат убедительно, если они связаны и последовательны; если же вы прерываете рассказ о происшествиях рассуждениями или рассуждения рассказом о происшествиях, вы не только не помогаете умному читателю, но, напротив, утомляете его; ему было бы гораздо легче следить за ходом ваших рассуждений, не отрываясь, чем постоянно отвлекаться от ваших мыслей ради новых впечатлений, столь же обрывочных.

Многие немецкие авторы, завидуя лаврам Вольтера, принялись вслед за ним сочинять философические повести, однако остроумная веселость, изящество и изобретательность Вольтера, сполна проявившиеся в его повестях, решительно неповторимы. Конечно, Вольтеровы повести венчает философическая мораль, однако само

\* Я уже говорила об этом в «Опыте о вымысле».

повествование настолько прелестно и непринужденно, что вы сами не замечаете, как проникаетесь убеждениями автора: так превосходная комедия, разыгранная актерами, вначале увлекает вас только своей занимательной интригой, и лишь по размышлении вы открываете для себя ее нравственный итог<sup>17</sup>.

Призвание немецких литераторов — говорить серьезным языком разума и красноречивым языком чувств; в остальных родах словесности они до сих пор неизменно терпели неудачу.

Немецкая нация, как никакая другая, создана для занятий философией. Немецкие историки, лучшими из которых по праву считаются Шиллер и Мюллер, трудясь над историей нового времени, сделали все, что было в их силах<sup>18</sup>. Феодалный строй решительно обесцвечивает характеры и обстоятельства. В эпоху нескончаемых войн все великие люди выглядят на одно лицо; кажется, что они так же схожи меж собой, как их шлемы и щиты.

Сколькими открытиями в области опытных наук и метафизики прославили себя немецкие ученые! Сколько затратили труда! Какое проявили упорство! У немцев нет отечества в политическом смысле слова, но они создали себе отечество литературное и философическое и преданы ему всем сердцем.

Однако немцы сами ставят препоны развитию просвещения в их стране, насаждая сектантский дух: в Германии люди, лишённые возможности влиять на судьбы общества, заменяют принадлежность к политической партии принадлежностью к той или иной философической секте, и это пристрастие также имеет свои отрицательные стороны. Разумеется, прежде чем примкнуть к последователям того или иного учения, человек внимательно изучает его и оценивает, пользуясь свободой суждения. Первый шаг делается добровольно, дальше, однако, картина меняется. Если вы согласны с исходными положениями, то вам придется согласиться и со всеми выводами, которые делает из них глава секты, — ведь иначе вы пойдете ему наперекор. Какой бы разумной ни была цель секты, средства ее таковыми не бывают. Дабы в зародыше подавить разногласия, основатель секты должен внушить своим последователям слепое доверие к себе — ведь, предоставленный сам



себе, человек никогда не разделяет полностью взгляды другого человека.

Есть и еще одна немаловажная причина, по которой стоит с подозрением отнестись к новым учениям, проповедуемым той или иной сектой: ум человеческий развивается слишком медленно, чтобы открыть целую цепочку истин разом. Сотня лет уходит на то, чтобы добавить к известному две или три новые истины, — и открытие это составляет заслуженную славу столетия. Как же может быть, чтобы один-единственный человек подарил миру целую систему совершенно новых истин? К тому же истина, как правило, очевидна и удобопонятна, а очевидное фанатиков не привлекает. Дабы пробудить в душе человека желание выделиться из общей массы, которое как раз и движет новооброщенными, нужны идеи причудливые, а главное, нужна таинственность. Когда желание выделиться побуждает таланты к соперничеству на поприще литературы, оно способствует развитию просвещения, когда же оно предает множество умов во власть одного, действие его пагубно.

Дисциплинированная армия одерживает победы, лишь если подчиняется воле одного командующего, но всякий человек на пути к истине добивается успеха, лишь если полагается на собственный разум и на достижения своей эпохи, а не на писания той или иной партии \*.

Большинство просвещенных людей в Германии поклоняются добродетели и красоте, благодаря чему сочинения их весьма возвышенны. Немецкие философы заменили религиозные предрассудки суровыми нравственными предписаниями. Французы же ограничились тем, что свергли власть догм. Но разве просвещение может принести народам счастье, если оно влечет за собой только разрушение, если оно не учит ничему долговечному, не пробуждает в душе новых чувств, не открывает людям новых нравственных обязанностей, отличных от древних добродетелей? <sup>20</sup> Немцы, бесспорно, заслужили свободу, ибо революция, свершенная ими в философии,

\* Как ни изобретателен ум Канта, как ни возвышенны его принципы <sup>19</sup>, сочинения его, я полагаю, не дают оснований опровергнуть то, что я сказала о пагубности сектантского духа.

заменила ветхие преграды, стоявшие прежде перед человечеством, незыблемыми рубежами естественного разума.

Если бы непреклонный рок судил однажды Франции утратить всякую надежду на завоевание свободы, источником просвещения сделалась бы Германия; рано или поздно здесь сложились бы основания политической философии. В душах англичан война между Францией и Англией поселила, должно быть, ненависть ко всему французскому, немцы же, по всей вероятности, сохранили большее беспристрастие и судят о вещах более справедливо.

Они более напряженно, чем мы, размышляют о том, как улучшить судьбу человечества: они развивают просвещение, воспитывают общественное мнение, мы же попытались разрешить все вопросы с помощью насилия — и все наши предприятия окончились крахом. Мы не посеяли ничего, кроме ненависти, и друзья свободы предостоят перед соотечественниками, потупив взоры, краснея за преступления одних, страдая от злой клеветы других. Я обращаюсь к тебе, просвещенный немецкий народ, к вам, жители Германии: если однажды вы, подобно нам, поддадитесь обаянию республиканских идей, свято исполняйте один завет, и вы избежите непоправимых ошибок. Не позволяйте себе совершать поступки, противные велениям нравственности, не слушайте советов жалких болтунов, которые скажут вам, что у частных лиц и общественных деятелей разная мораль. Она разная только для людей лживых и малодушных, и если мы гибнем, то лишь оттого, что внимали им.

Взгляните на нацию, в лоне которой поселилось преступление: гонители по-прежнему беспокойны, гонимые по-прежнему непреклонны; ни одна точка зрения не кажется безобидной, ни один довод не доходит ни до чьего слуха; каждое имя окружено таким обилием историй, лживых рассказов, клеветнических измышлений, что среди политических деятелей вряд ли найдется хоть один человек с незапятнанной репутацией, человек, которому другой человек захочет оказать снисхождение; ни одна партия не хранит верность своим взглядам, общий страх связывает людей узами, которые рвутся, лишь только перед этими людьми забрежит надежда

спастись поодиночке; наконец, великодушные убеждения и преступные деяния, раболепные слова и благородные чувства настолько тесно переплелись меж собой, что потребность уважать своих собратьев остается неудовлетворенной и люди с трудом доверяют самим себе.

Достаточно было однажды поддержать в мыслях или на словах жестокие и бесчеловечные решения, чтобы извратить ход всей жизни, чтобы изгнать из сердца покой и ту всеобщую благожелательность, которая внушала надежду встретить сочувствие повсюду, где есть хоть одна живая душа. О, пусть нации, еще не утратившие порядочности, пусть люди, наделенные талантами политическими и сохранившие чистую совесть, берегут как зеницу ока свое счастье, если же в их отечестве начнется революция, пусть страшатся только одного — коварных друзей, которые посоветуют им обрушить гонения на побежденных.

Свобода придает своим защитникам новые силы, совместными стараниями люди находят выход из любого положения; ход веков сметает со своего пути всех, кто выступает за прошлое и против будущего; но бесчеловечность сеет раздор, умножает войны, делит нацию на враждующие кланы; народ, долгое время терпящий несправедливость, уподобляется тем воинам, выросшим из зубов Кадмова дракона, которым разгневанный бог подарил жизнь для того, чтобы они до самой смерти бились друг с другом.

## ГЛАВА XVIII

### ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИЯ ПРЕВОСХОДИЛА ИЗЯЩЕСТВОМ, ВЕСЕЛОСТЬЮ И БЕЗУПРЕЧНОСТЬЮ ВКУСА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ НАЦИИ

---

Французская веселость, французский вкус вошли в поговорку во всех странах Европы, причем эти свойства французов объясняли, как правило, их национальным характером. Но что такое национальный характер, как не результат установлений

и обстоятельств, которые влияют на счастье народа, на его занятия и привычки? Стоило этим обстоятельствам и установлениям измениться, и французы перестали сочинять эпиграммы и отпускать остроумные шутки; острословы молчали даже в самые покойные периоды революции, даже при виде самых забавных контрастов. Многие из тех людей, в чьих руках оказалась судьба Франции, не могли похвастаться ни изяществом выражений, ни блеском ума; более того, своим влиянием они, пожалуй, не в последнюю очередь были обязаны именно угрюмости, скрытности, хладнокровной жестокости манер и чувств.

Национальный дух зависит преимущественно от религии и законов. Некоторые изменения вносит также климат, но на общее развитие высших классов общества всегда влияет прежде всего политический строй. Поскольку в центре внимания людей находится правительство их родной страны, форма правления предопределяет привычки и мысли. Постараемся же понять, отчего французским честолюбцам было выгодно блистать изяществом и веселостью, и нам станет ясно, почему оба эти свойства достигли в нашем отечестве высших степеней совершенства.

Если не считать наказаний и наград, предусмотренных законами, французов карали или хвалили смотря по тому, какое впечатление производили они при дворе. Абсолютные монархи и пышные дворы бывали и в других королевствах, но нигде больше не найдем мы стечения обстоятельств, подобного тому, которое влияло на ум и нравы французов.

В конституционных монархиях, каковы Англия и Швеция, король, наблюдая любовь подданных к свободе, их борьбу за политические права и непрерывные гражданские смуты, сознавал, что его любимцы должны уметь постоять за себя, а царедворцы понимали, что даже для того, чтобы понравиться королю, нужно прежде доказать свою собственную значительность и независимость.

Германия вследствие долгих войн и раздробленности оставалась феодальным государством, лишенным столицы, где собирались бы все просвещенные люди страны, представляющие самые разные области знания.

Восточные и северные тираны заботились прежде

всего о том, чтобы внушить подданным страх, и отнюдь не требовали от них остроты ума; желание понравиться властителю показалось бы в деспотическом государстве пугающей развязностью.

В республиках, как бы они ни были устроены, люди всегда ожидали друг от друга защиты либо помощи и не имели возможности общаться ради забавы и удовольствия.

Мавританская учтивость, почтение, которым мавры окружали женщин, могли бы приблизить испанские нравы к французским, но преданность испанцев суевериям задержала их развитие не только в отношении наук, но и в отношении светской любезности; ленивый южный ум полностью вверил себя духовенству.

Итак, только во Франции, где власть короля укрепилась с молчаливого согласия духовенства, монарх обладал правами на деле неограниченными, по закону же весьма неопределенными. Такое положение дел вынуждало его обходиться учтиво даже с собственными приближенными, ибо они принадлежали к тому сословию победителей, которое уступало ему Францию, свою добычу, и упрочивало его власть над нею.

Щепетильное чувство чести, выгодно отличавшее привилегированное сословие, заставляло дворян скрывать свою покорнейшую преданность королю под маской независимости. Им необходимо было сохранять в отношениях с повелителем некий рыцарский дух, необходимо было выводить на щите: «За прекрасную даму и короля», дабы казалось, что они по доброй воле выбрали то ярмо, которое несли; так, поработанные, но не теряющие достоинства, они старались гнуть шею, но не подличать. В их положении изящество было, можно сказать, насильственной мерой; только оно помогало выдать вынужденную покорность за добровольную.

Со своей стороны король, которому приходилось в каком-то смысле выступать глашатаем общественного мнения, судьей, решающим, кто достоин славы, а кто нет, мог награждать, только осыпая похвалами, карать, только предавая позору. Он принужден был искать поддержки у общества, которое, разумеется, прислушивалось к его желаниям, но нередко позволяло себе поступки независимые. Первых людей королевства связывали с их повелителем узы весьма деликатного свойства:

они искусно играли на предрассудках государя, выказывая незаурядную гибкость ума; монарх или, по крайней мере, исполнители монаршей воли должны были действовать с большим изяществом и, выбирая фаворитов и осыпая их милостями, выказывать большую осмотрительность и тонкий вкус, дабы никто не мог заметить, где начинается королевская власть и где она кончается. Король обязан был уважать некоторые неписанные права и пренебрегать другими, писанными, причем тонкость нравственного суждения подданных была так велика, что малейшее нарушение условленных форм ощущалось решительно всеми и могло привести к отставке даже самого влиятельного министра.

Чтобы спокойно править страной, держа подданных в совершенном повиновении, королю приходилось именовать первым дворянином своего королевства и ради укрепления своей власти слегка заискивать перед дворянским сословием. Поскольку в ту пору самовластие правительства вовсе не исключало свободы мнений, люди чувствовали необходимость завоевать расположение окружающих и самыми разными средствами старались его добиться. Изящество манер и обходительность придворных сообщались литераторам. Взоры общества, алчущего милостей, всегда устремлены на власти предержанные: в свободных странах люди совершенствуют общественные добродетели под влиянием правительства, в монархиях же на дух нации влияет двор — толпа всегда стремится подражать тем, кто ею повелевает.

Когда правительство действует достаточно умеренно, чтобы подданные могли не опасаться жестокостей, и достаточно самовластно, чтобы все должности и блага распределялись исключительно по его прихоти, все, кто претендуют на какие-либо знаки отличия, должны сохранять достаточное присутствие духа, чтобы вести себя любезно, и выказывать достаточную ловкость, чтобы их легкомысленное обаяние приносило нешуточные плоды. Французы, принадлежавшие к высшему сословию, нередко стремились к власти, но на этом пути им не грозили никакие лишения; они делали ставки, побуждаемые одной лишь надеждой и не рискуя много потерять; под вопросом была лишь сумма выигрыша; меж тем если большие опасности вливают

в душу и мозг новые силы, то сознание безопасности рождает пленительное ощущение непринужденности и довольства.

В еще большей степени, чем изящная учтивость, различия между сословиями стирала остроумная веселость; она позволяла вельможам мнить себя ровней королям, поэту — считать себя ровней вельможам. Более того, вельможам эта веселость дарила наслаждения изощреннейшие: на минуту забыв о собственном превосходстве, они еще сильнее радовались, вспомнив о нем снова; так всеобщее желание нравиться ближним совершенствовало вкус и оттачивало остроумие.

Заимствованная у итальянцев манерность мыслей и чувств, много повредившая всем нациям Европы, изменила было к худшему и французскую обходительность, но свет разума не мог не возратить французов к простоте. Шолье, Лафонтен, госпожа де Севинье — образцы непринужденности — изъяснялись с изяществом неподражаемым. Итальянцы и испанцы брались за перо из желания понравиться прекрасному полу, но не могли сравниться с французами в умении осыпать женщин умными и тонкими комплиментами. Честолюбец должен льстить гораздо более искусно и остроумно, нежели дамский угодник; в стране, где образ правления и нравы таковы, что преуспеть способен лишь тот, кто нравится окружающим, честолюбцу следует потакать всем страстям мужчин и всем бесконечным прихотям их тщеславия.

Изящество и хороший вкус не только помогали французским вельможам преуспеть в свете, они избавляли их от страшнейшей опасности — опасности показаться смешными. Смех — оружие по преимуществу аристократическое: чем больше в обществе классов, тем больше в отношениях между ними условностей, которые необходимо знать и чтить. В высших сословиях складываются некоторые обычаи, рождаются некоторые правила учтивости и изысканности, служащие, так сказать, опознавательными знаками, с помощью которых можно отличить посвященных от чужаков. Люди, принадлежащие к высшим сословиям и пользующиеся милостями государя, непременно оказывают значительное воздействие на общественное мнение, ибо, за очень редкими исключениями, власть имущие

суть люди со вкусом, влиятельные персоны суть люди учтивые, а баловни фортуны суть всеобщие любимцы.

Во Франции представители высшего сословия умели схватывать тончайшие оттенки чувств и отношений, а, поскольку именно им осмеяние грозило в первую очередь, они более всего страшились показаться смешными. Страх этот часто губил самобытные таланты, быть может, он даже отнимал решимость у политических деятелей, но он развивал у французов замечательную проницательность. Французские писатели понимали и рисовали человеческие характеры лучше, чем литераторы любой другой нации. Постоянно исследуя, что может повредить им в глазах света, а что пойти на пользу, они становились чрезвычайно наблюдательны. Мольер и некоторые другие комические поэты, пришедшие после него, не имеют себе равных среди сочинителей всех прочих наций, подвизавшихся на поприще комедии. В отличие от англичан или немцев французы не могут глубоко проникнуть в чувства людей несчастных: они слишком привыкли избегать несчастья, чтобы толком его изучить, но зато ни одному народу на земле не удавалось так блестяще изобразить людей, достойных осмеяния,— мучимых тщеславием, обманывающих себя (из самолюбия) или других (из гордыни), раболепно прислушивающихся к чужому мнению и полностью от него зависящих.

Веселость возвращает к природе; учтивость французов зиждется на сплошных условностях, и если французское светское общество до сих пор гордится правдивостью идей и естественностью их выражения, то обязано оно этим исключительно своей веселости.

Конечно, люди просвещенные в большинстве своем вели себя не слишком мудро; частенько за ними водились те самые слабости, которые они осуждали в своих сочинениях, тем не менее в их книгах и беседах присутствовало нечто, искупавшее эти слабости: они отдавали дань уважения философии, показывая, что знают все, что требуется знать человеку разумному, и при необходимости могут сами посмеяться над своим честолюбием, своей гордыней и даже над своим положением в обществе, от которого они, впрочем, ничуть не собирались отказываться.

Двор желал нравиться нации, а нация — двору;



придворные хотели казаться философами, а горожане — светскими щеголями. Царедворцы, общаясь с парижанами, желали доказать, что у каждого из них есть личные достоинства, особенный характер и ум, а парижан непреодолимо тянуло подражать блестящим манерам царедворцев. Это соперничество не способствовало познанию суровых и нелицеприятных истин, зато ни одна остроумная идея, ни один тончайший оттенок чувства не оставались скрытыми от своекорыстного ума.

Около двух столетий назад Агриппа д'Обинье, рисуя в одном довольно забавном сочинении портрет герцога д'Эпернона, сказал, что француз знает два состояния — «быть» и «казаться»<sup>1</sup>. До революции все французы так или иначе стремились «казаться», поскольку на театре света такое желание одолевает каждого. Когда о тебе судят только по твоим манерам, приходится в первую очередь заботиться о том, как ты выглядишь; более того, во Франции искать успеха светского было вполне простительно, ибо другого поприща, на котором можно было бы выказать свои таланты и обратить на себя внимание властей, не существовало. Зато какое богатое поле деятельности для сочинителя комедий — страна, где репутация человека зависит не от его поступков, а от его манер! Неумеренное стремление прослыть изящным, необоснованные притязания на светскость — все это неисчерпаемые источники шуток и комических сцен.

Понятно, что там, где все важные события свершаются в салонах и все характеры выражаются в речах, роль женщин неизмеримо возрастает; женщины здесь — могучая сила, и мужчины стремятся им угождать. Большинство выдающихся людей в монархической Франции располагали обширным досугом, что способствовало совершенствованию искусства беседы и доставляло изощреннейшие наслаждения уму. Во Франции люди приходили к власти не благодаря трудолюбию и учености, — нередко причиной стремительного продвижения было остроумное слово либо неизъяснимое изящество манер, и случаи эти, постоянно множась, поселяли в умах своего рода философию беззаботности, веру в милости фортуны, презрение к кропотливому труду и прививали всем страсть к за-

бавам и удовольствиям. Когда развлечения не только дозволены, но зачастую и выгодны, нация непременно достигает в этой области самого большого совершенства.

Какой бы образ правления ни установился в будущем во Франции, описанное только что положение дел больше не повторится; тогда-то всем и станет окончательно ясно, что так называемый французский ум и французское изящество были всего лишь ближайшим и неперменным следствием установлений и нравов, сложившихся в французской монархии несколько столетий назад.

## ГЛАВА XIX О ЛИТЕРАТУРЕ ВЕКА ЛЮДОВИКА XIV \*

Хотя словесность вновь воцарилась в Европе благодаря изучению древних, литераторы принялись подражать грекам и римлянам не в эпоху Возрождения, а много позже. В начале XVII столетия французы превыше всего ставили испанцев: их величаяя словесность помогла нашим авторам избежать пагубного влияния итальянцев, чьи сочинения в ту пору гремели по всей Европе; Корнель, родоначальник французской славы, многим обязан изучению испанских характеров <sup>1</sup>.

Век Людовика XIV, прославленный литературными шедеврами, в философическом отношении сильно уступает следующему, XVIII столетию. Монархическое правление, а главное, убежденность монарха в том, что первая обязанность подданных — восхищение его королевской особой; религиозные гонения и суеверия, бывшие еще в большой силе <sup>2</sup>, — все это ограничивало возможности разума; об углубленном и систематическом рассмотрении идей определенного рода не могло

\* Я не стану вдаваться в подробности, говоря о французской литературе; все любопытные вещи по этому поводу уже сказаны. Я ограничусь тем, что покажу, какой путь проделали мы со времен Людовика XIV до революции 1789 года.

быть и речи; никакую мысль невозможно было развить до конца. Литераторы века Людовика XIV отличались блистательным воображением, однако литература в ту пору еще не сделалась философической силой, ибо она искала поддержки у абсолютного монарха и пользовалась его полным доверием. Литература, стремящаяся только развлекать, не может сравниться мощностью с той, которая в конце концов свергла короля. Иной раз писатели, подобно Ахиллу, оставляли легкомысленные прикрасы ради того, чтобы взять в руки оружие, но в общем книги почти никогда не затрагивали вопросов подлинно важных; литераторы были далеки от насущных потребностей общества. Исследование основ государственного строя, рассмотрение догматов религии, оценка людей, облеченных властью,— все, что могло повлечь за собой результат практический, было для литераторов за семью печатями.

В ту пору написать «Приключения Телемака» значило проявить недюжинную отвагу, а ведь «Приключения Телемака» — книга хотя и правдивая, но проникнутая монархическим духом<sup>3</sup>. Массийон и Флешье отваживались высказывать кое-какие независимые мысли под защитой священных заблуждений; Паскаль жил в царстве духа, посвятив себя опытным наукам и религиозной метафизике; Ларошфуко, Лабрюйер с чудесной пронизательностью изображали представителей различных сословий, но, поскольку французы в то время еще не были нацией, у них не существовало подлинно великих политических деятелей, которых может вскормить только свободное государство. Корнель, родившийся вскоре после того, как окончились бурные времена Лиги, часто выводит в своих трагедиях республиканские характеры, однако разве найдется среди сочинителей века Людовика XIV хоть один, способный сравниться независимостью философических взглядов с Вольтером, Руссо, Монтескье, Рейналем и проч.?<sup>4</sup>

Шедевры века Людовика XIV по праву славятся безупречным слогом; в этом отношении они навсегда останутся образцами для всех пишущих по-французски. Литераторы XVII столетия, за исключением Боссюэ, показали в своих сочинениях отнюдь не все, на что способно искусство красноречия, однако они с успехом

избегали недостатков, способных погубить даже самые великие таланты.

Аристократическое общество в высшей степени благоприятствует рождению утонченного, изящного слова. Чтобы хорошо писать, нужен не только ум, но и привычка, и если мысли приходят к автору в уединении, то образы, в которых они воплощаются, чаще всего бывают связаны с воспоминаниями автора о годах учения и об обществе, в котором он затем вращался. Во всех странах, но во Франции в особенности, каждое слово имеет, можно сказать, свою собственную историю; одно силой чрезвычайных обстоятельств приобрело оттенок благородства, другое сделалось низким. Писатель, некстати употребивший некое выражение, может навечно превратить его в повод для насмешек; привычки, убеждения, верования тех или иных лиц могут сообщить самому естественному образу звучание возвышенное или подлое. Чистый слог и безупречный вкус сохраняются лишь стараниями узкого круга выдающихся людей, получивших блестящее воспитание либо одаренных блестящими талантами. Откуда возьмется у авторов, окруженных людьми грубыми, то чутье, благодаря которому человек отталкивает все, что оскорбляет вкус, даже не успев дать себе отчет в причинах своего отвращения.

В слогe воплощаются, если можно так выразиться, поступь, интонация, жесты пишущего<sup>5</sup>; вульгарность\* манер ни при каких обстоятельствах не способна придать новую силу ни мыслям, ни словам. Точно так же обстоит дело и со слогом: он должен быть тем благороднее, чем серьезнее предмет, о котором идет речь. Возвышенный язык не отнимает мощи ни у одной мысли, ни у одного чувства, но лишь помогает автору сохранить достоинство, которого не должен утрачивать ни один человек, отдающий свои творения на суд себе подобных. Ибо многоликая публика, которой пишущий вверяет тайну своего характера, не ждет бесцеремонного обращения: уважающие себя читатели с полным

\* Я прекрасно знаю, что до сих пор никто еще не употреблял слова «вульгарность», но оно кажется мне выразительным и точным<sup>6</sup>. В одном из примечаний ко второй части своей книги я объясню, какими правилами следует, на мой взгляд, руководствоваться при отборе новых слов (примеч. ко 2-му изд.).

правом оскорбились бы излишней доверительностью автора.

Итак, если независимые республиканцы желают, чтобы полезные истины получали всеобщее распространение, а философические труды являли собой классические образцы стиля, им следует брать пример с великих мастеров, творивших в век Людовика XIV.

Уже давно ведутся споры о том, следует ли сочинителям трагедий подражать обычной природе или же природе прекрасной. Я высказала некоторые соображения о том, в каких трагедиях нуждается республиканское государство, во второй части своей книги, к которой и отсылаю читателя; в этой главе подобные рассуждения были бы неуместны. Трагедии Расина, автора, в совершенстве владевшего искусством изображать идеально прекрасное, величайшего мастера слога и стиха, дают самое ясное представление о том действии, какое оказывали законы и нравы века Людовика XIV на драматические сочинения. Рыцарский дух привил дворянам щепетильность, вносящую в их представления о чести немало условностей: предполагалось, что существует определенный уровень доблести, ниже которого человек благородного происхождения не может опуститься ни при каких обстоятельствах. Чувство чести диктовало свои законы также игре воображения и искусству трагедии, меж тем чувство это столь деликатно, что его смущает любое, пусть даже самое незначительное нарушение приличий, способное оскорбить пылкую аристократическую гордость; поэтому круг характеров, подлежащих изображению, был крайне узок. Характеры эти сильно уступали в разнообразии тем, что существуют в жизни; из почтения к высшему сословию сочинители изгоняли из портретов благородных героев все, что могло хоть сколько-нибудь унижить их.

Поклонение королю лишь увеличивало склонность к изображению природы идеально прекрасной. Нация, состоящая из почитателей одного-единственного человека, утрачивает свой характер. Привыкнув осыпать преувеличенными похвалами Людовика XIV, поэт начинал живописать пером льстеца и всех прочих действующих лиц; в своих сочинениях он оставался таким же угодливым царедворцем, как и в жизни;

во всех трагедиях на сцену являлись одни и те же лица. Ахилл в «Ифигении» учтив на французский манер; в Тите можно узнать Людовика XIV<sup>7</sup>. Величайший гений мира Расин не позволял себе осуществить смелые замыслы, которые, возможно, приходили ему в голову, ибо постоянно помнил о людях, на чей суд отдавал свои творения.

Грозное и шумное народное собрание, состоящее из людей незнакомых, вселяет в автора меньше робости, чем тот придворный ареопаг, чьего благоволения он должен добиваться, угадывая пристрастия каждого из его членов. Перед лицом такого суда вкус необходим, пожалуй, даже больше, чем мощь. Великих результатов здесь можно добиться, лишь вникнув в множество мельчайших оттенков, что же до тех средств, благодаря которым простой народ валил толпами на представления комедий Шекспира, то они здесь не годятся.

В изображении любви литераторы века Людовика XIV также следовали некоторым неписаным законам. Учтивное обхождение с женщинами, вошедшее в обычай со времен рыцарства, придворный этикет, изысканный язык, который надменная знать почитала лишним свидетельством своей исключительности, — все это лишь умножало число условностей, которые поэтам приходилось уважать. Трудности эти часто прибавляли славы тому, кому удавалось их преодолеть, но нередко случалось и так, что изысканность выражений охлаждала пылкость чувств. Некий мадригальный дух выдавал хладнокровие автора, даже если он тщился изобразить неистовую страсть, и зачастую сочинителям оставались равно недоступны и язык разума и язык любви.

Даже Расину не доставало знания человеческого сердца — того знания, которое дает одна лишь философия. Впрочем, если говорить подробнее о том, чего не доставало шедеврам века Людовика XIV в философическом отношении, лучше обратиться к сочинениям, не принадлежащим к поэзии драматической, прежде всего к историческим трудам. Ограниченность познаний философических и есть одна из главных причин ничтожности тогдашних историков.

Религиозные войны лишили сочинителей беспри-

страстия и превратили исторические труды в богословские трактаты, защищающие ту или иную веру; не меньше религиозной пристрастности искажала факты и пристрастность сословная. Наконец, поскольку в феодальном государстве всякое установление, всякая должность восходили к незапамятным временам и были освящены временем, о прошлом, даже самом отдаленном, нельзя было говорить правду — от этого пострадали бы современные власти; одним словом, за какую бы тему ни взялись историки, на пути их вставали многочисленные заблуждения; хуже того, зачастую они всерьез считали эти заблуждения истиной.

Окруженный множеством священных установлений, блестящих предрассудков и общепринятых условностей, человек не в силах был полагаться на собственные независимые суждения; разум его не пытался подвергать исследованию все сущее, душе не удавалось освободиться от ига общепринятых взглядов; даже в уединении он не мог стать самим собой: преклонение перед королем и королевской властью сделалось заветнейшим убеждением каждого подданного Людовика XIV. Деспотизм никому не казался ярмом, стесняющим умы и души; в деспотизме все видели вещь до того естественную, что подчинялись ему как одному из проявлений вечного и неизблемого миропорядка.

У независимости оставалось лишь одно прибежище — религия, и нашелся человек, который под защитой церковного сана высказал несколько смелых истин, — то был Боссюэ. В жизни все подчинялось королю, и говорить с ним на равных можно было только о смерти. Ограничить власть монарха могли только религиозные догматы, обряды, церемонии; короля заклинали вечностью; людям, вверившим свою земную судьбу одному-единственному человеку, ничего не оставалось, кроме как взывать к Богу, ибо перед Богом трепетали даже короли.

Попади сейчас французы под начало самовластного правителя, как недоставало бы им этих возвышенных идей, которые, объемля все человечество, залечивают раны, нанесенные слепой судьбой; разум философов не смог бы оказать тирании того сопротивления, какое оказывали ему неукротимая вера и

бесстрашное самоотвержение вдохновенных священнослужителей<sup>8</sup>.

## ГЛАВА XX ОТ XVIII СТОЛЕТИЯ К 1789 ГОДУ

---

Нам предстоит поведи речь об эпохе, когда литература уступила первенство философии. После смерти Людовика XIV злоупотреблений не стало меньше, однако авторитет короля был уже не так велик и мыслящие люди задумались над вопросами религиозными и политическими: для разума наступила революционная пора. Первый толчок пылливому уму французов, заведшему их так далеко, дало знакомство с трудами английских философов; повлияли на судьбу французской литературы и обстоятельства более общего характера: как я уже пыталась показать, вслед за расцветом изящной словесности всегда наступает расцвет философии. Счастливы будут французы, если метафизическая философия и опытные науки будут их стараниями развиваться с прежним блеском и судьба не прервет эту нить, тянущуюся из прошедшего столетия.

Свобода мнений проявилась во Франции прежде всего в нападках на католическую религию: случилось это, во-первых, оттого, что подобные нападки были единственной вольностью, которая могла остаться без последствий для сочинителей, а во-вторых, оттого, что Вольтер, первым приохотивший французское общество к философии, был неистощим на шутки по поводу католицизма — шутки, выдержанные в французском и, более того, придворном духе.

Не сознавая, что все предрассудки теснейшим образом связаны меж собой, царедворцы надеялись сохранить строй, зиждущийся на заблуждениях, щеголяя при этом философическими взглядами; они желали презирать дворянские привилегии, по-прежнему ими пользуясь; они полагали, что сумеют просветить относительно злоупотреблений только тех, кто в них повинен, и были убеждены, что, в то время как горстка



знатных людей прибавит к наследственному превосходству еще и превосходство образованности, чернь сохранит свои верования в неприкосновенности; они льстили себя надеждой, что смогут долго дурачить низшие сословия и тем не надоеет оставаться в дураках. Никто не сумел лучше воспользоваться этим умонастроением французской знати, чем Вольтер, который, возможно, и сам придерживался тех же взглядов.

Он любил вельмож, любил короля; он хотел не столько изменить общество, сколько просветить его. Оценить по достоинству его сочинения, где царят изящное остроумие и безупречный вкус, могли, пожалуй, лишь читатели-аристократы. Он мечтал о том, чтобы браить просвещение стало дурным тоном, о том, чтобы философия вошла в моду, но он не потрясал естества человеческого, не искал в лесной чащобе первобытных страстей, которые помогли бы пошатнуть вековые основы государства. Оружием Вольтеру служила насмешка; он постепенно подтачивал могущество некоторых заблуждений с помощью шуток, искоренял те предрассудки, которые без труда уничтожила разразившаяся впоследствии буря, но не предвидел революции, которую готовил, и не желал ее<sup>1</sup>.

Поскольку по убеждениям своим он не сочувствовал республике, зиждущейся на философической идее равенства, она не могла быть тайной целью его стремлений. Он писал, ничего не скрывая, не вынашивая далеко идущих планов: ясность и легкость его стиля таковы, что читатель постигает все сразу, ничего не разгадывая.

Руссо, чья душа исстрадалась от несправедливости, неблагодарности, тупого презрения людей равнодушных и легкомысленных, Руссо, которому постыло общество, мог искать спасения в природе. Но славу Вольтера создали общество, искусство и цивилизация монархические, и он, должно быть, вовсе не желал низвергнуть тот уклад, на который напал. Большинству его шуток грозит опасность утратить с исчезновением тех предрассудков, которые в них высмеиваются, и ценность и занимательность.

Ни одному сочинению, написанному на злобу дня, не суждена вечная слава. Мы видим в них полезные

поступки, но не бессмертные творения. Писатель, просвещающий современников и потомков изображением неизменной природы человека, его мыслей и чувств, не зависит от обстоятельств: они не властны над излагаемыми им истинами. Но среди прозаических сочинений Вольтера некоторые уже сейчас походят на «Письма к провинциалу»<sup>2</sup>: стиль восхитителен, а содержание наводит скуку. Что нам до насмешек над иудеями или католической религией?! Они устарели, а «Филиппики» Демосфена<sup>3</sup> по-прежнему злободневны, ибо он обращался к человеку, а человек жив на земле и поныне.

В царствование Людовика XIV писатели ставили превыше всего отточенный слог; в XVIII столетии литература преобразилась — она стала не только искусством, но и оружием; прежде ей достаточно было поучать и забавлять читателей, теперь она повела их в бой.

Во времена Вольтера шутка, подобно восточным апологам, служила для того, чтобы в аллегорической форме преподнести истину, которую опасно высказывать впрямую. Монтескье применил этот прием в «Персидских письмах», но, не обладая природной веселостью Вольтера, шутил натужно. На смену «Персидским письмам» пришли произведения более совершенные; из мыслей Монтескье родились тысячи новых мыслей. Он рассматривал все политические вопросы хладнокровно, не имея никакой положительной системы<sup>4</sup>. Он открыл людям глаза; его наследники сделали выбор. Но если однажды французская философия, исследующая общество, сравняется в точности и целесообразности с опытной наукой, то родоначальником ее по праву будет считаться Монтескье.

Затем пришел Руссо. Он ничего не изобрел, но все воспламенил; стремление к равенству, способное вызвать гораздо большие потрясения, чем любовь к свободе, рождающее вопросы гораздо более жгучие и происшествия гораздо более ужасные, — стремление к равенству во всем своем величии и во всей своей низости звучит в каждой строчке Руссо и взывает ко всем добродетелям человека, равно как и ко всем его порокам<sup>5</sup>.

Вначале вся философия XVIII столетия воплотилась

в Вольтере, который приучал своих соотечественников, словно детей, играть с тем, что внушает им страх. Затем настала пора взглянуть на мир серьезно и, наконец,— овладеть им. Вольтер, Монтескье, Руссо воплощают эти разные этапы развития разума; подобно олимпийским богам, им достаточно было сделать три шага, чтобы оказаться у цели <sup>6</sup>.

Философический дух обогатил литературу XVIII века. В том, что касается чистоты слога и изящества выражений, никому не удалось пойти дальше Расина и Фенелона, однако дух исследования, сообщив уму большую независимость, направил его на множество новых предметов. Философические идеи проникли в трагедии, в сказки, в сочинения сугубо развлекательные, и Вольтер, сопрягая изящество предшествующего столетия с философией нынешнего, возвысил свое очаровательное остроумие изложением идей, которые в ту пору казались совершенно несбыточными.

Хотя Вольтер и уступает Расину, он усовершенствовал драматическое искусство. Не повторяя несообразностей английских трагедий и не осмеливаясь даже перенести на французскую сцену все их красоты, он изображал горе с большей силой, чем его предшественники <sup>7</sup>. Обстоятельства, положенные в основу его пьес, более трагичны, страсти изображены с большей непринужденностью, нравы персонажей ближе к действительности. Когда философия идет вперед, все следует за нею; вместе с идеями совершенствуются чувства. Некие путы сковывают ум, мешая человеку наблюдать свои ощущения, сознавать их смену, облекать их в слова, философия же, даруя уму независимость, помогает литератору лучше узнать и природу человека вообще и его собственную природу. Поэтому трагедии Вольтера волнуют нас сильнее, хотя и вызывают у нас меньшее восхищение, нежели трагедии Расина <sup>8</sup>. Чувства, положения, характеры, изображенные Вольтером, теснее связаны с нашими воспоминаниями. Ради совершенствования нравственности театр должен представлять нам образцы для подражания, стоящие много выше нас, однако волнение наше будет тем глубже, чем лучше сумеет автор нарисовать наши собственные чувства.

Есть ли на театре роль более трогательная, чем

роль Танкреда? <sup>9</sup> Федра поражает нас, преисполняет восторга, но в ее характере мы не найдем женской чувствительности и нежности. В Танкреде же мы обретаем героя, с которым, кажется, были некогда знакомы, друга, об утрате которого сожалеем. Доблесть, меланхолия, любовь, все, что заставляет нас дорожить жизнью и жертвовать ею,— все разновидности духовного сладострастия собраны в этой восхитительной пьесе. Защищать отечество, откуда ты изгнан, спасти возлюбленную, которую ты считаешь изменницей, потрясти ее своим благородством и отомстить ей своей собственной гибелью — как возвышен поступающий так герой, но при этом как близок всякой чувствительной душе! Его отвага, движимая любовью, удивляет лишь по размышлению. Пьеса так завораживает зрителей, что каждый из них ощущает в себе готовность последовать примеру Танкреда.

А какой болью отзываются в наших сердцах чувства Аменаиды, навсегда плененной Танкредом, и Танкреда, свято чтящего Аменаиду! Федра нелюбима — разве может она дорожить жизнью? Но зрелище счастья, разрушаемого по воле случая, взаимного доверия (этого величайшего блага), оскверненного клеветой, производит впечатление столь горестное, что, если бы Танкред умер, так и не узнав об истинных чувствах Аменаиды, сердце наше не вынесло бы этого удара. Душераздирающая развязка приносит некоторое облегчение. Конечно, Танкред умирает в тот самый миг, когда жизнь снова становится ему дорога, но ведь он умирает счастливым.

Да и кто не согласится, что лучше покинуть этот мир, сожалея о жизни, чем чувствуя себя одиноким и похороненным заживо? Мы надеемся, что те, кто любил нас, не покинут нас и в том неведомом будущем, что ожидает нас за гробом; но если мы разочаруемся в их добродетелях и разуверимся в их любви, если мы станем сиротами уже в этой жизни, чего же нам ждать? Каких чувств преисполнится наша душа, устремляясь на небо? В каком сердце сохранится память об умершем — брэнном существе, алчущем вечности? Кто вознесет моления к верховному судии, заклиная его не разрывать цепь воспоминаний, связующую две души?

Взывая к чувствам, присущим в той или иной мере всем людям, писатель всегда глубоко волнует сердца, и это еще одна причина, по которой философические рассуждения в трагедиях Вольтера — если, конечно, они не слишком пространны — приковывают к этим трагедиям всеобщее внимание. Во второй части моей книги мне доведется говорить о том, как еще сильнее приблизить наш театр к природе и тем сообщить ему новые достоинства; бесспорно, однако, что благодаря Вольтеру драматическое искусство сделало в этом отношении шаг вперед и упрочило свою власть над умами.

Славу XVIII столетия составляют в основном сочинения прозаические. Без сомнения, первыми авторами, соединившими в своих творениях точность прозы с вымыслами поэзии, следует считать Боссюэ и Флешье. Однако никто не внес в развитие искусства прозы во Франции такого огромного вклада, какой внесли Монтескье и Руссо: первый — энергическим выражением мысли, а второй — красноречивым изображением страсти!

Стихи, в отличие от прозы, самой своей размеренностью вызывают у читателя приятное физическое ощущение, располагающее к умилению и восторгу; стихотворение — побежденная трудность; оценить его по достоинству способны лишь знатоки, но даже в душе профанов оно неизменно поселяет безотчетный восторг. Нельзя, однако, не признать, что и превосходная проза блистает такими поэтическими образами и красноречивыми периодами, которые преисполняют нас восхищения и наслаждения. Самому Расину случается поступиться совершенством стиля в угоду рифме, цезуре, количеству слогов, и если верно, что точное слово, передающее тончайшие оттенки и мимолетные сцепления мыслей, всякий раз только одно и не терпит замены; если верно, что все, вплоть до грамматических категорий и служебных слов, может послужить раскрытию идеи, пробудить воспоминания, исключить ненужные сопоставления, передать, не исказив, душевные движения, наконец, помочь раскрыться чудесному дару, благодаря которому одно живое существо может услышать другое, одинокая душа — проникнуть в тайну другого сердца и заветные

чувства другой души; если верно, что тончайшее чувство стилия оскорбляется даже самым мелким изменением в красноречивом периоде и что существует слог безупречный, — то возможно ли овладеть этим слогом, не погрешив против правил стихосложения? <sup>10</sup>

Ныне проза сделалась гораздо более гармоничной, однако ей не следует уподобляться стиху, иначе она станет однообразной, скованной в выборе слов, но все равно не сравняется мелодичностью с поэзией. Гармонию прозы подсказывает нашим органам чувств сама природа. Когда мы взволнованы, голос наш звучит то более нежно, выражая мольбу о снисхождении, то более сурово, выражая великодушную решимость; он взмывает вверх и падает вниз, когда мы хотим переубедить окружающую нас косную толпу; талант — это не что иное, как умение при необходимости призвать на помощь все природные чувствования, это та подвижность души, которая позволяет силою одного лишь воображения постигать те ощущения, какие обычные люди испытывают лишь под влиянием жизненных обстоятельств. Прекраснейшие из известных нам прозаических отрывков написаны языком страстей; человек посредственных способностей заговорил бы на этом языке, перед которым мы преклоняемся, лишь пережив тяжкие невзгоды; гений угадывает его.

На Филиппийских полях Брут воскликнул: «О добродетель, ужели ты всего лишь призрак?» Римский трибун, ведя солдат на верную смерть, сказал: «Идти вперед обязательно, вернуться назад — нет». Аррия вернула Пету кинжал со словами: «Возьми, не больно» <sup>11</sup>. Боссюз, превознося достоинства Карла I в речи над гробом его супруги, говорит, указуя на гроб: «Ее сердце, кое билось лишь ради любимого супруга, восстает из праха и трепещет при звуках драгоценного имени» <sup>12</sup>. Эмиль, собравшийся было отомстить любовнице, восклицает: «Несчастный, попробуй покарать ее, не причинив боли самому себе!» <sup>13</sup> Как отделить в этих речениях вымысел от правды, фантазию от истории? Отвага, талант, любовь, все, что возвышает, увеличивает душу, составляет ее славу и умножает ее самоотвержение, — вот сокровища, которые дарует нам сила чувств.

С той поры, как литераторы принялись искать

ответы; на вопросы серьезные и у них появилась надежда повлиять изложением заветных принципов на судьбу соотечественников и привить им уважение к этим принципам, стиль прозы сделался гораздо совершеннее.

Господин Бюффон любил писать и преуспел в этом искусстве, однако, хотя он и был человеком XVIII столетия, достижения его остались сугубо литературными: он не преследовал никакой цели, кроме создания книги прекрасно написанной, не искал ничего, кроме одобрения читателей, не стремился повлиять на них, взволновать их до глубины души; в слове он видел не только средство, но и цель и потому не достиг вершины красноречия.

В странах, где талант может изменить судьбу государства, величие его возрастает благодаря верно выбранной цели: тот же порыв, который вселяет в душу способность к героическому деянию, живет в красноречивом сочинении, если оно отстаивает благородную идею. Никакие награды монарха, никакие знаки отличия не способны вдохновить писателя так, как вдохновляет надежда послужить людям. Сама философия — лишь пустопорожняя трата времени там, где разум не властен над государственными установлениями. Если мысль бессильна улучшить участь человечества, она становится уделом жеманных педантов. У того, кто пишет, не умея изменить своими писаниями судьбу соотечественников и не мечтая овладеть этим умением, и слог и идеи немощны и безвольны<sup>14</sup>.

В XVIII столетии перед некоторыми французскими авторами впервые забрезжила надежда воплотить умозрения в жизнь; слог их сделался более решительным, красноречие — более искренним и пылким. Литератор, живущий в стране, где любовь к отечеству не приносит плода, вынужден изображать выдуманные страсти, разжигать в своей душе то чувство, которое ему желательно описать, и по мере сил смотреть на себя со стороны, прикидывая, могут ли его убеждения и пристрастия стать предметом литературного произведения.

Первые признаки великого обновления, которое несет с собою политическая свобода, можно заметить

уже при сравнении авторов, живших в век Людовика XIV, с писателями XVIII столетия; какую же мощь обретет гений в государстве, где ум делается полновластной силой? Писателя или оратора вдохновляет сознание нравственной или политической важности предмета, о котором он ведет речь: если он защищает жертву от палача, свободу — от угнетателей; если несчастные, за которых он заступается, трепеща вслушиваются в звуки его голоса, бледнеют, когда он колеблется, отчаиваются, когда, ослепленный предубеждением, он не находит нужных слов; если, наконец, ему подвластны сами судьбы отечества, — тогда он обязан заставить эгоистов забыть о корысти и страхах, обязан возвыситься до такого красноречия, которое хоть на мгновение зажжет огонь добродетели даже в крови закоренелых преступников. Разве, оказавшись в таком положении, имея перед собой такую цель, писатель не превзойдет сам себя? Он отыщет идеи и выражения, какие помогает отыскать только любовь к добру; он почувствует, что устами его глаголет некий дух, и, перечитывая или вспоминая много лет спустя творение, созданное в этом состоянии, сможет воскликнуть вместе с Вольтером: «Нет, это написал не я». В самом деле, отдельному человеку, человеку, вооруженному лишь своими частными талантами, недоступны те красноречивые мысли, что безраздельно овладевают всем нашим существом; но человек, сознающий, что он может спасти невинного, низвергнуть тирана, посвятить себя счастью человечества, ощущает прилив вдохновения сверхъестественного.

Дарует ли революция французам условия для столь славного соперничества на поприще литературы? Я постараюсь ответить на этот вопрос во второй части своей книги. Мои размышления о прошлом подходят к концу. Пора рассмотреть современное состояние литературы и высказать некоторые догадки относительно ее будущего. Изыскания этого рода вызовут более живой интерес, обратят на себя более пристрастное внимание, однако я чувствую, что могу исследовать настоящее так же хладнокровно, как если бы эпоха, в которую мы живем, уже давно канула в Лету.

Из всех умозрений, к которым склонны одинокие мыслители, самое доступное, на мой взгляд, — обду-



мывать события современные так, как если бы ты имел дело с историей ушедших веков. Размышления более чем любое другое занятие отвлекают от личных невзгод. Логика идей и множасьиe победы философии приковывают к себе ум гораздо крепче, чем обстоятельства нашей частной жизни — мимолетное, беспорядочное, непрочное порождение духа времени.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ И О ЕГО ГРЯДУЩИХ ПОБЕДАХ

### ГЛАВА I ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ВТОРОЙ ЧАСТИ

---

Я исследовала историю становления человеческого ума от Гомера до 1789 года. Ослепленная гордостью за свою нацию, я полагала, что французская революция знаменует новую эру в духовном развитии человечества. Меж тем весьма возможно, что революция эта была всего лишь страшной катастрофой! Весьма возможно, что засилье старинных привычек еще долго не позволит ей увенчаться благотворными результатами ни в политике, ни в философии. Как бы там ни было, я считаю полезным высказать здесь, во второй части своего труда, некоторые общие соображения о развитии человеческого ума, пусть даже справедливость их подтвердится в другой стране или в другую эпоху.

Поэтому мне представляется любопытным задуматься над тем, в какой литературе нуждается великий, просвещенный народ, наслаждающийся свободой и политическим равенством, народ, чьи нравы достойны новых государственных установлений. На земном шаре существует всего одна нация, которая в некоторых отношениях уже достигла такого уровня: я говорю об американцах. Литература у них еще не сложилась, но, когда их государственным деятелям приходится взывать к общественному мнению, им великолепно удается с помощью бесспорных истин и чистых чувств затронуть все струны в сердцах соотечественников, а это значит, что они владеют одной из главных тайн стиля. Отсюда следует, что, хотя в дальнейшем я буду говорить преимущественно о Франции, выводы мои справедливы и применительно к многим другим странам.

Всякий раз, когда я веду речь об изменениях и улучшениях, которые, можно надеяться, произойдут в

французской литературе, я имею в виду изменения, невозможные без завоевания французами свободы и политического равенства. Значит ли это, что я верю в достижимость свободы и равенства? Не берусь ответить утвердительно, но не смею и отказаться от подобной надежды. Моя цель — попытаться понять, какое влияние оказали бы на просвещение и литературу установления, порожденные этими политическими принципами, и нравы, порожденные этими установлениями.

Рассуждать о подобных материях, в особенности же применительно к Франции, невозможно, не касаясь тех последствий революции, которые мы наблюдаем ныне, последствия же эти, следует признать, губительны для нравов, словесности и философии. В первой части книги я показала, как смешение северных и южных народов, оказавшее в конечном счете благотворнейшее влияние на просвещение и цивилизацию, положило, однако, начало эпохе варварства. Приход к власти нового класса произведет, возможно, сходное действие. Рано или поздно революция просветит огромные массы людей, но прежде чем это случится, вульгарность языка, манер и мнений отбросит вкус и разум далеко назад.

Никто не спорит, что после того, как террор истребил во Франции людей, характеры, чувства и идеи, литература многое утратила. Но даже если не касаться итогов этой ужасной эпохи, которую следует рассматривать как нечто совершенно чуждое нормальному течению жизни, как чудовищное исключение, беспричинное и необъяснимое, нельзя не признать, что революциям по самой их природе свойственно на несколько лет приостанавливать развитие просвещения, с тем чтобы позднее способствовать его новому расцвету. Поэтому вначале необходимо рассмотреть два основных препятствия, помешавших разуму французов идти вперед, а именно утрату светскости нравов и исчезновение соперничества на поприще литературы, когда авторы оспаривают друг у друга благосклонность общественного мнения. Высказав различные суждения на этот счет, я поделюсь с читателями предположениями о том, как сможем мы усовершенствовать литературу и филосо-

фию, если исправим ошибки, допущенные во время революции, не отрекаясь, однако, от тех ее завоеваний, которые дороги всем мыслящим людям Европы, ибо рано или поздно им суждено превратить Францию в республику свободную и справедливую.

Мои догадки о будущем вытекают из моих наблюдений над прошлым. Я попыталась показать, как греческая демократия и римская аристократия придали литературе и философии греков и римлян, исповедовавших, впрочем, одну и ту же веру, характер совершенно различный, как в средние века свирепые северяне, соединившись с утратившими свое былое величие южанами, породили под влиянием христианской религии новое умонаправление. Удивительные противоречия итальянской словесности я попыталась объяснить живущей в сердцах итальянцев памятью о былой свободе и их приверженностью суевериям; я увидела главную причину разительного несходства английской и французской литературы в несходстве государственного устройства Англии (монархии конституционной и по духу своему республиканской) и Франции (монархии абсолютной и по духу своему аристократической). Теперь мне осталось выяснить, исходя из влияния, которое законы, религия и нравы испокон веков оказывают на литературу, каким образом новые установления во Франции могли бы изменить характер французской словесности. Поскольку сходные причины приводят к сходным результатам, то, зная, какое воздействие оказали на литературу те или иные политические установления прошлого, мы можем предвидеть облик французской литературы будущего.

Я уверена, что новые успехи литературы и философии продолжат поступательное движение цивилизации от греков до наших дней, описанное выше. Нетрудно показать, что человечество шло бы по этому пути гораздо быстрее, если бы могло двигаться по прямой, не сражаясь с всевозможными предрассудками и постигая одну философическую истину за другой.

Так развиваются науки опытные: каждый день приносит им новые открытия, и они идут вперед безостановочно. Будущее, облик которого я с радостью пре-

дугадываю, наступит еще не скоро — что ж, все равно полезно задуматься над тем, каким оно окажется. Нужно побороть то уныние, в которое повергают человечество некоторые эпохи — эпохи, когда люди руководствуются в суждениях только страхом или расчетами, решительно чуждыми идеям философическим, вечным по своей природе. К сиюминутным суждениям общества прислушиваются те, кто рвутся к власти и ищут признания у толпы, но всякий, кто хочет мыслить и творить, должен повиноваться лишь одинокому голосу созерцательного разума.

Не будем принимать во внимание идеи, носящиеся в воздухе и являющиеся, так сказать, не более чем метафизическим воплощением интересов неких частных лиц; наш удел — опережать толпу либо отстаивать от нее; толпа может оставить нас позади, включить нас в свои ряды или изгнать из них, но вечная истина пребудет с нами всегда.

Впрочем, убеждения, идущие от ума, не могут служить опорой столь же надежной, что и живущая в душе совесть. Предписания нравственности неколебимы, в убеждениях же своих людям случается усомниться, случается даже изменить им, если этими убеждениями негодяи оправдывают свои злодеяния.

И все же, если ум дан человеку не напрасно, люди обязаны во что бы то ни стало стремиться к новым свершениям, опережая свою эпоху. Нельзя повернуть мысль вспять, нельзя лишить человечество надежд и оставить ему одни сожаления; лишенный будущего, ум человеческий придет в самый жалкий упадок. Так попробуем же обнаружить ростки этого будущего в литературе и философии сегодняшнего дня. Быть может, настанет день, когда новые идеи будут воплощены в жизнь более умело, однако важно уже теперь направить ум по верному пути, дабы он мог трудиться во славу своей нации.

Живя в окружении людей пристрастных, вы очень скоро сочтете свой талант проклятием небес, но вновь уверуете в его благотворность, если вспомните о совершевствовании разума, если угадаете новые связи между идеями и чувствами, если глубже узнаете людей, если сможете хоть чем-то помочь торжеству нравственности, наконец, если в душе вашей забрез-

жит надежда сплотить красноречивыми словами всех рассеянных по лицу земли друзей правды и добра.

## ГЛАВА II

### О ВКУСЕ, СВЕТСКОСТИ НРАВОВ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ЛИТЕРАТУРУ И ПОЛИТИКУ

---

В последнее время многие французы возомнили, что в литературе также необходимо устроить революцию и сделать законы вкуса во всех литературных родах более снисходительными. Ничто так не враждебно поступательному движению литературы, тому движению, которое столь деятельно способствует распространению философических истин и, следовательно, сохранению свободы, как эта точка зрения. Ничто так не губительно для нравов, улучшение которых должно быть одной из главных задач республиканского правления. Разумеется, чрезмерная щепетильность прежнего аристократического общества крайне далека от истинных правил вкуса, всегда согласных с голосом разума, однако для того, чтобы уничтожить некоторые условности, вовсе нет нужды лишать книги и речи всякого приличия и достоинства, ибо отнюдь не они мешают гению беспрепятственно идти вперед.

Единственный довод, который выдвигают ниспровергатели учтивого тона и обходительных манер, заключается в том, что во времена монархии вкус и манеры полностью зависели от произвола знати. Поэтому, уяснив, какими недостатками грешили некоторые прихоти, шутки и пристрастия прежнего светского общества, необходимо также показать не обинуясь, какое пагубное воздействие оказали на литературу дерзкая смелость, грубая веселость и низменная вульгарность, рожденные революцией. Сопоставив две крайности — надуманные правила общества монархического и грубые системы иных сторонников революции, — мы особенно ясно поймем, что речам, сочинениям и манерам граждан республики потребна прежде всего благородная простота.

Прежде французы были нацией едва ли не чересчур цивилизованной: светские правила и привычки заменяли им естественные привязанности. В древних республиках, особенно в Спарте, законы безраздельно подчиняли себе характер каждого гражданина; спартанцы воспитывали всех по одному образцу, и политические страсти владели ими безраздельно. То, что Ликург свершил с помощью законов во имя республики, французская монархия сделала с помощью светских предрассудков во имя тщеславной знати.

Тщеславие владело умами людей едва ли не всех сословий: человек жил лишь ради того, чтобы производить впечатление на окружающих, затмевать ближайшего соперника, возбуждать в других ту зависть, какая точила его самого. Не было человека, не было сословия, которые бы не ведали, что такое тщеславие; только монарх на троне был свободен от его гнета, что же касается его подданных, то все они, от самых высших до самых низших, только и делали, что сравнивали себя с окружающими — равными по положению или же более богатыми и родовитыми — и черпали сознание собственной значимости не в своей душе, а во взглядах себе подобных.

Эта суетность, сулящая мало счастья, эта жажда успеха, этот страх кому-то не угодить зачастую искажали естественные основания вкуса в угоду вкусам определенной эпохи или определенного сословия, наконец, в угоду вкусу, рожденному самим укладом подобного общества. В иных кругах привычка, корысть или даже капризы возводили просторечные выражения в ранг благородных, а другие слова, прекрасные, но простые, напротив, исключали из обихода<sup>1</sup>. Тот, кто не желал соблюдать эти светские правила, рисковал прослыть плебеем, а в стране, разделенной на сословия, стоять ниже других считается дурным тоном. Пока народ не знает, что такое свобода, он насмехается над людьми из народа; любого вольнодумца во Франции подняли бы на смех, если бы он стал пренебрегать правилами хорошего тона, принятыми среди аристократов.

Этот деспотизм общественного мнения заходил так далеко, что от него страдал не один истинный талант. Правила учтивости и требования вкуса усложнились

с каждым днем; нравы все больше удалялись от природы. Манеры были непринужденными, а чувства — деланными; светские приличия разъединяли, вместо того, чтобы примирять, и люди, забывая о естественности и простоте, без которых нет подлинного изящества, с подчеркнутым вниманием или с притворным равнодушием тщательно следили за тем, чтобы почести распределялись в строгом соответствии с мельчайшими сословными различиями.

Впрочем, в свете мечтали о равенстве; заключалось оно в том, чтобы поставить все умы и характеры на одну доску, — это было то равенство, которое в тягость людям значительным и на руку лишь завистливой посредственности<sup>2</sup>. Каждый должен был говорить то же, что и все остальные, и умолкать тогда же, когда и они; каждый обязан был знать обычаи, дабы ничего не изобретать и ничем не рисковать; право на известность получал лишь тот, кто долго подражал общепринятым образцам поведения. Люди тратили свой ум исключительно на то, чтобы не позволить чужому уму заманить их в ловушку, и от всех этих докучливых условностей чаще всего страдали истинные таланты. Царивший в свете вкус, не столько щепетильный, сколько изнеженный, оскорблялся всяким новшеством, всякой блистательной победой, всяким энергическим выражением и тем сковывал душевные порывы; а ведь гению не пристало творить с оглядкой; слава громогласна, и бурные волны народного восхищения, идущие за ней следом, легко смывают плотины надуманных приличий.

Однако французский свет, где люди любезны без корысти, почтительны без подобострастия, свет-театр, где актеров ценят за таланты, не имеющие ни малейшего отношения к их истинным достоинствам, — этот свет выковал себе оружие, которого не может не бояться человек самых выдающихся способностей; оружием этим была насмешка. Из всех способов смутить возвышенные души самый надежный — смех. Тонко подметить маленький изъян великого человека, объявить во всеуслышание о слабости гения — этого достаточно, чтобы отнять у творца веру в собственные силы, в которой он так часто нуждается; самый легкий укол холодной и равнодушной



насмешки может умертвить в великодушном сердце животворную надежду, устремляющую его к славе и добродетели.

У природы есть в запасе много способов утешить человека в тяжком горе: гений в силах противостоять превратностям судьбы; честолюбец — бороться с опасностями, человек добродетельный — сносить наветы клеветников, однако перед лицом насмешки мы беззащитны: вкравшись в нашу жизнь незаметно, она обращается против нас и исподволь порочит даже самые наши достоинства.

Легкомысленное презрение чинит расправу над чистейшим энтузиазмом, насмешка отнимает у страдающего человека все те прекрасные слова, которые даровала ему природа; энергические выражения, непринужденный тон, даже поступки — поступки, продиктованные великодушием, — все это невозможно без веры в одобрение окружающих; для благородных душ холодные шутки смертельны.

Насмешник не прощает привязанности к чему бы то ни было в мире; он издевается над всеми, кто принимает жизнь всерьез и продолжает верить в неподдельные чувства и великие цели. Поступки его, пожалуй, продиктованы своеобразной философией: насмешник — гений разочарования, заставляющий всякое задушевное признание замирать на устах, не позволяющий свободно излиться даже гневу, топчущий надежды юношей. Лишь наглому пороку нечего опасаться его уколов. В самом деле, насмешник редко нападает на людей порочных, он склонен даже уважать тех, кого не в силах опечалить.

Самовластное господство насмешки, которым отмечены последние предреволюционные годы, отточило вкус французов, но в конце концов лишило их мощи; на литературе это сказалось в первую очередь. Следовательно, чтобы сообщить книгам больше величия, а характерам больше силы, не должно подчинять вкус утонченным до вычурности привычкам аристократов, как бы совершенно ни было изящество их манер; деспотическая власть этих привычек может нанести серьезный урон свободе, политическому равенству и даже высокой литературе; впрочем, дурной вкус, доходящий до грубости, оказывает на литера-

турную славу, нравственность, свободу, на все доброе и возвышенное в отношениях между людьми влияние еще более губительное!

Во время революции и после нее появилось немало людей, облеченных властью и отличающихся притом отвратительно вульгарными манерами. А ведь пороки вождей заразительны, и заразительнее всего они во Франции, где верховному владыке, кажется, подвластны не только поступки и речи, но едва ли не душевные мысли льстецов. Во всяком государстве царедворцы подражают тем, кого превозносят; они проникаются уважением к тем, от кого зависят, забывая, что покровителю довольно внешних проявлений их покорности и он вовсе не требует, чтобы они лгали даже в мыслях.

Дурной вкус, господствовавший во Франции в течение нескольких революционных лет, пагубно влияет не только на отношения между людьми и на характер словесности — он наносит урон нравственности. Люди позволяют себе подшучивать над собственной низостью, над собственными пороками, бесстыдно похваляются ими, насмеваются над робкими душами, которым эта подлая веселость по-прежнему отвратительна. Новоявленные вольнодумцы гордятся своим позором и мнят себя тем более остроумными, чем с большим изумлением взирают на них окружающие.

Грубые или жестокие слова, которые люди, облеченные властью, нередко позволяли себе произнести, в конце концов развратили не только слушателей, но и самих говорящих.

В Англии есть прекрасный закон, запрещающий людям, которые проливают кровь животных, занимать должности в суде. В самом деле, кроме морали, основывающейся на разуме, есть еще мораль инстинктивная, естественная, зиждущаяся на ощущениях необдуманного и неодолимого. Тот, кто привык к страданиям животных и сумел побороть физическое отвращение к чужой боли, постепенно отвыкает сострадать людям, во всяком случае, сострадание уже не просыпается в его душе произвольно. Вульгарные и жестокие речи действуют в некотором отношении так же, как и вид крови: тот, кто привык произносить

их, свыкается со стоящими за ними понятиями. На войне солдаты, идя в бой, подбадривают себя самой грубой бранью, и сердце их ожесточается. Во имя справедливости и беспристрастия, необходимых гражданским властям, государственные мужи обязаны употреблять лишь те слова и выражения, что успокаивают как говорящего, так и слушающего.

Благородство языка и манер внушает подданным такое почтение к власти имущим, что тем не приходится никого карать. Напротив, государственному мужу, чьи речи возмущают душу, почти наверняка придется добиваться послушания с помощью го-  
нений.

Короли царят в окружении иллюзий и преданий, что же до выборных правителей, пришедших к власти благодаря собственным заслугам, то они вынуждены постоянно напоминать о своем превосходстве, а что может лучше подчеркивать его, чем хороший вкус? Проявляясь во всех речах, жестах, интонациях и даже поступках, он выдает душу мирную и гордую, которая в одно мгновение постигает все узы, связующие людей, и никогда не забывает ни о собственном достоинстве, ни об уважении к окружающим. Так хороший вкус служит интересам политики.

Считается, что республиканский дух непременно меняет характер литературы. Я полагаю, что идея эта верна, но не в том смысле, в каком ее обычно понимают. Республиканский склад ума требует большей строгости в соблюдении правил хорошего вкуса, неотделимого от хороших нравов. Кроме того, он, безусловно, позволяет авторам украсить их сочинения более энергическими высказываниями, более философическими и трагическими изображениями великих событий. Монтескье, Руссо, Кондильяк были республиканцами еще до образования республики и начали желанную революцию во французской прозе; нам необходимо завершить ее. Поскольку республиканские страсти более мужественны, сюжеты произведений должны отныне становиться возвышеннее, а слог — совершеннее, однако по странной случайности воспользоваться свободой, которую, казалось, обрела наша литература, пожелали лишь авторы сочинений непристойных и легкомысленных.

Многие французы сочли, что, дабы сохранить прославленную французскую веселость, следует пуститься во все тяжкие, презрев приличия и требования вкуса. В первой части своего сочинения я назвала все обстоятельства, благодаря которым французская нация обрела свое замечательное изящество; ныне ни одного из этих обстоятельств не существует, и ни одно из них не возникнет вновь до тех пор, пока Франция не простится со свободой и политическим равенством.

Конечно, французы по-прежнему смогут учиться на исполненных изящества шедеврах родной литературы, однако образцы эти будут для них так же недостижимы, как и для людей всех прочих наций. Прежде дух французского общества зависел от тона и манер светских людей. Что же до граждан свободной страны, то они, собравшись вместе, будут уделять больше внимания политическим вопросам, нежели учтивым комплиментам и остроумным шуткам. В стране, где царит политическое равенство, всякого человека ценят по его личным заслугам: там нет избранного общества, члены которого посвящают себя исключительно совершенствованию светских манер и обладают всеми преимуществами, какие дают богатство и власть. Однако там, где строгий суд этого общества бессилен, юношам негде усвоить то тонкое чувство меры, то умение проникательно и искусно разгадывать оттенки, которому мы обязаны неприступным изяществом и безупречным вкусом, пленяющим нас во многих французских сочинениях, и прежде всего в мелких стихотворениях Вольтера.

Если французы по-прежнему будут множить число тех мнимых образцов изящества, которые ныне выглядят просто смешно, они окончательно погубят литературу своего отечества: истинная веселость, составляющая основу хорошей комедии, нужна нам по-прежнему, что же до тех игривых шуток, которыми иные литераторы докучали нам даже в годину бедствий, то всякий, кто берется воскресить их, исключая разве нескольких литераторов, живущих памятью о старом времени, развращает литературный вкус французов и ставит своих соотечественников ниже всякого серьезного народа Европы.

До революции не раз было подмечено, что, если француз, не принадлежащий к высшим сословиям, пытается шутить, он сразу выдает свое низкое происхождение, у англичан же по речам трудно определить происхождение, ибо все представители английской нации отличаются величавостью и простотой манер. Хотя французы еще не скоро во всем уподобятся англичанам, французским писателям следует поскорее понять, что нынче нужно шутить иначе, чем прежде, и что революция не только не расширила возможностей, открывающихся перед литераторами в этой области, но, напротив, обязала их еще более тщательно выбирать слова и выражения, — ведь в смешанном обществе, сложившемся после революции, литераторам не у кого учиться хорошим манерам, так что изящество и тонкий вкус уже не входят у них в привычку, не становятся второй природой, велениям которой следуешь невольно, без размышлений.

Законы вкуса, действующие в республиканской литературе, более просты, но не менее суровы, нежели те законы, которым следовали писатели века Людовика XIV. В монархическом государстве привычные условности нередко заменяют голос разума, а светские приличия — истинные чувства, но в государстве республиканском вкус не что иное, как великолепное знание истинного и вечного устройства мира, поэтому нарушить законы вкуса — значит выказать полное незнание природы вещей.

В монархии литераторам нередко приходилось прятать смелые замечания и новые взгляды под маской общепринятых заблуждений; подобные уловки требовали чрезвычайной тонкости и чуткости ума. Однако в свободной стране истина является миру в подобающем ей обличье. Слова и чувства здесь должны простекать из общего источника.

В свободной стране люди не обязаны навсегда замыкаться в кругу одних и тех же мнений; за разнообразием форм здесь вовсе не обязательно скрывается однообразие идей. Здесь каждому по душе движение вперед, ибо предрассудки не ограничивают полет мысли: ум, которому уже не грозит скука, обретает большую простоту и не стремится привлекать к себе

внимание с помощью вычурных украшений, противных природе.

В старые времена находились литераторы, которые умудрялись оскорблять нравы, не нарушая законов вкуса, и попирали нравственность, сочетая с предельной непристойностью содержания предельную изысканность формы. К счастью, таланты такого рода решительно чужды республиканским добродетелям и республиканскому уму. Стоит только сломать одну преграду, и толпа снесет все остальные; тех, кто не уважает священные узы, не удержат никакие общественные приличия.

К тому же коварный род литературы, облекающий безнравственные чувства в изящные выражения, требует необыкновенной остроты ума, которой подданные республики, отдающие все свои силы исполнению гражданских обязанностей, лишены. Для того чтобы придать пороку то очарование, без которого даже самые большие распутники с отвращением отвернутся от его изображения, необходимо изощреннейшее чувство меры.

Я остановлюсь в особой главе на комедиях, веселость которых проистекает из знания человеческого сердца; впрочем, весьма вероятно, что французам больше не придется гордиться теми любезными, изысканными и веселыми манерами, которые составляли очарование придворной жизни. Со временем люди, чье поведение до сих пор являет собою образец таких манер, уйдут из жизни, и сами воспоминания о них изгладятся из памяти потомков, ибо книжных описаний будет здесь недостаточно. Научить тому, что тоньше мысли, может лишь привычка. Если общество, вселявшее в людей инстинктивное умение мгновенно схватывать оттенки, исчезает с лица земли, с ним вместе исчезают порожденные им инстинкты и способности. Если определенного уклада жизни больше не существует, следует отказаться от всего, что вытекает исключительно из этого уклада и не восходит к принципам более общим<sup>3</sup>.

Один остроумный человек заметил: «Счастье — вещь серьезная». То же самое можно сказать и о свободе. Гражданину республики чувство собственного достоинства необходимо больше, чем подданному монарха, ибо в республике всякий талантливый человек должен

печься о том, чтобы политическая власть не попала в нечистые руки. Лишь у человека благородной души достанет сил повиноваться голосу совести, возлагающему на него эту почетную обязанность.

Прежде изысканные манеры нередко сочетались в людях с пристрастием к шуткам, однако сочетание это возможно лишь там, где люди наделены безупречным вкусом и чутьем, где они сознают собственное превосходство, собственное могущество, собственное положение в обществе,— а ведь люди, воспитанные на идее равенства, этих свойств лишены. Республиканцу не к лицу это изящество, величавое и легкомысленное разом,— оно немедленно выдает крупное состояние и знатное происхождение. Способность мыслить более демократична: она развивается у всякого человека, располагающего хоть небольшим досугом. Значит, литераторам следует пренебречь изяществом формы ради торжества мысли.

Ужасы, выпавшие на нашу долю, заставляют задуматься, и если в самом деле несчастья нации закаляют людей, то лишь благодаря тому, что излечивают их от легкомыслия и страшную властью страдания собирают воедино их разрозненные способности.

Пусть же вкус в литературе служит украшению идей,— это ничуть не уменьшит его полезности, ибо известно, что самые глубокие мысли, самые благородные чувства не производят никакого действия, если их очевидное безвкусие бросается в глаза, сбивает с толку и отвращает ум от великих свершений, а душу — от глубоких чувств.

Кто-то, быть может, оскорбится слабостью человеческого ума, который, вместо того чтобы вникнуть в существо дела, смущается неуместным выражением; известно, однако, что в самых безнадежных обстоятельствах, накануне смерти, людям случается забыть о собственном несчастье из-за какого-то смешного пустяка. Как же можно надеяться, что мысли писателей увлекут читателя так сильно, что он забудет об изъянах их слога?

Иной раз талантливому автору удастся сотворить чудо и заглушить голос самолюбия, звучащий в душе его читателей или слушателей, однако стоит вам хоть чем-нибудь погрешить против вкуса, и судьбы ваши,

кто бы они ни были, не преминут попенять вам — возможность блеснуть собственными познаниями для них дороже ваших мыслей и чувств, которыми они не колеблясь пренебрегут.

Республиканская литература, будь то философические трактаты или изящная словесность, нуждается не просто в людях со вкусом, но в людях разносторонне одаренных; ей вовсе не противопоказаны ни глубокие чувства, ни энергические выражения, более же всего к лицу этой могущественной силе два украшения — простота и естественность.

Светскость нравов, равно как и хороший вкус, составной частью которого она является, имеют огромное литературное и политическое значение. Хотя в республике литература освобождается от власти общепринятых представлений гораздо быстрее, чем в монархии, сочинители и здесь зачастую подражают тому, что постоянно находится у них перед глазами. Во что же превратилась бы литература, неизменно отражающая людские нравы, господствующий в обществе, как ныне, вульгарные манеры, обнажающие изъяны и пороки всех характеров?

Французские литераторы смогли бы, разумеется, учиться у древних, но в этом случае воображение их не впитывало бы впечатлений из окружающего мира; вдохновение они черпали бы не в собственных ощущениях, а в книгах. Они не смогли бы соединить простоту наблюдений с благородством чувств; воспоминания не помогали бы им, а докучали, и лишь в недрах их душ могла бы забрезжить идея истинной красоты.

Нам, вероятно, возразят, что учтивость — преимущество незначительное и ее отсутствие вовсе не способно лишить характер сильный и возвышенный его великих и неподдельных достоинств. Если понимать под учтивостью светские приличия века Людовика XIV, то, разумеется, о ней славные мужи древности не имели ни малейшего представления и это не помешало им создать шедевры, равных которых не знают ни история, ни даже фантазия человеческая. Но если под учтивостью разуметь чувство меры в отношениях меж людьми, способ отличить то, чем человек себя мнит, от того, кем он является в действительности, средство показать окружающим, каковы они на самом деле и какими



выглядят, то выходит, что с учтивостью связано великое множество мыслей и ощущений.

Разумеется, манеры во многом зависят от характера, и такое, например, свойство, как благожелательность, можно проявлять и мягко и резко, но если мы хотим взглянуть на учтивость с точки зрения философической, мы должны толковать это понятие в самом расширительном смысле, не смущаясь теми разнообразными обличьями, какие она может принимать у различных людей.

Учтивость — это узы, которыми общество связует людей, чуждых один другому. К домашним, к друзьям, к жертвам несчастья мы привязаны в силу требований добропорядочности, светскость же нравов помогает нам ощутить приязнь к людям, по отношению к которым мы не несем никаких обязательств, облегчает нам понимание чужих взглядов и сохраняет за каждым человеком то место в свете, какое он заслуживает. Светская учтивость — средство оценить всякого человека по заслугам и одарить его уважением — целью трудов всей жизни. Посмотрим же теперь, сколь многообразны губительные последствия грубых манер, и поговорим о том, какой должна быть учтивость республиканская.

Женщины и герои, любовь и слава — вот единственное, что по-настоящему волнует душу. Но разве возможно нарисовать чистый и горделивый женский образ в стране, где в отношениях между людьми не соблюдаются самые строгие приличия? Откуда возьмут писатели образцы целомудрия, если сами женщины, эти беспристрастные судьи земных битв, подавят в своей душе благородное стремление к возвышенному? Женщина утрачивает очарование не только если позволяет себе произнести слово, лишенное изящества, но даже если слышит его, если кто-то осмеливается произнести его в ее присутствии. Уважение домашних женщина завоевывает скромностью и простотою нрава, но в свете этого недостаточно: здесь единственное действенное средство снискать уважение — изысканные речи и благородные манеры.

В монархии, где царил дух рыцарства, знатное происхождение и несметные богатства могли, поражая воображение, заменить женщине истинные достоинства, но в республике женщина — ничто, если в ней нет

природного величия. На место развеявшейся иллюзии обязательно должна стать реальная заслуга; на место разоблаченного предрассудка — новая добродетель; республиканцам вовсе не следует вносить в повседневное общение большую свободу, напротив, они обязаны особенно тщательно избегать всякого рода погрешностей — ведь в республике каждого ценят по его личным заслугам. В республике женщину, которая хоть чем-то запятнала свою репутацию, не спасут, как бывало во времена монархии, титул, происхождение и прочие внешние преимущества.

Все, что я сказала о женщинах, почти полностью приложимо и к тем из мужчин, что играют значительную роль в обществе. Им придется гораздо тщательнее блюсти свою репутацию, чем во времена, когда аристократическое происхождение было залогом почтительного внимания толпы. Поскольку в республиканском государстве всякий человек зависит от мнения окружающих, которое назавтра может решительно перемениться, все, что способно поразить ум или воображение, обретает здесь чрезвычайную важность.

Если от милостей общественного мнения мы перейдем к законной власти, мы увидим, что сама по себе зависимость от правителей — гнет, который подданные выносят с большим трудом; умы, не созданные для рабства, вначале испытывают некое предубеждение по отношению к тем, кто стоит выше их. Если грубое насилие со стороны властей усугубляет это предубеждение, оно превращается в настоящую ненависть. Всякий человек, наделенный вкусом и сколько-нибудь возвышенной душой, должен немного стыдиться своего могущества. Политическая власть — неизбежное, хотя и нежелательное следствие великих благ — порядка и безопасности, однако носитель этой власти своими манерами должен всегда так или иначе искупать свое высокое положение.

За последние десять лет мы не раз видели людей просвещенных в подчинении у невежд: высокомерие их тона и вульгарность манер этих властителей были не менее отвратительны, чем ограниченность их ума. Находились люди, принимавшие грубые слова и пошлые шутки иных республиканцев за неперемнное следствие республиканских убеждений и, естественно, прони-

кавшиеся оттого безотчетным отвращением к республике.

Манеры сближают или отдаляют людей скорее, чем взгляды и даже чувства. Человек терпимый может жить в свое удовольствие в кругу людей, принадлежащих к иной партии, нежели он сам. Он может забыть о серьезных заблуждениях собеседника, о его почти несомненной безнравственности, если собеседник этот изъясняется так благородно, как это пристало людям с чистой душой. Но поистине невозможно вынести присутствие человека, все выражения, жесты, интонации, позы и привычки которого выдают скверное воспитание.

Я говорю здесь не о сознательном уважении, а о том произвольном ощущении, которое мы испытываем ежесекундно. В решающие моменты жизни мы слушаемся велений сердца, в повседневных же мелочах все решают манеры, и вульгарное обращение, перейдя некий предел, вызывает у того, кто является его свидетелем или жертвой, совершенно нестерпимое чувство неловкости и даже стыда.

К счастью, люди, в которых возвышенные чувства уживаются с вульгарными манерами, встречаются очень редко. Человек неподкупной честности преисполнен обычно такой благородной доверчивости, такого незамутненного спокойствия, что, в каком бы состоянии он ни родился, он, как правило, своим умом доходит до того, чему мог бы научиться у хороших учителей. Отвратительная грубость, от которой мы так часто страдали в последние годы, служила обычно прикрытием для разнообразных пороков: за ней стояли дерзость, жестокость, наглость.

Приличия суть воплощение нравственности; они выдают ее присутствие в душе человека, который не имеет случая проявить ее на деле; они прививают почтение к чужим убеждениям. Если люди, стоящие у кормила власти, оскорбляют или презирают приличия, то, не уважая других, они лишаются уважения и сами.

Государственные мужи могут отличаться и неучтивостью иного рода: это не грубость, а, если позволено будет мне так выразиться, политическое чванство, приписывание себе чрезвычайных заслуг, восхищение

собственной политической ролью, которое хотят навязать окружающим; за годы революции все мы видели тому немало примеров. В старое время на все значительные должности в государстве назначали людей, с детства привыкших к привилегиям и преимуществам, полагающимся знати; пребывание у власти мало что меняло в их образе жизни: однако во время революции у кормила власти оказались люди низших сословий, в чьем характере от природы не было ничего возвышенного; весьма скромно оценивая свои личные достоинства и весьма гордясь своим могуществом, они сочли нужным по случаю получения новой должности обзавестись новыми манерами. Этот род тщеславия совершенно не к лицу вождям республики, призванным внушать подданным любовь и уважение. Ведь чувства эти человек должен заслужить собственными достоинствами; если же сам он ценит себя лишь постольку, поскольку занимает высокий пост, он дает нам понять, что, лишись он должности, наше сочувствие и почтение должны будут перейти к его преемнику.

Есть ли у человека лучшее средство дать о себе представление другому человеку, чем выказать то благородство манер и простоту выражений, которые восхищают нас на театре или в литературе почти так же сильно, как и великие деяния? Скажу больше: стечение обстоятельств может помочь человеку, не наделенному ни замечательным талантом, ни героическим характером, свершить некие подвиги, однако истинное величие — только то, что проявляется в повседневных речах, интонациях, манерах, и его ни с чем не спутаешь.

Кое-кто полагает, что французам следовало заменить прежнюю обходительность холодностью и чопорностью. Разумеется, первые люди свободного государства должны вести себя с большим достоинством, чем придворные льстецы, однако чрезмерная холодность может погасить все великодушные порывы. Человек, держащийся холодно, всем своим видом показывает, что вы ему глубоко безразличны, и тем, разумеется, внушает уважение. Однако уважение это сопряжено с ощущениями столь тягостными, что не способно породить ничего полезного и плодотворного. Подобная холодность смущает не развязных наглецов,

но лишь добрых, возвышенных, поистине выдающихся. Манеры превосходны только тогда, когда они подчеркивают в каждом человеке его достоинства, а пороки заставляют молчать<sup>4</sup>.

Уважение уважению рознь: к тому, кто подавляет благородные чувства и иссушает мысли, мы почтительны оттого, что боимся; долговечное же уважение способен завоевать лишь тот, кто возвышает души, по заслугам оценивает чужой ум, пробуждает то доверие, которое связует всех благородных людей.

Главное для французов — примирить враждующие партии, а светскость нравов — одно из надежных средств достигнуть этой цели. Она сблизит людей просвещенных, каких бы убеждений они ни придерживались, и создаст общественное мнение, чей суд будет справедлив и в хвале и в хуле. Суду этому будет подвластна и литература: он напомнит сочинителям, что такое национальный дух и вкус, подскажет им точные слова и величавые образы. Бойтесь, однако, свести вместе людей, получивших различное воспитание, если они ставят превыше всего интересы своих политических партий.

Что значит сходство убеждений, если различны ум и чувства? Какой ничтожный итог гражданских смут — ценить человека за его политические пристрастия, а не за его сердце и ум — единственную основу вечного братства!

Только светскость способна смягчить политические страсти, благодаря ей мы можем видеться, еще не полюбив друг друга, беседовать, еще не придя к общему мнению, и вот уже глубокое отвращение к человеку, с которым мы сроду не перемолвились двумя словами, начинает слабеть: учтивые разговоры, почтительная предупредительность собеседника будят в нашей душе добрые чувства и связуют нас с тем, кого мы прежде считали своим врагом, узами братской любви.

### ГЛАВА III О РВЕНИИ

---

Среди способов усовершенствовать творения человеческого ума важнейшую роль играют природа и величие цели, которую ставят перед собой люди, посвятившие себя ученым занятиям. И праздная и деятельная жизнь пристали человеку более, чем жизнь созерцательная, поэтому, для того чтобы мыслитель отдал все силы своего ума поиску философических истин, рвение его должна разжигать надежда оказать услугу родине и изменить участь соотечественников.

Есть люди, которым доставляет удовольствие само постижение неведомых истин; многим ученым, в особенности тем, кто занимается точными науками, этого удовольствия вполне достаточно. Но тем, чьи размышления посвящены предметам нравственным и политическим, необходимо сознавать, что в их власти изменить участь человечества. Высокая литература стремится произвести благотворные перемены в жизни, ускорить развитие общества, усовершенствовать установления и законы. В стране, где философия не имеет практического применения, а красноречие восхищает лишь любителей изящной словесности, и философия и красноречие в конце концов начинают казаться занятиями праздными и с каждым днем все больше утрачивают притягательность.

Конечно, я не стану отрицать, что история не знает эпохи менее благоприятной для умов и талантов, чем та, которую переживает ныне Франция. Однако, выяснив, что именно увеличивает рвение философов, мы поймем, отчего революционные умонастроения, воплощаясь в жизнь, так мало располагают к размышлениям, отчего при монархии покровительство унижало великодушных людей, ревнующих к совершенствованию разума, а республика может вдохновить их на небывалые свершения.

На первый взгляд кажется, что гражданские смуты, сломавшие древние сословные границы, должны помогать природным дарованиям проявиться во всей их пол-

ноте и силе: поначалу так в самом деле и происходит, но очень скоро мятежники проникаются к просвещению ненавистью едва ли не большей, чем та, которую питали старинные приверженцы предрассудков. В борьбе с существующей властью бунтовщики прибегают к помощи людей просвещенных, но стоит им самим оказаться у власти, и они начинают осыпать разум грубыми насмешками; исподволь они приучают всех к мысли, что глубина ума и верность философическим идеям — признак душ изнеженных, и вот уже под новыми названиями возрождается феодальный строй.

Все люди с деспотическим характером, каковы бы ни были их убеждения, ненавидят людей мыслящих, и, если власть имущие опираются на слепых фанатиков, самую большую опасность для них представляет человек, сохранивший способность свободного суждения. Тираны хорошо уживаются лишь с людьми ограниченного ума, которые смиряются или восстают только по команде повелителя.

Если революционное движение, достигнув первоначально поставленных целей, не прекращается, власть попадает в руки людей из самых невежественных сословий. Чем более посредственны способности политического деятеля, тем старательнее вербует он себе сподвижников из числа таких же посредственностей; такие вожди обрушивают гонения на просвещение и разум, ощущая в них нечто чуждое их природе и грозящее неминуемой гибелью их могуществу.

Партия, желающая торжества несправедливости, никогда не станет насаждать просвещение: тот или иной одаренный человек может покрыть себя позором, встав на защиту несправедного дела, но целая нация, если ее просветить, неизбежно делается более нравственной.

Революция идет своим путем, изъясняется на своем языке, и, если некий красноречивый оратор пожелал бы обогатить набор фраз, с помощью которого та или иная партия привыкла отстаивать свои интересы, ее вожди встревожились бы и содрогнулись при мысли о том, что новые идеи и чувства, которые сегодня должны послужить их делу, однажды, возможно, выйдут из повиновения и переметнутся на сторону врага. Есть формулы жестокости, которые, можно сказать, освя-

щены временем, и даже самые надежные люди не имеют права от них отступать.

Подозрения, зависть, самолюбие — все идет в ход, когда нужно выключить людей высшего ума из революционных схваток; людям жестоким и заурядным указывают на их место, лишь когда в стране вновь воцаряется мир, в смутное же время, когда все мысли и чувства в разброде, посредственности ощущают в себе силы поддерживать существующее положение, а именно всеобщий беспорядок, и, поправ талант и добродетель, устраивают подлинную вакханалию, обрушивая на плененную мысль весь груз своего невежества и тщеславия.

В тяжелые минуты вожди мятежной толпы стремятся прежде всего удалить людей, мыслящих независимо. Слова служат тогда лишь для письменного выражения гнева, всякое неудовольствие немедленно кладется в основу декрета. Буяны обвиняют в аристократизме самую республиканскую вещь в мире — любовь к просвещению и добродетели. Дикость борется против философии, опасается образованности и выказывает более снисхождения к сердечным порокам, нежели к незаурядным умственным способностям.

Если такое положение продлится, выдающихся людей вскоре можно будет сыскать только в армии, где честолюбие не знает никаких преград, ибо военные всегда добиваются своей цели и вынуждают общество иметь о них то мнение, какое им желательно. Однако слава писателей и философов зиждется на свободном обмене: идеи их, можно сказать, порождаются добровольным одобрением, которым обществу угодно их почтить.

Человек отважный может противостоять всеильным бунтовщикам, но человеку талантливому не сберечь вдохновение от их нападков. Произвол одного тирана не так губителен для литературы, как произвол целой партии, нередко выдающей свои взгляды на мнение всего общества.

Если сравнить судьбу просвещенных мужей в царствование Людовика XIV с той участью, которая ожидала их во время революции, все преимущества окажутся на стороне монархии, однако разве можно сравнить плоды королевского покровительства с тем рвением,



которое пробудила бы в душах авторов республика, обрети она свое истинное лицо?

Ум черпает силы лишь в борьбе против власти; англичанин возвращает в себе таланты, необходимые министру, находясь в оппозиции. Напротив, когда благосклонность общественного мнения зависит от благосклонности одного человека, ни один философ не может мыслить совершенно свободно: он постоянно помнит о пределах, положенных со всех сторон его поискам, и ему уже нет дела до истины. Ум замыкается в самом себе. Страстное желание сочинителя позабыть верховного владыку и его царедворцев пронизывают всю литературу, кроме разве что изящной словесности — царства вымысла, не подвластного монарху.

Литература всякой страны может некоторое время пользоваться успехом, не прибегая к философии, но когда блестящие выражения, поэтические картины и обороты перестают поражать новизной, когда все красоты древности уже изучены и преображены современным гением, возникает нужда в разуме, который ежедневно устремляет нас к благой цели и без усталости движется вперед. Как, однако, можно заниматься философией в стране, где слава лишь призрак, ибо зависит от воли смертного — воли короля?

Во времена монархии при обсуждении важных вопросов, касающихся участи человечества, слово французских литераторов, людей почти бесправных, не имело никакого веса. Могли ли они при таком положении дел завоевать хоть немного уважения, не вступив в борьбу с тогдашним государственным строем? И какую же жалкую смесь льстивых уверений и горьких истин представляли собой сочинения тогдашних философов, этих смиренных безбожников, этих дерзких борцов за независимость, не гнушающихся покровительством знати!

В ту пору Руссо освободился от большинства предрассудков, заставлявших с почтением относиться к власти монарха. Монтескье, человек, впрочем, гораздо более осторожный, также не боялся произнести слова правды, когда чувствовал в том необходимость. Что же касается Вольтера, то он частенько старался сохранить независимость философа, не утратив благосклонности двора<sup>1</sup>, и творчество его самым разительным

образом свидетельствует о том, что намерение это было противоречиво и невыполнимо.

Ободрять литераторов — значит считать их подчиненными высокопоставленным покровителям, значит полагать литературный гений выключенным из общественной и политической жизни, ставить его на одну доску со способностью к музыке или рисованию, одним словом, не видеть в нем воплощенной мысли, иначе говоря, самого человека.

Высокой литературе — а я в этой главе веду речь только о ней — истинным ободрением служит слава, слава Цицерона, а быть может, даже Цезаря и Брута. Первый спас отечество своим ораторским красноречием и талантами государственными<sup>2</sup>; второй рассказал в своих «Записках» о том, что свершил<sup>3</sup>; наконец, третий оставил письма, дивный стиль и возвышенная философия которых внушают нам любовь к их автору, пылавшему нежностью к людям, хотя совершенное им отвратительное убийство свидетельствует, казалось бы, об обратном.

Лишь в свободных государствах гениальный действитель и гениальный мыслитель могут соединиться в одном лице. В старые времена литератор был едва ли не обязан выказывать решительную неспособность к политической деятельности. Деловая сметка, как правило, проявляется со всей очевидностью не прежде, чем человек займет важную должность, — людям заурядным выгодно внушать миру, будто никто, кроме них, этой сметкой не обладает; для этого им приходится приписывать себе как раз те достоинства, что им решительно несвойственны: они изъясняются с жаром, которого у них нет, толкуют об идеях, которых не понимают, добиваются успехов, которые презирают, — и вот доказательства их политических талантов.

В абсолютных монархиях достоинства государственных мужей обычно окутаны тайной, дабы чванливая и бездушная посредственность могла отстранить людей выдающегося ума от кормила власти и объявить их неспособными решать задачи, на самом деле гораздо более простые, чем те, которые этим даровитым людям приходится решать постоянно<sup>4</sup>.

На языке, принятом в некоторых людских сооб-

ществах, изучить сердце человеческое — значит выбирать друзей и врагов, не руководствуясь ни ненавистью к пороку, ни любовью к добродетели, а умело вершить дела — значит пренебрегать советами великодушия и философии. Республиканский строй, при котором великое множество вопросов обсуждаются сообща и все решения принимаются избранниками нации, выражающими ее волю, призван вытравить из наших сердец эту слепую веру в то, что тайны управления государством неисповедимы.

Конечно, для того чтобы с толком править, нужен большой талант, однако, когда нас убеждали в том, что мудрый философ, великий писатель, красноречивый оратор вовсе не способны встать во главе нации, это делалось лишь для того, чтобы не допустить талантливых людей к кормилу власти. Канцлер Бэкон, шевалье Темпл, Лопиталь и прочие не чуждались философии и литературы и тем не менее по праву считаются величайшими государственными мужами \*<sup>5</sup>. Фридрих II, Марк Аврелий и большинство королей и героев были весьма сведущи в философии. Именно своей просвещенности и умению вершить государственные дела обязаны они любовью потомков и восхищенной покорностью современников, той покорностью, которая дарует абсолютным монархам драгоценнейшее сокровище республиканских правительств — добровольное сочувствие общества.

Разумеется, если полагать, как это подчас делают, что единственная цель литературы — развлекать людей в часы праздности и давать поживу скучающему уму, держась подальше от философических умствований, тогда литераторов легко счесть людьми весьма ограниченными и узколобыми. Такого рода сочинители не способны ни к какой деятельности, требующей положительных знаний или умения воплотить свои идеи в жизнь. Заурядные и недалекие, люди эти отличаются безмерным тщеславием: ум их развращен бессмысленными словами и бесцельными мыслями; они уделяют

\* Канцлер Бэкон запятнал себя черной неблагодарностью и не мог похвастать шепетильностью в денежных расчетах <sup>6</sup>, однако в данном случае речь идет о таланте, а не о нравственности, а ведь за последние десять лет мы имели слишком много случаев убедиться, что это далеко не одно и то же.

самое большое внимание собственной персоне и придают самое малое значение нуждам всех прочих людей. Таков жребий почти всех литераторов, лишенных возможности участвовать в предприятиях серьезных.

Литературу унижала ее бесполезность, действия правительства ожесточала безнадежная разъединенность политики и философии, разъединенность, приводившая к тому, что всякий человек, посвятивший себя обучению и просвещению людей, считался неспособным править ими. Это абсурдное убеждение еще до сих пор дает себя знать, но с каждым днем мы должны избавляться от него все решительнее. Если философ к чему-то и неспособен, то лишь к тому, чтобы править самовластно, незаконно, унижая человеческое достоинство подданных. Не следует приучать новую республику к старым придворным предрассудкам и утверждать, что для государственного мужа существует нечто более необходимое, чем мысль, более надежное, чем разум, более полезное, чем добродетель.

В свободном государстве писатель творит не для того, чтобы, как это бывало под властью королей, оживлять бесцельное свое существование, но для того, чтобы облекать в убедительные слова истину, от признания которой зависят важные политические решения. Здесь люди посвящают себя философии не оттого, что, как это бывало прежде, низкое происхождение мешает им проявить себя на любом другом поприще, но оттого, что только силою разума могут они доказать свое право стать у кормила власти.

Даже самая просвещенная страна, если ею правят военные, презирающие литературу и философию, обречена на невежество; несколько бесчестных, хотя и даровитых подголосков правительства, несколько так называемых мыслителей, торгующих своими убеждениями, примкнув к власти имущим, но рассуждения их сведутся лишь к набору софизмов, и чем подлее станут характеры, тем на большие хитрости будут пускаться умы.

Республиканское правительство постоянно пребывает в состоянии брожения, нередко представляющем угрозу для свободы, и если вожди республики отважны, но чужды просвещению, невежественная сила и хитроумное коварство рано или поздно вынуждают их

стать на путь самовластья. Великим людям, которым вверены судьба человечества и его счастье, потребны таланты разнообразные: одного-единственного дара не довольно для того, чтобы покорить разные сословия и завоевать их уважение; человек, наделенный одним-единственным талантом, не отвечает, если можно так выразиться, нашим представлениям о том, каким должен быть выдающийся государственный муж.

Если слова не изъясняют со всем возможным красноречием причину поступков, если поступки не подтверждают правильности слов, те и другие запечатлеваются в нашей памяти порознь. Невежественному полководцу и трусливому оратору не под силу поразить ваше воображение; в душе вашей рождаются неподвластные ему чувства, в уме — беспристрастные суждения о нем. Древние преклонялись перед своими прославленными вождями, чье природное величие проявлялось в самых разных областях и приносило им успех на самых разных поприщах. Смешение различных дарований, вознося их обладателя на огромную высоту, сближает тем не менее незаурядную личность с людьми обыкновенными. Одна способность, развитая значительно больше других, выглядит причудой природы, тогда как сочетание многих способностей в одном человеке успокаивает ум и пленяет чувства. Нравственному облику великого человека потребны устойчивость, уравновешенность, размеренность, ибо, идет ли речь о частных людях или о мужах государственных, только в ней — залог покоя и благополучия.

Но, возразят мне, республиканцам прежде всего следует остерегаться чрезмерного восхищения тем или иным смертным, вот отчего мы вовсе не дорожим разносторонне одаренными политическими мужами, о которых вы нам толкуете, но, напротив, предпочитаем людей, умеющих в совершенстве делать что-то одно — произносить речи, составлять декреты, одерживать победы — и не отягощенных никакими иными познаниями.

Ничто так не чуждо истинной философии, иначе говоря, ничто не уводит так далеко от счастья, как эта продиктованная завистью теория, создатели которой, ставя всех людей на одну доску, хотят лишить нацию славного будущего. Всеобщее образование — дело важ-

нейшее, но, просвещая общество в целом, мы обязаны оставлять отдельным людям право на бессмертие. Республиканское правительство более, чем любое другое, заинтересовано в том, чтобы возбуждать рвение сочинителей; ведь чем больше трудов оно вдохновит, тем в большем останется выигрыше. Немногие добиваются успеха, но все мечтают о нем, и, если известность обретает лишь тот, кто преуспел, пользу подчас приносит и тот, кто пробует свои силы в безвестности.

Не стоит отнимать у великих душ их благоговейную преданность славе, не стоит отнимать у народов способность восхищаться. Из восхищения рождаются все чувства, связующие правителей и подданных. Откуда нам, с нашим многообразием политических сообществ, взять оценки спокойные и рассудительные? Могут ли тысячи людей полагаться лишь на собственный разум? Разве не необходимо, чтобы эту толпу, которой так трудно привить единые убеждения, всколыхнуло чувство сильное и всеобщее? Нация, отвыкшая питать уважение, не умеет и презирать; если на ваших глазах сочинители клеветнических пасквилей выдают честного человека за преступника, значит, вы не сумели вселить в души всех граждан священную любовь к благодетелям нации, любовь, которая гневно отвергает клевету, видя в ней святотатство.

Единственный способ приохотить народ к добродетели — познакомить его с великодушными поступками и нравственным образом жизни людей выдающихся. Иные полагают, что независимость народа связана с его приверженностью идеям сугубо отвлеченным, однако толпа понимает идеи только через события, она вершит свой суд посредством ненависти и любви: помешать ей любить можно только развратив ее, если же она уважает своих вождей, то будет верна правительству.

Слава великих людей — достояние свободной страны; после их смерти ее наследует весь народ. Любовь к отечеству слагается только из воспоминаний. Как прекрасны древние, когда оплакивают знаменитого человека, отдают дань его памяти, ставят его в пример потомкам! Природа одухотворила все кругом, неужели же человек станет обращать живое в мертвые отвлеченности?!

Первый долг республиканцев, свято чтящих политическое равенство, состоит в том, чтобы ценить людей строго по их талантам и добродетелям. Свободным нациям потребны неподкупные судьи, которые всегда вершат справедливый суд без гнева и пристрастия. Но поручив должностным лицам исполнять неколебимую волю законов, нация вправе смело хвалить или хулить их, вправе даровать великим людям единственную награду, ради которой они не щадят себя, единственное воздаяние, единственную иллюзию, от которых не в силах отказаться даже добродетель,— одобрение современников и потомков.

Неужели вы не сознаете, возразят мне, что восторг, который вызывали у черни Цезарь или Кромвель, лишил Рим и Англию свободы?

Единственный восторг, который способен погубить свободу, отвечу я,— восторг, пробуждаемый воинскими подвигами, но даже и он приводит к роковым последствиям лишь там, где в силу разных причин в людях не осталось больше уважения к нравственным совершенствам и гражданским добродетелям. В Риме и Англии республика погибла оттого, что из-за многочисленных преступлений и многочисленных несчастий народ забыл, что значит уважать правительство.

А между тем какая сила выступала в одиночестве против Цезаря? То не были ни политические установления римлян, ни их сенат, ни их армия,— то было почтение, которое римский народ испытывал еще к одному-единственному человеку — Катону. Почтение это значило так много, что, пока Катон был жив, Цезарь не мог считать себя полновластным хозяином Рима<sup>7</sup>.

Катон воплощал на земле могущество добродетели. Рим восхищался им: это добровольное восхищение делает честь нации, которая на него способна, и представляет для самовластья гораздо более грозную опасность, чем то беспорядочное нагромождение имен, поступков и характеров, которое кое-кто ныне выдает за философическую республику, хотя на деле оно сводится к сражениям без побед, переворотам без цели и несчастьям без конца.

Когда люди, достойно исполняющие свой общественный долг, пользуются неизменным одобрением и поддержкой нации, это лучший залог сохранения сво-

боды, а лучший способ помочь расцвету просвещения — воспитывать граждан, соединяющих в одном лице воина, законодателя и философа. Ничто так не оживляет и не упорядочивает работу ума, как надежда немедленно воплотить свои думы в жизнь с пользой для всего человечества. Когда идея становится предвестницей поступка, когда счастливая мысль мгновенно обращается в благотворное установление, как радеет тогда человек о развитии своего ума! Он не страшится более, что факел его разума погаснет, не бросив ни единого луча света на дорогу деятельной жизни; он не испытывает больше того стыда, какой всегда ощущает гений, осужденный на умозрительные штудии, перед лицом человека зауряднейшего, но облеченного властью и потому способного осушить слезы, оказать важную услугу, помочь хотя бы одному живому существу на земле.

Когда мыслитель может деятельно бороться за счастье человечества, миссия его становится благороднее, цели — величественнее. Из горестных грез, посвященных всем страдальцам мира и не способных облегчить участь хотя бы одного из них, философия превращается в могущественное оружие, завещанное самой природой и торжествующее там, где царит свобода.

Победители опасаются солдат, которые помогли им одержать победу, священники страшатся фанатической веры, на которой зиждется их власть, честолюбцы не доверяют своим пособникам; иное дело — люди просвещенные: заняв важнейшие посты в государстве, они не перестают любить науки и сеять знания. Разуму нечего бояться разума; философы черпают силу в общении с себе подобными.

Рассмотрев различные способы пробудить рвение ученых мужей, трудящихся на ниве просвещения, я полагаю полезным поговорить об услугах, которые могут оказать просвещению женщины. Этому вопросу посвящена следующая глава.



## ГЛАВА IV О ЖЕНЩИНАХ, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ СЛОВЕСНОСТИ <sup>1</sup>

---

Несчастье подобно черной горе Бербер, расположенной на границе знойного королевства Лаор. Пока вы поднимаетесь наверх, взору вашему доступны лишь бесплодные скалы, но доберитесь до вершины, и над головой вы узрите небо, а у ног — Кашмирское королевство.

*Бернарден де Сен-Пьер. Индийская хижина <sup>2</sup>*

Роль женщин в обществе во многих отношениях еще весьма неопределенна. Желание пленять будит их остроумие, разум советует им оставаться в неизвестности, и все их успехи, равно как и поражения, незаконны.

Я верю, наступит время, когда законодатели-философы всерьез задумаются над вопросом о женском образовании, о гражданских законах, охраняющих права женщин, о своем долге сделать их счастливыми и способах достичь этого; ныне же ни природа, ни общество не могут, как правило, указать женщине истинное ее предназначение. То, что удается одной женщине, губит другую; случается, что достоинства наносят вред, а недостатки идут на пользу; иногда женщины всесильны, иногда — бесправны. Участь их чем-то похожа на участь римских вольноотпущенников: стоит им приобрести некоторое влияние, и их начинают упрекать в оскорблении законов, если же они смиряются с рабской долей, их ждут одни лишь притеснения.

Конечно, женщине больше пристало ограничивать свою жизнь домашним кругом, но ведь мужчины, как ни странно, легче прощают женщинам измену долгу, чем блеск таланта. Если у женщины посредственный ум, мужчины легко примиряются с развращенностью ее сердца, но яркое дарование ей, пожалуй, не искупит даже самым безупречным поведением.

Остановимся подробнее на причинах этого стран-

ного явления. Начнем с того, как по-разному складывается судьба женщин, посвятивших себя словесности, в монархиях и в республиках. Сперва я поведу речь о различном влиянии, какое эти два образа правления оказывают на судьбу женщин, домогающихся литературной славы, а затем коснусь более общего вопроса — о том, может ли слава, о которой мечтают эти женщины, составить их счастье.

В монархиях женщинам-писательницам грозят насмешки, а в республиках — ненависть.

В стране монархической, где все так чувствительны к условностям и приличиям, всякое стремление выйти из привычного круга кажется поначалу смешным. Исполняйте послушно все, что предписывают вам происхождение и положение в обществе, — и вам обеспечен всеобщий восторг, но попробуйте дать волю своей фантазии, своему вдохновению — и свет немедленно осудит вас самым суровым образом. Природная ревность мужчин успокаивается, лишь если вы блистаете, можно сказать, по обязанности; это еще может вас извинить; но если вам не оправдать себя ни обстоятельствами, ни корыстью, если единственной целью ваших усилий окружающие считают желание славы, то все, кого тщеславие ставит в ряды ваших соперников, возненавидят вас.

В самом деле, мужчины могут скрывать свое честолюбие и жажду успеха под видом страстей (мнимых или подлинных) более сильных и благородных, но когда за перо берется женщина, то публика, подозревающая ее прежде всего в желании блеснуть остроумием, не балует ее своим сочувствием. Чем яснее чувствует светское общество, что женщине не обойтись без ободрения, тем сильнее хочется ему ей в этом ободрении отказать. Всякий знает: стоит человеку заметить, что вы нуждаетесь в нем, как он немедленно охладевает к вам. Когда женщина выпускает книгу, светские судьи, от которых зависит ее судьба, немедленно выносят ей суровый приговор.

К общим причинам, действующим во всех странах с почти одинаковой силой, в французской монархии добавлялись некоторые особые обстоятельства. Французы, еще хранившие верность идеям рыцарства, не поощряли даже мужчин-сочинителей, что же должны были ду-

мать они о женщинах, посвятивших себя этому занятию и, следовательно, изменивших своему основному призванию — любви. Дворянская честь могла внушить даже мужчинам некоторое отвращение к роду деятельности, обрекающему их на зависимость от малейшего неодобрения публики, — тем более неприятно им было видеть, как существа, которых они обязаны защищать, их жены, сестры или дочери, отдают свои творения на суд переменчивой в мнениях толпы или просто дают ей право постоянно поминать их имена.

Большой талант побеждал все эти препятствия, однако слава сочинительницы плохо уживалась с независимостью, подобающей особам знатного происхождения, и отнимала у женщин приличествующие им достоинство, изящество, легкость и непринужденность.

Женщинам охотно позволяли приносить домашние дела в жертву светским развлечениям, но склонность к занятиям сколько-нибудь серьезным именовалась педантизмом, и, если одаренной сочинительнице не удавалось с самого начала стать выше шуток, обрушившихся на нее со всех сторон, она рано или поздно падала духом, разуверялась и в людях и в собственном таланте.

Досадные эти обстоятельства по большей части не повторяются в республике, особенно в такой, которая будет способствовать расцвету просвещения. Республиканцы, возможно, сочтут вполне естественным предоставить совершенствование изящной словесности женщинам, дабы мужчины могли посвятить себя исключительно возвышенной философии.

Во всех свободных странах женщинам давали образование, отвечающее местным установлениям и обычаям. В Спарте их учили воевать, в Риме требовали от них суровых гражданских добродетелей и преданности отечеству. Если мы хотим, чтобы движителем французской республики стал ревностный труд литераторов во славу просвещения и философии, неразумно пренебрегать богатствами женского ума; общество только выиграет, если мужчины смогут обсуждать со своими подругами волнующие их вопросы.

Меж тем во время революции мужчины сочли политически и нравственно полезным отвести женщинам роль совершенно ничтожную; с бессмысленным упор-

ством они обращались к прекрасному полу на жалком наречии, выказывающем полное отсутствие душевной тонкости и остроты ума. Женщины охладели к знаниям, что отнюдь не улучшило нравы. Ограничив круг мыслей своих подруг, мужчины не смогли возратить их идеям древнюю простоту; добились они лишь одного: поглупев, женщины стали менее чутки, менее почтительны к мнению окружающих, менее склонны к уединению. Произошло то, что происходит сегодня во всех областях жизни; нынче ведь каждый убежден, что все зло — от просвещения и что лучший способ поправить дело — воспрепятствовать развитию разума. Меж тем зло, причиняемое просвещением, может быть исправлено лишь с помощью самого просвещения. Либо нравственность — только выдумка, либо справедливо, что чем больше человек знает, тем благороднее его поступки.

Англичане имеют все основания предпочитать добродетели своих соотечественниц самым блестящим талантам, ибо среди этих добродетелей — скромность нрава и любовь к уединенной жизни; что же касается французов, то тут дело обстоит иначе: пожалуй, наши соотечественники мечтают лишь об одном — чтобы француженки ничего не читали, ничего не знали, не могли блеснуть в беседе ни интересной мыслью, ни удачным выражением, ни возвышенным слогом, хотя это благословенное невежество не только не увеличивает привязанность женщин к семейному очагу, но, напротив, уменьшает ее, лишая матерей возможности руководить образованием своих детей. Светская жизнь становится в этом случае столь же необходимой для женщин, сколь и опасной: ведь единственной темой разговора, внятной им, делается любовь — любовь, не знающая даже той тонкости, что подчас заменяет добронравие.

Счастье и нравственность страны понесут большой урон, если мужчины обрекут женщин на существование пошлое и легкомысленное. Женщины лишатся возможности смягчать мужскую жестокость и благотворно влиять на общественное мнение, а ведь в прежние времена именно они пробуждали в сердцах соотечественников человеколюбие, великодушие, нежность. Кто, кроме этих созданий, чуждых политическим стра-

стям и борьбе честолюбий, презирает подлость, осуждает неблагодарность и сочувствует изгнанникам, если они пострадали за правое дело? Не будь сегодня во Франции женщин достаточно просвещенных, чтобы мужчины считались с их мнением, и достаточно величавых, чтобы мужчины всерьез уважали их, наши государственные мужи вовсе перестали бы обращать внимание на то, что думают об их деяниях в обществе.

Я твердо убеждена, что до революции наиболее благотворное воздействие на мнение общества оказывали женщины выдающегося ума и характера: великодушно вставая на защиту несчастных, они смело выражали свои чувства, не боясь навлечь на себя неудовольствие власть имущих, и их вдохновенные слова передавались из уст в уста.

Во время революции те же самые женщины выказывали наибольшую самоотверженность и решительность.

Французам никогда не сделаться столь убежденными республиканцами, чтобы суметь обойтись без поддержки своих независимых и гордых соотечественниц. Разумеется, до революции женщины вмешивались в дела мужчин слишком часто, однако, лишив их знаний и, следовательно, разума, вы вовсе не поправите дела; женщины неумные безмерно алчны и неразборчивы в средствах, они дают грубые советы и унижают своего избранника, вместо того чтобы вдохновлять его. Выигрывает ли от этого государство? Разве справедливо, что из-за возможности встретить женщину, чьи дарования столь блистательны, что не пристали ее полу — возможности крайне редкой, — мы лишаем республику той славы, какой пользовалась некогда французская нация благодаря искусству общежития и умению угождать собеседникам? А ведь без женщин светская жизнь утрачивает и приятность и занимательность, что же касается женщин, лишенных ума или того умения вести изящную беседу, которое дается лишь безукоризненным воспитанием, то они не только не украшают, но, напротив, развращают общество; их неизменные спутники — глупые светские сплетни и пошлая веселость — в конце концов неминуемо отпугнут всех подлинно выдающихся мужчин, так что однажды окажется, что блестящее парижское общество

состоит из молодых кавалеров, которым нечего делать, и молодых дам, которым нечего сказать.

Человечеству всегда что-то не по нраву. Свои неудобства есть и в умственном превосходстве женщин и даже в чрезмерной образованности мужчин; нас смущает самолюбие остроумцев, честолюбие героев, неосторожность существ великодушных, раздражительность характеров независимых, дерзость храбрецов и проч. Следует ли отсюда, что правительство обязано восставать против природы и стремиться во что бы то ни стало смирить все эти человеческие склонности? Нельзя ведь даже поручиться, что удачный исход этой борьбы послужит укреплению семьи или государства. Женщины, не умеющие поддерживать беседу и не расположенные к литературным занятиям, как правило, гораздо более искусно уклоняются от исполнения своего долга, чем женщины образованные; равным образом нации непросвещенные не имеют привычки к свободе, но постоянно меняют хозяев.

Идет ли речь о нациях или об отдельных людях, самый лучший способ достичь разумной цели, упрочить все общественные и политические отношения — просвещать, образовывать, совершенствовать как женщин, так и мужчин.

Быть может, кого-то тревожит щекотливый вопрос: суждено ли умной женщине быть счастливой? Случается, что, обретая знания, женщина яснее различает ожидающие ее несчастья, однако то же самое происходит и с человечеством в целом, а ведь мы уже доказали, что просвещение человечества не помеха его счастью.

Если гражданские права женщин пока еще весьма неопределенны, следует улучшать их удел, а не ухудшать их образование. Только общество, где женщины развивают свой разум, оттачивают свой острый ум, может стать просвещенным и счастливым. Единственное несчастье, которое в самом деле может грозить женщинам, получившим образование, — это желание славы, однако даже эта несчастная случайность не нанесет никакого ущерба обществу и окажется роковой лишь для той горстки наиболее одаренных представительниц женского пола, которых судьба наделила докучливым превосходством над окружающими.

Если найдется женщина, которая позавидует мужчинам — властителям дум и пожелает стяжать их лавры, будет легче легкого заставить ее, пока не поздно, отказаться от этого намерения. Ей можно будет объяснить, на какую страшную участь она себя обрекает, можно будет сказать: вдумайтесь в устройство общества, и вы поймете, что оно не может не погубить женщину, вознамерившуюся сравняться умом с мужчинами.

Публика заранее проникается предубеждением против всякой женщины, славящейся выдающимися способностями. Чернь судит обо всем лишь исходя из прописных истин — они ведь никогда не подведут. Все, что выходит за привычные рамки, вызывает неудовольствие у посредственностей, видящих в косности свою защиту. Их тревожит даже даровитый мужчина, но даровитая женщина, отклоняющаяся от проторенных путей гораздо дальше, неминуемо вызывает изумление и, следовательно, бесит толпу еще сильнее. Даровитый мужчина, как правило, занимает важный пост в государстве, поэтому его таланты могут пригодиться даже тем, кто менее всего подвержен обаянию мысли. Гениальный мужчина может сделаться влиятельным лицом, и потому завистники и глупцы щадят его; что же касается умной женщины, то ее единственному достоянию — новым идеям и возвышенным чувствам — в глазах толпы нет оправдания; для черни ее блестящая репутация — лишь назойливый шум.

Женщине могут поставить в вину даже ее славу, ибо слава противна тому, к чему предназначает женщин природа. Суровая добродетель осуждает самые лучшие качества, если они приобретают известность; блюстители нравственности усматривают в этом посягательство на женскую скромность. Умные люди, с удивлением обнаруживающие в числе своих соперников женщину, не умеют оценить ее ни с великодушием противника, ни со снисходительностью покровителя и попирают в этом невиданном доселе сражении законы чести и доброты.

Если же в довершение всего женщине случается стяжать славу в эпоху политических распрей, влияние ее полагают безграничным, пусть даже на самом деле оно ничтожно, ее обвиняют во всех деяниях, совер-

шенных ее друзьями, ее ненавидят за все, что она любит, и, боясь поднять руку на тех ее единомышленников, кто по-прежнему грозен, нападают на существо беззащитное.

Ничто не рождает столько смутных слухов, сколько рождает их неверная судьба женщины со славным именем и скромным положением. Пусть тщеславие некоего мужчины вызывает смех, пусть низость другого мужчины навлекает на него презрение, пусть человек заурядных способностей не имеет никакого успеха в обществе — свет избирает себе жертвой не их, но ту неведомую силу, что зовется женщиной. Древние верили, что, если намерение не осуществилось, виной тому — рок. Самолюбие людей нового времени заставляет их также приписывать свои неудачи не собственной беспомощности, а действию тайных сил: при необходимости роль рока играет мнимая власть знаменитых женщин.

У женщины нет никакой возможности поведать миру правду о своей жизни. Клевету слышит широкая публика — об истинном положении дел знает лишь узкий круг посвященных. Чем может женщина опровергнуть лживые домыслы? Оклеветанный мужчина отвечает своими деяниями:

Свидетель — жизнь моя, ее не позабудь.

Но что такое жизнь женщины? Что может привести этот свидетель в ее оправдание? Ряд семейственных добродетелей, ряд безвестных добрых дел, ряд чувствований, ограниченных коротким женским веком, ряд сочинений, которые в то время, когда женщины уже не будут на свете, прославят ее имя в странах, где она никогда не бывала.

Мужчина может опровергнуть клевету, жертвой которой стал, хотя бы в своих книгах, женщина же, защищаясь, лишь ухудшит свою участь: оправдываться — значит вызывать новые слухи. Женщины предчувствуют, что природа заповедала им быть чистыми и хрупкими и что внимание публики для них губительно: ум, таланты, страстная душа могут сдёрнуть с женщины приличествующий ей покров безвестности, однако сожаление об этом надежном убежище будет преследовать ее вечно.



Недоброжелательство пугает самых одаренных женщин. Отважные в несчастье, они робеют перед злобой; какие бы смелые мысли ни рождались в уме женщины, она остается существом слабым и чувствительным. Большинство женщин, которым талант внушил желание славы, подобны Эрминии в воинских доспехах<sup>3</sup>: воины видят шлем, копье, блестящий султан — они думают, что перед ними могущественный противник, нападают со всей силой, на какую способны, и с первого раза попадают прямо в сердце.

Несправедливые попреки способны не только навсегда лишить женщину счастья и покоя — они могут разлучить ее с самыми дорогими ее сердцу существами. Кто знает, не затмевает ли иногда клевета правду воспоминаний? Кто может поручиться, что клеветники, терзавшие женщину при жизни, оставят ее в покое после смерти и не очернят память о ней даже в глазах тех, кто ее любил?!

До сих пор я говорила только о несправедливом отношении к талантливим женщинам со стороны мужчин, — но разве меньшую опасность представляет недоброжелательство женщин? Разве не разжигают они втайне вражду в сердцах мужчин? Многие ли из них заключают союз со знаменитой сочинительницей, дабы поддержать ее, защитить, подать ей, мучимой сомнениями, руку помощи?

И это еще не все: мужчины полагают, кажется, что перед женщинами, чьи выдающиеся способности они признали, они не несут никаких обязательств: с ними можно быть неблагодарным, коварным, жестоким, и никому не придет в голову встать на их защиту. «Ведь она же необыкновенная женщина!» — этим все сказано: коли так, значит, можно бросить ее на произвол судьбы — пусть она одна сражается с невзгодами. Зачастую у нее не остается ни силы, выручающей мужчин, ни способности пробуждать сострадание, свойственной женщинам: подобно париям в Индии, она пребывает в одиночестве среди всех сословий, к которым не может принадлежать, среди всех соотечественников, которые полагают, что она должна существовать, предоставленная сама себе, вызывая у окружающих любопытство, а может быть, и зависть, и не заслуживая ничего, кроме жалости.

ГЛАВА V  
ОБ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Нетрудно исчислить недостатки, которых безупречный литературный вкус велит избегать; гораздо труднее указать воображению новые пути, по которым ему следует пойти. Революция не могла не уничтожить иные из способов добиться успеха в словесности. Рассмотрим вначале, каковы были эти способы, и нам сделаются гораздо более ясны новые возможности, открывающиеся перед сочинителями.

Изящная словесность воздействует на людей двояко: либо пробуждая их веселость, либо приводя в волнение их душу. Волнения души проистекают из коренных свойств человеческой природы; веселость же нередко является всего-навсего результатом разнообразных и подчас причудливых отношений, установившихся в обществе. Следовательно, душевные движения имеют источник долговечный и не подверженный переменчивому влиянию событий политических, тогда как веселость во многом зависит от обстоятельств.

Чем проще общественные установления, тем меньше число противоречий, которые так охотно выводят на всеобщее обозрение философы. Творчество Вольтера лучше, чем книги всех прочих писателей, свидетельствует о том, что в разумно устроенном государстве остроумцам было бы не над чем шутить. Вольтер постоянно противопоставляет то, что должно быть, тому, что есть, противопоставляет чопорность форм ветренности ума, суровость религиозных догм распушенности тех, кто эти догмы проповедует, невежество вельмож их могуществу. Одним словом, сочинения его изображают, как правило, установления противные рассудку и достаточно могущественные, чтобы насмешка над ними служила доказательством отваги<sup>1</sup>. Если бы католическая религия не была главной религией Франции, насмешки над ней выглядели бы ничуть не более забавно, чем издевательства над священнодействиями браминов в устах писателя-европейца. Таким же образом обстоит дело с сословными предрассудками и с

отвратительными злоупотреблениями, к которым эти предрассудки могут привести. Жители страны, где подобные злоупотребления неизвестны, удостоят язвительное описание породивших их предрассудков в лучшем случае легкой улыбки.

Американцам трудно будет оценить по достоинству комедию, зиждущуюся на обычаях, которых в их стране не существует; быть может, любопытства ради они не отказались бы побывать на ее представлении, но сами на такую тему писать бы не стали. Все насмешки над гражданскими и политическими установлениями, противными естественному порядку вещей, утрачивают остроту, лишь только достигают своей цели — переустройства общества.

Греки издевались над своими государственными мужами, но не над своими установлениями. Их поэтическая религия сковывала воображение; они всегда кому-нибудь подчинялись — то ли по собственному желанию, то ли по воле тирана, который полностью поработал их. В отличие от французов они никогда не знали той переходной эпохи, что так щедро на духовные контрасты.

Французская нация избирала объектом для шуток свои собственные страдания; умом французы понимали смехотворность того, чему ежедневно воскуривали фимиам; они делали вид, что равнодушны к насущнейшим своим интересам, и соглашались терпеть самовластье, при условии, что им будет дозволено посмеиваться над собственным долготерпением.

В отличие от тех философов, что жили под властью монарха, греческие философы не осуждали установлений своего отечества; они не имели понятия о наследственном праве, на котором покоится власть большинства королей нового времени, воцарившихся после нашествия северных народов. В Греции правители были обязаны возвышением своим доверию нации. Попытка осмеять политическое устройство их страны показалась бы им более чем странной — ведь устройство это целиком зависело от воли самой нации. Да и вообще свободные народы слишком почитают государственные установления своего отечества, чтобы позволить легкомысленным насмешникам глумиться над ними.

Если Франция станет свободной страной, если все

установления ее будут верны философическим принципам, насмешки над правительством сделаются бесполезны и, следовательно, лишатся занимательности. Даже сочинения вроде «Кандида», где мишенью для насмешек является весь род человеческий, при республиканском правлении во многом утратят свою остроту.

Когда у власти стоит деспот, рабы утешаются, слыша, как писатели бранят удел всего человечества; напротив, при республиканском строе ревностные защитники свободы должны отвергать всякие попытки опорочить род человеческий. Разочарование отнюдь не придает человеку отваги. Главное — внушить людям, что добродетель превыше жизни, и вселить в них уважение ко всем чувствованиям души, дабы тем большего почтения удостаивалось чувство высшее — любовь к добру и к людям.

Вообще насмешка сильна тем, что убивает всякий душевный порыв и, не ведая пощады, хладнокровно гасит пламя страсти. Смех — незаменимое оружие в борьбе со спесью и предрассудками, однако любовь к свободе и отечеству невозможна без живейшего сочувствия счастью и славе нации, и вы лишь остудите пыл людей вдохновенных, если вселите в их души то пренебрежительное отношение ко всем делам человеческим, которое рождает равнодушие и к добру и к злу.

Когда общество устремляется по пути, начертанному разумом, главная опасность, ему грозящая, — это упадок духа; насмешники же, которые, расправившись с вредными предрассудками, принимаются за чувства неподдельные и благородные, колеблют нравственные основания, на коих должно покоиться существование каждого человека в отдельности и общества в целом. Поэтому «Кандид» и подобные ему сочинения, проникнутые философией язвительной, выставляющей на посмешище благороднейшие цели жизни, наносят вред республике, ибо в свободной стране люди хотят уважать своих собратьев, верить в возможность творить добро, исповедовать религию надежды, вселяющую способность к ежедневной самопожертвованию.

Конечно, остроумие в литературе не сводится к насмешкам над общественным устройством и человеческим уделом; существует и другой вид остроумия —

тонкие и меткие наблюдения над страстями и характерами. Этим высшим даром был, как никто иной, наделен Мольер. Вольтеру не удалось создать ни одного значительного драматического сочинения в комическом роде, достойного Мольера. Какие же сюжеты следует избирать сочинителям комедий в свободном государстве?

Смешные качества людей делятся на две совершенно различные группы: одни рождены самой природой, а другие зависят от устройства общества. В стране, где господствует политическое равенство, смешных черт второго рода гораздо меньше: здесь людей связуют отношения, близкие к естественным, и оттого приличия меньше противоречат законам разума. До революции человек, даже обладая многообразными достоинствами, мог сделаться всеобщим посмешищем из-за полного незнания обычаев. В свободном же государстве чувство приличия оскорбляется лишь действительными недостатками ума или характера<sup>2</sup>.

Во времена монархического правления люди поневоле научались примирять честь с корыстью, деланную отвагу с тайной расчетливостью льстеца, внешнее легкомыслие с постоянной заботой о собственном благополучии, действительное рабство с притворной независимостью. Человеку, не умевшему справиться со столь трудной задачей, то и дело грозила опасность показаться смешным. Чем больше простоты обретут при республиканском правлении манеры и обстоятельства, тем меньше поживы найдут для себя сочинители комедий.

Среди пьес Мольера есть такие, которые ограничиваются осмеянием современных автору предрассудков, — к ним относятся «Мещанин во дворянстве», «Жорж Данден» и проч., — но есть и другие: «Скупой», «Тартюф» и проч., которые изображают человека всех времен и народов; вот эти-то комедии и не утратили бы своего значения в государстве свободном — если не в частностях, то по крайней мере в целом.

Тот, кто смеется над пороками человеческого сердца, смеется более заразительно, но более горько, чем тот, кто зубоскалит над забавными причудами или неразумными установлениями. Самые смешные сцены «Тартюфа» оставляют смутное ощущение печали, ибо напоминают о том, что человек зол от природы; когда

же автор вышучивает некие предрассудки и связанные с ними пороки, мы смеемся более беззаботно, ибо не теряем надежды их исправить. В государстве, управляемом по законам разума, сочинители утрачивают и склонность к легкомысленным шуткам и поводы для них; умам здесь надлежит обратиться к высокой комедии — самому философическому из всех детищ воображения, — к высокой комедии, предполагающей глубочайшее знание сердца человеческого. Республиканский строй может вдохнуть в авторов, подвигающихся на этом поприще, новые силы.

В монархии излюбленный объект насмешек — манеры, расходящиеся с теми, что приняты в обществе; в республике же осмеянию должны подвергнуться душевные пороки, вредящие общественному благу. Приведу один выразительный пример, показывающий, какие предметы следует избирать ныне комическим поэтам и какие цели преследовать.

В «Мизантропе» рассудительным человеком изображен Филинт, а на смех поднят Альцест. Наш современник написал продолжение мольеровской комедии, где показал Альцеста великодушным и самоотверженным другом, а Филинта — самовластным эгоистом и тайным завистником<sup>3</sup>. На мой взгляд, автор пьесы верно понял, какие предметы должна отныне избирать комедия; сегодня театру надлежит бичевать пороки, если можно так сказать, отрицательные, пороки, заключающиеся в отсутствии достоинств. Комические поэты обязаны срывать благопристойные личины, за которыми множество людей охотно прячут себялюбие и коварство. Республиканский дух нуждается в добродетелях положительных, добродетелях гласных. Многие порочные люди мечтают лишь о том, как избежать насмешек; наш долг — уведомить их, что отныне преуспевающий порок скорее рискует быть осмеянным, нежели неловкая добродетель; мы должны выказать достаточно таланта, чтобы убедить их в этом.

С некоторых пор решительным человеком называют такого, который идет к цели, презрев все свои обязанности; человеком умным — такого, который ловко предаст одну за другой все свои привязанности. Добродетель упрекают в лживости, а порок выдают за великий замысел сильной души, — так вот, даровитый коми-

ческий поэт должен показать, что безнравственность сердца обличает ограниченность ума, должен уязвить самолюбие людей развращенных и открыть смеху новые предметы. Прежде литераторы охотно подчеркивали очарование некоторых недостатков и нелепость некоторых почтенных свойств; сегодня же мы ждем от писателей, чтобы они посвятили себя восстановлению истины, чтобы порок в их комедиях предстал глупым, а добродетель — вдохновенной.

Откуда же нам взять контрасты, спросят меня, и чем поразить зрителей? Перед сочинителями, отвечу я, открывается множество самых неожиданных возможностей. Например, до сих пор на театре охотно представляли мужей-изменников, дабы посмеяться над обманутыми женами. Чрезмерная уверенность женщин в неотразимости их чар в самом деле достойна осмеяния, однако автор выказал бы талант гораздо более зрелый и возвышенный, если бы избрал мишенью для насмешек обманщика мужа и представил в комическом свете не жертву, а обидчика. Всерьез осуждать то, что бесспорно преступно, не составляет труда; гораздо больше мастерства требуется для того, чтобы выставить безнравственность на посмешище, показав, как недалеко отстоит она от глупости,— а ведь это вполне возможно.

Люди, которые желают представить свой подлый и порочный нрав как нечто сообщающее им дополнительную прелесть, которые мнят себя такими умниками, что, пожалуй, похвастались бы перед вами тем, как обвели вас вокруг пальца, если бы не надеялись, что однажды вы узнаете это сами; люди, которые хотят прикрыть злодеяниями свою бездарность, льстясь надеждой, что никто никогда не заподозрит лицо, столь решительно пренебрегающее общечеловеческой моралью, в полнейшей неспособности к политической деятельности; люди, столь мало зависящие от мнения порядочных людей и столь трепетно прислушивающиеся к мнению людей могущественных; шарлатаны порока, ненавистники возвышенных правил, язвительные гонители чувствительных душ — вот кого нужно высмеять, прежде чем они начнут зубоскалить над окружающими, вот кого нужно разоблачить, чтобы даже дети хохотали над их ничтожеством. Мало обратить против

них мощное оружие негодования — нужно, чтобы они больше не могли надеяться, что слава людей оборотливых и дерзких вознаградит их за утрату незапятнанной репутации.

В странах с разумным политическим устройством смех и презрение должны разить одного и того же врага. Пусть изящный, скрытный, ловкий порок узнает, что такое колкая издевка — единственный мститель, который способен смутить благоденствие негодяев, единственное оружие, которое способно ранить людей, не ведающих ни стыда, ни раскаяния.

Французов развращает потребность производить впечатление любой ценой, и прежде всего — блистая умом. Не в силах добиться успеха законными средствами, человек прибегает к средствам порочным; при этом держится он так уверенно и решительно, переносит несчастье — если оно постигло не его, а окружающих — так стойко, что может ввести иных доверчивых людей в заблуждение. Комедия призвана помешать этим отвратительным обманщикам добиться своего. Негодование бичует порок как всемогущую силу. Комедия должна приравнять его к слабостям ничтожнейшего из глупцов.

Литература свободных стран, как я уже говорила, редко могла похвастать хорошими комедиями; соблазн снискать легкую славу с помощью злободневных намеков и серьезность политических задач, стоящих перед страной, поочередно мешали свободным народам преуспеть в искусстве комедии. Однако во Франции власть честолюбия над умами до сих пор настолько велика, что сочинителям комедий еще долго будет о чем писать. У Горация человек, убежденный в собственной правоте, стоит на своем, несмотря на то, что рушится весь мир<sup>4</sup>. Точно таким же образом обстоит дело с мнением француза о себе. Какие бы ошибки ни совершил наш соотечественник, какие бы злоключения ни пережил, он всегда ценит себя чрезвычайно высоко. До тех пор пока эта черта будет отличать наш национальный характер, комические авторы всегда смогут отыскать забавные предметы для пьес, а смех пребудет таким же могущественным оружием философии, как разум и чувство.

Трагедия испокон веков зиждется на одних и тех же



чувствах; она изображает страдание — источник поистине неисчерпаемый. Тем не менее, как всякое творение человеческого ума, она изменяется вместе с общественными установлениями и нравами, которые этими установлениями порождаются.

Древние трагедии и новейшие подражания им производят в республике гораздо меньшее действие, чем в монархии; сословные различия заставляли острее сочувствовать невзгодам, которые судил несчастным злой рок; страдания героя, восседающего на царском престоле, казались столь ужасными, что о них невозможно было думать без трепета. В древнем обществе, узаконивающем рабство, дистанция между жалкими бедняками и благоденствующими богачами была столь велика, что сама жизнь уподоблялась театру. Разумеется, можно с сочувствием следить и за событиями, которые не могут произойти в твоём отечестве, тем не менее бесспорно, что влияние общественных иллюзий становится все слабее, по мере того как свобода и политическое равенство прививают всем гражданам убеждения философические.

Древние нередко изгоняли царей либо упраздняли царскую власть, мы же подвергли эту власть внимательному исследованию, а что может быть губительнее для работы воображения? Величие власти, почтение, которое она внушает, жалость, которую вызывают те, кто лишились ее, хотя владели ею по праву,— все эти чувства трогают душу независимо от одаренности изобразившего их автора, а между тем в свободном государстве они в значительной степени утратят свою силу. Более того, уже сейчас люди претерпевают достаточно мучений просто как люди, и ни титулы, ни должности, ни особенные жизненные обстоятельства не могут существенно увеличить наше к ним сострадание.

Не следует, впрочем, превращать трагедию в драму<sup>5</sup>, а для того чтобы избежать этой опасности, необходимо уяснить себе разницу между этими двумя родами словесности. Дело, я полагаю, не только в общественном положении героев, но и в том, насколько возвышенны их характеры и сильны их страсти.

Мы знаем не одну попытку обогатить французскую сцену красотою английского и немецкого театра, одна-

ко, за крайне редкими исключениями \*, попытки эти увенчались успехом весьма недолговечным и были вскоре забыты. Дело в том, что сами по себе трагические события, равно как и смешные положения в комедии, оставляют впечатление мимолетное. Если вы не вынесли из трагедии ни одной новой мысли, если вы плакали, но в душе вашей не запечатлелось ни одного нравственного урока, если борение страстей не внушило вам нового взгляда на вещи, тогда трагедия — забава более безобидная, чем гладиаторский бой, но также не возвышающая ни мыслей, ни чувств зрителей <sup>7</sup>.

В одной немецкой книге я встретила мысль, показавшуюся мне весьма справедливой; заключается она в том, что трагедии терзают нам душу затем, чтобы закалить ее <sup>8</sup>. В самом деле, подлинное величие характера, в каких бы горестных обстоятельствах он ни предстал перед нами, вызывает у нас восхищение, помогающее устоять в беде. В трагедиях, как и во всех прочих родах словесности, все решает польза. Поистине прекрасно то, что делает человека лучше; если театральная пьеса совершенствует наш характер, мы, даже не сверяясь с правилами вкуса, понимаем, что она гениальна. На театре подобное воздействие оказывают не максимы, а характеры и события; только памятуя об этом, можно определить, какие иностранные пьесы могут прижиться на нашей сцене.

Мало взволновать душу, нужно еще и просветить ее, поэтому потрясать взоры зрелищем могил, казней, привидений и сражений следует лишь в том случае, если это необходимо для философического изображения великого характера или глубокого чувства. Любой мыслящий человек всей душой стремится к разумной цели. Сочинитель лишь тогда заслуживает славы, когда он трогает сердца зрителей истинами высокими и нравственными.

Драме достаточно изобразить обстоятельства частной жизни, меж тем как трагедия должна напоминать о событиях, связанных с судьбой нации. Впрочем, важнее всего для трагедии не исторические предания и аллюзии, но благородство мыслей и глубина чувств.

\* Едва ли не в каждой пьесе Дюсиса, в четвертом действии «Карла IX» Шенье, в пятом действии «Венецианцев» Арно есть весьма замечательные сцены в новом духе, достойные поэтов севера <sup>6</sup>.

Вовенарг сказал, что великие мысли исходят из сердца<sup>9</sup>. Трагедия воплощает эту возвышенную истину в действии. В основу пьесы «Фенелон» положен случай, лучше всего подходящий для драмы, однако сама память о великом человеке превращает драму в трагедию<sup>10</sup>. Предметом трогательнейшей в мире трагедии послужили бы благородная жизнь и ужасный жребий господина де Мальзерб<sup>11</sup>. Величественная добродетель, обширный гений — вот новые достоинства, подобающие трагическому герою, не считая, разумеется, горькой печали, столь хорошо нам знакомой.

Мне представляется бесспорным, что в жизни люди гораздо богаче сильными чувствами, чем в французских трагедиях, даже самых превосходных. Знатное происхождение сообщает трагическим героям некую чопорность, которая не позволяет им биться врукопашную и неизбежно вносит некоторую неопределенность в изображение душевных привязанностей. Произведение, где в полном согласии со светскими приличиями описаны сдержанным пером старательно подавляемые чувства, требует от сочинителя большого таланта, однако тот, кто соблюдает все эти запреты, неспособен изобразить страсти с той душераздирающей силой и проникновенностью, какие доступны творцу независимому.

При республиканском правлении мысль более всего пленяется добродетелью, а воображение более всего чувствительно к несчастью. Не знаю, способно ли само зрелище славы, единственной награды, которой может гордиться философ, так потрясти зрителей-республиканцев, как изображение чувств, столь близких природе человеческой, что мы откликаемся на них всем существом.

Щедрый на обобщения философический дух вкупе с политическим равенством неизбежно придадут нашим трагедиям новый характер<sup>12</sup>. Это не означает, что поэты вовсе откажутся от сюжетов исторических, однако великих людей им придется рисовать так, чтобы страсти их пробуждали сочувствие во всех сердцах, а незначительные происшествия — так, чтобы их возвышало благородство характеров; одним словом, поэтам предстоит не усовершенствовать условности, но облагораживать природу. Перенимать у английских и немецких авторов неправильности и непоследовательности их

пес нам не пристало, однако, научись мы сообщать благородство положениям обиденным, а великие события изображать скромно и просто, наши творения поразили бы совершенством и новизной не только наших соотечественников, но и чужестранцев.

Жизнь на сцене исполнена благородства, однако она обязана оставаться жизнью; тем не менее, если, желая оттенить возвышенные страсти, мы вводим в пьесу обстоятельство зауряднейшее, мы обязаны сделать все возможное, чтобы не отпугнуть зрителей, чтобы, раздвигая границы искусства, не оскорбить вкуса. Никто не сумеет превзойти наших лучших трагических поэтов в изображении красот идеальных. Попытаемся же, призвав на помощь разум и мудрость, развернуть перед зрителем драматические картины, близкие их собственным воспоминаниям, ибо ничто не волнует человека так глубоко\*.

Театральные условия неразрывно связаны с аристократической формой правления: одно не существует без другого. Лишенное же этих искусственных подпорок, драматическое искусство способно развиваться лишь за счет философии и чувствительности, причем такому развитию нет предела, ибо страдание — одно из самых мощных средств, способствующих совершенствованию ума человеческого.

Счастливые люди, если можно так выразиться, не сознают течения жизни; когда же душа страдает, мысль напряженно ищет оснований для надежды или раскаяния, углубляется в прошлое или разгадывает грядущее; человек спокойный и счастливый глядит окрест себя, обездоленный же человек всецело отдается собственным ощущениям. Боль, не отпускающая ни на минуту, исполняет мысли и чувства, терзающие наше сердце, такой значительностью, словно каждая минута

\* Французская публика неохотно принимает новшества на сцене; восхищаясь — совершенно справедливо — шедеврами родной литературы, она полагает, что все, кто отклоняются от пути, завещанного Расином, портят искусство. Что до меня, то я верю, что человек с талантом и тактом сможет добиться успеха на путях новых, прежде неизвестных нашей сцене, однако для этого ему необходимо будет самым строжайшим образом блюсти заветы вкуса. Пусть замысел выглядит дерзким — исполнение должно быть осторожным; литератор, как и политик, обязан помнить: чем смелее план в целом, тем с большим тщанием и даже робостью следует обдумывать детали.

несет с собою новые открытия. Какой неисчерпаемый источник раздумий для гения!

Законы трагедии не так строги в том, что относится к выбору сюжета, как в том, что касается поэтичности слога. То, что звучит трогательно и правдиво, будучи высказано языком обыденным, в стихах может стать смешным. Размер, мелодии, рифма изгоняют из стихотворения многие сильные выражения. Истинные театральные условности суть не что иное, как нравственное благородство; поэтические же условности зависят от законов стихотворства, и, хотя нередко мы обязаны им совершенством произведения, гениальный наблюдатель человеческого сердца лишь стесняется ими.

В жизни никто не поверил бы человеку, оплакивающему кончину возлюбленной в стихах. Есть страсти, вдохновляющие поэзию, и есть другие, которые ей чужды. Следовательно, существует мука столь сильная и глубокая, что стихи неспособны правдиво высказать ее; существуют самые обыкновенные жизненные обстоятельства, которые служат для человека источником множества страданий, но которые, однако, нельзя доверить рифмованным строчкам, нельзя описать приличествующим поэзии слогом, не исказив естественного течения чувств. Не станем отрицать: трагедия в прозе, как бы красноречиво она ни была написана, вызвала бы поначалу гораздо меньшее восхищение, нежели наши стихотворные шедевры. Преодоленная трудность, очарование гармонического ритма — все способствует триумфу драматического поэта. Однако именно приверженность французских трагиков к стихотворной форме и явилась одной из основных причин, обусловивших разность трагедий французской и английской<sup>13</sup>.

У Шекспира действующие лица низкого происхождения говорят прозой, прозой же написаны и интермедии, что же до стихов его, то, будучи лишены рифм, они, в отличие от французских, не требуют слога почти сплошь возвышенного. Французских зрителей не легко будет приохотить к трагедиям в прозе, и я не советую нашим авторам приниматься за их сочинение; гораздо разумнее научиться писать стихами простыми и естественными, которые красотой своей не отвлекали бы внимания зрителей от самого важного — искренних и глубоких чувств<sup>14</sup>. Одним словом, обновить сцену

могут лишь пьесы, которые вберут в себя все лучшее из французской и северной драматургии, избавившись при этом и от условностей французской поэзии и от ошибок против вкуса, которыми грешат писатели севера.

Философии подвластны не только все создания мысли, но и все творения фантазии; в нашу эпоху человеку любопытны лишь страсти человеческие. Он уже видел все окрест себя, обо всем составил суждение; нравственная природа, душевные движения — вот единственное, что еще может изумить и потрясти нашего современника. Не та трагедия окажет могучее воздействие на сердце зрителя, которая изберет своим предметом избитые мысли заурядных людей, и не та, которая изобразит характеры и положения столь далекие от природы, словно они взяты из волшебной сказки, но лишь та, что сможет взрастить в душе человека чистейшие чувства, какие он когда-либо испытывал, и вернуть публике достоинство и благородство.

Поэтическим вымыслом не место во французской словесности; отныне предметом стихотворных описаний сделаются философические идеи или страстные чувства, что же касается обольщений и восторгов, которые служили прежде источником пленительных картин и мифологических вымыслов, то ум человеческий перерос их. Мифологическая поэзия никогда не давалась французам, ныне же успех ждет лишь того, кто выскажет прекрасным поэтическим слогом новые мысли, рожденные нашей эпохой.

Пожелай современные поэты вновь прибегнуть к мифологии древних, это означало бы, что они в полном смысле слова впали в детство: поэт вправе перекладывать в стихи все видения исступленного ума лишь при условии, что читатель поверит в его искренность. Мифология же ничего не говорит ни уму, ни сердцу наших современников. То, что древние знали по повседневным ощущениям, люди нового времени способны понять, лишь порывшись в памяти. Для нас поэтические формы, заимствованные у язычников, — это не что иное, как подражание подражанию; с их помощью наши сочинители описывают не природу, а то впечатление, которое она произвела на их предшественников.

Древние, олицетворяя любовь или красоту, не только не затемняли смысл этих понятий, но, напротив, прояс-

няли его, и идея красоты или любви оживала в уме читателей, еще очень слабо разбиравшихся в собственных ощущениях. Что же до людей нового времени, то они так глубоко проникли в тайну душевных движений, что под их пером простое описание чувств обретает красоту и страстность; прибегнув же к выдумкам, рожденным в пору, когда столь глубокое знание человека и природы было сочинителям еще недоступно, современные поэты лишили бы свои полотна силы, тонкости и правдивости.

А разве, читая самих древних авторов, не предпочитаем мы наблюдения над человеческим сердцем самым блестящим вымыслам? Разве описание Купидона, принявшего образ Юла и ласкающегося к Дидоне, дабы вдохнуть в нее любовь к Энею<sup>15</sup>, так же сильно рисует зарождение страсти, как прекраснейшие стихи, в которых изливаются привязанности и чувства, ведомые всем смертным?

Древним все кругом напоминало о языческих богах, и они не могли выразить свои впечатления, не призвав их на помощь; иное дело — писатели нового времени; они черпают в древних книгах красивые слова, но ведь слова эти бесполезны, если автором не движет подлинное чувство. Работа ума всегда заметна, как тщательно ее ни скрывай; нас уже не увлекает тот, если можно так выразиться, произвольный талант, который описывает первые попавшиеся чувства и идет на поводу у своих ощущений, вместо того чтобы без усталости искать одобряющие поэтические средства. Истинное призвание поэзии — с помощью образов новых и правдивых разом возбуждать интерес людей к безотчетным чувствам и непривычным мыслям; как и всякий другой плод умственной деятельности человека, поэзия должна идти в ногу с современной философией.

Шедевры древних следует изучать для того, чтобы постичь секрет их безупречного вкуса и простоты, а вовсе не для того, чтобы заполнять современные сочинения древними идеями и вымыслами, резко расходящимися с собственными находками авторов нового времени. Как бы тщательно ни изучали мы произведения древних, мы способны лишь подражать им; достичь совершенства в том же роде, что и они, нам не дано. Чтобы сравняться с ними, не следует идти по их сто-

пам; они собирали урожай на своих полях — мы обязаны вспахать свои.

Скудная северная мифология ближе французской поэзии, ибо, как я попыталась доказать, она лучше уживается с представлениями философическими. В наш век воображение не может прибегать к помощи иллюзий; оно вправе усиливать искренние чувства, но лишь с согласия разума\*.

Прозаические сочинения Ж.-Ж. Руссо и Бернарде-на де Сен-Пьера исполнены поэзии совершенно новой: эти авторы наблюдают природу в ее связи с человеком, описывают впечатления, какие оставляет природа в человеческой душе. Олицетворяя каждый цветок, каждый ручей, каждое дерево, древние заменяли простые и непосредственные ощущения блистательными химерами, однако провидению было угодно так тесно связать внешний мир с нравственной природой человека, что нельзя сделать ни шага вперед в изучении одного, не продвинувшись одновременно и в изучении другой.

В нашей памяти шум волн, темные тучи, крики испуганных птиц неотделимы от рассказа о чувствах, переполнявших Сен-Пре и Юлию в тот вечер, когда они вместе плыли по озеру и «сердца их говорили друг с другом в последний раз»<sup>16</sup>.

Благодатная природа Иль-де-Франса, буйная и разнообразная растительность, чистое небо, внезапно омрачаемое страшными бурями, слиты в нашем воображении с фигурами двух детей на руках у верного слуги-негра; это Поль и Виргиния: юные, исполненные надежд и любви, они доверчиво глядят в жизнь, которая вскоре сметет их с лица земли<sup>17</sup>.

Стоит только изгнать из природы чудесное, и тут же становится ясно, что все в ней взаимосвязано, и сочинителям следует подражать царящим здесь согласию и единству. Обобщая идеи, философия придает большее величие поэтическим образам. Знание логики помогает полнее овладеть языком страсти. Отныне во всех произведениях изящной словесности должно ощущаться постоянное совершенствование мысли и созна-

\* Делиль, Сен-Ламбер и Фонтан, лучшие наши мастера описательной поэзии, почти сравнились с английскими поэтами в изображении природы.



ние полезной цели. Нынче никому не нужны заслуги относительные, никто больше не ценит преодоленные трудности, если преодоление их не развивает ум человеческий. Нам надлежит либо исследовать человека, либо совершенствовать его. Романы, стихи, пьесы и все прочие сочинения, которым, казалось бы, достаточно быть занимательными, оставляют публику равнодушной, если им вовсе чужды философические идеи. Романы, содержащие одни только необыкновенные приключения, вскоре, вероятно, окончательно выйдут из моды\*.

Поэзия, состоящая из одних вымыслов, стихи, не отличающиеся ничем, кроме благозвучия, быстро наскучивают умам, стремящимся прежде всего постичь суть страстей и характеров<sup>21</sup>.

Разгул страстей, являющийся следствием гражданских смут, оставляет в душах интерес лишь к тем сочинениям, что проникают в глубь мыслей и чувств человеческих и помогают познать силу и намерения толпы. Следовательно, люди любопытствуют прочесть лишь те книги, что рисуют характеры в действии, и восхищаются лишь теми сочинениями, что возвышают сердца читателей.

Великий немецкий метафизик Кант, рассматривая причины, по которым мы испытываем удовольствие при знакомстве с шедеврами ораторского и изобразительного искусства, с любыми плодами гениального воображе-

\* Сочинения, которыми потчуют нас с некоторых пор,— страшные романы, изобилующие ночными пейзажами и старыми замками с длинными коридорами, где воет ветер,— принадлежат к числу самых бесполезных и, следовательно, самых утомительных порождений человеческого ума<sup>18</sup>. Такие романы походят на волшебные сказки с той только разницей, что они более скучны, ибо более однообразны. Напротив, романы, рисующие нравы и характеры, нередко сообщают о сердце человеческом больше, чем сама история. В этих творениях вам под видом вымысла открывают такие истины, каких вы никогда не узнали бы из трудов исторических. Романы такого рода превосходно удаются в наши дни женщинам, как французкам, так и англичанкам, ибо женщины старательно изучают и проникательно описывают движения души; кроме того, до сих пор романы писались только о любви, а ведь тончайшие оттенки этого чувства ведомы одним лишь женщинам<sup>19</sup>. Из новых французских романов, написанных женщинами, следует назвать «Калисту», «Клер д'Альб», «Адель де Сенанж» и особенно сочинения госпожи де Жанлис<sup>20</sup>; благодаря мастерскому изображению обстоятельств и знанию сердца человеческого она по праву занимает первое место среди лучших наших писательниц.

ния, говорит, что удовольствие это проистекает из нашей потребности раздвинуть пределы судьбы человеческой<sup>22</sup>; пределы эти, при мысли о которых сердце наше болезненно сжимается, на несколько мгновений изглаживаются из нашей памяти благодаря смутному волнению или возвышенному чувству; встречаясь с благородством и красотой, мы испытываем неизъяснимое наслаждение; мы забываем о земных пределах, когда взорам нашим открываются бесчисленные свершения гения и добродетели. В самом деле, человек талантливый либо чувствительный с трудом подчиняется законам жизни, и только меланхолическое воображение, погружающее душу в мечты о бесконечности, дарует ему мгновения счастья.

Отвращение к жизни, если оно не ведет к отчаянию и с чарующей непоследовательностью оставляет в душе место для желания славы, может пробудить прекраснейшие чувства; для созерцания нужна возвышенная точка, для изображения — яркие краски. У древних тот был лучшим поэтом, чье воображение легче всего пленялось вымыслами. В наши дни воображению подобает быть таким же недоверчивым, как и разуму: лишь от такого философического воображения можно ждать больших свершений.

Даже картины всеобщего благоденствия должны выдавать в поэте мыслителя и заставлять читателя задуматься вслед за автором. В наш век меланхолия — истинный источник вдохновения<sup>23</sup>; тот, кому неведомо это чувство, не может рассчитывать на подлинную литературную славу; завоевать ее можно лишь ценой печали.

Пусть мы живем в развращеннейшую из эпох, пусть нравственность торжествует лишь в литературе, все же нельзя не отметить, что подлинный успех имеют ныне лишь те сочинения, которые пробуждают в людях добрые чувства. Наше сегодняшнее положение чем-то подобно положению римлян накануне нашествия северных народов. В ту пору человечество нуждалось в энтузиазме и суровости. Чем более испорчены сегодня нравы французов, тем ближе день, когда соотечественники наши устанут от пороков и возмутятся нескончаемой чередой несчастий, которую влечет за собой безнравственность. Снедающая нас тревога разрешится в

конце концов чувством живым и сильным, и дело великих писателей — пестовать его ростки. Время возвращения к добродетели не за горами, и, если благородные чувства еще не восторжествовали, дух уже алчет их.

Быть может, там, где нравы суровы, изящной словесности не преуспеть без проповеди снисходительности, однако в обществе развращенном долг писателя — постоянно напоминать публике о твердых нравственных устоях. Это общее правило можно уточнить применительно к нашей эпохе.

До тех пор пока воображение народа зиждется на вымыслах, самые разные идеи могут растворяться в причудливых порождениях фантазии, но какой источник питает воображение в ту пору, когда оно полагает главной своей целью вдыхать жизнь в нравственные и философические истины? Тогда одна безграничная мысль, один восторг, согласный с разумом, может оплодотворить все искусства, все творения ума и слить в одном сочинении, в одном сюжете чары чувства с советами мудрости; эта мысль, этот восторг, этот неисчерпаемый источник — любовь к добродетели.

## ГЛАВА VI О ФИЛОСОФИИ

---

Я никогда не устану повторять: философия — не что иное, как поиски истины с помощью разума; само происхождение этого слова указывает на то, что против философии могут выступать лишь люди, у которых мысли сбивчивы и суеверны. Можно, не погрешив против справедливости, сказать, что существуют всего два способа объяснить мир: либо с помощью философии, либо с помощью чудес. А поскольку в наши дни никто не может льстить себя надеждой на чудо, единственной нашей опорой остается философия, и я не вижу ничего способного ее заменить. Быть может, разум, как предлагают иные? Но философия — это и есть разум, возведенный в систему. Мы мастерски владеем искусством противопоставлять вещи абсолютно одинаковые и мним, что мыслим по-

разному, когда двусмысленный язык наш плодит двойников. Религия не противостоит философии, ибо религия согласна с разумом, не противостоит ей и защита основ общественного порядка, ибо основы эти также согласны с разумом, однако защитники предрассудков (иначе говоря, несправедливости, суеверий, гнета и привилегий) толкуют о противостоянии (без сомнения, мнимом) разума и философии, дабы доказать, что есть рассуждения, запрещающие рассуждать, истины, которые нужно принимать на веру, не вдаваясь в подробности, принципы, которым полагается следовать, не задумываясь; наконец, что можно предаваться размышлениям с одной-единственной целью — убедиться в бесполезности мыслей; что же касается меня, то мне никогда не удастся понять, каким образом можно разделить одну половину своих умственных способностей правом упразднить другую половину своих же способностей, и, если бы мне нужно было отыскать зримое воплощение нравственной природы человека, я предпочла бы изобразить человека, старательно развивающего свое зрение, силы и ум, нежели человека, который одной рукой приковывает другую свою руку к стене. Провидение не даровало нам таких талантов, какими было бы зазорно пользоваться, и чем больше мы знаем, тем глубже проникаем в суть вещей, по крайней мере в том случае, когда изыскания наши подчинены единому методу, метод же этот не что иное, как итог всех изысканий и размышлений человечества: мы обязаны опытным наукам той четкостью изложения и исследования, без которой познать истину невозможно; следовательно, лишь применяя, насколько возможно, философию точного знания к сфере духовной, мы сможем сделать значительные шаги вперед на том нравственном и политическом поприще, где вечной преградой нам служат страсти<sup>1</sup>.

В числе наших ученых, в особенности в числе математиков, величайшие умы Европы. Гражданские смуты не только не отвратили французов от этого поприща, но, напротив, зажгли во многих сердцах желание забыться, посвятив себя науке. Неоценимое преимущество нашей эпохи! Когда междоусобные раздоры разрушают все привычные нравственные представления, остаются истины, пребывающие неколебим-

мыми. Устав от безумств оголтелых политиков, мыслители предаются ученым занятиям, а поскольку сила разума не зависит от предмета раздумий, ум человеческий, которому, возможно, грозило бы долгое увядание, если бы вся его мощь тратилась на распри заговорщиков,— ум человеческий находит прибежище в точных науках, дожидаясь той поры, когда ему снова будет дозволено трудиться во имя славы и счастья общества.

Никакие политические и нравственные заблуждения не могут выдержать соседства с тем великим множеством знаний и открытий, которые озаряют своим светом мир физический; суеверия и предрассудки, ложные умствования и бесполезные законы рано или поздно непременно сходят со сцены под действием того покойного и положительного разума, который, не вмешиваясь, правда, в дела нравственные, показывает человечеству дорогу к истине.

Рассматривая современное состояние просвещения, без труда приходишь к выводу, что истинное наше богатство заключается в опытных науках. Я показала, что вкус и словесность в наши дни неминуемо должны были прийти в упадок; что же касается политики, то, когда события обгоняют идеи, идеи возвращаются вспять, отступая гораздо дальше исходной точки своего движения. Таково естественное следствие скороспелых реформ — люди необразованные не в состоянии оценить их.

Если воображение, справедливо напуганное злодеяниями, которым все мы были свидетелями, винит в них некие отвлеченные причины, в душе человека поселяется ненависть к идеям, не уступающая по силе и страстности ненависти к тем или иным лицам, и это глубокое предубеждение распространяется на множество других идей, связанных с первой лишь самым косвенным образом. Если судить о просвещенности нашего общества по этим приступам мракобесия, можно подумать, что за какие-нибудь десять лет ум человеческий отступил назад на целый век; однако сами доказательства, которые сторонники предрассудков приводят в свою защиту, неопровержимо свидетельствуют об успехах, достигнутых разумом.

Дабы оправдать рабскую покорность тем или иным

чувствам, люди прибегают ныне к отвлеченным понятиям, рассуждают о счастье наций и воле народов. Встав на этот путь, ум человеческий, пусть даже в настоящую минуту он движется вспять, рано или поздно непременно возвратится на правильный путь: он вникает в причины и следствия, — значит, скоро он раскисает в своих заблуждениях. Сегодня политические и нравственные истины еще скрыты от нас, однако представители самых разных партий прибегают в спорах к логике и почитают единственной целью и оправданием любого общественного установления всеобщее благо.

Когда поколение, претерпевшее столь жестокие страдания, сменится поколением, которое уже не станет вымещать на людях ненависть к идеям, ум человеческий неизбежно пойдет путем философическим. Рассмотрим же этот грядущий путь — единственную отраду мыслителей, горестно вглядывающихся в ужасное прошлое.

Философия древних была богаче воображением и беднее логикой, нежели философия нового времени. Древняя философия сильнее потрясала душу, однако она запросто могла внушить людям ложные понятия и была весьма мало способна к развитию.

Лишь много позже дух исследования<sup>2</sup> открыл людям законы, обуславливающие бесконечное многообразие метафизических идей. У Локка и Кондильяка воображение отнюдь не такое яркое, как у Платона, однако они владеют методом математических доказательств — единственным методом, обеспечивающим равномерное и безостановочное движение вперед<sup>3</sup>.

В главе, посвященной слогу, я покажу, что возможно, а для развития разума, пожалуй, даже необходимо уметь и потрясать и убеждать разом. Пока же я веду речь лишь о том, каким образом следует использовать философическую науку и какие результаты это сулит.

Декарт открыл способ решать геометрические задачи с помощью алгебры. Если бы в один прекрасный день некто изобрел способ использовать науку об исчислении вероятностей для разрешения задач нравственных, человеческий разум совершил бы огромный скачок вперед. Уже сейчас иные мыслители успешно применяют математику для исследования способности суждения. Нашлись ученые, воспользовавшиеся мате-

математическими методами при изучении работы человеческого ума, — то была большая победа философического духа. Если бы нравственные науки пошли по тому же пути, последствия оказались бы еще более плодотворными. В самом деле, если бы политические вопросы, например, решались с математической точностью, как сильно выиграл бы от этого род людской, насколько счастливее и покойнее сделалась бы наша жизнь.

Разумеется, в сфере нравственной исчисления, пусть даже исчисления вероятностей, производить нелегко. В точных науках есть незыблемая основа, в нравственности же все зависит от обстоятельств: человек принимает решение под влиянием множества соображений, иные из которых столь мимолетны, что зачастую их трудно не только исчислить, но даже выразить словами. Тем не менее господин де Кондорсе в своем сочинении о вероятностях превосходно показал, что возможно с известной долей уверенности предугадать, каково будет мнение того или иного собрания людей о том или ином предмете <sup>4</sup>. Когда речь идет об очень большом количестве возможностей, исчисление вероятностей дает результаты нравственно точные; к нему, между прочим, прибегают все игроки, хотя предмет их изысканий, казалось бы, подвержен всем превратностям случая. Сходным образом можно было бы исчислять вероятность множества событий, с которыми имеет дело политическая наука.

Таблица смертей и рождений представляет нам результаты точные и неизменные — при условии, конечно, что жизнь идет своим обычным порядком; зная число жителей страны, ее политическое устройство и вероисповедание граждан, можно точно предугадать, сколько в наступающем году произойдет разводов, сколько случится краж и убийств; хотя события эти зависят от ежедневных столкновений всевозможных человеческих страстей, они свершаются с той же непреклонностью, что и явление природы.

Взяв данные за десятилетие и вычислив средний результат, мы можем узнать, что в Берне ежегодно расторгается такое-то количество браков, а в Риме свершается такое-то количество убийств, и подсчет этот никогда не обманет. Отчего же не согласиться, что вероятность событий в нравственной сфере поддается

исчислению ничуть не хуже, чем вероятность физических явлений, отчего не основать на этих исчислениях наши умозаключения?

Умозаключения эти должны исходить не из разнообразия частных случаев, а из единообразия всеобщих закономерностей: от человека к человеку в нравственной сфере все изменчиво, однако изберите наугад сто тысяч человек, и вы сможете с достаточной точностью подсчитать, какой среди них процент книголюбцев и трусов, подлецов и гениев. Подсчеты ваши станут еще точнее, если вы примете во внимание интересы разных сословий, подобно тому как в физике учитывают дополнительную скорость, которую придает телу тот или иной наклон плоскости. А если бы еще учесть все, что известно из истории о результатах тех или иных установлений, можно было бы с большей или меньшей точностью определить, в каком правительстве нуждается данная страна, предугадать odpor, который встретят его действия, и, сопоставив результаты этих действий с вызванным ими сопротивлением, высчитать степень благотворности данного образа правления сравнительно с прочими.

Отчего бы в таком случае не предположить, что однажды на основе данных статистики, на основе фактов, собранных во всех странах мира, будут составлены таблицы, содержащие решения всех политических вопросов? Из этих таблиц будет явствовать, что:

дабы управлять таким-то народом, следует поступить такой-то долей личной свободы; следовательно, для такой-то империи подходят такие-то законы и такая-то форма правления;

страна такой-то протяженности, обладающая такими-то богатствами, нуждается в исполнительной власти, наделенной такими-то полномочиями, следовательно, этому краю требуется правление монархическое, а соседнему — нет;

чтобы законодательная и исполнительная власти могли поддерживать друг друга, необходимо такое-то равновесие сил, следовательно, такая-то конституция нежизнеспособна, а другая деспотична ровно настолько, насколько нужно.

Примеры можно умножить, однако главное здесь не столько идея, сколько точность ее применения,



поэтому мы ограничимся указанием на возможность такого решения.

Наших журналистов напрасно упрекали в желании внести в политику дух расчетов и в попытках обобщить причины происходящего, однако, когда их обвиняли в том, что они пренебрегают фактами, без которых невозможно объяснить какое бы то ни было явление, обвинения эти были вполне обоснованы.

Политика — наука, которую еще только предстоит создать. Соединение умозрений и опыта, которое позволит внести в нравственные науки математическую логичность, последовательность и доказательность, — дело отдаленного будущего. Политическая наука пока еще далека от совершенства. То, что мы именуем общими понятиями, на самом деле не что иное, как частные сведения, освещающие тот или иной предмет с одной стороны и не позволяющие увидеть его во всем объеме. Оттого-то каждый новый факт толкает нас к новым и беспорядочным действиям.

В течение одного года мы восстаем против исполнительной власти, на следующий год гнев наш обрушивается на собрания законодательные; временами мы клеймим свободу печати, временами — ее раболепство. До тех пор пока этот беспорядок не прекратится, разумные установления будут возникать в отдельных странах лишь благодаря удачному стечению обстоятельств, по воле счастливого случая, однако жители этих стран останутся в неведении относительно того, в чем заключаются всеобщие политические законы и как сочетаются они с различными формами общественного устройства.

Так, в Америке многие политические проблемы кажутся на первый взгляд разрешенными, ибо американские граждане живут счастливо и свободно. Однако счастьем своим американцы обязаны ряду случайностей, и государство их не дает представления ни о том, каковы вечные основы счастливого общественного устройства, ни о том, какое устройство пристало другим странам.

Еще менее убедительное доказательство развития политической науки — исключительная долговечность и устойчивость иных европейских правительств, которые приохочивают своих подданных к жизни общественной,

охраняя их мир и покой посредством сильной власти. Деспотизм избавляет от необходимости учиться политическим наукам, подобно тому как сила избавляет от необходимости приобретать знания, а власть — от необходимости затруднять себя поиском доказательств, однако, когда речь идет о нуждах людей, довольствоваться этими средствами негоже. Сила держится волею случая; она враждебна мысли и рассудку, ибо мыслить и рассуждать могут только люди свободные.

Итак, деспотизм не подлежит научному исследованию. Я веду речь о естественных возможностях, которые позволяют человеческому уму двигаться вперед, не сбиваясь с верного пути, а не о тех отупляющих насильственных средствах, которые, дабы предохранить человечество от ошибок, вовсе затормаживают его развитие.

Математические выкладки обладают тем бесценным преимуществом, что прогоняют из умов самую мысль о возражениях. Всякая идея, которую можно неопровержимо доказать, неподвластна страстям. Уже сейчас в нравственной сфере, как и в мире физическом, есть истины бесспорные, против которых страсти бессильны. После Ньютона никто не создает новой теории о происхождении цвета, никто не ищет иных причин движения земли. После Локка никто больше не заговаривает о врожденных идеях, все согласны, что идеи рождаются из ощущений<sup>5</sup>. В политике отыскать неопровержимые доказательства труднее: слишком многие страсти она задевает\*. И тем не менее есть вопросы, решенные так основательно, что ни одной политической партии не суждено пересмотреть эти решения.

Рабство, феодальный строй уже не смогут разжечь пламя войны; благодаря развитию просвещения мы слишком много знаем об этих материях, чтобы какие-нибудь буйные головы смогли представить их в разном свете и разделиться на партии, исповедующие разные взгляды на эти предметы. Каждый шаг человеческого разума по пути совершенствования — новый залог общественного спокойствия.

\* Лейбниц говорил, что, будь людям выгодно отрицать математические аксиомы, они непременно поставили бы их под сомнение. Тем не менее очевидно, что существуют общепринятые нравственные истины и со временем число их непременно будет возрастать.

Следовательно, если философы посвятят себя политике, они должны будут собрать воедино все известные им факты, дабы точно исчислить вероятность тех или иных событий.

Математики не говорят: «Вам выпадет такое-то число»; они вычисляют, через сколько бросков это число может выпасть снова. Точно так же должны вести себя политики; они не имеют права сказать: «Такой-то переворот свершится в такой-то день», но они должны знать наверняка, что при сохранении определенных государственных установлений определенные события разыгрываются вновь по прошествии определенного времени.

Правда, обилие возможностей в политике исключительно велико. Если физический опыт может не удалиться из-за небольшого отклонения от исходных условий, из-за незначительного потепления или похолодания, то с какой же точностью нужно изучить человеческое сердце, чтобы определить, какие полномочия следует предоставить правительству, чтобы оно могло повелевать, но не могло совершать несправедливостей; как должны действовать законодатели, чтобы собрать всю нацию под одними знаменами, не стесняя волю отдельных граждан! Какой опытный взгляд нужен, чтобы предсказать, когда именно исполнительная власть перестает быть благотворной, а когда ее слабость оказывается тлетворной. Нет задачи, где исходные данные были бы более обширны, но нет и задачи, где ошибка в решении была бы чревата столь серьезными последствиями.

Став предметом фанатического поклонения, отвлеченная идея оказывает на человека поразительное воздействие. По ее воле самые противоположные убеждения мирно уживаются в одной и той же голове. Ум принимает на веру любую мысль, даже не попытавшись ее оценить; затем он связывает несколько мыслей ложными узами, мнимая реальность которых восхищает и воодушевляет его, ибо иной раз отвлеченные идеи способны пленить воображение так же сильно, как и картины мира действительного. В особенности же горячат кровь идеи смутные, необъятные.

Раз приняв на веру некий догмат или метафизическую систему, человек бросается на защиту всякой

вытекающей из них идеи, даже той, которая кажется ему ложной, и по странной закономерности в конце концов начинает верить в то, что отстаивает. Тот, кто постоянно ищет доводы в пользу одного утверждения, перестает замечать доводы противоположного толка; самолюбие восстает против любых возражений: страсти разгораются, в игру вступает тщеславие. Свершив ряд поступков по убеждению, вы делаетесь кровно заинтересованы в победе этого убеждения и бьетесь за него, подавляя колебания и заглушая сомнения.

Святоши в глубине души терзаются неверием и из-за этих мимолетных приступов безбожия мнят себя преступниками. Точно так же обстоит дело и с политическими фанатиками: воображение их опасается пробуждения разума, видя в нем чужака, врага, способного нарушить доброе согласие, в котором пребывают их заблуждения и слабости.

Как в религии, так и в политике фанатизм не выносит проблем истины, которые временами озаряют самые неподатливые умы. Фанатики преследуют других за сомнения, рождающиеся в их собственной душе; странная пылкость веры: вместо того чтобы прислушаться к зову своей души и устремиться на поиски истины, фанатик казнит себя за колебания.

Пребывая в таком расположении ума, человек способен обосновать логически все что угодно. Люди свыкаются с самыми абсурдными мыслями, с самыми отвратительными убеждениями, стоит только придать этим мыслям и убеждениям форму всеобщих законов. Находятся мыслители, которые разрешают противоречия на словах, с помощью некоей «грамматической» логики, которую выдают невнимательным слушателям за строжайшее доказательство.

«Защитниками невинных закон назначает присяжных-патриотов; заговорщикам защитники не положены», — сказал Кутон о законе 22 прериаля<sup>6</sup>. Разве в этой фразе есть ошибки против грамматики? А между тем можем ли мы привести другую фразу, где в столь немногих словах было бы высказано столько жестоких нелепостей? Это плетение словес, против которого не в силах устоять самый сильный ум, — одна из главных опасностей, которыми чревата скверная метафизика. Рассудок делается в таких случаях оружием преступ-

ников и глупцов, шарлатанские разглагольствования прикрывают зверские злодеяния, и все неистовое, что есть в суеверии, заключает чудовищный союз со всем бесчеловечным, что есть в философии.

Как необходимо нам, чтобы некое новое учение пролило свет на этот отвратительный ком лживых предлогов, за которыми укрываются люди двуличные, гнусные и преступные, полагающие, что, выдав заблуждения за истины, а софизмы за логические выводы, можно обратить ложь в правду и облагородить отвратительные последствия этих подлых хитросплетений.

Ныне в основание философии должны быть положены две вещи — нравственность и математический расчет. Однако следует помнить одно непреложное правило: если расчеты противоречат нравственности, значит, они неверны, какими бы безупречно точными ни казались они на первый взгляд.

Иные утверждают, что во время французской революции рассудительные варвары, бестрепетно приносившие в жертву тому, что они полагали счастьем большинства, жизнь многих тысяч людей, основывали свои кровавые законы на математических выкладках.

Эти чудовища надеялись облегчить себе задачу, сбросив со счетов страдания, чувства и воображение; однако поступая так, они действовали наперекор всеобщим истинам, о природе которых не имели никакого понятия. Меж тем истины эти выводятся из всего многообразия событий и жизней человеческих. Расчет красив и полезен, лишь если учитывает все исключения и упорядочивает все явления мира действительного. Стоит вам упустить из виду одно-единственное обстоятельство, и вы придете к неверному результату, подобно тому как, ошибившись всего на одну цифру, вы не сумеете решить арифметическую задачу.

Рассудку не дано изменять порядок вещей; его дело — исследовать сущее; только опыт и чувство подсказывают человеку решение вопросов нравственных.

Есть люди, убежденные, что математика велит нам приносить меньшинство в жертву большинству; нет точки зрения более ложной, пусть даже речь идет о расчетах политических. Несправедливость, допущенная правительством, неминуемо влечет за собой беспорядки в государстве.

Обрекая на гибель невинных ради того, что вы именуете выгодой нации, вы губите саму эту нацию<sup>7</sup>. Действие рождает противодействие, несчастные, которых вы отдали на заклятие якобы во имя всеобщего блага, возрождаются из пепла, возвращаются из изгнания, и человек, который прожил бы жизнь в неизвестности, обойдись вы с ним по справедливости, становится славен и могуществен именно благодаря пережитым гонениям. Так обстоит дело со всякой политической задачей, затрагивающей интересы добродетели. Нетрудно доказать, что решение такой задачи неверно, если оно попирает законы нравственности.

Нравственность выше расчетов. Нравственность — природа вещей в мире духовном, и, если в мире физическом расчеты исходят из природы вещей, которую никому не дано изменить, точно так же и в мире духовном следует исходить из природы, то есть из нравственности<sup>8</sup>.

Памятуя об этом, мы поймем причину множества жестоких и бессмысленных ошибок, опорочивших применение отвлеченных идей в политике. Все дело в том, что никто до сих пор не признавал нравственность неколебимой основой и верховным законодателем; ее полагали самое большее одним из условий задачи, а вовсе не вечным правилом. Хуже того, нередко на нее смотрели как на мелочь, которую при желании можно искажать, а то и вовсе отбросить.

Итак, прежде всего примем нравственность за незыблемую исходную точку. Сделав это, поверим политику математикой — и обвинения, которые до сегодняшнего дня совершенно справедливо предъявляли метафизическим истолкованиям общественного устройства и интересов рода человеческого, отпадут сами собой.

Математические исчисления не противопоказаны политике, ибо она, имеющая дело с людьми, взятыми в массу, исходит из законов общих и, следовательно, отвлеченных; однако для того, чтобы общее не заслоняло интересов отдельных людей, политике потребна нравственность, цель которой — охрана прав и счастья каждого. Политикой должны управлять расчеты, расчетами же — нравственность.

Ставя нравственность выше расчетов, мы имеем в

виду нравственность и общественную и индивидуальную. Пренебрежение первой из них причинило человечеству особенно большие несчастья. Нередко те, кто подчиняли общественную нравственность тому, чему подобает, напротив, быть у нее в подчинении, приносили несчастье всем поголовно, хотя ратовали за всеобщее счастье. Иные философические системы грозят до такого же жалкого состояния и нравственность индивидуальную.

В конечном счете все должно подчиняться добродетели, и, хотя добродетель поступка можно доказать математическим путем, исчислив его полезность, одна полезность дела не решает. Добродетель встречает на своем пути много препятствий, но природа постоянно дарует ей поддержку.

В науках нравственных надежен только один расчет — исчисление вероятностей, а для того чтобы расчет этот был верен, потребно великое множество данных. Политическая наука имеет дело с людьми, объединенными в нации; ввиду обилия исходных данных подсчет вероятностей в этой сфере может считаться абсолютно точным; и государственные установления, созданные на основе таких исчислений, не могут не оказаться благотворными. Иное дело — нравственность: она касается каждого человека, каждого происшествия, каждого обстоятельства в отдельности; разумеется, в большинстве случаев добродетельное поведение оказывается для человека самым выгодным, однако никто, я думаю, не станет спорить, что правило это знает немало исключений.

Так вот, если вы хотите, чтобы и исключения эти также подчинились законам, если вы хотите сделать нравственным поведение каждого человека, в каких бы обстоятельствах он ни находился, — ищите опору в сильном и постоянном чувстве, которое не оставляет человека ни на день, ни на минуту.

Нравственность — единственная область духовной жизни, которая должна подчиняться не только разуму. Все мыслители, чьи идеи касаются судьбы нескольких людей разом, делают, без сомнения, ставку на их корысть, однако если каждый человек будет руководствоваться в своем поведении только собственной корыстью, то, как бы точно ни следовал он советам этого

проводника, ему вскоре станет не по силам совершать прекрасные поступки.

Конечно, нравственность очень редко вступает в противоречие с выгодой, однако призывать людей быть нравственными лишь потому, что им это выгодно,— значит лишить их души силы, необходимой для беззаветного служения добродетели<sup>9</sup>.

С помощью хитроумных рассуждений можно выдать самое великодушное самоотвержение за самый расчетливый эгоизм, но для этого придется исходить из грамматического значения слов, а не из тех чувств, которые они пробуждают в сердцах слушателей. Каждый человек печется о себе, следовательно, все упирается в выгоду, однако никто ведь не скажет: *«Мне выгодно прославиться, мне выгодно совершить подвиг, мне выгодно принести себя в жертву»*; точно так же убеждать человека, что ему выгодно быть добродетельным,— значит опорочить самое понятие добродетели, ибо, если вы постановите, что человек должен поступать порядочно лишь оттого, что ему это выгодно, он станет по мере сил искать выгоду, а ведь во множестве случаев веления нравственности, безусловно, противоречат голосу корысти.

Как убедить человека, что, какие бы новые, непредвиденные обстоятельства ни встретились на его жизненном пути, он должен непреклонно следовать всеобщим нравственным законам? Осторожному человеку (а нравственность, основанная на корысти, не что иное, как высшая осторожность) — осторожному человеку известно, что всякое, даже самое неоспоримое правило знает тысячи исключений; почему же и добродетели, если она призвана приносить выгоду, не допустить исключения из правила? Нет иного способа доказать, что поступать добродетельно — всегда самое выгодное, кроме как вернуться к тому, с чего мы начали, и признать, что счастье человека — в чистоте его совести, иначе говоря, что наслаждение, которое приносит человеку сознание собственной порядочности, лучше всех выгод, доставляемых эгоизмом.

Неправда, что корысть — самый могущественный движитель человеческих деяний; гордость, самолюбие, гнев зачастую заставляют людей поступать себе во вред, в душах же добродетельных таятся силы, решительно



чуждые каким бы то ни было корыстным расчетам.

В этой главе я постараюсь показать, насколько важно выверять математически все идеи человеческие, однако, хотя математику можно применить и к области нравственной, нравственность — это сама жизнь, и потому поступки добродетельные мы совершаем без рассуждений. Та же живительная сила, что заставляет кровь бежать по жилам, внушает нам отвагу и чувствительность — два упоительных нравственных ощущения, очарование которых мы разрушили бы, если бы свели все дело к личной корысти, точно так же как мы разрушили бы очарование красоты, если бы взглянули на нее глазами анатома.

Исконные наши свойства — жалость, отвага, человеколюбие — пробуждаются прежде, чем мы успеем подумать, выгодно нам это или нет. Изучая ту или иную область природы, следует рассматривать ее отдельно от человека, — сходным образом добродетельные порывы должны чуждаться расчетов. Наша нравственная природа, привычки, усвоенные с детских лет и обусловившие ее развитие, — вот истинная причина прекрасных деяний и того наслаждения, которое переполняет нашу душу, когда мы творим добро. Религиозные верования, столь дорогие чистым душам, разжигают и освящают это бескорыстное воодушевление, благороднейшую и надежнейшую основу нравственности. «Не знаю, какой именно бог живет в груди человека добродетельного, — писал Сенека, — но не сомневаюсь, что некий бог в ней живет!»<sup>10</sup> Переведите это ощущение на язык эгоизма, пусть даже самого просвещенного, — что от него останется?

Нам скажут, что слова диктует воображение, смысл же всякого высказывания внушен разумом. Без сомнения, разум — сила, подвергающая суду все прочие человеческие способности, однако не он созидает наше нравственное существо. Исследуйте самих себя, и вы поймете, что любовь к добродетели зародилась в вас прежде способности размышлять, что чувство это связано прочными узами с вашей физической природой и что часто вы слушаетесь его велений безотчетно. Нравственность — это сердечная склонность человека, привязанность, которая составляет одну из основ его существа и

которую рассудок призван направлять. Все, что возвышает душу и развивает ум, укрепляет эту основу.

Разумеется, посредством размышлений и расчетов возможно улучшить саму теорию нравственности, указать людям новые формы заботы и преданности, однако формы эти, полезные, если рассматривать их как средства вспомогательные, сделались бы бессильны и даже пагубны, если бы кто-то вознамерился подменить ими чувство. Они сузили бы сферу нравственности, вместо того чтобы ее расширить.

Наблюдая мир действительный, философия постигает его первопричины, его изначальные движители. Добродетель принадлежит к числу этих первопричин; она — дитя созидания, а не исследования, она поселяется в душе человека почти одновременно с чувством самосохранения; сострадание к ближним развивается в нас почти в то же самое время, что и страх перед несчастием, грозящим нам самим. Я, разумеется, не отрицаю, что здравая философия может многим обогатить нравственное чувство; очевидно, однако, что мы оскорбили бы материнскую любовь, если бы сочли, что в основе ее лежат одни лишь веления разума, — будем же помнить, что и все прочие добродетели заповеданы нам природой, за разумом же оставим право указывать этим безотчетным порывам наилучшую стезю.

Философия способна определить источники наших чувств, однако ей самой следует строго придерживаться пути, заповеданного этими чувствами. Инстинкт и разум учат нас одному и тому же: провидение дважды повторило человеку важнейшие для него истины, дабы они не ускользнули ни от его чувствительной души, ни от его пытливого ума.

Если ученый, исследующий физический мир, допускает ошибку, он может исправить ее, обратившись к фактам, однако как проверить справедливость и полезность своих идей тому, кто посвятил себя наукам нравственным, в основе которых лежат отвлеченные рассуждения? Как ему уберечься от заблуждений и предвидеть грядущее сколько-нибудь точно? Только подчинив разум добродетели. Ничто не может существовать без добродетели, ничто не может одержать над ней победу. Утешительная мысль о вечном провидении способна заменить все прочие думы, но если люди

отказываются признать Бога своим творцом, им следует поклоняться нравственности, как Богу.

## ГЛАВА VII О СЛОГЕ ЛИТЕРАТОРОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ

---

До тех пор пока все просвещенные люди Франции не стали оспаривать друг у друга лавры философов, французы сочиняли в основном книги, посвященные вопросам словесности и морали; достаточно было высказать несколько проницательных суждений в форме грамотной и изящной — и успех был обеспечен. Немало писателей пользовались до революции громкой известностью, хотя философический взгляд на вещи был им решительно чужд — они сводили все нравственные и политические вопросы к вопросам литературным, вместо того чтобы, напротив, вывести литературу из нравственности и политики.

Ныне эти сочинения, впрочем весьма остроумные, невозможно принимать всерьез, ибо они не освещают предметы, о которых трактуют, всесторонне и сообщают о них лишь разрозненные подробности, не связанные ни с основополагающими идеями, ни с исконными человеческими чувствами.

Революция, изменившая умы и установления, должна сказаться и на слоге, ибо слог — это не одни лишь риторические фигуры; слог не просто форма, он зависит от содержания идей и своеобразия умов. Для книги слог — то же, что для автора характер. Характер неотделим от взглядов и чувств; измените его — и вы измените всего человека.

Постараемся же понять, каким слогом подобает изъясняться философом в свободной стране.

Одни и те же истины предстают перед человеком в трех различных формах: как образы, как чувства и как идеи; причем все эти три сферы подчиняются одним и тем же законам. Стоит вам открыть новую идею, и в природе непременно отыщется образ, ее воплощающий, а в сердце — чувство, связанное с нею узами, которые

открываются пылливому уму. Лишь те писатели наделены высшим умением убеждать и воодушевлять, которые умеют тронуть все эти три струны разом, ибо их созвучное пение не что иное, как гармония созидания.

Сочинителей следует ценить смотря по тому, насколько полно овладели они искусством воздействовать на чувство, воображение и разум. Слог не заслуживает похвалы, если не обладает хотя бы двумя из тех трех достоинств, которые в совокупности являются залогом совершенства.

Тонкие наблюдения, суждения пронизательные и хитроумные, но чуждые великой цепи основополагающих истин, умение взглянуть на вещи с неожиданной стороны — все это еще не дает автору права считаться первоклассным писателем, ибо у такого автора ум прivityкает пренебрегать душой, вместо того чтобы черпать в ней силы. Если вы излагаете мысли слишком подробно, воображение и чувства, призванные не делить, а воссоединять, умолкают. Столь же скверное средство — обилие отвлеченных слов, ничего не говорящих сердцу человека, иссушающих его фантазию и не способных изобразить ту вечную природу, величие которой должен воплощать прекрасный слог. Образы, которые не проливают света ни на одну идею, не более чем причудливые призраки или развлекательные картинки. Чувства, которые не пробуждают в уме ни одной нравственной мысли, ни одного обобщающего суждения, — чувства деланные, фальшивые, какой род литературы ни возьми.

Вспомним, например, Мариво: манерность не позволила ему ни высказать философические идеи, ни нарисовать яркие картины<sup>1</sup>. Чувства, за которыми не стоят верные мысли, не способны породить естественные образы. Идеи, которые можно передать и языком чувства и языком воображения, — первейшие из мыслей нравственного порядка, что же касается идей слишком изощренных, им невозможно приискать соответствий в живой природе.

Точные науки нуждаются лишь в отвлеченных понятиях, философ же должен обращаться разом ко всем способностям человека: к разуму, воображению и чувству — способностям, которые, хотя и разными средствами, равно помогают познанию одних и тех же истин.

Фенелон воссоединяет нежные и чистые чувства с приличествующими им образами: Боссюэ сопрягает философские мысли с подобающими им величественными картинами; Руссо, повествуя о сердечных страстях, отыскивает созвучные им пейзажи; что же до Монтескье, то его слог в диалоге Евкрата и Суллы близок к совершенству: мысли здесь последовательны, чувства глубоки, картины ярки<sup>2</sup>. В диалоге Монтескье великие идеи изложены языком властным и возвышенным, настолько образным, насколько это необходимо для обстоятельного освещения философской теории; читая эти восхитительные страницы, мы испытываем не умиление либо опьянение, какие вызывает страстное красноречие, но то волнение, которое рождается в нашей душе при виде творения безупречного, к какому бы роду оно ни относилось,— волнение, какое испытывают чужестранцы, войдя впервые в собор Святого Петра в Риме и с каждой минутой открывая новые и новые красоты, растворенные, если можно так выразиться, в великолепии и совершенстве целого<sup>3</sup>.

Мальбранш попытался соединить в своих метафизических сочинениях идеи с образами, но, поскольку идеи его были ложны, мало кто сумел понять, какими узами связаны они с вышедшими из-под пера философа блистательными картинами<sup>4</sup>. Лекции Гарá для педагогических институтов<sup>5</sup> (образец трудов такого рода) и сочинения Ривароля, который, правда, грешит иногда некоторой манерностью<sup>6</sup>, дают прекрасное представление о том, как следует сопрягать образы мира действительного с идеями, принадлежащими миру нравственному. Кто знает, на что будет способен дух исследования, если, действуя заодно с воображением, перестанет быть разрушительной силой и, сообщая всему новую мощь, уподобится природе, смешивающей в одном источнике различные животворящие стихии?

Такое соединение, разумеется, необходимо для придания слогу совершенства, однако означает ли это, что философские сочинения, слог которых лишен образов, или произведения изящной словесности, чуждые философии, не имеют права на существование? Мы никого не желаем отлучить от литературы, однако следует признать, что философские сочинения, которые ничего не говорят ни чувству, ни воображению,

имеют мало поклонников; равным образом и произведения изящной словесности, вовсе лишенные философических идей или того меланхолического чувства, что неизменно сопутствует великим мыслям, с каждым днем все сильнее разочаровывают людей просвещенных.

Книга о законах вкуса, о живописи, о музыке может быть книгой философической, если она обращается ко всему человеку целиком, если она пробуждает в нем чувства и мысли возвышенные. Напротив, речь, трактующая о насущнейших нуждах человеческого общества, может наскучить, если посвящена она только задачам сиюминутным, если горизонт ее узок, если она молчит о всеобщем и главном.

Чары слога облегчают постижение отвлеченных понятий, образные выражения пробуждают в душе все живое, яркие картины помогают следить за ходом мыслей и рассуждений. Внимание не станет рассеиваться, если автор пленил воображение и оно не увлекает читателя в сторону и не мешает ему сосредоточиться.

Труды на чисто литературные темы, если они не проникнуты тем духом исследования, который сообщает величие всему, на что направлен, если они, освещая детали, теряют из виду целое, если за ними не стоит знание людей и жизни, кажутся мне чистым ребячеством. Когда человек, живущий в свободной стране, в надежде славы выпускает книгу, мы вправе ждать, что в ней он выкажет важнейшие достоинства, какие республика может однажды потребовать от любого из своих граждан. Книга, лишенная философического взгляда на вещи, может принести своему создателю лавры художника, но никак не мыслителя.

С тех пор как во Франции разразилась революция, многие литераторы пристрастились к новой манере, губительной для слога: они изъясняются одними лишь отвлеченными понятиями и повсюду вставляют для краткости новые глаголы, лишаящие слог всякого очарования, но не прибавляющие ему точности<sup>7</sup>. Ничто так не чуждо писателю подлинно талантливому, как это обыкновение. Чтобы писать лаконично, вовсе не обязательно быть скупым на слова; еще менее необходимо отказываться от образных выражений. Идеал краткости — слог Тацита, разом и красноречивый и энерги-

ческий, образные же выражения не только не лишают сочинения Тацита, по праву пользующиеся всеобщим восхищением, лаконичности, но, напротив, помогают вместить в меньшее число слов большее число мыслей.

Изобретение новых слов вовсе не улучшает слога. Великие писатели вправе изредка вводить в литературу новые слова, которые они создали невольно, упоенные своими думами, вообще же ничто так определенно не указывает на отсутствие свежих идей, как обилие новых слов. Если автор позволяет себе употребить слово собственного изобретения, читатель с удивлением прерывает чтение, дабы оценить новинку, и уже не видит в слог единую и непрерывную целую \*

Все, что мы сказали о дурном вкусе вообще, справедливо и применительно к погрешностям, которыми страдает в последнее десятилетие слог многих наших писателей; впрочем, есть среди этих погрешностей и такие, которые являются непосредственным следствием событий политических. Я назову их в главе о красноречии.

Совершенствование философии неминуемо улучшит

\* В ту пору, когда во Франции еще существовала Академия<sup>8</sup>, она ежегодно рассматривала все слова, прижившиеся в обиходе или введенные в литературу превосходными писателями, и определяла, какие из них людям образованным употреблять не пристало. Следовательно, в ту пору французский, как и любой другой язык, постоянно обогащался новыми словами, которые либо заменяли слова, вышедшие из употребления, либо прибавлялись к тем, что были в ходу раньше. Именно об этом говорит Гораций в «Науке поэзии»:

Всегда дозволено было и будет

Новым чеканом чеканить слова, их в свет выпуская!

Словно леса меняют листву, обновляясь с годами,

Так и слова: что раньше взросло, то и раньше погнёт,

А молодые ростки расцветут и наполнятся силой<sup>9</sup>.

Мы сослужили бы дурную службу французскому слогу, если бы предписали нынешним авторам пользоваться только теми словами, которые входят в словарь Академии. Работа над этим словарем прервалась на десять лет, а за это время, бесспорно, возникло немало совершенно новых чувств и идей. Быть может, Институту, этому почтеннейшему ученому собранию Европы, в ряды которого входят самые просвещенные французские граждане, составляющие славу нашей республики, следует поручить отделению изящной словесности изучить изменения, происшедшие за последние годы во французском языке.

Всякому сколько-нибудь талантливому автору случалось хоть однажды употребить новый оборот или выражение; время освящает дерзости гения. Так, Делиль в поэме «Сельский житель»<sup>10</sup> при-

и слог. Почти все правила, которыми следует руководствоваться сочинителю, оттачивающему свой язык, уже известны; иное дело — изучение человеческого сердца; оно с каждым днем будет открывать писателям новые — быстрые и надежные — способы воздействовать на умы. Вообще всякий раз, когда речь или книга не волнует, не увлекает беспристрастную публику, виноват в этом автор, причем ошибки его объясняются не

бегнул к новому слову «вдохновительница» — «лампа-вдохновительница». Однако, поскольку нет такой удачной дерзости, появление которой не имело бы под собой разумных оснований, рассмотрим, в каких случаях позволительно изобретать новые слова.

Писатель вправе прибегнуть к слову, до него не существовавшему, лишь если того настоятельно требует смысл его сочинения; он обязан допускать новые слова в свои книги скрепя сердце, как бы против воли нарушая правило, которое он поклялся уважать. Если тонкие оттенки мысли и чрезвычайный напор страстей требуют выражений более гибких или более красноречивых, чем обычно, слово писателя, как бы странно оно ни выглядело, звучит естественно. Оно так уместно, что читатель поначалу даже не замечает его новизны и, пораженный точностью звучания, его абсолютным соответствием выражаемой мысли, не отвлекается ни от общего содержания книги, ни от течения фразы; иное дело — слово странное, оно не сосредоточивает, а лишь развлекает внимание<sup>11</sup>.

Вы вправе употребить новое слово, если для всех грамотных людей очевидно, что в языке нет другого слова, которое изъясняло бы именно этот оттенок мысли, нет другого оборота, который произвел бы точно такое же впечатление. Удачное слово, принадлежащее возвышенному слогу, вскоре утрачивает новизну и делается привычным для всех авторов, ибо в памяти их оно неразрывно связано с тем образом или той мыслью, которую выражает.

Если писатель решается придумать новое слово, пусть позаботится о том, чтобы оно походило по строению на другие слова родного языка, ибо изобретать новое можно лишь исподволь; ум алчет постепенности. В опытных науках многие великие открытия были сделаны случайно, однако гениями люди признают лишь тех, кто пришел к своим открытиям в результате долгих размышлений. Осмелюсь сказать, что точно так же обстоит дело и с плодами воображения, хотя его игра более прихотлива. Идея совершенно небывалая приводит наш ум в смятение, пленяет же и радует лишь идея, которая и удивительна и привычна разом. Подлинный мастер умеет заранее внушить читателю некое смутное предчувствие тех красот, которыми поразит его впоследствии. Эти великие законы словесности справедливы и применительно к мельчайшим оттенкам слога.

Наконец, новые слова непременно должны быть приятны для слуха. Гармония — одно из первых достоинств слога; наполнять французский язык словами неблагозвучными — значит портить его. Проникнувшись благородными чувствами и возвышенными мыслями, душа, словно в некоей горячке, воспламеняется любовью к твор-



столько недостатком мастерства, сколько несовершенством нравственных устоев.

Слушая в свете мужчин и женщин, желающих выставить напоказ свои добродетели или свою чувствительность, нельзя не заметить, что они крайне плохо знают природу, которой подражают. Такие же ошибки беспрестанно допускают писатели, когда хотят выразить глубокие чувства или высказать нравственные истины. Разумеется, есть ощущения, которые способен описать лишь тот, кто сам испытал их, и этого душевного опыта не заменить никакому мастерству, однако есть и другие ощущения, о которых с успехом может рассуждать всякий умный человек, если он глубоко обдумал ощущения, знакомые большинству людей, и разгадал их источники.

Постепенность изложения, выбор подходящих слов, быстрота переходов, подробное раскрытие одной или нескольких тем, наконец, красота слога — вот средства убеждения. Форма не меняет сути идей, но, если оборот употреблен некстати, он бросается читателю в глаза. Слишком резкий эпитет может лишить силы самый разумный довод; тончайший оттенок фразы может решительно отпугнуть воображение, готовое было внимать вашим речам; темнота выражения, суть которого, впрочем, стала бы ясна по зрелом размышлении, утомляет публику, до того сочувственно вслушивавшуюся в ваши речи; одним словом, слогу потребны те же достоинства, какие необходимы государственному мужу. Зная недостатки людей, он должен то

честву и добродетели. Чем благозвучнее слова, тем сильнее потрясение, производимое прекрасными и великодушными речами.

Нет необходимости уточнять, что ни одно из перечисленных условий ни в коей мере не применимо к наукам опытным: здесь новые явления вызывают к жизни новые понятия; истины положительные нуждаются в подобающем языке. Что же касается авторов, посвятивших себя изящной словесности, то они должны владеть неисчислимым множеством тонких, едва уловимых оттенков, малейшее изменение которых влияет на ощущения читателей, располагая их к книге или, напротив, отвращая от нее, поэтому хорошо писать может лишь тот, кто тщательнейшим образом изучил все способы пленить людское воображение. Чтобы сочинить трактат о слоге, достаточно исследовать рукописи великих писателей: за каждым зачеркнутым словом здесь скрывается множество идей, для которых ум — нередко безотчетно — приискивал наилучшее воплощение; было бы весьма любопытно описать эти варианты и вникнуть в их смысл.

уступать, то настаивать на своем, остерегаясь, однако, давать волю самолюбию, под влиянием которого человек скорее сочтет неправым всех своих соотечественников, чем сознается в собственной слабости, ибо талант он ставит выше мнения общества.

Самая благотворная идея далеко не всегда производит должное действие, красноречивый автор, однако, способен уверить людей в правильности любой идеи, поэтому если писатель не умеет найти убедительные слова для изъяснения своих мыслей, значит, ему еще неведомы пути, ведущие к святой святых души, к тем истокам способности суждения, от знания которых и зависит власть над людскими мнениями.

Именно в слогe литератора особенно ярко проявляется его характер, величие его ума и души. Повсюду, но особенно в странах, где установлено политическое равенство, язык правильный, благородный, чистый возвышает правителей в глазах народа. Непритворное благородство речей — лучший способ установить нравственные границы, внушить уважение, одухотворяющее тех, кто его испытывает. В свободной стране дар слова может сделаться могущественной силой.

Сила эта без всякого принуждения вселяет в души всех граждан привязанность к вождям, ею наделенным. Конечно, лучший залог нравственности человека — его деяния, тем не менее я убеждена, что есть интонации и, следовательно, особенности слога, которые говорят о душевных качествах даже больше, чем поступки. Такому слогу нельзя научиться, сколько ни старайся, ибо в нем запечатлевается сама душа говорящего.

Люди, наделенные воображением, мысленно ставя себя на место другого человека, могут представить, что сказал бы он в данном случае; однако, говоря от своего лица, человек, пусть даже против воли, обнажает заветные чувства. Нет такого автора, который, говоря о себе, смог бы изобразить себя лучшим, чем в жизни; лживое слово, фальшивый переход, неточный оборот выдают все, что говорящий надеялся спрятать.

Если человек, наделенный ораторским даром, предстает перед судом, мы ясно видим, виновен он или нет, по самой его манере защищаться. Язык бессилен скрыть ту истину, которую запечатлела в нем природа; на суде из искусства обманывать он превращается в неопровер-

жимую улику; здесь всякое слово человека выдает его чувства.

Добродетельный человек был бы слишком несчастен, не существуй на свете таких доказательств его невинности, которые злые люди не в силах у него отнять, ибо в них слышится глас божий, внятный всем смертным. Спокойное выражение возвышенного чувства, ясное изложение событий, рассудительные речи, подобающие одной лишь добродетели,— все это не может быть притворным; таким слогом изъясняется лишь человек честный, более того, слог этот только прибавляет ему душевного величия.

Благородная и простая красота некоторых оборотов внушает уважение даже самому говорящему, что же касается людей опустившихся, то в число их мук следует включить и забвение возвышенного языка, который рождает в душе человека, достойного говорить на нем, чистейшее вдохновение и сладостнейшее волнение.

Этот язык — язык сердца, если позволено мне будет так выразиться,— одно из главных орудий власти в свободной стране. Владеют им государственные мужи, чьи чувства пребывают в совершенном согласии с чаяниями всех порядочных людей, мужи, полностью доверяющие общественному мнению и свято его почитающие; язык их — залог нынешнего и грядущего процветания державы, которой они правят.

Один американец сказал о смерти Вашингтона: «Божественному провидению было угодно отнять у нас этого человека, первого в делах войны и мира, первого в сердцах его соотечественников»<sup>12</sup>. Сколько мыслей и чувств будят эти слова! Разве не свидетельствует это обращение к провидению, что в просвещенной стране никто не насмехается ни над религиозными верованиями, ни над сердечными сожалениями. Это незамысловатое похвальное слово великому человеку, сочинитель которого превыше всего ценит место, занимаемое покойным «в сердцах соотечественников», волнует нас до глубины души.

В самом деле, сколь добродетелен, наверное, был государственный муж, который по доброй воле променял титул главы государства на жребий простого обывателя; муж, в чьей жизни пребывание у кормила власти оказалось лишь остановкой на пути к остав-

ке — отставке почетной, освященной благороднейшими и сладостнейшими воспоминаниями<sup>13</sup>, — сколь добродетелен он был, если на протяжении двух десятилетий свободный народ питал к нему самую пылкую любовь!

Во время наших революционных смут никто не стал бы говорить на языке, замечательным примером которого служат приведенные мною слова; что же до американских государственных мужей, то все известные нам обращения их к гражданам Соединенных Штатов отличаются слогом правдивым, благородным и чистым — тем слогом, каким владеют лишь люди с незапятнанной совестью.

Осмелюсь сказать, что мой отец являет собой первый и доселе самый совершенный образец государственного мужа, умеющего взывать к обществу, делать его союзником правительства, воскрешать в сердцах людей нравственные заповеди, и пример его напоминает, что правители государства должны считать себя наместниками нравственности и лишь от ее имени призывать нацию к самоотверженным подвигам! Как ни велики наши утраты во всех областях, язык политический благодаря господину Неккеру немало усовершенствовался за последние годы. И все же, хотя главы многих правительств выказали в своих речах ум и даже чувства, они, на мой взгляд, не смогли сравняться с господином Неккером в искусстве убеждать с помощью слова<sup>14</sup>.

Устройство свободного государства таково, что правители здесь вынуждены постоянно разъяснять и обосновывать свои решения. Когда в момент опасности наши вожди, обращаясь к народу, не находили иных слов, кроме избитых фраз, принятых в спорах между политическими партиями, они были бессильны повлиять на общественное мнение. Преданность отечеству слабела с каждым бесполезным усилием, которое предпринималось для ее укрепления; правители мечтали воодушевить народ, но чем больше они старались, тем меньше успевали в своем намерении.

В союзе с политической искусством слова обретает силу исполинскую! Деспотизм обрушивается на подданных безмолвно, и люди, исполненные страха или надежды, чтут это молчание, которое могут толковать по своему желанию; что же касается правительства, которое об-

суждает выгоды и невыгоды отечества со всей нацией, то оно может завоевать доверие народа, лишь изъясняясь просто и благородно.

Разумеется, не все великие люди прославились как писатели, однако мало кто из них не владел даром слова. Все прекрасные речи и прославленные высказывания героев древности являют собой образцы великолепного слога, внушенные гением или добродетелью; талант запоминает их и перенимает. Лаконичные реплики спартанцев, энергические призывы Фокиона звучали убедительнее иных тщательно продуманных и высокопарных речей: древние вожди поясняли соотечественникам причины своих действий, с силой высказывали свои чувства и потрясали воображение народа.

Таковы выгоды, которые может извлечь государственный муж из искусства говорить с людьми; таково благотворное влияние, которое могут оказать на общественное спокойствие, нравственность и дух нации речи размеренные, торжественные, а подчас и трогательные, если их произносят те, кто стоит у кормила власти. Но все это лишь часть благодетельств, на которые способен слог; открытое ему поприще предстанет перед читателем во всем своем величии, если мы покажем, какого могущества преисполняется язык, когда, уверившись в высшем призвании своем, защищает свободу, вступает за невинных, борется с угнетателями,— одним словом, если мы перейдем к вопросу о красноречии.

## ГЛАВА VIII О КРАСНОРЕЧИИ

В свободных странах, где нации сами вершат своими судьбами, люди ищут и находят способы влиять на волю соотечественников, а первый из таких способов — красноречие. Чем драгоценнее награда, тем отчаяннее усилия, и, если государственное устройство сулит гению могущество и славу, победители, достойные этих лавров, не заставляют себя ждать. Дух соперничества умножает число

талантов, которые прозябали бы в безвестности, живи они в странах, где гордая душа не находит достойной себя цели.

Попробуем, однако, понять, почему политические споры, кипящие в стенах наших собраний с самого начала революции, не идут на пользу французскому красноречию и лишь искажают его истинный характер; задумаемся над тем, каким путем оно могло бы возродиться и усовершенствоваться, а под конец коснемся вопроса о связи красноречия с развитием ума человеческого и защитой свобод.

Как бы резко ни звучала речь, она не должна оскорблять чувство меры. Там, где позволено все, ничто не производит впечатления. Соблюдать нравственные приличия — значит чтить таланты, добродетели и заслуги, значит ценить каждого человека по делам его. Грубо и завистливо уравнивая тех, кого природа создала неравными, вы уподобляете общество кровавой сече, где слышны одни лишь яростные, воинственные кличи. Разве может в этом случае красноречивый оратор поразить слушателей счастливыми мыслями или выражениями, противопоставлением порока и добродетели, справедливой похвалой и осуждением? В том хаосе чувств и идей, который с некоторого времени царит во Франции, ни один оратор не способен ни польстить соотечественнику своим уважением, ни заклеймить его презрением; ни одного человека невозможно ни прославить, ни опорочить.

Можно ли сегодня пасть слишком низко, подняться слишком высоко? К чему обвинять или защищать? Где судьи, способные оправдать или приговорить к наказанию? Есть ли у нас хоть что-то невозможное? Есть ли хоть что-то определенное? Если вы дерзки, кого это может удивить? Если вы молчите, кто обратит на это внимание? Откуда взяться достоинству, если никто не занимает подобающего места? Там, где нет никаких преград, нет и нужды преодолевать трудности, но какие памятники можно возвести, вовсе не имея почвы?

Мы поносим и восхваляем, не возбуждая ни ненависти, ни восторга. Мы перестали понимать, по каким меркам оценивать людей; наветы, рожденные политическими распрями, похвалы, исторгнутые стра-

хом, посеяли сомнения во всех умах, и бесприютные слова колеблют воздух без цели и смысла.

Когда Цицерон защищал Мурену от обвинений Катона<sup>1</sup>, он был красноречив, ибо сумел опровергнуть такого человека, как Катон, не выказав к нему ни малейшего неуважения. Но кто в наших собраниях, где позволено было выдвигать любые обвинения против любого лица, стал бы, подобно Цицерону, тщательно и осторожно выбирать слова? Кому пришлось бы на ум утруждать себя понапрасну — ведь никто не понял бы и не оценил этой щепетильности! Достаточно было бы кому-нибудь возопить с трибуны: «Катон — контрреволюционер, подкупленный нашими врагами, и я требую от лица всей Франции, чтобы этот опасный преступник понес наконец заслуженное наказание!» — и этот громовой голос затмил бы все красноречие Цицерона.

В стране, где никто не придает значения нравственности, взволновать души способен только страх смерти. Словом здесь по-прежнему можно убить, но духовную силу оно утратило. Его сторонятся, видя в нем опасность, но не оскорбление; оно не способно затронуть ничью репутацию. Клеветнические сочинения появляются столь часто, что даже не вызывают злобы; клеветники постепенно лишают исконной силы все слова, которыми пользуются. Нежной душе претит говорить на одном языке с авторами подобных писаний. Пренебрежение приличиями лишает красноречие всех преимуществ, какие дает ум мудрый и опытный; в стране, где никто даже не делает вида, что чтит истину, разум бессилён.

В иные периоды нашей революции речи ораторов сводились к самым отвратительным софизмам; политики только и знали, что твердили заветные фразы своих партий, утомляя наш слух и бесчестя наши сердца. Разнообразие есть только в природе; только неподдельные чувства внушают новые идеи. Могла ли произвести какое-либо действие эта разнообразная жестокость, могли ли принести пользу эти слова, оставившие душу холодной, как лед? «Настало время открыть всю правду. Нация спала сном, который хуже смерти, но представители народа были бдительны. Народ восстал и проч.». Или иначе: «Пора отвлеченностей

миновала; общественный порядок укрепился в своих основах и проч.». Не стану продолжать, ибо подражание мое сделалось бы таким же скучным, как и его невыдуманные образцы; впрочем, из прошений, газет и речей можно было бы выписать целые страницы, не содержащие ни мыслей, ни чувств, ни истин; это некие литании условленных фраз, которыми изгоняют, словно бесов, красноречие и разум.

Какой талант мог пробиться через все это множество слов бессмысленных или ничтожных, преувеличенных или лживых, напыщенных или грубых? Как нам теперь найти путь к сердцам, в которых обилие криводушных речей поселило предубеждение против красноречия? Как убедить разум, утомленный заблуждениями и сделавшийся подозрительным от постоянного слушания софизмов? Во Франции лица, принадлежавшие к одной и той же политической партии и прочно связанные меж собою круговой порукой, привыкли видеть в речах не более чем пароль, по которому узнают солдат одной армии.

Умы были бы не столь развращены, красноречие было бы спасено, если бы правители ограничивались простыми приказами, как на войне. Однако во Франции власти, прибегнув к террору, пожелали подвести под свои действия философскую основу: люди тщеславные и безжалостные тщились оправдать в своих речах самые бессмысленные учения и самые несправедливые деяния. К кому были обращены эти речи? Не к жертвам — их трудно было уверить в том, что страдания их благотворны; не к тиранам — они не принимали всерьез ни один из тех доводов, которые сами то и дело повторяли; не к потомкам — они выносят свое беспристрастное суждение, исходя из природы вещей. Возлагая большие надежды на политический фанатизм, ораторы, произносившие эти речи, надеялись смешать в некоторых умах благородные истины с теми несправедливостями и жестокостями, которые творили, прикрываясь ими, буйные мятежники. Так рождался деспотизм рассуждающий, губительный для развития просвещения.

Под какими сводами мог прозвучать чистый голос истины, рождающий в душе сладостный восторг? К каким людям, каким партиям мог обратиться справедливые



и благородные речи человек, чья совесть чиста, ум честен, а характер безупречен? Люди прямодушные горды: бесполезным усилиям они предпочитали молчание.

Первая из истин, нравственность,— самый щедрый источник красноречия, но, когда развращенная философия находит отраду в том, чтобы все обесценивать и сбивать всех с толку, какой добродетели нам поклоняться? Что может воссиять в этой тьме? Что может родиться из этого праха? Как вселите вы энтузиазм в души людей, которые не боятся дурной славы и равнодушны к славе доброй, которые в своем кругу судят о характерах и поступках иначе, нежели в присутствии посторонних?

Нравственность дарует гению нескончаемое число великолепных чувств и идей, она дает ему силы, дабы он мог безбоязненно отдаться вдохновению. То, что древние называли духом божьим,— это, без сомнения, совесть праведника, могущество истины вкупе с красноречием таланта. Однако сколько людей в наши дни предпочитали забыть о нравственности, ибо всю свою жизнь нарушали ее веления; сколько людей признавали справедливость закона, лишь если он не оправдывал их деяния и не противоречил их интересам! Были и другие — они тревожились не о себе, но о своих слушателях и не осмеливались восхвалять правду и справедливость, дабы не огорчить кого-либо из них; они пускались на хитрости, скрывая истинные основания добродетели и оправдывая ее политической необходимостью, пытались угодить разом и гордости и совести, одинаково требовательным и обидчивым.

Преступники вопреки здравому смыслу пылко убеждали окружающих в своей невинности, люди же добродетельные не осмеливались говорить в полный голос: они желали убедить слушателей, но боялись оскорбить их чувства. Меж тем оратор, вынужденный скрывать правду, не может быть красноречив.

Границы, полагаемые приличиями, служат, как я уже сказала, лишь к вящему расцвету красноречия, но в такую пору, когда люди несправедливые или себялюбивые вынуждают чистые души сдерживать свои порывы, а ораторы умалчивают не только о частных случаях, но даже о всеобщих законах, дабы слушателям не сделалась внятна вся сумма правдивых мыс-

лей, вся мощь благородных чувств,— в такую пору никто не способен говорить красноречиво, и даже человек порядочный, если ему придется взять слово в таких обстоятельствах, несомненно прибегнет к избытым фразам, которые, будучи, по всеобщему убеждению, безобидными, не смогут возбудить ничьих страстей и не распялят неистовства мятежников.

Заговоры благоприятствуют развитию красноречия до тех пор, пока заговорщики нуждаются в поддержке людей беспристрастных, до тех пор, пока они оспаривают друг у друга добровольное согласие нации; когда же политические смуты заходят так далеко, что споры партий начинают решаться силой, слова и доводы утрачивают убедительность; отныне их удел — калечить красноречие и унижать ум. Выступающий в защиту несправедливой власти надевает на себя унижительнейшее ярмо. Ему приходится соглашаться со всеми бессмыслицами, из которых состоит длинная цепь умозаключений, оправдывающих преступное решение; пожалуй, даже совершив в порыве гнева неблагоприятный поступок, человек остался бы более чист душой, чем произнося эти речи, в которых он с поистине виртуозным мастерством каплю за каплей растворяет низость или жестокость.

А между тем что может быть позорнее, чем высказывать остроту ума, поддерживая деяния жестокие и подлые! Что может быть позорнее, чем сохранять честолюбие, утратив гордость, и приносить счастье окружающих в жертву собственным успехам! Наконец, что может быть позорнее, чем служить неправой власти всею силою бессовестного таланта, который, словно телохранитель, прокладывает своим господам дорогу в толпе, подсказывает сильным мира сего и мысли и слова!

Никто не станет спорить с тем, что за последние несколько лет красноречие во Франции совершенно утратило свой прежний характер, но многие станут утверждать, что оно никогда уже не возродится и не расцветет с новой силой. Найдутся и такие, которые скажут, что ораторский талант таит в себе угрозу для общественного спокойствия и даже для свободы. Это два заблуждения, которые, я полагаю, полезно опровергнуть.

Какая польза, могут мне возразить, от красноречивых слов? Красноречие создается только нравственными мыслями и добродетельными чувствами, а разве найдут они нынче отклик в чьем-либо сердце? Разве после десяти революционных лет кого-то еще волнуют добродетель, чуткость и даже доброта? Живи в наши дни величайшие ораторы древности, Цицерон или Демосфен, разве смогли бы они поколебать невозмутимое хладнокровие порока? Разве заставили бы потупить тех подлецов, которых ничуть не смущает присутствие людей порядочных? Скажите этим безмятежным любителям наслаждений, что их благополучие под угрозой, — и вы встревожите их хладную душу; другое дело красноречие — разве способно оно тронуть их сердца? Красноречивый оратор скажет негодяям, что добродетельные люди презирают их, — но разве не знают они измлада, что вся их жизнь презренна? Быть может, вам следует обратиться к людям, алчущим богатства, но еще не привыкшим к правам и наслаждениям, которые оно дарует? Что ж, если вы даже внушите им на миг благородные побуждения, у них не останется отваги воплотить благие намерения в жизнь. Разве не приходится им то и дело краснеть за свое постыдное существование? Человек, которого можно упрекнуть в низости, бессилен: он страшится всякого голоса, который может бросить ему в лицо обвинение, страшится правосудия, свободы, нравственности — всего, что возвращает убеждениям силу, а истине — уважение. Или, может быть, вы хотите сказать несколько добрых слов людям, в чьем сердце пылает ненависть? Они тоже оттолкнут вас. Примите сторону сильного — и они выслушают вас с почтением, что бы вы ни говорили, но попробуйте вступить за слабого, попробуйте великодушно встать на защиту дела, обреченного на неудачу, но достойного сочувствия, — и ответом вам будет лишь неудовольствие правящей партии. Мы живем во времена, когда люди ненавидят несчастных, презирают угнетенных, приходят в ярость при виде побежденных, но зато преданно и пылко восславляют правительство, если союз с ним сулит выгоды.

Что делать в таком окружении человеку красноречивому — человеку, который умеет говорить языком трогательным и возвышенным лишь тогда, когда идет

навстречу опасностям, вступаете за несчастных и знаете, что наградой за мужество ему будет слава? Быть может, ему следует обратиться к нации? Увы! Разве не слышала эта несчастная нация, как лживые уста оправдывали всевозможные преступления, поминая всеу всевозможные добродетели? Разве сумеет она теперь отличить на слух правду от лжи? Лучшие из граждан почивают в могиле, а те, кто живы, и думать не хотят ни об энтузиазме, ни о славе, ни о нравственности; их цель — покой, и оттого они чуждаются не только преступных деяний порока, но и великодушных порывов добродетели.

Возражения эти могли бы, пожалуй, поселить в моей душе отчаяние, и все-таки по здравом размышлении я пришла к выводу, что рано или поздно добро обязательно возьмет верх; я убеждена, что, если речи, произнесенные при огромном стечении народа, или книги, которые читает вся страна, не производят никакого действия, виноваты в этом сами ораторы или писатели.

Конечно, любой талант бессилён, если обращается к нескольким слушателям, связанным только общей корыстью или общим страхом; родник, который по слову пророка может забить даже из скалы, давно высох в их сердцах; однако если вокруг вас — толпа, состоящая из людей самых разных — беспристрастных, чувствительных, слабых и нуждающихся в поддержке, — обратитесь к человеческому естеству — и вы получите отклик; если от ваших слов электрическая искра пробегает по сердцам, вам нечего бояться ни хладнокровного равнодушия, ни коварных насмешек, ни честолюбивой зависти: все, кто вас слышат, будут на вашей стороне. Разве не властны над ними искусство трагедии, божественные звуки небесной музыки, пыл воинственных песен? Почему же не отозваться им на красноречивое слово? Душа алчет восторга; воспользуйтесь этой склонностью, разожгите это желание — и вы плените своих слушателей.

Конечно, когда вспоминаешь холодные и чопорные лица светских людей, трудно поверить в возможность взволновать их сердца, однако большинство политиков и должностных лиц скованы своими прежними поступками, своими нынешними интересами и взглядами. Иное дело — многочисленная толпа; взгляните на нее —

сколько вам бросится в глаза незнакомых лиц, дружеское, нежное, доброе выражение которых предвещает встречу с людьми, способными понять вас и разделить ваши чувства! Так вот, эта толпа и есть нация. Забудьте все дурное, что знаете о тех или иных людях, предайтесь вашим мыслям и ощущениям, плывите на всех парусах — и, какие бы рифы, какие бы препятствия ни встретились на вашем пути, вы доплывете до цели и увлечете за собой всех, чья душа свободна, всех, чей ум не несет на себе печати рабства и не расплачивается за свою неволю.

Но если правда, что можно надеяться на новый расцвет красноречия, то какими способами совершенствовать его? Поскольку красноречие принадлежит более к области чувств, нежели к сфере идей, оно, по видимому, менее способно к бесконечному совершенствованию, чем философия. Однако новые мысли рождают новые чувства, следовательно, чем дальше идет вперед философия, тем больше новых возможностей открывается перед ораторским искусством.

Если оратор говорит об истинах общеизвестных, пусть не останавливается на них особенно подробно; пусть трогательные рассуждения чередуются в его речи с серьезными умозаключениями, дабы ум постоянно пребывал в окружении мыслей возвышенных; увлечь слушателей можно и рассказом о нравственных истинах, внятных всем, но еще никому не наскучивших. Некоторые речи древних содержат величественные фразы, которые, ни разу не слышав их, невозможно угадать, а раз услышав, невозможно забыть и которые, подобно героическим деяниям, оставляют след в веках. Однако если логика и точность рассуждений, виртуозность и выразительность слога могут совершенствоваться, то ораторы нового времени в силах затмить древних; да и само воображение потрясало бы сильнее, если бы ничто не сковывало его, если бы все способствовало его расцвету.

Красноречие — плод чувства и гения; красноречивому оратору потребно хотя бы на мгновение отрешиться от всего окружающего; ему следует стать выше опасности, если она ему грозит, выше общественного мнения, если он выступает против него, выше людей, которых он порицает, — выше всего, кроме собственной

совести и суда потомков. Философические думы возвышают человека, и он легко находит слова правды; яркие образы и сильные слова сами собой являются уму, пылающему чистейшим огнем.

Этот подъем в горние сферы не лишит вас ни живости чувств, ни горячности, столь необходимой красноречивому оратору, — горячности, которая только и способна придать словам звучание энергическое и неотражимое, наделив их властью, которую люди признают помимо воли и против которой они бессильны бороться, хотя нередко и оспаривают ее права.

Вообразим себе человека, который путем размышлений воспитал в себе полнейшее равнодушие к событиям мира действительного, человека, характером схожего с Эпиктетом<sup>2</sup>, — если он возьмется за перо, слог его не будет блистать красноречием; иначе обстоят дела в просвещенном аристократическом обществе; здесь философический дух — не результат одиноких дум частного человека; он соседствует с самыми пылкими страстями и входит в число взглядов, привычных измлада, в число убеждений, которые, смешиваясь со всеми природными чувствами, возвышают ум, не расхолаживая души. У древних весьма малое число людей разделяло взгляды стоиков, призывавших подавлять любые душевные движения; что же касается философии нового времени, то, хотя ум подвластен ей больше, чем характер, она не что иное, как взгляд на жизнь, и взгляд этот, если его усваивают себе люди просвещенные, изменяет общее направление мыслей, не заглушая чувств; философии не под силу изгнать из сердца ни любовь, ни честолюбие, ни бесчисленные мимолетные увлечения, на которые так падко человеческое воображение, пусть даже вопреки советам разума; однако философия нового времени, по духу своему чисто созерцательная, сообщает языку страстей гораздо большую глубину и выразительность, ибо она исполнена меланхолии.

Меланхолическое чувство, которое чем дальше, тем глубже проникает в человеческое сердце, может исполнить красноречие неслыханного величия. Как бы пылко ни желал человек, наделенный незаурядными способностями, добиться осуществления своих чаяний, он ощущает себя выше любой стоящей перед ним цели, и

эта смутная и печальная мысль придает его словам звучание возвышенное и трогательное.

Однако если однажды нравственные истины будут выведены и доказаны с математической точностью, что останется на долю красноречия? Поскольку у добродетели и рассудка разные основания и разные источники, красноречие будет вечно царить в своих законных владениях. Люди не станут прибегать к его услугам, излагая отвлеченные идеи, принадлежащие наукам политическим, метафизическим и проч.; тем почетнее, однако, будет его роль: никто больше не сможет назвать его опасным, ибо оно ограничится своим естественным предназначением и будет обращаться к нашим чувствам, к нашей душе.

С некоторых пор сложилась нелепая традиция: французы обвиняют красноречие во всех прегрешениях, которыми запятнали себя деятели революции, и стремятся защитить себя от этой, — как им кажется, очень грозной — опасности; они убеждены, что по вине тех граждан, которые яростно, а зачастую и грубо отстаивали в своих речах неправое дело, французская нация обречена вечно пребывать внутри замкнутого круга ложных представлений и ни один честный и прямодушный француз не вправе заступиться за верную идею, воззвав к простым человеческим чувствам.

Я, напротив, полагаю, что все дышащее красноречием есть истина, иначе говоря, в речи, отстаивающей неправое дело, лжив ход мыслей, а не красноречивая форма, которая всегда зиждется на истине; истину эту человек может неправильно применить или истолковать, но в такой ошибке повинен один лишь рассудок. Красноречие вырастает из душевных движений и обращается к чувствам людей, а душою толпа всегда на стороне добродетели. Говоря с человеком наедине, нетрудно правдами и неправдами склонить его на дурное дело, но на миру человек соглашается лишь на такие поступки, за которые ему не придется краснеть.

Движимые религиозным или политическим фанатизмом, люди разжигали преступными речами низменные страсти толпы, но не чувства, а ложные умствования сообщали этим речам роковой смысл.

В речах истинных приверженцев религии красноречиво выражение чувства, по велению которого человек

приносит себя в жертву всеобщему благу, всему, что угодно Всевышнему; лживы же в них рассуждения, призванные уверить, что убивать тех, кто не разделяет ваших взглядов, похвально, что в этих-то убийствах и заключается высшая добродетель.

Изучите предметы всех споров между людьми, содержание всех знаменитых речей, произнесенных в ходе этих споров, и вы увидите, что красноречие всегда вдохновлялось правдой, извращали же его умствования: ведь сами по себе чувства не способны заблуждаться — ошибочны могут быть лишь заключения оценивающего их рассудка. От ошибок этих человечество избавится лишь тогда, когда язык логики обретет свою окончательную форму и станет доступен массам.

Я сознаю, что против красноречия можно выдвинуть еще много обвинений. У него, как и у всех других достижимых нам благ, есть недостатки, которые противники его при необходимости выдвигают на первый план, однако какой природный дар останется безупречным, если подойти к нему с такими пристрастными мерками? Человек несовершенен, и задача разума — помочь многочисленным преимуществам той или иной его способности возобладать над маловажными недостатками.

Для защиты свободы далеко не всегда достаточно ученых рассуждений: лишь красноречие может в минуту опасности пробудить в людях великодушие и отвагу. Только горстка людей, наделенных характером поистине возвышенным, способна решиться на подвиг в тиши уединения, из одной лишь любви к добродетели; большинство же людей находят в себе силы мужественно исполнять свой долг, лишь если душа их объята волнением, и забывают о своих интересах, лишь когда чувства их воспалены больше обычного. Красноречие заменяет боевые кличи и устремляет душу навстречу опасности. Оно позволяет целому собранию сравняться доблестью и добродетелью с самым достойным из его членов. Лишь по воле красноречия достоинства одного мужа сообщаются всем, кто его окружает. Уничтожьте красноречие — и толпа будет руководствоваться самыми низменными страстями. Ведь всеми благородными и бесстрашными решениями, какие когда бы то ни было принимали люди, собравшись вместе, мы обязаны дару слова.



Уничтожьте красноречие — и вы уничтожите славу: ведь воодушевить других человек может, лишь воодушевившись сам; чтобы похвала была добровольной, чтобы она была согласна с законами разума и убедительна для потомков, она должна исходить из уст людей свободных.

Наконец, пусть те, кто, несмотря на все сказанное, считают красноречие опасным, подумают о том, как трудно его задушить, и им станет ясно, что с красноречием дело обстоит так же, как с просвещением, свободой и прочими величайшими достижениями ума человеческого. Возможно, что достижения эти чреватые несчастьями, но без них мы лишимся всего плодотворного, возвышенного и великодушного, на что способны. Доказательством этой мысли я и надеюсь завершить свой труд.

## ГЛАВА IX И ПОСЛЕДНЯЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

---

Все те, кто видят в ученых занятиях род слабоумия и уважают лишь способности, приносящие ощутимую пользу, отзываются о совершенствовании рода человеческого с насмешливой снисходительностью. Учение о совершенствовании оспаривают также некоторые мыслители; главным аргументом против него служат те необдуманные чувства и страстные порывы, по вине которых самые противоположные идеи смешиваются воедино, что оказывается на руку людям порочным, прикрывающим злые дела благородными речами. Те, кто обвиняют в преступлениях революции философию, возлагают ответственность за бесчестные дела на великие идеи, о которых история еще не сказала своего последнего слова. Куда полезнее было бы углубить пропасть, отделяющую порок от добродетели, соединить любовь к просвещению с любовью к нравственности, призвать на защиту морали лучшие силы человечества, дабы на долю преступления остались позор, невежество и низость; однако, как бы ни относились мы к завоеваниям нашего времени и к без-

границной власти разума, есть, мне кажется, довод, с которым согласятся сторонники самых разных взглядов. Кое-кто утверждает, будто просвещение и все, что с ним связано, — красноречие, политическая свобода и свобода веры — отнимают у человечества счастье и покой. Подумайте, однако, о том, как дорого обойдется человечеству остановка на пути к знаниям! Задайтесь вопросом, как помешать этому злу — если оно является таковым, — не прибегая к средствам отвратительным и решительно бесплодным!

Я попыталась показать, с какой мощью, невзирая на многочисленные препятствия и невзгоды, философская мысль прокладывала себе дорогу и развивалась во всех странах, где человеку было позволено думать. Каким же образом заставим мы ум человеческий двигаться вспять? А если даже мы одержим эту жалкую победу, разве сможем мы быть уверены, что нравственные способности человека рано или поздно снова не начнут развиваться? Поначалу все, включая королей, желают литературе и искусствам новых и новых успехов. Меж тем успехи эти невозможны без появления новых мыслей, уводящих ум человеческий далеко в сторону от первоначально избранного предмета. Стоит литераторам задаться целью взволновать сердца, и они непременно проникаются философскими идеями, идеи же эти ведут их к познанию истины. Пусть даже правительство ваше уподобится испанской инквизиции и русскому самодержавию — кто поручится нам, что ни в одной из соседних стран не возникнет установлений более свободных? Конечно, вы можете запретить все сношения с ними, но ведь даже простые торговые связи так или иначе помогают усвоению в одном государстве философических идей, распространяемых в другом<sup>1</sup>.

Физические науки преследуют цели практические, поэтому ни одно правительство не хочет и не может их запрещать, — меж тем разве возможно, чтобы исследование природы не разрушило некоторые верования? Разве возможно, чтобы свобода веры в свою очередь не породила в умах потребность изложить несправедливые земные власти? Но ведь можно, скажут мне, пресечь злоупотребления разумом, не ущемляя его самого. Кто же займется этим пресечением? Правительство?

Но может ли какое бы то ни было правительство считаться беспристрастным? И разве в силах будут пылкие умы соблюдать наложенные им запреты?

Если вы приучаете нацию к развлечениям и наслаждениям, если вы истощаете ее силы и мужество, дабы отучить ее мыслить,— кто защитит вас от воинственных соседей? А если война обойдет вас стороной, народ ваш усвоит себе все пороки, ибо единственной целью его стремлений станут удовольствия и роскошь. Между тем нет цели более низкой и подлой. Если же вы вселите в души всех подданных воинственный пыл, вы, быть может, научите их презирать мысль, но зато навлечете на себя все бедствия феодального строя. Хуже того, страсть к сражениям вскоре вовсе обманет ваши надежды. Стоит человеку привязаться к чему-либо душой, и вы уже не остановите его порыва. Воинская доблесть воодушевляет человека, потрясает его воображение и пьянит ему ум; вы желаете поставить ее на службу деспоту, а она внушает людям любовь к славе, которая вскоре превращает подданных тирана в смертельных врагов тирании. Самые замечательные высказывания, самые блистательные речи были произнесены на поле брани, в минуту опасности, в тех гибельных обстоятельствах, которые возвышают храбрца и развивают в нем все способности разом. Этому красноречию битвы немедленно начинают подражать гражданские ораторы. Лишь только великодушные чувства, какова бы ни была их природа, получают возможность изливаться свободно, красноречие, этот дар, который, кажется, так легко задушить и которым так трудно овладеть, возрождается, растет, развивается и подчиняет себе все важные предметы.

Во всех странах, где вводились какие-либо мудрые установления, имеющие целью улучшение правления, охрану гражданской свободы и свободы веры либо возрождение национальной гордости и доблести,— во всех этих странах немедленно начинало развиваться просвещение. Подавить его ростки можно лишь прибегнув к самому полному рабству и унижению. Истинные союзники правительства, которое пожелало бы остановить развитие человеческого разума,— это калабрийское землетрясение, турецкая чума, российские и камчатские вечные льды и прочие стихийные бедствия.

Без помощи несчастий и пороков помешать нациям овладевать знаниями невозможно.

Недостатки и достоинства просвещения — это недостатки и достоинства самой жизни. Быть может, сумей мы наделить человека тем покоем, какой ведом существам, лишенным разума, мы облагодетельствовали бы его, ибо избавили от страданий. Однако для того чтобы привести человека в такое состояние, надо его беспрестанно мучить, ибо силы для движения к знаниям дарует ему сама природа, а отупляет только боль. Итак, заверим противников и сторонников просвещения, что, если в душах их живет человеколюбие, они должны согласиться меж собою в одном: невозможно заставить ум человеческий свернуть с его естественного пути, не навлекши на людей бедствий гораздо более ужасных, нежели те, которыми чревато развитие просвещения.

Напротив, в руках людей мудрых просвещение делается вечным источником благ и наслаждений: если большинству людей потребно верить, что жизнь их продлится за гробом, потребно различать смятенным сердцем зов неведомого, то разве не нуждаются они еще на этом свете в учении, которое указывало бы им решения тех вопросов, что не подлежат суду нравственности. Философические истины имеют над просвещенными умами, их признающими, такую же власть, какую добродетель — над честными душами. Истины эти служат источником вдохновения, не зависящего от жизненных обстоятельств, они утешают в невзгодах и приносят счастье даже неудачникам. Не будь нашим умственным способностям предначертано движение вперед, нам пришлось бы беспрестанно сообразовывать наши действия с сиюминутными прихотями общества, мучительно подсчитывать, какие выгоды сулит то или иное решение, а затем мучительно сожалеть о том, что выгоды не воспоследовали немедленно, — а разве может человек в таких условиях не унижить и не развратить свой разум? Что есть человек, если он подчиняется страстям себе подобных, если он ищет истину не ради ее самой, если вся его жизнь не является непрерывным движением к вершинам мысли и чувства? На всяком поприще человеку потребно видеть впереди сияющее будущее, к которому он мог бы устремляться душой:

воинам нужна слава, мыслителям — свобода, людям чувствительным — вера. Не подавляйте эти пылкие порывы, не обдавайте холодом сердца энтузиастов; цель законодателя — использовать все благое, чем богаты разные поприща, ограничивать свободу с помощью добродетели, честолюбие — с помощью славы. Тягой к знаниям он должен управлять с помощью рассудка, рассудок подчинять состраданию и смешивать в одном порыве все могучие силы, добрые чувства, энергические способности, какие даровала нам природа, дабы все, что заложено в душе, могло проявить себя. Зачем ему душить ум, сдерживать страсть с помощью другой страсти, отвечать злом на зло, когда нравственное чувство способно примирить все эти силы между собой!

Благословенный дар небес — нравственности! Она позволяет нам познать все доброе, что скрывает в себе природа, она одна дарует уверенность и покой, без которых все прочие жизненные блага ничего не стоят. Что восхищает нас в великих людях? Не что иное, как добродетель, принявшая облик славы. Правда, многим из них случалось совершать деяния предосудительные, и невежественная чернь уверена, что гении прославились своими преступлениями. Однако если мы исследуем источник нашего восхищения, мы поймем, что восхищаемся только тем, что согласно с законами нравственности. Настолько несовершенна природа человеческая, что, почитая силу и великодушие, мы забываем о чудовищных заблуждениях героев, если на челе их еще различима печать величия, если за страстями их мы угадываем добродетели, наконец, если мы предаемся всей душой этим необыкновенным людям, которые часто навлекают на себя подозрения и осуждение, но которые всегда хранят верность благородным идеям и неспособны запятнать себя ни предательством, ни трусостью. Да, единственное, на чем зиждется энтузиазм, — это нравственность; воинская доблесть — это самопожертвование, любовь к славе — пылкое желание снискать уважение; напряженная работа ума — стремление к счастью человечества, ибо должный простор мысль обретает, только творя добро. Вспомним славные имена, завещанные нам историей, и мы убедимся, что среди них нет ни одного, чья судьба не являла бы образец хотя бы одной добродетели.

Нравственность помогает просвещению, а просвещение — нравственности. Чем выше воспаряет ваш ум, тем с большим стыдом вспоминаете вы, что некогда могли считать мудрыми мысли, не отвечающие требованиям нравственности, великими — решения, не исходящие из ее интересов, надежными — планы, не направленные к ее укреплению. Дальше — больше: нравственность претворяется в талант, затем в гений, возвышает характер и ум. Разумеется, никто не может поручиться, что ничем не погрешит против ее благородных законов, однако есть нечто, что мы можем и должны свершить на благо рода человеческого; к одному-единственному должны мы приложить все свои силы, на одно-единственное подвигнуть всех своих ближних: наш долг — внушить людям, что широта ума и глубина нравственного чувства связаны нераздельно и что провидение не только не противопоставляет гений добродетели, но, напротив, охотно губит таланты, которые плывут по жизни наудачу, не полагаясь на того надежного проводника, каким является нравственность.

Неправда и то, что у людей непросвещенных нравственные устои более прочны; люди заурядные могут быть просто честными, не выказывая высших способностей, однако, если человек занимает высокий пост, лучшим залогом его великодушия служит истинная просвещенность. Люди сплошь и рядом заблуждаются в оценке ума прославленных политических деятелей. Разве тот, кто мастерски обманывает, умен? Разве тот, кто мучит частных людей и целые нации, умен? Разве тот, кто превыше всего ставит личную корысть, умен? И что увенчивает все эти старания? Зачем нужен ум, который не приносит ничего, кроме неудач и горя? Подлинным умом, умом истинно просвещенным наделен тот, кто предан добру и способен творить его, тот, чье главное оружие — правда и великодушие. Такими рисуют нам древние своих великих мучей: они облагораживали, возвышали нацию, желавшую идти по их стопам, и внушали своим современникам веру в добродетель; это и были высшие умы, а созидает такие умы блистательнейший из союзов — союз просвещения и нравственности.

Я постаралась изложить в этой книге все причины,

по которым мы должны приветствовать развитие просвещения, постаралась доказать его благотворность и призвать все светлые умы к овладению этой неодолимой силой, истоки которой заложены в нравственной природе, подобно тому как истоки движения заложены в природе физической; однако признаюсь честно: стоило мне заговорить о любви к философии и свободе, любви, которую не удалось изгнать из моего сердца ни врагам, ни друзьям, я тут же начинала опасаться, как бы люди несправедливые и коварные не представили дело так, будто я равнодушнозираю на преступления, меж тем как я их ненавижу, будто мне безразличны чужие несчастья, меж тем как я делала все, на что способен человек бесхитростного ума и правдивой души, чтобы утешить попавших в беду.

Одни люди бесстрашно сносят злословие, другие защищаются от него равнодушием или презрением: что до меня, то я не могу похвастать подобной отвагой, не могу сказать своим гонителям, что им не удастся нарушить мой покой. Нет, я не могу этого сказать, и, обезоружу ли я несправедливых судей или разгневаю их еще пуще прежнего, я не стану притворяться мужественной и уверять, что счастье мое не зависит от их приговора, — ведь вся жизнь моя свидетельствует об обратном. Небеса не даровали мне такого твердого характера, каким обладают люди, не нуждающиеся в одобрении, люди, которых доброжелательный взгляд ближнего не преисполняет сладостнейшего чувства, люди, которые, навлекши на себя ненависть, встречают ее презрением и не допускают в свое сердце печали.

Но малодушие мое не заставит меня отречься от моих убеждений. Я буду защищать их, какими бы муками мне это ни грозило; ведь благотворна только проповедь идей поистине заветных. Вы не можете ни глубоко исследовать, ни живо изложить те идеи, в которые не верите. Чем ближе человек к природе, тем менее способен он отстаивать что бы то ни было против воли. Постараемся же освободиться от мучительных страхов, лишаящих нас возможности мыслить независимо, доверим нашу жизнь нравственности, счастье — нашим возлюбленным, а мысли — времени, верному союзнику совести и правды.

Как, однако, печально и больно полагаться на вре-

мя, если тебе потребно постоянное одобрение окружающих! О, как счастливы были мы десять лет назад, когда, полные веры в свои силы, в друзей, которые искали с нами знакомства, в жизнь, которая еще не разрушила ни одной из наших надежд, вступали в свет, где не ждали нас ни несправедливая пристрастность, ни злобная ненависть, ни соперники, ни завистники; в ту пору все видели в нас одну лишь надежду, а кто не рад надежде! Но прошло десять лет — и жизнь вошла в свою колею: взгляды наши ущемили многие интересы, разожгли многие страсти, оскорбили многие чувства, и мы не можем ни излить душу, ни высказывать мысли перед лицом разъяренных судей; разве в силах воображение противостоять полчищу тягостных воспоминаний, которые осаждают нас во всякое время? Разум гонит их, но кто из нас сохранил сегодня юные сердца, открытые дружбе, души, еще не израненные и рождающие слова пусть несовершенные, но чувствительные и исполненные доверия?

И все же я выпускаю эту книгу в свет такой, какая она есть; раз уж имя твое было предано огласке, лучше дать о себе верное представление, чем положиться на волю коварного случая, множащего клеветнические выдумки. Однако я отдала бы ту часть жизни, которую мне еще суждено прожить, за то, чтобы никогда не вступать на литературное поприще и не пожинать плоды связанной с этим известности! Первые шаги, которые совершаешь в надежде славы, приносят немало радостей; ты с удовлетворением слышишь, как произносят твое имя, радуешься, что тебя ценят, отличают; однако в каком одиночестве оказываешься ты, сделавшись известной, какой испытываешь ужас! Ты снова хочешь стать как все, — поздно! Потерять свою жалкую славу нетрудно, но как вернуть ту благожелательность, какой наслаждается человек безвестный? Как важно обдумать первый шаг на жизненном пути — ведь он может навсегда лишить тебя счастья. Вкусы меняются, склонности и характер делаются иными, но ты обязана оставаться такой, какой видят тебя окружающие; ты обязана добиваться новых успехов, поскольку тебя до сих пор ненавидят за прежние; воспоминания о твоей юности, суждения, которые были вынесены о тебе в те годы, наконец, образ жизни, который тебе приписы-



вают, полагая его пределом твоих мечтаний,— это цепи, которыми ты скована навеки. Несчастливая, трижды несчастная жизнь! Она, возможно, разлучила тебя с существами, которых тебе суждено было полюбить, которые привязались бы к тебе, если бы вздорные слухи не спугнули чувства, алчущие тишины и покоя. Что же остается? Ткать свою жизнь, продолжая тот рисунок, что был неосмотрительно начат с юности, и врачевать страждущую душу, радуясь неизменным сердечным привязанностям и наслаждениям мысли.

Возможно, многим покажется предосудительным, что в книге, посвященной философическим умозрениям, я рассказываю о собственных душевных тревогах, однако я не в силах отделить идеи мои от чувств: именно чувства побуждают нас размышлять, именно они сообщают уму пронизательность и глубину. Чувства изменяют наши взгляды на любой предмет; мы пленяемся книгой, если угадываем в ней отзвук наших страданий и воспоминаний. Более всего восхищают нас те сочинения, которые тронули все струны нашей души. Хладные умы ждут от писателя лишь рассуждений; душевные движения, сожаления, грезы им безразличны. Что ж! Я готова стерпеть их хулу! Да и как было мне поступить иначе? Как разлучить талант с душой, как забыть о своих ощущениях и вести речь об одних только мыслях, как заставить замолчать живущие в груди чувства, не забыв ни одну из внушаемых ими идей? Что за писания явились бы результатом этих неустанных усилий и не лучше ли нарушить правила, но сохранить естественность и непринужденность?

## НЕСКОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЙ О ПРАВСТВЕННОЙ ЦЕЛИ «ДЕЛЬФИНЫ»

---

Я вовсе не собираюсь предлагать читателю апологию «Дельфины»: книга должна сама уметь за себя постоять; люди часто бывают несправедливы к себе подобным, но произведения словесности они рано или поздно оценивают по достоинству. Клеветники, извращающие в свое удоволь-

ствии взгляды и чувства, на которых зиждется частная жизнь женщины, могут безнаказанно омрачить дни беззащитного существа, однако книги так же доступны взорам каждого, как и критики, которые на них пишутся, отчего борьба становится не столь неравной; я свято верю, что судьба всякого сочинения не зависит ни от благосклонности, ни от ненависти литераторов-соперников; их милости и немилости так мало значат в сравнении с беспристрастием времени и просвещенным судом людей, доверяющихся своим естественным впечатлениям. Тем не менее я сочла, что, поведав о цели, которую я преследовала, сочиняя «Дельфину», я смогу высказать некоторые полезные суждения об истинном нравственном смысле человеческих поступков и о том, как оценивает эти поступки общество. Эта-то надежда и побудила меня взяться за перо.

Вот вопрос, представляющий огромную важность: почему общество, как правило, гораздо более сурово осуждает провинности, объясняющиеся чрезмерной независимостью характера, неумеренностью натуры, излишней восторженностью души, нежели эгоизм, равнодушие и притворство? Раз общество устроено таким образом, следует доискаться до причин этого явления и, не тратя сил на гневные речи против людской несправедливости, рассмотреть, какое сцепление идей приводит к подобному результату. Каждый человек, взятый в отдельности, скажет вам, что гораздо охотнее имел бы дело с женщиной, подобной Дельфине,—чувствительной, неосторожной, порывистой,—нежели с существом себялюбивым, хитрым и холодным, а между тем общество в целом будет опекать вторую из женщин и преследовать первую. Причина этого расхождения между взглядами каждого в отдельности и убеждениями всех вместе заключается, я полагаю, в том, что каждый человек в отдельности радуется общению с теми, кто грешит, если можно так выразиться, избытком великодушия, нерасчетливой добротой, необдуманной честностью; что же до общества в целом, то оно в первую очередь дорожит честью мундира, бережет свою неприкосновенность, свое лицо и оттого предпочитает людей себялюбивых и грубых с ближними, но уважающих условленные приличия натурам более благородным, но слишком часто идущим напере-

кор общественному мнению. Безупречная нравственность всецело удовлетворяет и частных людей и общество, ибо в незамутненной основе своей так полно отвечает природе человека, что ее одобряют и почитают сильные и слабые, частные лица и людские сообщества, посредственности и гении. Иное дело — достоинства, отпущенные тому или иному человеку природой: куда менее совершенные, чем добродетели, они, если их не направляют весьма суровые принципы, вызывают у толпы посредственностей гораздо больше подозрений, нежели явные недостатки, сами обличающие свою вредоносность, но не разрывающие той цепи условностей, что служит защитой предрассудкам и тщеславию. Некто сказал, что лицемерие — дань уважения, отдаваемая добродетели<sup>1</sup>; общество присваивает эту дань себе и, подобно любой власти, судит поступки людей лишь в зависимости от своих выгод. Кроме того, в характерах людей, подобных Дельфине, — людей безусловно честных, которые изъявляют чувства благородные и нежные, не ища предлогов и не прибегая к хитростям, — толпа чувствует силу, крайне ей ненавистную. Многие люди пытаются выдать свои поступки, продиктованные корыстью, за проявление добродетели и охотно прощают подобные софизмы своим ближним в надежде безнаказанно обмануть их в свой черед; когда же существо отважное и прямодушное нарушает это мирное и приторное согласие, так называемое цивилизованное общество усматривает в этом угрозу, боясь, что все поступки его членов будут названы своими именами, а все слова обретут свой истинный смысл. Наконец, самого по себе превосходства ума и души достаточно, чтобы встревожить общество. Ведь оно охраняет интересы большинства, иначе говоря, интересы посредственностей; сталкиваясь с людьми необыкновенными, оно не знает наверное, чего следует ждать от них, добра или зла, и оттого судит их особенно сурово. Хуже всего приходится женщинам: принято считать, что они обязаны соблюдать все ограничения, покорно нести всякое ярмо, и, поскольку общество в целом не станет счастливее, если в лоне его появится множество женщин страстных, не говоря уже о женщинах просвещенных, неудивительно, что оно особенно пристально следит за теми, кто составляют

исключение из общего правила, пусть даже исключение блистательное.

Характер Дельфины, несчастья, причиной которых он служит, — все призвано доказать те мысли, которые я только что изложила. Я вовсе не желала выдать Дельфину за образец для подражания: эпитафия к роману<sup>2</sup> доказывает, что я осуждаю Леонса и Дельфину, но я убеждена, что ради пользы человечества и торжества строгой морали следовало показать, как существа, наделенные высшими способностями, делают в жизни своей больше ошибок, чем любая посредственность, если не подчиняют свои способности разуму; как люди, в груди которых бьется сердце великодушное и чувствительное, предаются заблуждениям, если не слушаются во всем, вплоть до мелочей, строгих правил морали. Чем сильнее ветер, тем бдительнее следует быть капитану. У Ричардсона спрашивали, зачем он обрек Клариссу на столь ужасные несчастья. «Затем, — отвечал он, — что я никогда не мог простить ей побега из отчего дома». Я также могла бы сказать со всей искренностью, что не простила Дельфине ее любви к женатому мужчине, пусть даже чувство ее осталось целомудренным. Я не простила ей опрометчивых поступков, совершенных под влиянием пылкого характера; все ее невзгоды, изображенные мною, — непосредственное следствие этой необузданности.

Однако нравственный смысл романа не исчерпывается судьбой Дельфины: я хотела показать, что суровость, с которой общество ополчается на мою героиню, также заслуживает порицания, и, хотя я только что перечислила со всем беспристрастием, на какое способна, причины этой суровости, я полагаю, что, вынося суждения о поступках и характерах, общество — а особенно общество в больших городах — не руководствуется убеждениями истинно нравственными. Первая и трогательнейшая из добродетелей — это милосердие. Мы, на мой взгляд, так нуждаемся в сострадании ближних, что должны остерегаться не только людей, способных на злые дела, но и тех, которые, даже когда это им по силам, не торопятся облегчить чужую муку. Я полагаю, что мы не можем осудить чей-либо поступок, оплакать, одобрить или заклеить чей-либо характер, не задавшись прежде вопросом, как

соотносится этот поступок или характер с основной основой — добродетелью. Я знаю, что человек неосторожный может причинить зло помимо воли, однако такого человека столь нетрудно образумить, раскаяние его и потребность исправить содеянное столь искренни, что очевидно: проступки его не имеют решительно ничего общего с сознательными деяниями во вред себе подобным. Я надеюсь, что на каждой странице «Дельфины» воздаю должное милосердию и тем приношу людям пользу: ведь, пока длилась революция, сердца поразительно очерствели, а между тем ни в какую другую эпоху страждущие так сильно не нуждались в сочувствии — единственном, что по-настоящему связывает смертных.

Да, первое достоинство человека — это доброта; недаром в тяжкие минуты, когда под гнетом страданий замолкают и честолюбие и зависть, человек чаще всего мечтает встретить душу, наделенную тем трогательным свойством, что смиряет ярость смертных и несет на себе отпечаток небесного милосердия. Кто не помнит, что в грозные времена, которые нам довелось пережить, мы вглядывались в лицо человека могущественного, стремясь прежде всего определить, добр ли он. А среди молчаливых судей угадывали родственную душу по тонким чертам и смягчившемуся взгляду. То, что большинство смертных испытывает, лишь попав в беду, нежные души ощущают постоянно; никакое благоденствие не помогает им сделаться неуязвимыми, и в самые счастливые мгновения своей жизни они сознают, как пригодится им рано или поздно сочувствие ближних.

Итак, доброта и великодушие, два достоинства, связанные узами благороднейшими и дополняющие одно другое, — вот что лежит в основе поступков подлинно нравственных, суть которых исчерпывается древними словами: «Ниспроверженных щадить и усмирять горделивых» (*Parcere subjectis et debellare superbos*)<sup>3</sup>. Слова эти заключают в себе все божественное, что таится в сердце человеческого. «Пусть мой сын вырастет добрым и честным, — могут сказать матери, — а на остальное да будет воля божия!» Однако воля людей куда более мстительна, чем воля божия, и нередко случается, что могущественное общество стремится пода-

вить чистейшие движения души. Часто свет гонит мужчину именно оттого, что он блистает талантами; еще чаще женщина, охваченная чувством столь неподдельным, что его невозможно скрыть, женщина, великодушно приносящая в жертву любви все свои интересы, гибнет, а соседка ее, мирно царящая в своей гостиной, позволяет себе осудить несчастную и благодаря этому равнодушному и безжалостному приговору вырастает в глазах света. Эти-то странные причуды общественного мнения я и хотела изобразить в «Дельфине». Мой роман говорит женщинам: «Не доверяйтесь ни вашим достоинствам, ни вашим прелестям; если вы не будете почитать общественное мнение, оно погубит вас». Обществу же он говорит: «Берегите высшие умы и души, вы сами не сознаете, как жестоко и несправедливо поступаете, когда даете волю вашей ненависти и преследуете людей выдающихся, которые пренебрегают некоторыми вашими установлениями: кары ваши не соответствуют тяжести проступков; вы разбиваете сердца, калечите судьбы тех, кто мог бы стать украшением человечества; вы в тысячу раз более виновны, чем те, кого осуждаете».

Люди безвестные зачастую гораздо более добродетельны, чем те, кто блистают своими достоинствами, однако среди посредственностей немало таких, кто несут гибель людям выдающегося ума и благородной, отважной души: невидимыми нитями опутывают они всех, кто стремится воспарить к небесам; они душат все возвышенные порывы с помощью глупых шуток, намеков и иронических замечаний, кажущихся им верхом тонкости и изысканности; сама мораль утрачивает в их устах свое великодушие и снисходительность и лишь казнит оборотные стороны иных достоинств, нисколько не возбуждая в сердцах стремления к добру.

О, насколько иначе поступают люди истинно добродетельные и строгие только к самим себе! Какое отдохновение вкушаем мы подле них, даже когда они нас бранят! Мы чувствуем, что карающая нас рука не откажет нам в поддержке, сознаем, что, если даже согласие меж нами и этими избранными душами неполно, ко всему истинно доброму и великодушному мы относимся одинаково; этим благородным людям

я не побоялась бы сказать, что ставлю Дельфину ниже их, но выше многих.

Мне случалось читать, что неправдоподобно, будто Дельфина смогла устоять перед любовью Леонса, питая к нему преступную страсть. Разумеется, я уверена — и сама Дельфина повторяет это несколько раз, — что никто не должен подражать ей и что она заслуживает наказания за то, что подает дурной пример, однако я полагаю, что в характере Дельфины есть качество, которое хранит ее, — это способность идти на жертвы ради любимого. Как сладостно презреть все жизненные блага, не уронив своего достоинства; опорочить себя в глазах света, не утратив уважения своего возлюбленного; быть готовой последовать за ним в темницу, в пустыню, пожертвовать ради него всем, кроме того, что именуют добродетелью, и доказать ему тем самым, что весь мир ничто в сравнении с любовью, которой подвластно все в мире, но что есть нечто выше любви, и это — тонкость чувств. Такие страсти — страсти восторженные, романтические, и более суровый моралист осудил бы их; они достойны жертв, но тот, кто эти жертвы приносит, достоин сожаления. Что ж! Ведь романы, изображающие жизнь, должны рисовать характеры не безупречные, но те, которые позволяют показать, какими последствиями чреваты поступки добрые и какими — дурные.

Характер Матильды подчеркивает заблуждения Дельфины, не уменьшая, однако, сочувствия читателей к героине, и это, как мне кажется, лишь углубляет нравственный смысл романа. У Матильды ни в уме, ни в манерах нет очарования; душа ее черства и суеверна, но оттого только, что поведение ее добродетельно, а чувства законны, она во многих случаях берет верх над женщиной гораздо более изящной и пленительной. Выведи я Матильду прелестной, а Дельфину — отвратительной, нравственность ничего не выиграла бы от предпочтения, которое все читатели отдали бы Матильде, ибо всякий был бы вправе сказать, что перед ним — исключение, а не правило: ведь далеко не все жены прелестны и далеко не все любовницы отвратительны; но, когда сочувствие наше оспаривает у Дельфины женщина, не блещущая красотой, но верная своему долгу и добродетельная, роман, мне кажется, становится

гораздо более нравственным. Надели я Матильду пороками, я бросила бы тень на ее права; надели я ее разнообразными прелестями, я придала бы добродетели силу, ей чуждую, но, когда Матильда, не лишенная недостатков и обделенная красотой, обретает столь могущественную опору единственно в своей порядочности, а Дельфина, несмотря на все свои достоинства и прелести, в присутствии Матильды чувствует себя униженной, разве не свидетельствует это как нельзя лучше о всемогуществе нравственности?

И это еще не все: если бы действие романа происходило в одной из тех стран, где в наибольшей чести жизнь семейственная, пример мой не был бы столь выразителен, однако дело происходит в Париже, в светском обществе, где изящество ценится превыше всего,— и это-то общество безжалостно расправляется с Дельфиной. Самое горькое наказание для человека чувствительного, совершившего некий проступок,— суровость, с которой осуждают его люди гораздо более безнравственные, чем он сам. Те, кто не признают над собой никакого нравственного закона, пользуются покровительством себе подобных. У этих людей есть свой язык, помогающий им узнавать друг друга, но люди добродетельные от природы, если им случается свернуть со своего пути, навлекают на себя негодование поистине всеобщее, и наиболее пылкими их гонителями оказываются те самые негодяи, которым не давали покоя добродетели этих несчастных.

Жизнь женщины редко являет собою пагубный пример преуспеяния безнравственности. Мужчинам общество предоставляет столько возможностей, сложное переплетение интересов позволяет им пускаться на столькие хитрости, что пороки иных из них остаются безнаказанными; иное дело — женщины: общество устроено так, что им приходится сполна расплачиваться за любую ошибку. Роман «Дельфина», как мне кажется, на разные лады доказывает эту полезную истину.

Чтобы достичь цели, мне необходимо было надеть Леонса характером, во многих отношениях противоположным характеру Дельфины: ведь если бы Леонс также пренебрегал общественным мнением, как смогла бы Дельфина ощутить несовершенство собст-



венного характера? Превыше всего ставит она суд любимого — разве не ясно, что возмездием ей должно послужить его неодобрение? Разве страшны нам несправедливости и невзгоды, если возлюбленное существо питает к нам чувство глубокое, искреннее, пылкое? Однако я обязана была показать, что в сердце мужчины любовь никогда не царит единовластно и что в обстоятельствах неблагоприятных чувство его слабеет<sup>4</sup>. Бесспорно, именно мужчине подобает пренебрегать клеветой и защищать от нее любимую женщину, однако именно оттого, что он ощущает себя ответственным за судьбу возлюбленной, он больше тревожится о том, как бы жизненные обстоятельства и поступки не бросили на нее тень. Женщине для счастья не нужно ничего, кроме уверенности во взаимности ее чувства. Иное дело мужчина: от него зависят участь, слава и счастье ближних, и он обязан заботиться об их будущем.

Особы, чьи суждения я очень уважаю, ибо в основе их лежат взгляды весьма достойные, сочли, что, рисуя характер Леонса, я отнеслась с излишним почтением к такому величайшему общественному предрассудку, как дуэль. Не вдаваясь в обсуждение вопроса, который мне не подобает исследовать чересчур пристально, скажу только, что, изобразив Леонса страшась суда общества, я обязана была каким-либо образом возвысить его характер, чтобы герой этот, в одних обстоятельствах робкий и едва ли не жалкий, выказал бы в других безрассудную отвагу; кроме того, полезно напомнить женщинам, что, презирая условности, они подвергают опасности не одних себя и что возлюбленные их, если они прислушиваются к мнению света, непременно будут искать способов отомстить за нападки на репутацию своих избранниц. Я далека от мысли, что Леонс — верх совершенства; поскольку ему суждено было стать причиной несчастий Дельфины, он, бесспорно, обладает немалыми недостатками, однако я убеждена, что Леонс, каким я его изобразила, мог вызывать у женщины пылкую любовь. Разумеется, выведи у героя, чей характер более сходен с характером Дельфины, союз их был бы более прочен; однако страсть всегда беспокойна, и тревога о Леонсе лишь разжигает любовь Дельфины.

Герой мнительный, подозрительный, но наделенный сильной и отважной душой, герой, который защищает вас от окружающих, но сам таит в себе угрозу вашему счастью,— такой герой легко воспламеняет воображение женщин. Мужчины любят в женщинах слабость и нежность, женщинам же, этим трепетным созданиям, потребно восхищаться своим покровителем и наставником, едва ли не страшась его. Рыцарская литература приучила нас к тому, что мужчины преклоняют колена перед прекрасной дамой, повинуются ее воле, падают перед нею ниц; мы должны хранить эти блестящие и пленительные предания, не забывая, однако, о том, что в сердце женщины страсть пробуждается лишь тогда, когда она глядит на мужчину с восторгом и уважением, не лишенным толики страха, когда она питает к нему почтение, граничащее с покорностью. Именно так относится Дельфина к Леонсу — ее покоряют самые недостатки избранника. К несчастью, далеко не все, что внушает любовь, служит залогом счастья: любовное чувство рождает обольщения поистине колдовские, тяготы лишь разжигают его, а проступки любимого существа отнюдь не порочат его в глазах существа любящего. Доколе не прошло удивление, доколе не исчезло очарование, доколе предмет вашей привязанности кажется вам существом неземным, доколе ваша смятенная душа не в силах отыскать вашего истинного суженого, способного даровать вам уверенность в будущем и покой. Я вовсе не хочу сказать, что чувство столь бурное приносит счастье тому, в чьем сердце оно поселилось, но я полагаю, что, возникнув, оно проявляется именно так, как я описала, и что человек, подобный Леонсу, словно специально создан для того, чтобы внушить подобную страсть и принести несчастье женщине, которая им пленилась.

Когда любовь только зарождается, женщина повластно царит над сердцем мужчины, и нет такого поступка, на который страсть не вдохновила бы влюбленного, не уверенного в ответном чувстве; однако если он уже завоевал нежное расположение женщины, а священные узы брака еще не преобразили отношений между любящими, не привели на смену страсти глубокою и нежную привязанность (следствие близости семейственной), тогда, без сомнения, первым охлад-

вает сердце мужчины; для мужчин, в отличие от нас, потребность быть любимым не стоит превыше всего; удел их слишком независим, существование слишком насыщено, будущее слишком определено, чтобы они могли изведать тот тайный страх одиночества, который беспрестанно преследует женщин, как бы блистательно ни было их положение в обществе.

Любовь Дельфины беззаветнее любви Леонса; иначе и не могло быть: ведь она — женщина, и женщина любящая. Неправда, что мужчины — коварные обманщики, как поется в старинных романах, но правда, что, не разорви Дельфина монашеского обета, Леонс любил бы ее сильнее. Перемена, которая свершается в сердце возлюбленного моей героини в тот миг, когда она изъявляет готовность принести ему эту огромную жертву, — это, как мне кажется, печальнейший и поучительнейший из примеров. Так уж устроена жизнь, где добро и зло перемешаны самым непостижимым образом: недостаточно быть чувствительной, доброй, великодушной, нужно еще уметь подавлять нежнейшие привязанности, нужно уметь жить, полагаясь только на себя. Бесспорно, Провидению было угодно сотворить нас способными к борьбе. Печальная истина: чистейшие чувства, если предаться им всецело, становятся источниками несчастий. Отчего это происходит, нам неизвестно, но очевидно, есть достоинство, стоящее выше самого милосердия, — это сила, направляемая добродетелью. Власть над собственным сердцем более драгоценна, чем любые чары, дарованные природой. Если бы для того, чтобы наслаждаться любовью счастливой и нравственной, было достаточно слушаться велений кроткой и нежной души, несчастные смертные вкушали бы на земле блаженство поистине незаслуженное.

Было, я полагаю, полезно пойти по новому пути и задуматься о том впечатлении, которое произвело бы в свете существо, подобное Дельфине, существо, обязанное своими прелестями воспитанию, достоинствами же — одной лишь природе. Нет ничего легче и ничего зауряднее, чем изображать несчастья, преследующие сердце развращенное; гораздо более возвышенно сочинение, обращенное к душам честным и открывающее им источники их проступков и страданий.

В иных угрюмцах неудовлетворенное тщеславие поселяет ненависть ко всему человечеству, однако, поскольку люди никогда не бывают ни так злы, как кто-то толкует, ни так добры, как кто-то надеется, следует помнить, что они вредят всякому, кто отклоняется от общего пути; относитесь к себе так же строго, как и к другим; искореняйте в себе не достоинства, которые вызывают зависть, но заблуждения, которые дают в руки завистников могучее оружие! Наконец, я убеждена, что есть в мире люди, чьи горести и радости связаны исключительно с сердечными чувствованиями, люди, чей внутренний мир почти вовсе непонятен окружающим; я убеждена, что «Дельфина» принесет пользу этим людям, особенно если они сочетают чувствительность с деятельным и страдальческим воображением, которое множит в их душе сожаления о прошлом и рождает страх перед будущим. Мало кто знает, как губельно для счастья соединение трезвого ума с сердцем, которому истины, открываемые умом, причиняют нестерпимую боль. Нужны книги, способные врачевать такие раны, и я надеюсь, что «Дельфина» станет одной из них. В большинстве своем литераторы показывают в книгах лишь внешнюю сторону жизни: они рассказывают лишь о чувствах условленных, о поступках и мыслях благопристойных, о характерах, поделенных, так сказать, на разряды: хороших и дурных, сильных и слабых; между тем в сердце человеческого происходит постоянная борьба множества разнообразных чувств, так что советы и утешения мы раздаем едва ли не наугад, ибо никогда толком не постигаем ни тайных пружин поступков, ни скрытых источников сердечных горестей; оттого-то большинство выдающихся людей в конце концов удалились от света, устав слышать в ответ на свои выношенные мысли и глубокие чувства суждения, наблюдения и увещания бесконечно банальные.

Жертвами шуток, утративших в наши дни свое изящество, но сохранивших всю свою губительность, становятся теперь все искренние и сильные чувства, над которыми насмешники глумятся, присваивая им названия меланхолии, философии, энтузиазма и бог знает какие еще условленные наименования — дань сиюминутной литературной моде. Прежде люди были

весьма щепетильны в том, что касается хороших манер и литературного вкуса, и охотно смеялись над вульгарными повадками или заурядными речениями; ныне все смешалось, никому не возбраняется вышучивать чувства и даже самую мысль; кажется, будто у людей нет иного дела, кроме как вкушать наслаждения, доставляемые богатством, и отдавать все силы своего ума достижению этого богатства. Все остальное нынешние остроумцы именуют мечтаниями: они желали бы создать новые правила хорошего тона и все глубокие чувства и великодушные мысли представить уделом одних лишь провинциалов.

Меж тем в обществе есть люди, и люди вполне учтивые, у которых ум весел, а сердце печально, причем шутки их тем более изящны, чем более тонок их характер. В свете объясниться с окружающими и понять их можно только с помощью веселости; печаль — тайна души, и делиться ею с посторонними — своего рода святотатство. Однако разве те, кто так охотно издеваются над меланхолическими грезами и мрачными размышлениями об уделе человеческом, живут под другими небесами? Разве они не знают, что такое разлука с любимым существом? Разве им никогда не изменяли? Наконец, разве не подозревают они хотя бы смутно, что настанет день, когда болезнь, старость или смерть положат конец их радостной беззаботности?

Кто способен провести хотя бы немного времени в уединенных размышлениях и не понять, что все глубокие чувства окрашены печалью, что человек не может возвыситься над физическим прозябанием, не ощутив неполноты мира духовного, и что чем более развиваем мы ум и душу, тем острее чувствуем скудность своего удела? Страсти религиозные, страсти честолюбивые родились из этого желания заполнить пустоту бытия.

Не знаю, следует ли отсюда сделать вывод, что людям лучше отупеть; бесполезно пытаться ответить на такой вопрос, ибо маловероятно, чтобы все решились покупать счастье такой ценой, но я не думаю, чтобы во всей истории от основания мира мы отыскали бы хоть одного выдающегося человека, полного желаний и чувств, который был бы удовлетворен земными радостями. Тибулл, Гораций, Вольтер — поэты, в чьих стихах выразилась наиболее полно философия легко-

мысленная и сладострастная, — предаваясь веселости, внезапно вспоминают о смерти; нет такого ума и такой души, которые не прозревали бы повсюду источники меланхолии.

Любовь, это чувство, единовластно царящее в нашем сердце, часто пробуждает мысли мечтательные и печальные; мы вспоминаем неизбежные тяготы жизни, но вспоминаем без страха и боли; так сильны чары любви, что, когда Тибулл размышляет о своей грядущей кончине, надежда слабой рукой обнимать на смертном одре возлюбленную прогоняет из его души страх смерти, гнетущий человека одинокого, и оставляет лишь мечту о нежности, которой будет исполнен брошенный на него прощальный взгляд — это трогательное и священное свидетельство любви<sup>5</sup>.

Вот, скажут мне, в чем состоит истинная опасность вашего романа: вы только и делаете, что прославляете в нем юность и любовь, вы пренебрегаете серьезным и насущным, вы внушаете отвращение к чинному и холодному существованию, на которое природа обрекает половину смертных в течение половины отведенного им срока земной жизни. Я отвечу, во-первых, что упрек этот относится ко всем романам вообще более, чем к «Дельфине» в частности; сочинения драматические, о чем бы в них ни говорилось, взывают к чувствам, живее всего интересующим человечество; однако мне кажется, что госпожа де Серлеб, мадемуазель д'Альбемар, слепец и его семейство<sup>6</sup>, наконец, все второстепенные персонажи, чуждые любовного чувства, положенного в основу сюжета, знакомят нас с усладами, доступными всем возрастам. Я легко могла бы понять, что всякое изображение любви, каким бы чистым и деликатным оно ни было, почитают опасным, живи мы в обществе, где царят крайне строгие нравы. Однако в нашем отечестве и в наш век источником разврата, кажется мне, служит не любовь, но презрение ко всем нравственным принципам, проистекающее из презрения ко всем чувствам.

Если верно, что любовь живет в сердце, то все, что возвышает и облагораживает ее, умножает достоинство природы человеческой; более всего счастливы в браке до самой старости те, кто любят друг друга и никогда

не забывают о своей любви. Никто не говорит: «сынвняя дружба», «материнская дружба»; люди пожела-ли назвать нежнейшим словом нежнейшее из чувств; любовь к человечеству, любовь к Богу — все сильные чувства имеют, кажется, меж собой нечто общее, отчего и носят одинаковое наименование. Способность любить — источник всего благородного, чистого и бескорыстного на нашей земле. Поэтому я убеждена, что сочинения, которые описывают это чувство с подобающей тонкостью и чувствительностью, всегда приносят больше добра, чем зла: ведь почти все пороки человеческие — следствия душевной черствости. Самыми отважными показывают себя зачастую те люди, которых легче всего растрогать; герой, бесстрашно смотревший в лицо смерти, не может слышать без слез рассказ о деяниях умиленных и великодушных. Восторженное преклонение перед благородством и добротой до того сладостно, что мы не можем не усмотреть в нем благословения небес, и, если к подобным восторгам душа наша поневоле примешивает земные чувства, не означает ли это, что любовь способна помочь нам взрастить в сердцах страсти более деятельные, чистые и прочные?

Различные обстоятельства принудили меня изменить развязку «Дельфины»; однако, поскольку я менее всего стремилась угодить людям, утверждающим, что литераторы не имеют права изображать самоубийство<sup>7</sup>, мне кажется уместным напомнить здесь, что не следует судить о взглядах автора по поступкам действующих лиц. Аталида в «Баязиде», Гермiona в «Андромахе» кончают с собой, но никто до сих пор не вывел из этого, что Расин одобрял самоубийство. Когда Аддисон, один из достойнейших людей в мире, написал трагедию о Катоне Утическом, он не только счел этот сюжет прекрасным и нравственным, хотя его венчает самоубийство, но и вложил в уста героя, решившегося добровольно уйти из жизни, великолепный монолог, содержащий самые набожные, чистые и благородные чувства, какие когда бы то ни было высказывались на каком бы то ни было языке<sup>8</sup>. Дельфина, воспитанная в христианской вере, говорит определенно, что совершает великий грех, решаясь на самоубийство, и молитва ее, по моему убеждению, выражает решительное

раскаяние. Я отказываюсь понять, что безнравственно-го в таком окончании романа.

Не помню, в каком сочинении, написанном в XIX столетии, я прочла, что «пароль философической партии — самоубийство». Признаюсь, будь это утверждение справедливым, всякий согласился бы, что философы избрали странный способ вербовать сторонников. Я вовсе не намеревалась обсуждать в «Дельфине» вопрос о самоубийстве, этот великий вопрос, вселяющий в душу столько жалости к безумию и уму человеческого, и я не думаю, что можно найти доводы за или против самоубийства в истории женщины, которая расстаётся с жизнью, не в силах вынести казни возлюбленного.

Есть суровость нравственных правил, зиждущихся на чувствах прекраснейших и чистейших — готовности к самопожертвованию, пылкой преданности, любви к совершенству; многие нежнейшие души испытывали потребность направлять и разжигать с помощью этой суровости волновавшие их мысли; но есть и иной вид суровости, чаще всего сводящийся к безжалостным преследованиям несчастных и слабых; к нему, я думаю, всегда примешивается лицемерие. Власть религии безоговорочна, что же касается писателей-моралистов, то влияние их, о чем бы они ни писали, определяется лишь глубиной понимания человеческого сердца. Беспочинная суровость — не что иное, как деспотизм, не умеющий добиться повиновения; чтобы выразительно описать тяжкие мучения, которые несут с собою страсти, надобно признать их могущество и проникнуть в тайну страдания. Победа разума над сердцем объясняется различными причинами; некоторыми из этих побед мы обязаны не столько силе победившего разума, сколько слабости поверженных чувств. Итак, чтобы принести истинную пользу людям глубоко чувствующим, недостаточно доказать им необходимость жертв; чтобы завоевать право поучать таких людей, надобно показать им, что ты их понимаешь; чтобы страдальцы прислушались к твоим словам, надобно узнать на собственном опыте, что такое страдание; так Аррия сначала вонзила кинжал себе в сердце и лишь потом сказала: «Не больно»<sup>9</sup>.

Говоря о нравственности, люди честные, я думаю,



испытывают некую робость, некий страх, что их сочтут более безупречными, чем они есть, и оттого речи их приобретают большую мягкость и убедительность. Писатели, как и учителя, воспитывают не столько своими уроками, сколько теми чувствами, какие внушают. Тонкие и чистые мысли и в жизни и в книгах одухотворяют каждое слово, выражаются в каждой мелочи, даже если они не высказаны в виде максим<sup>10</sup>; нравственный итог произведения изящной словесности зависит скорее от общего впечатления, живущего в нашей душе, чем от подробностей, остающихся в нашей памяти.

## О ДУХЕ ПЕРЕВОДОВ

---

Тот, кто переводит с одного языка на другой великие творения ума человеческого, оказывает литературе славнейшую из услуг. На свете существует так мало первоклассных сочинений; гении, в какой бы области они ни проявляли себя, рождаются так редко, что, будь каждая из современных наций принуждена ограничиться лишь своими собственными сокровищами, человечество прозябало бы в нищете. К тому же обмен идеями — тот вид торговли, преимущества которого наиболее очевидны.

В эпоху возрождения словесности все ученые и даже поэты вознамерились сочинять на одном и том же языке — латыни, дабы всякий понимал их без перевода. Научкам, не нуждающимся в чарах слога, употребление латинского языка могло принести некоторую пользу. Однако по вине ученых знатоков латыни большинство итальянцев оставались в неведении относительно открытий своих соотечественников, ибо понимали лишь свое родное наречие. Кроме того, чтобы писать по-латыни научные и философические труды, приходится выдумывать слова, отсутствующие в сочинениях древних. Таким образом, ученые изъяснялись на языке мертвом и искусственном разом, а поэты ограничивали себя оборотами сугубо классическими; вот как вышло, что латынь по-прежнему звучала на

берегах Тибра и Италия могла похвастать такими авторами, как Фракасторо, Полициано, Саннадзаро, чей слог, говорят, едва ли уступал слогу Вергилия и Горация. Хотя имена этих сочинителей не забыты, творений их не читает никто, кроме историков литературы; слава, рожденная подражаниями, — жалкая слава. Латинских поэтов средневековья их же собственные соотечественники переводили на итальянский: настолько естественно предпочитать язык, вызывающий в памяти первые ощущения жизни, языку, освоенному по книгам!

Конечно, можно обойтись вовсе без переводов — стоит только изучить все языки, на которых писали великие поэты: греческий, латынь, итальянский, французский, английский, испанский, португальский, немецкий; но это отняло бы много сил и времени, да и не всякому такой труд по силам. Меж тем если желаешь творить добро, нужно в первую очередь помышлять об интересах всего человечества. Скажу больше: даже тот, кто понимает чужой язык, получает от превосходного перевода на язык своего народа удовольствие более глубокое и искреннее. Чужестранные красоты сообщают отечественному слогу новые обороты и оригинальные выражения. Переводы иностранных поэтов надежнее любого другого средства предохраняют литературу любой страны от банальных речений — недвусмысленного свидетельства упадка.

Однако тому, кто хочет в самом деле приносить пользу переводами, не следует уподобляться французам, которые окрашивают все переводимые сочинения в привычные их соотечественникам тона; пусть даже при этом все, к чему прикасается француз, обращается в золото, одними драгоценностями сыт не будешь: люди не найдут чем питать свою мысль; под разными масками взору их будет являться всегда одно и то же лицо. Этот упрек, против которого французам нечего возражать, тем более обоснован, что французский язык ставит перед стихотворцами бесчисленные препятствия. Немногочисленность рифм, однообразие строк, почти полное отсутствие инверсий ограничивают искусство поэта некими пределами, отчего в стихах непременно повторяются если не одинаковые мысли, то по крайней мере похожие полустихия; язык французской поэзии

отличается некоей монотонностью, которую гений преодолевает, если воспаряет очень высоко, но от которой он не в силах освободиться в описаниях, подготавливающих и связующих ударные места.

Поэтому во французской литературе нет хороших стихотворных переводов, за исключением «Георгик» аббата Делиля<sup>1</sup>. Есть прекрасные подражания, трофеи, навсегда ставшие национальным достоянием, но мы не сможем назвать ни одного стихотворного сочинения, автор которого попытался бы сохранить в переводе чужестранный дух, более того, я сомневаюсь, чтобы подобный опыт мог увенчаться успехом. Если «Георгики» аббата Делиля снискали заслуженную славу, то лишь оттого, что французский язык ближе к латинскому, чем к любому другому языку; он произошел от латыни и унаследовал ее пышность и величие, языки же нового времени столь разнообразны, что французской поэзии не по силам усвоить себе их особенности.

Английский язык допускает инверсии, правила английского стихосложения далеко не столь суровы, поэтому англичане могли бы обогатить свою словесность переводами точными и естественными, однако их великие писатели не взялись за этот труд; лишь Поп создал прекрасные поэмы «Илиада» и «Одиссея»<sup>2</sup>, в которых, впрочем, нет и следа той древней простоты, которая ставит Гомера на высоту недосыгаемую.

Разумеется, трудно поверить, чтобы один человек, живший три тысячи лет назад, превзошел талантом всех прочих поэтов, однако в ту далекую пору предания, нравы, взгляды были исполнены простоты, очарование которой бесконечно; первые шаги человечества, заря веков, запечатленные в поэмах Гомера, пробуждают в душе каждого чувства, близкие воспоминаниям о его собственном детстве; чувства эти вкупе с мечтами древнего поэта о золотом веке заставляют нас предпочесть Гомера всем его наследникам. Отнимите у его поэм простоту первых дней творения, и неповторимое очарование их исчезнет.

Некоторые немецкие ученые утверждают, что поэмы Гомера не принадлежат одному автору и что не только «Илиада», но даже «Одиссея» — не что иное, как собрание героических песен, призванных восславить погоре-

ние Трои и возвращение на родину победителей греков<sup>3</sup>. Я полагаю, что утверждение это легко опровергнуть и что согласиться с ним мешает прежде всего единство плана «Илиады». Как иначе объясним мы роль, отведенную в поэме гневу Ахилла? О последних событиях, вплоть до взятия Трои, повествовали, вероятно, самые разные рапсоды, но поэма, основанная на одном событии — гневе Ахилла, — написана с начала до конца одним автором. Не стану вступать здесь в спор, требующий устрашающе обширных познаний, скажу лишь то, что, на мой взгляд, не подлежит сомнению: основными красотоми «Илиады» и «Одиссеи» Гомер обязан своей эпохе<sup>4</sup> — не случайно же возникло мнение, что все тогдашние поэты или по крайней мере очень многие из них причастны к сочинению «Илиады». Мнение это лишний раз доказывает, что поэма запечатлела все человеческое общество на определенной ступени развития и что ее создало само время.

Немцы не ограничились учеными изысканиями о личности Гомера, они постарались дать его поэмам вторую жизнь на своем языке; перевод Фосса считается самым точным из всех существующих<sup>5</sup>. Фосс перевел Гомера размером подлинника; критики полагают, что его немецкий гекзаметр слово в слово следует за гекзаметром греческим. Такой перевод — хорошее подспорье для всякого, кто желает получить точное представление о древней словесности, однако очарование неподвластно правилам и трудолюбию; можем ли мы быть уверены, что немецкий перевод в полной мере унаследовал чары подлинника? Количество звуков не изменилось, но осталась ли прежней их гармония? Следуя слово в слово за греческим оригиналом, немецкая поэзия утрачивает свою естественность, но отнюдь не приобретает музыкальности древних стихов, певшихся под звуки лиры.

Из всех языков нового времени итальянский более всего способен дать нам понятие о том, что испытывали греки, читая Гомера. Правда, ритм перевода будет несколько отличаться от подлинника; языки нового времени неспособны в точности воспроизвести гекзаметр, в них нет того разделения на краткие и долгие звуки, какое было у древних. Однако гармония итальян-

янских слов так велика, что позволяет пренебречь симметрией дактилей и спондеев, грамматическое же строение итальянского языка позволяет в точности повторять греческие инверсии; *versi sciolti* \*, не нуждающиеся в рифме, предоставляют мысли не меньшую свободу, чем проза, сохраняя, однако, изящество и гармонию стиха.

Из всех переводов Гомера на европейские языки ближе всего к оригиналу перевод Монти<sup>6</sup>. Сочетая пышность с простотой, Монти возвышает повседневные труды, трапезы, одежды непринужденным благородством выражений, а великие события делает доступными нашему пониманию, ибо картины его правдивы, а слог легок. Никто в Италии не возьмется уже за перевод «Илиады»: Гомер здесь навсегда принял облик Монти; более того, мне кажется, что и в других странах Европы людям, не знающим греческого, но желающим получить верное представление об очаровании поэм Гомера, следует прочесть их в итальянском переводе. Переводчик — не тот, кто копирует контуры с помощью циркуля, но тот, кто дает жизнь новому созданию, вдыхая в него прежний дух. Не полного внешнего сходства ищем мы в переводе, но чар подлинника.

Было бы весьма желательно, на мой взгляд, чтобы итальянцы посвятили себя переводам новейших английских и немецких стихов и открыли своим соотечественникам, по большей части хранящим верность образам древней мифологии, новые горизонты, ибо языческие источники начинают иссыхать и поэты всех европейских стран обращаются к ним все реже. Развитие мысли в прекрасной Италии требует, чтобы итальянцы почаще обращали свои взоры за Альпы: не для того, чтобы заимствовать, но для того, чтобы познавать; не для того, чтобы подражать, но для того, чтобы освободиться от некоторых условленных форм, подобных дежурным фразам светских щеголей, ибо формы эти изгоняют из литературы правду и естественность.

Если переводы стихотворных сочинений обогащают изящную словесность, то переводы театральных пьес имеют еще большее значение, ибо театр в лите-

\* Белые стихи (итал.).

ратуре — поистине власть исполнительная. А.-В. Шлегелю принадлежит перевод Шекспира, точный и вдохновенный разом, который сделался в Германии произведением подлинно национальным<sup>7</sup>. Английские пьесы, переложенные таким образом, играют на немецком театре, так что Шекспир сделался соотечественником Шиллера. Сходных результатов можно было бы добиться и в Италии; французские драматические поэты настолько близки итальянскому вкусу, насколько Шекспир близок вкусу немецкому, так что, представив «Гофолию»<sup>8</sup> на сцене прекрасного миланского театра и сопроводив хоры восхитительной итальянской музыкой, наши соседи стяжали бы громкую славу. Сколько ни говори, что в Италии зрители ходят в театр не для того, чтобы слушать актеров, а для того, чтобы болтать друг с другом, обращая логи в гостиные, все равно очевидно, что умственные способности людей, которые каждый вечер слушают хотя бы вполуха так называемые слова итальянских арий, подвергаются серьезной опасности. Когда Касти сочинял комические оперы, когда Метастазियो с присущим ему мастерством вкладывал в уста оперных певцов мысли, исполненные очарования и величия, те зрители, что желали развлечься, ничего не теряли, зато те, что искали пищи для размышлений, многое приобретали. Если вам удастся, имея дело с обществом легкомысленным, где всякий стремится позабыть себя с помощью окружающих, доставлять ему удовольствие и одновременно внушать некие идеи и чувства, вы образуете ум для великих свершений, к которым он предназначен.

Ныне в итальянской словесности ученые педанты, тщательнейшим образом исследующие прах прошлых веков в надежде отыскать крупинки золота, делят пальму первенства с авторами, которые, упиваясь гармонией родного языка, пренебрегают идеями и создают произведения, сплошь составленные из восклицаний, увещеваний и воззваний, где ни одно слово не идет от сердца и ничего сердца не волнует. Так неужели же невозможно, чтобы, состязаясь на столь важном поприще, как театр, итальянские писатели не возвратили себе постепенно самобытность ума и правдивость слога, без которых нация не имеет литературы, а мо-

жет быть, и тех достоинств, которые помогли бы ей эту литературу создать?

Итальянской сценой овладела страсть к сентиментальной драме, и ныне на смену пьесам остроумным и веселым, на смену персонажам, славящимся по всей Европе, пришли пьесы, где в первых же эпизодах свершаются пошлейшие, если можно так выразиться, убийства, какие только могут быть представлены на самом жалком театре. Разве могут подобные зрелища, повторяясь изо дня в день, научить чему-либо весьма обширную толпу зрителей? Итальянский вкус в изобразительных искусствах прост и благороден, однако слово тоже искусство, причем искусство, более тесно связанное с самой сутью человеческой природы, и ему следует сообщить ту же простоту и благородство: ведь можно скорее обойтись без полотен и монументов, нежели без чувств, которые в них запечатлены.

Итальянцы весьма восторженно относятся к своему языку, на языке этом писали великие люди, к тому же долгое время представители итальянской нации находили единственное наслаждение, а зачастую и утешение в успехах на литературном поприще. Однако для того чтобы всякий человек, способный мыслить, чувствовал потребность совершенствовать свой ум, нация должна ясно сознавать свое призвание: есть нации военных, нации политиков. Итальянцам суждено развивать литературу и изобразительные искусства — иначе страна их впадет в некую спячку, от которой ее не сможет пробудить даже итальянское солнце<sup>9</sup>.

## ПИСЬМО РЕДАКТОРАМ «БИБЛИОТЕКА ИТАЛЬЯНА»

---

Господа, я сочла, что статья, опубликованная в четвертом номере вашего журнала, написана достаточно вежливо, чтобы я могла позволить себе ответить на нее<sup>1</sup>.

Умей я писать по-итальянски, мне, я полагаю, легче было бы найти общий язык с ее автором. Но я, увы, нахожусь в положении актера, за которого текст производит другое лицо. Передача мыслей в переводе почти

всегда страдает неточностями. Я согласна с автором статьи в том, что всякой нации потребен собственный театр. Но отсюда никак не следует, что всякая нация обязана пребывать в неведении относительно сочинений чужеземцев. Знать и подражать — далеко не одно и то же. Напротив, чем больше силы обретает ум в учении, тем очевиднее становится его своеобразие. Ученые, которыми по праву гордится Италия — Вольты, Скарпа и проч., — осведомлены обо всех достижениях и открытиях своих иноземных коллег. Что же касается литераторов, то если всякая новая идея по-прежнему будет вызывать у них священный ужас, единственным результатом такого положения дел будет полный упадок в той отрасли человеческого ума, которой они посвятили свою жизнь.

Итальянские ученые славятся во всем мире. Иное дело итальянские литераторы — они, за редким исключением, неизвестны Европе, которую не хотят знать. Данте, Петрарка, Ариосто, Тассо, возразят мне, не читали ни по-английски, ни по-немецки, но это не помешало им стать великими писателями. Разумеется, прославленные сочинители XIV, XV и XVI столетий не знали того, что еще не существовало в их эпоху, но все они, и прежде всего первый из них — Данте, блистали огромной для своего времени эрудицией, и можно сказать наверно, что, будь человек с гением Данте нашим современником, он не пренебрег бы ни одной возможностью овладеть новыми духовными сокровищами.

Итальянцы убеждены, что литератору достаточно знать латынь и французский. Меж тем, как ни хороши эти источники, их решительно недостаточно. Ибо из них черпали столько раз, что ныне они уже неспособны удовлетворить нужды мыслящего ума. Великая опасность, которая грозит итальянской литературе, заключается в обилии общих слов и расхожих идей. Они чреватые бесплодием, лучшее лекарство от которого — пристальное внимание к тем источникам, что питают воображение и ум других народов. Изучение этих источников не только не портит природного вкуса нации, но, напротив, помогает нации обрести его, ибо сформировать вкус можно, лишь имея перед собой несколько различных образцов. У каждого из великих итальянских писателей особенный стиль, особенный колорит,



особенное воображение, и это не мешает им быть превосходными сочинителями — каждому на свой лад. Торной дорогой в литературе идут лишь те, кому недостает оригинального гения, меж тем гений этот заключается отнюдь не в одних только неистовых порывах и учение вовсе не идет ему во вред. Напротив, великие люди всех веков и народов всегда приходят на выручку друг к другу, так что, читая одного, мы глубже понимаем другого.

Англичане и немцы, которых мы не можем не признать лучшими философами Европы, являются в то же самое время лучшими знатоками греческих и латинских древностей, что, однако, не только не мешает им создавать оригинальные литературные произведения, но, пожалуй, даже способствует этому. Французских литераторов можно, как и итальянских, обвинить в недостаточной образованности, однако во Франции есть средство возбуждать в литераторах рвение к литературному труду: это — жизнь в обществе. Италия же, за редкими исключениями, такой возможности лишена. Итальянцы видятся друг с другом либо в театре, либо за игорным столом. Они не ведут в обществе беседы, и интеллектуальные их способности не развиваются. Лишь постоянное изучение тех результатов, к которым совершенствование человеческого ума привело европейские народы по ту сторону Альп, может заменить итальянцам недостающие источники движения вперед.

В только что опубликованном письме господин ди Бреме с присущим ему умом и силой замечает, как странно оправдывать отсутствие великих людей в сегодняшней Италии ссылками на тех гениев, что прославили ее в прошлом<sup>2</sup>. Вся Европа знает наизусть имена великих итальянцев прошлых столетий, но она же печалится о судьбе современной итальянской словесности, которую губит беспредельная леность ее творцов. Следует приветствовать тех немногих, кто стремится вырваться из-под гнета этой лености. Леони весьма сведущ в английской литературе. Он первым опубликовал перевод Шекспира на итальянский язык, ибо прежде, как ни странно, никто в Италии не брался за Шекспира. Он заново переводит Мильтона и выбрал прекраснейшие английские оды, которым намеревается дать вторую жизнь на языке своих соотечественни-

ков<sup>3</sup>. Но пользуется ли создатель всех этих творений тем одобрением и уважением, какого заслуживает? В Италии лишь горстка людей знает немецкий язык, а между тем я беру на себя смелость утверждать, что всякому, кто проникается глубокими думами северных писателей, открывается совершенно новая череда мыслей. Мы хотим остаться итальянцами, закричат мне в ответ со всех сторон. И прекрасно. Не отрекайтесь ни от вашего солнца, ни от ваших искусств, ни от вашего изящества, ни от вашей природной живости, но пользуйтесь любой возможностью расширить круг ваших познаний и помните, что даже вдохновение, этот чудесный дар небес, посещает поэта тем чаще, чем шире и разнообразнее его познания. От Гомера до наших дней не только философы, но и все великие поэты стремились всеми доступными им способами обогатить свои представления о мире, который были призваны восславить, и прибегали для этого либо к преданиям старины, либо к путешествиям, либо к чтению.

Если позволено будет мне в этом письме, посвященном обсуждению проблем всеобщих, заговорить о себе самой, я скажу, что иные люди утверждали, будто мои сочинения полны нападок на итальянцев и итальянскую литературу. Об этом предмете, как и обо всех других, я говорила лишь то, что считала справедливым; если нации уподобятся иным государям и станут требовать от окружающих лишь лстивых похвал, они не смогут извлечь из сокровищницы человеческих знаний ничего полезного; впрочем, следует напомнить, что ни в одном из сочинений, написанных за пределами Италии, край этот не описан с таким восхищением, как в «Коринне». Все французские, английские и немецкие журналисты, писавшие об этой книге, утверждали, что она внушает пылкую любовь к изображенной в ней стране. Отчего же итальянские журналисты придерживаются противоположного мнения? Это противоречие объяснить нетрудно. Англичане и немцы поставили себе за правило знать те сочинения, о которых пишут. Что же до иных итальянских писак, то обычай этот, кажется, вовсе не в их правилах. А между тем, если бы они взяли на себя труд ознакомиться с книгами, над которыми вершат свой суд, это, я полагаю, не уменьшило бы оригинальности их взглядов.

В своем определении прекрасного, о котором пишет господин Томази, я исходила из сочинений немецких авторов<sup>4</sup>. В их понимании бесконечное — вовсе не отрицательное понятие, но нечто подобное идеально прекрасному у Платона. Это воспоминание о небе или его предчувствие. Господин Томази ставит мне также в вину утверждение, что все мысли о бесконечности не могут не быть темны. Я не помню наизусть своей книги о Германии — надеюсь, господин Томази читал ее по-французски. Но я убеждена, что, пытаясь постичь истины недоказуемые, истины, которые по воле создателя, если можно так выразиться, ослепляют нас своим светом, невозможно изъясняться так же прозрачно, как толкуя о делах земных, что, однако, отнюдь не означает, что мы обязаны пренебрегать заметами, которые рождаются в нашей душе и которые могут быть высказаны только языком души. Что же до философии Канта, я по сей день твердо убеждена: никто иной не сумел так хорошо отграничить рассуждение от умозрения, чувство от опыта. Я настоятельно советую господину Томази прочесть книгу, которую посвятил философии Канта господин де Виллер<sup>5</sup>, — это сочинение гораздо подробнее моего, я же могу лишь повторить то, что уже сказала в своей книге: Кант по отношению к Локку — все равно что Галилей и Коперник по отношению к Птолемею. Он напомнил, что солнце находится в центре вселенной, иначе говоря, что наше сознание — светило, вокруг которого вращаются земные вещи. Я вынуждена объяснять в нескольких словах то, что можно изучать всю жизнь. Однако мой спор с господином Томази есть свидетельство моего к нему уважения.

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

---

### СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Balayé.* — Balayé S. Madame de Staël. Lumières et liberté. P., 1979.
- Baldensperger.* — Baldensperger F. Le mouvement des idées dans l'émigration française. P., 1924, t. 1—2.
- Bowman.* — Bowman F. P. Madame de Staël et l'apologétique romantique // Madame de Staël et l'Europe. P., 1971.
- Briefe.* — Briefe von Charles de Villers. Hamburg, 1879.
- Chateaubriand.* — Chateaubriand F. R. de. Correspondance générale. P., 1977, t. 1.
- Dagen.* — Dagen J. L'histoire de l'esprit humain dans la pensée française de Fontenelle à Condorcet. Lille, 1980.
- Gennari.* — Gennari G. Le premier voyage de Madame de Staël en Italie et la genèse de «Corinne». P., 1947.
- Gwynne.* — Gwynne G. E. Madame de Staël et la Révolution française. P., 1969.
- Luppé.* — Luppé R. de. Les idées littéraires de Madame de Staël et l'héritage des Lumières. P., 1969.
- Marmontel.* — Marmontel J. F. Eléments de littérature. P., 1867, t. 1—3.
- Mallet.* — Mallet P. H. Introduction à l'histoire de Danemarck où l'on traite de la religion, des lois, des moeurs et des usages des anciens Danois. Copenhague, 1755.
- May.* — May G. Le dilemme du roman au XVIII siècle. P., 1963.
- MF.* — Mercure de France.
- Pange.* — Pange, comtesse Jean de. Quelques remarques sur l'article de Madame de Staël intitulé: «De l'esprit des traductions» // Rivista di letteratura moderne e comparate, 1967, vol. 20, fasc. 3—4.
- Régnault-Warin.* — Régnault-Warin J. B. Esprit de Madame la baronne de Staël-Holstein. P., 1818, t. 1—2.
- RLC.* — Revue de la littérature comparée.
- Riccioli.* — Riccioli G. Madame de Staël e Madame de Charrière // Rivista di letteratura moderne e comparate, 1967, vol. 20, fasc. 3-4.
- SN.* — Spectateur du Nord.
- Вольтер.* — Вольтер. Эстетика. М., 1974.
- Гаспаров.* — Гаспаров М. Л. Поэт и поэзия в римской культуре // Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. 1.
- Дидро.* — Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
- Оссиан.* — Макферсон Д. Поэмы Оссиана. М., 1983.
- Реизов.* — Реизов Б. Г. Между классицизмом и романтизмом. Л., 1963.
- Спор...* — Спор о древних и новых. М., 1985.

Хотя в 1800— начале 1820-х гг. творчество Сталь пользовалося в России большой популярностью (см.: Заборов П. Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX в. // Ранние романтические веяния. Л., 1972, с. 168—203), вошедшие в настоящий сборник произведения на русский язык не переводились ни в то время, ни позже; исключение составляют несколько небольших отрывков из

книги «О литературе», опубликованных в изд.: Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980, с. 374—383.

### ОПЫТ О ВЫМЫСЛЕ

Впервые в сборнике Сталь «*Récueil des morceaux détachés*» (Lausanne, 1795). Через французских эмигрантов книга попала к Гете, который перевел «Опыт о вымысле» на немецкий язык (изд. в 1796 г. в журнале Шиллера «Оры»). «Опыт о вымысле» — первое сочинение Сталь, специально посвященное изложению ее взглядов на сущность и задачи литературы. Французское слово *fiction*, стоящее в заглавии, многозначно, поэтому иногда это сочинение Сталь называют «Опытом о художественной литературе» (см.: *Реузов*, с. 69). Мы предпочли перевод «Опыт о вымысле», как более широкий и многозначный.

Перевод выполнен по изд.: *Oeuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein*. P., 1844, t. 1. p. 62-72.

<sup>1</sup> Смутность (*vague*) — одно из ключевых понятий эстетики конца XVIII — начала XIX в. В нем выразился кризис просветительской веры в возможность до конца исчерпать внутренний мир человека с помощью аналитических рассуждений (см.: *Delon M. Du vague des passions à la passion du vague // Prérromantisme: hypothèque ou hypothèse?* P., 1975, p. 494. Наиболее законченную форму придать новой трактовке смутности Шатобриан в книге «Гений христианства» (1802; ч. 2, кн. 3, гл. 9).

<sup>2</sup> Бенжамен Констан — возлюбленный, друг и единомышленник Сталь, с которым она познакомилась в 1794 г., начал работать над историей политеизма еще в 1785 г.; к 1794 г. было написано уже около 700 страниц, однако Констан продолжал собирать и обдумывать материал. Первый том труда «О религии, ее источниках, формах и развитии» вышел в 1824 г., последние, четвертый и пятый, — посмертно, в 1831 г.

<sup>3</sup> Спор о границах использования мифологических вымыслов (так называемого «чудесного») в литературе начался во Франции во второй половине XVII в. в ходе «Спора о древних и новых». В этот период языческая мифология подвергалась критике за ее лживость («новые» противопоставляли ей христианские предания). Теоретики XVIII в. в основном также признавали непригодность языческих мифов для современной литературы; такого мнения, в частности, придерживался Мармонтель в «Основах литературы» (1787, статья «Чудесное»). Однако в реальной литературной практике (особенно в легкой поэзии) упоминания Зефилов, Аврор и прочих атрибутов древности были весьма часты, поэтому полемика госпожи де Сталь носила вполне актуальный характер.

<sup>4</sup> См.: *Вергилий*. Энеида, I, 657—722. Тот же пример госпожа де Сталь приводит в книге «О литературе» (II, V) \*.

<sup>5</sup> См.: *Гомер*. Илиада, песнь XXIV.

\* Здесь и далее при ссылках на книгу «О литературе» первая римская цифра указывает часть, вторая — главу; при ссылках на примечания к этой книге указываются только часть и глава.

<sup>6</sup> В поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1581) христианский рыцарь Ринальдо попадает в «любовный плен» к волшебнице Армиде, пленнице дамасского мага короля Идроата.

<sup>7</sup> «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715—1735) — авантюрно-нравоописательный роман А.-Р. Лесажа; «Тартюф» (1664) и «Мизантроп» (1666) — комедии Мольера.

<sup>8</sup> В эпической поэме в прозе Фенелона «Приключения Телемака» (изд. 1699) в образе мудрого наставника Ментора Телемака сопровождает Афина Паллада.

<sup>9</sup> «Телема и Макар» (1764) — стихотворная сказка Вольтера.

<sup>10</sup> «Королева фей» (1590—1596) — неоконченная аллегорическая поэма Э. Спенсера.

<sup>11</sup> «Гудибрас» (1663—1678) — ироикомическая поэма С. Батлера, осмеивающая ханжество пуритан.

<sup>12</sup> Цитата из проповеди «О препровождении времени» (из «Великопостных проповедей» 1699—1701 гг.).

<sup>13</sup> См.: Корнель. Гораций (1640), III, 6.

<sup>14</sup> См.: Монтескье. О духе законов, V, 13: «Когда дикари Луизианы хотят поесть плодов, они срубают дерево и срывают плоды. Вот сущность деспотизма». Монтескье — один из самых любимых авторов Сталь, которого она начала читать в 15 лет; иную, более высокую оценку его стиля см. в наст. изд.— «О литературе», I, XX.

<sup>15</sup> «Сказка о бочке» (1697, изд. 1704) — памфлет Свифта, направленный против религиозного фанатизма; «Путешествия в некоторые отдаленные страны Лемюзля Гулливера...» (1726) — роман Свифта; «Микромегас» (1752) — философская повесть Вольтера.

<sup>16</sup> В «Опыте о вымысле» госпожа де Сталь, настаивая на соблюдении единства места, считает необходимым компонентом драматических сочинений единство времени; в дальнейшем она отказалась и от этого требования (критику единства времени см. в «О Германии», II, 15).

<sup>17</sup> «Генриада» (1723—1728) — эпическая поэма Вольтера; Чингисхан — герой трагедии Вольтера «Китайский сирота» (1755); «Митридат» (1673) — трагедия Ж. Расина; «Танкред» (1760) — трагедия Вольтера, одна из любимых пьес госпожи де Сталь (см. наст. изд., «О литературе», I, XX).

<sup>18</sup> «Анекдоты из жизни при дворе Филиппа Августа» (1733, т. 1—6) — псевдоисторический роман М. де Люссан.

<sup>19</sup> Романы, в которых вымышленные события стилизовались под исторические происшествия, были очень популярны в XVIII в. по разным причинам: и в связи с запретом на издание романов (вторая четверть века) и в связи со стремлением к морализаторству (см.: Мау, р. 139—161).

<sup>20</sup> Разграничение романа, описывающего жизнь в подробностях, и драмы, выбирающей наиболее «сильные» и эффектные ситуации, восходит, возможно к статье Лагарпа «О романах», вошедшей в его «Сочинения» 1778 г. (см.: Luppé, р. 17).

<sup>21</sup> Перечислены философские повести Вольтера.

<sup>22</sup> Вплоть до второй половины XVIII в. роман не был полноправным членом жанровой иерархии: романистов обвиняли в том, что они портят вкус читателей, развращают их, отнимают у них время; серьезные теоретики почти не обращали на романы внимания (характерно, например, отсутствие соответствующей статьи в «Основах литературы» Мармонтеля). «Реабилитации» романа в общественном

сознании способствовало появление во второй половине XVIII в. романов Ричардсона и Руссо.

<sup>23</sup> Имеются в виду многочисленные «фривольные» романы XVIII в., принадлежащие Кребийону-сыну, Вуазенону и многим другим авторам, вплоть до Шодерло де Лакло и маркиза де Сада.

<sup>24</sup> Педагогическая мысль XVIII в. основывалась на противоположной трактовке роли, которую может играть история в воспитании нравственности; точка зрения, близкая к той, которая высказана госпожой де Сталь, присутствует в статьях Шодерло де Лакло о воспитании девиц (которые, однако, были опубликованы лишь столетие спустя) (см.: *Maу*, p. 231).

<sup>25</sup> См.: *Тацит*. *Анналы*, кн. III (смерть Германика), кн. I—VI (царствование Тиберия).

<sup>26</sup> Мысль о том, что чтение романов благотворно и поучительно, была отнюдь не общепринятой в XVIII в.; так, даже кумир госпожи де Сталь Ж.-Ж. Руссо писал во втором предисловии к «Новой Элоизе»: «Есть люди, утверждающие, что чтение романов полезно юношеству. Не знаю более сумасбродной идеи. Это все равно что поджечь дом для того, чтобы дать работу пожарным». В дальнейшем мысль о том, что нравственный смысл литературного произведения не обязательно должен быть выражен напрямую, в виде морали, подобной морали басни, стала заветным убеждением Сталь и Б. Констанана; см. его статью «О госпоже де Сталь и ее произведениях» (В кн.: *Эстетика раннего французского романтизма*. М., 1982, с. 250—252).

<sup>27</sup> Ср. в «О Германии» (II, 28): «Роман представляет собой, если можно так выразиться, переходную ступень между действительной жизнью и жизнью воображаемой. История каждого человека — роман, более или менее похожий на те романы, что продаются в книжных лавках, и часто сочинители вместо вымысла прибегают к воспоминаниям».

<sup>28</sup> Это убеждение разделяли практически все литераторы XVIII столетия — и защитники и противники романов. Считалось, что читатели романов — преимущественно женщины, следовательно, говорить в них следует исключительно о любви.

<sup>29</sup> «Приключения Тома Джонса, найденныша» (1749) — роман Г. Филдинга. В своей восторженной оценке госпожа де Сталь не одинока; так, Лагарп называл этот роман Филдинга лучшим в Англии и во всем мире (см.: *Lupré*, p. 42).

<sup>30</sup> Роман У. Годвина «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Вильямса» вышел в Англии в 1794 г. и немедленно был переведен на французский язык; первое издание (1794) было переиздано в 1795 и 1796 гг., причем в предисловии к изданию 1796 г. имеется ссылка на хвалебный отзыв о романе в «Опыте о вымысле», принадлежащем «одной из самых остроумных женщин нашего века» (*Lupré*, p. 43). Сюжет романа состоит в том, что заглавный герой, слуга Калеб Вильямс, пытается узнать, не совершил ли его господин Фолкленд в прошлом какого-то преступления.

<sup>31</sup> «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля вышли в 1761 г. В предисловии автор сообщал, что его целью было пополнить галерею типов, созданных Мольером. Мармонтель был завсегдатаем салона Неккерров — родителей госпожи де Сталь; чтение его теоретических работ оказало на писательницу большое влияние (см.: *Lupré*, *passim*; *Lein M. Marmontel, précurseur et inspirateur de Madame de Staël // Mod. Philology*, 1967, mai, p. 155—167; наиболее существенные

заимствования из Мармонтеля указаны ниже, в примечаниях к «О литературе»).

<sup>32</sup> «Сентиментальное путешествие» (1768) Л. Стерна госпожа де Сталь впервые прочла в 1784 г., и поначалу оно ей не понравилось; в письме С. Ревердилю от сентября или октября 1784 г. она писала, что книга эта чересчур подробна, неправдоподобна и скучна. Позже она изменила свое мнение, — возможно, не без влияния «энциклопедиста» Рейналя, завсегдатая салона Неккеров и страстного почитателя Стерна (см.: *Lupré*, p. 40).

<sup>33</sup> Нравоописательные статьи из журнала Дж. Аддисона и Р. Стила «Спектейтор» («Зритель», 1711—1714) были впервые переведены на французский язык в 1714 г. и неоднократно переиздавались на протяжении всего XVIII столетия.

<sup>34</sup> В 1795 г. госпожа де Сталь еще не знала немецкого языка, да и сведения ее о немецкой литературе были, вероятно, довольно скудны; об этих предполагаемых источниках см. подробнее в примеч. I к «О литературе», I, XVII.

<sup>35</sup> В том же 1795 г., когда был выпущен трактат «Опыт о вымысле», госпожа де Сталь работала над книгой «О влиянии страстей на счастье личностей и наций» (вышла в свет в следующем, 1796 г.), где исследовала (хотя и не в романной форме) сущность таких страстей, как честолюбие, тщеславие, зависть и проч. Сама по себе идея, что роман призван быть «картиной человеческой жизни» и, подобно комедии, изображать существующие в жизни характеры и критиковать пороки, высказывалась и в XVIII в. (Кребийоном-сыном в предисловии к роману «Заблуждения сердца и ума», 1736; Жокуром в статье «Роман» в «Энциклопедии» и многими другими), однако на практике романы, как правило, сводились к изложению любовной интриги.

<sup>36</sup> Ср. в «Похвальном слове Ричардсону» Д. Дидро (1762): «Максима — отвлеченное общее правило поведения, которое предоставляется нам применять. Сама по себе она не впечатлевает никакой отчетливой картины в нашем сознании: а того, кто действует, вы видите, вы ставите себя на его место или рядом с ним, страстно ему сочувствуете или вооружаетесь против него; следуете за ним, если он добродетелен, или с негодованием отстраняетесь от него, если он несправедлив и порочен» (*Дидро*, с. 300). Любопытно обратное движение — превращение романа самой госпожи де Сталь в максимы; 4 мая 1803 г. французский литератор Шарль де Виллер писал де Сталь о ее романе «Дельфина», что из него можно было бы составить «превосходную антологию», и приводил в пример рукописный сборник сентенций и максим, извлеченных из «Дельфины», который составил французский комиссар по торговым сношениям в Гамбурге Лешевандьер (*Briefve*, S. 281).

<sup>37</sup> «Кларисса» (1748) — роман С. Ричардсона, описывающий соблазнение добродетельной заглавной героини распутником Ловласом; Клементина — героиня другого романа Ричардсона, «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

<sup>38</sup> О романе госпожи де Лафайет «Принцесса Клевская» (1678) Сталь писала в 1802 г. в предисловии к первому изданию «Дельфины»: «Блестящие рыцарские романы живописуют не столько глубокие чувства, сколько чудесные приключения. Госпожа де Лафайет в «Принцессе Клевской» первой сумела соединить изображение блестящих рыцарских нравов с трогательным языком страстных



чувств». Роман г-жи де Тансен «Записки графа де Комменжа» (1735) был сопоставлен с «Принцессой Клевской» сразу по выходе, и сопоставление это на протяжении XVIII столетия стало своего рода «общим местом». «Поль и Виргиния» (1787) — повесть Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера, знакомого Неккеров (еще до публикации автор читал «Поля и Виргинию» в их салоне). «Сесилия, или Записки наследницы» (1782, франц. пер.—1784) — роман Фанни Барни; в 1793 г., когда де Сталь провела несколько месяцев в Англии, в колонии французских эмигрантов, она тесно общалась с Ф. Барни и подружилась с ней; «Сесилия» пользовалась во Франции большой популярностью: так, ее высоко оценили Гримм в «Литературной переписке» и Шодерло де Лакло («Меркюр де Франс», 1784, 17, 24 апр., 15 мая); отец госпожи де Сталь, Ж. Неккер, читая этот роман во время суда над Людовиком XVI, говорил, что это единственная книга, способная успокоить и отвлечь его (см.: *Luppé*, p. 28—29). «Каролина Лихтфилд» (1786) — роман И. де Монтолье; «Калиста, или Продолжение писем, написанных из Лозанны» (1787) — роман И. де Шаррьер. Госпожа де Сталь познакомилась с сочинительницей «Калисты» в августе 1793 г., а 31 декабря того же года она писала ей: «Боже мой, как бы я желала прочесть «Калисту», которую я читала десять раз, впервые! Я получила бы возможность на час забыть обо всех своих горестях» (цит. по: *Riccioli*, p. 239). Роман «Калиста», посвященный судьбе актрисы, живущей в Италии и лишенной возможности выйти замуж за возлюбленного, поскольку его отец, лорд, против их женитьбы, имеет немало общих точек с романом де Сталь «Коринна» (1807). Со своей стороны госпожа де Шаррьер относилась к чувствительной и восторженной госпоже де Сталь весьма скептически, о чем неоднократно писала их общим швейцарским знакомым (см.: *Riccioli*, p. 226—246). «Камилла, или Переписка двух девиц в нынешнем столетии» (1785) — роман Самюэля де Констана, дяди Б. Констана (де Сталь была знакома со старшим Константином еще прежде, чем узнала младшего).

<sup>39</sup> Описка Сталь: на самом деле знаменитое стихотворение А. Попа (1717) называется «Послание Элоизы к Абеляру».

<sup>40</sup> «Португальские письма» (1669) — роман Г. де Гийерага, стилизованный под подлинные письма португальской монахини; «Страдания юного Вертера» (1774) Гете были впервые переведены на французский язык в 1776 г. В жизни госпожи де Сталь, как и в жизни многих молодых европейских читателей и читательниц, знакомство с «Вертером» сыграло огромную роль; в декабре 1803 г. она вспоминала в письме к Гете: «Разве не перечитывала я сотню раз вашего «Вертера», разве не слился он для меня неразрывно со всеми впечатлениями бытия?» (цит. по: *Luppé R. de Madame de Staël et «Werther» // Madame de Staël et l'Europe. P., 1971, p. 111*). Подробнее о «Вертере» см. в наст. изд.— «О литературе», I, XVII. О романе Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) де Сталь уже писала подробно в своей первой книге «Письма о сочинениях и характере Жан-Жака Руссо» (1778), однако там она рассматривала роман Руссо под несколько иным углом зрения, отстаивая в противовес многим другим критикам (включая таких именитых и авторитетных для нее сочинителей, как Мармонтель и Лагарп) несоконтрастность романа; напротив, в «Опыте о вымысле» упор делается не на поучительную, а на утешительную миссию литературы.

О ЛИТЕРАТУРЕ, РАССМОТРЕННОЙ В СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ УСТАНОВЛЕНИЯМИ

Начато зимой 1798/99 г.; книга писалась в 1799 г. в Коппе; по воспоминаниям поэта Шендоло, приведенным Сент-Бевом, работа происходила так: утром госпожа де Сталь работала над очередной главой, а за обедом и вечерами обсуждала со своими друзьями, гостившими в Коппе, тему следующей главы и произносила блестящие речи-импровизации, ложившиеся в основу тех глав книги, которые ей еще предстояло написать (см.: *Sainte-Beuve Ch. A. Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire*. P., 1948, t. 1, p. 152; у Сент-Бева ошибочно 1797 г. вместо 1799 г.).

Книга была закончена в начале 1800 г.; первое парижское издание вышло в апреле 1800 г., второе, дополненное, — в октябре либо середине ноября 1800 г. Известно также издание без указания места, вышедшее, по-видимому, в Женеве в феврале 1800 г. (см.: *Lonchamp F. Ch. Oeuvre imprimé de Madame de Staël. Genève, 1949, p. 25—29*).

Основные мысли книги «О литературе» были намечены в предшествующей работе госпожи де Сталь, «О нынешних обстоятельствах, позволяющих завершить революцию, и о принципах, на которых следует основать Французскую республику», написанной, по-видимому, в 1798 г. (см.: *Balauçé*, p. 67) и оставшейся неопубликованной до 1906 г.; здесь госпожа де Сталь выдвинула идею, которую развила подробнее в книге «О литературе», — идею о том, что новое мироощущение и новое поведение, которые так необходимы людям, живущим в республиканском обществе, нельзя создать ни принуждением, ни даже убеждением, но лишь апелляцией к их чувствам, а для этого обществу нужна интеллектуальная элита, которая вела бы за собой непросвещенный народ, и прежде всего — чувствительные писатели, которым, следовательно, отводилась в преобразовании общества громадная по важности роль. Госпожа де Сталь следовала здесь за глубоко почитаемым ею Монтескье, который указывал в «Духе законов», что для того, чтобы изменить нравы и манеры нации, не обязательно менять законы, то есть действовать принуждением; достаточно лишь вдохновить нацию на эти перемены (XIX, 5, 14—16), — роль такого вдохновителя, по мнению Сталь, и должна была играть литература.

Сверхзадача книги Сталь «О литературе» — объяснить, в чем заключается воспитательная и просветительская роль литературы при республике. На эту сверхзадачу так или иначе «работают» три заветные идеи, положенные в основу книги, три направления, по которым развивается мысль автора: 1) связь литературы с теорией совершенствования человеческого разума; 2) связь литературы с развитием и состоянием общества; 3) связь литературы с национальным духом.

Идея непрерывного совершенствования человеческого разума берет свое начало в «Споре о древних и новых» конца XVII в., когда «новые», отстаивая превосходство авторов XVII в., выдвинули принцип, согласно которому все, кто родились позже, умнее и изощреннее тех, кто жил на заре человечества. В продолжение XVIII столетия идея развития человеческого разума вышла за рамки собственно эстетического спора и приобрела всеобъемлющий характер: во Франции ее исследовали применительно к истории, филосо-

фии, антропологии, технике все лучшие умы (см. подробнее специально посвященную этому работу: *Dagen*). В свою очередь популярность в XVIII в. различных вариантов теории совершенствования оказала существенное влияние на состояние теории литературы и эстетики. По замечанию Ж. Дажана, если английские и немецкие ученые этого периода стремились в первую очередь сообщить науке о прекрасном независимый статус, то их французские современники искали прежде всего связей между эволюцией человеческой мысли и эволюцией искусства, сообщая таким образом науке о литературе временную перспективу (*Dagen*, p. 160). Так во второй половине XVIII в. были созданы во Франции различные варианты истории литературы вообще и национальных литератур в частности: статья «Поэзия» в «Основах литературы» (1787) Мармонтеля; «Лицей, или Курс древней и новой литературы» Лагарпа (1799); «Об универсальности французского языка» Ривароля (1784); незавершенный «Опыт о причинах и следствиях совершенствования и упадка литературы и искусств» Андре Шенье (это последнее сочинение многими своими тезисами особенно близко к книге де Сталь; см. об этом и о возможности знакомства де Сталь с неопубликованной работой Шенье в: *Dimoff P. La vie et l'oeuvre d'André Chénier jusqu'à la Révolution française*. P., 1936. t. 2, p. 429—430) \*.

Теория непрерывного совершенствования человеческого разума окончательно сложилась в работах французских просветителей и связывалась в сознании современников именно с их именами. После Великой французской революции, не без оснований считавшейся логическим завершением просветительских теорий, многие мыслители, литераторы, публицисты, отвращенные от революционных преобразований эксцессами террора, были склонны возложить всю ответственность за злоупотребления на просветительскую философию. Свообразие книги «О литературе» на фоне той философско-исторической традиции, которую она продолжает, в том, что в ней теория совершенствования отстает в новых, послереволюционных условиях, когда само слово «философия» повсеместно употреблялось как бранное.

Проблема «литература и совершенствование человеческого разума», как она ставится и решается госпожой де Сталь, имеет две стороны. Во-первых, Сталь обсуждает вопрос, горячо дебатировавшийся со времен «Спора о древних и новых»: совершенствуется ли литературное мастерство, есть ли в современности авторы, пишущие лучше Гомера и Вергилия. Во-вторых, Сталь интересуется роль литературы в моральном совершенствовании человека. Заслуга Сталь и ее новаторство в том, что она связывает решение этих двух вопросов и показывает, как литература нового времени опережает литературу древности не формальным мастерством, но способностью облагораживать человека, утешать его, делать его добрее. Ни одна из прежних французских книг по теории литературы (поэтике) или ее истории не ставила так вопроса. Это хорошо ощутил

\* См. также среди работ, которые могли попасть в поле зрения госпожи де Сталь, книгу итальянца К. Денина «Рассуждение о превратностях литературы» (1761, франц. пер.— 1786—1790), где дан очерк развития различных национальных литератур (см. об авторе: *Baldensperger F. C. Denina (1731—1813). Précurseur du comparativisme dans l'histoire littéraire // RLC, 1954, № 4, p. 467—473.*

Ф. Шиллер; по свидетельству В. фон Гумбольдта (в его письме к Сталь от 15 августа 1801 г.), он говорил, что в своей книге «О литературе» госпожа де Сталь «оценивает произведение не исходя из его соответствия произвольно установленным правилам, но прежде всего исходя из его способности покориť душу читателя и поднять ее на небывалую высоту» (Deutschen Rundschau, 1916, Bd. 169, № 3, S. 432).

В самом деле, в своем рассмотрении эволюции литературы Сталь вовсе не придерживается той иерархии жанров, которая непременно лежала в основе поэтик XVII—XVIII вв.; она исследует лишь те жанры, которые наиболее активно представлены в истории той или иной национальной литературы, причем самый живой интерес вызывают у нее жанры, обладающие очевидным нравственным воздействием на читателя и зрителя: трагедия, комедия, роман.

Вторая сквозная мысль книги Сталь, заявленная уже в ее заглавии,— связь литературы и общественных установлений. Здесь у Сталь также имелись предшественники в литературе и философии XVIII в., прежде всего — уже упомянутый Монтескье, чья книга «О духе законов» послужила для Сталь образцом (близость проявляется даже в названиях: книга Сталь озаглавлена по той же модели, что и части, составляющие «Дух законов»: «О законах в связи с торговлей», «О законах в связи с климатом» и пр.). То, что сделал Монтескье для юриспруденции, для истории общества, то госпожа де Сталь делает для литературы. Вопрос о том, почему в ту или иную эпоху в той или иной стране литература носила такой, а не иной характер, не раз обсуждался в XVIII столетии; выдвигались объяснения, ставящие на первое место климат (Ж.-Б. Дюбо), предлагались и объяснения, исходящие из истории общества (в частности, в упомянутой статье Мармонтеля «Поэзия»), однако так последовательно и широко, как у Сталь, связь литературы с общественными установлениями изучена еще не была.

Третья заветная мысль госпожи де Сталь, ее основное открытие — деление европейской литературы на северную и южную. Само по себе существование этих разных типов литературы не было новостью. Рассуждения о сходных и различных чертах северных и южных языков имеются в «Опыте о происхождении языков» Ж.-Ж. Руссо (1781), в «Рассуждении об универсальности французского языка» Ривароля; почти все детали, характеризующие северную литературу, почерпнуты госпожой де Сталь из книги П.-А. Малле об истории Дании и древней скандинавской литературе (см. примеч. 3 к «Предисловию к второму изданию»). Новыми были выводы, которые сделала Сталь из решительного противопоставления северной и южной литератур. Сталь не просто констатировала наличие у этих двух литератур множества несходных черт; она предложила французам, упрямо державшимся за свои «южные» (классицистические) традиции, пути обновления литературы за счет учебы у северных авторов (Шекспира или Оссиана). Таким образом, первый шаг к той литературной революции, которую вызвало десятилетие спустя появление книги «О Германии», был сделан в 1800 г. в книге «О литературе».

Безусловно, идея обратиться для обновления французской культуры к изучению северных литератур возникла не на пустом месте. В основе ее лежали не только и не столько теоретические умозрения, сколько живой исторический опыт поколения ровесников гос-

пожи де Сталь: во время революции многие французы оказались в эмиграции — в Англии или немецких княжествах. «„Космополиты помимо собственной воли“, — слова Малле де Пана в письме от 6 декабря 1797 года прекрасно характеризуют противоречивые чувства этих людей, столкнувшихся с серьезным испытанием», — пишет исследователь (*Baldensperger*. Т. 1, р. 111). Молодым французским литераторам, оказавшимся в эмиграции, открылось, что «хотя ни одна нация не может похвастать такой богатой и блестящей словесностью, как наша, ни одна литература в мире не является менее космополитичной. <...> Француз, раб моды, делается непреклонен, если ему предлагают усвоить хоть одну идею, родившуюся за пределами его отечества. Французы создали немало превосходных сочинений, но все они отмечены печатью французского гения, и француз не допускает мысли о существовании сочинений иного рода» (*SN*, 1799, пов., р. 247). Так писал в гамбургском франкоязычном журнале страстный пропагандист немецкой словесности Шарль де Виллер, чьи уроки — вкупе с собственной тягой госпожи де Сталь к английской культуре — оказались одним из важных источников книги «О литературе».

Конечно, в книге 1800 г. госпожа де Сталь еще достаточно умеренна в своей пропаганде «литературного космополитизма» (термин французского историка литературы Ж. Текста, автора вышедшей в 1895 г. в Париже монографии «Жан-Жак Руссо и истоки литературного космополитизма»). Она еще верит в существование некоего абсолютного, независимого от национальных условий «природного» вкуса, к которому вкусы той или иной нации приближаются в той или иной степени. Однако Сталь не случайно настаивает в своей книге на том, что пишет об основных закономерностях, пренебрегая деталями; ее главная заслуга в том, что она наметила общее направление, а затем ее единомышленники занялись конкретизацией намеченных ею идей. Среди этих работ, продолжающих книгу «О литературе», такие труды, как «О литературе Южной Европы» Сисмонди (1813), «Некоторые размышления о немецком театре» Б. Константа (1809), «Обзор французской литературы XVIII века» П. де Баранта (1809) и книга самой де Сталь «О Германии». Однако началось все с книги «О литературе». Поэтому-то реакция на нее в прессе, особенно среди литераторов традиционалистской ориентации, была столь бурной.

Среди отзывов на книгу были и вполне доброжелательные: три статьи филолога и историка К. Форьеля в журнале «Декад философ» в мае 1800 г.; статья друга Сталь и Константа литератора К. Оше в газете «Журналь де Деба» 30 июня 1800 г. (11 мессидора VIII года); Форьель, правда, высказал несколько частных замечаний и сомнений (относительно мыслей об Оссиане как прародителе северных литератур и о цивилизаторской роли христианства), но в целом отозвался о книге очень высоко. Однако положенная в основу книги идея бесконечного совершенствования, подрывавшая многие постулаты классицистической поэтики, не могла не возбудить негодования у поклонников старых форм и в литературе и в политике; через день после публикации хвалебной статьи Оше в «Журналь де Деба» появилась анонимная статья, автор которой, не называя имени госпожи де Сталь, издевался над теорией совершенствования и обвинял последователей этой теории в политическом экстремизме и враждебности обществу покою. Еще более резко

прозвучали две статьи, которые поэт и издатель обновленного журнала «Меркюр де Франс» Луи де Фонтан опубликовал на его страницах в июне и июле 1800 г. (статьи не были подписаны, но авторство Фонтана ни для кого не было секретом). Статьи Фонтана опровергали книгу «О литературе» буквально во всех ее положениях (особенное недовольство Фонтана вызвали теория совершенствования и похвалы северной литературе), причем критика текста сопровождалась оскорбительными по сути, хотя и довольно изящными по форме выпадами против самой госпожи де Сталь (Фонтан подчеркивал, что женщине не пристало заниматься обсуждением столь серьезных вопросов).

Предисловие, которым госпожа де Сталь сопроводила второе издание своей книги, и новые примечания, включенные в это издание, посвящены в основном полемике с Фонтаном. Однако на этом дискуссия не прекратилась. 22 декабря 1800 г. тот же «Меркюр де Франс» опубликовал сочиненное Шатобрианом «Письмо гражданину Фонтану о втором издании сочинения госпожи де Сталь», где снова оспаривались заветные идеи Сталь (о совершенствовании; о специфике «северной» литературы и меланхоличности как ее отличительной черте; о благотворной роли философии). Как ни парадоксально, возражения Шатобриана были вызваны не столько несходством его собственных убеждений с взглядами госпожи де Сталь, сколько, напротив, их близостью; в книге «О литературе», особенно в тех ее местах, где сравниваются литературы древности и нового времени, были изложены многие из тех мыслей, которые Шатобриан положил в основу своей книги «Гений христианства». Меж тем «Гений христианства» находился еще только в процессе создания, и, боясь обвинений в неоригинальности, Шатобриан поспешил подчеркнуть разницу между собой и госпожой де Сталь: «Моя мания — видеть повсюду Иисуса Христа, как госпожа де Сталь видит повсюду совершенствование» (*Chateaubriand*, p. 107). Таким образом, полемическое «письмо» Шатобриана преследовало цели, так сказать, рекламные (равно как и информация в конце первой статьи Фонтана, где автор уведомлял о существовании неизданного сочинения о «нравственных и поэтических красотах христианской религии», замечательного «богатством фантазии и глубиной чувств» и «по-новому трактующего вопросы, о которых ведет речь госпожа де Сталь» (*MF*, 1800, t. 1, p. 38).

Не все современники сочли критику Фонтана и Шатобриана бесспорной. Так, Сисмонди 21 января 1801 г. прислал госпоже де Сталь обстоятельное письмо, где поддержал ее оценку поэм Оссиана и северной литературы, отводя обвинения и поправки Фонтана (см. примеч. 1 к I, XI), а Шарль де Виллер писал Сталь 25 июня 1802 г.: «Новый „Меркюр“ своей пошлой полемикой с вами неопровержимо доказал свою беспомощность. Если бы я осмелился упрекнуть вас, то лишь в том, что вы унизились до ответа вздорному педанту Фонтану в предисловии к второму изданию вашей книги. Опровергать столь жалкие бессмыслицы неизмеримо ниже вашего достоинства. Ваш превосходный труд будет жить в веках, что же касается вашего критика, то его сочинение погрузилось во мрак забвения ровно через две недели после публикации» (*Briefe*, S. 267).

Перевод выполнен по изд.: *Staël G. de. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Genève-Paris, 1959, t. 1—2.*

## ЭПИГРАФ

<sup>1</sup> Книга К.-Ф. Вольнея «Руины, или Размышления о переворотах в империях» (1791) была близка Сталь верой в то, что, несмотря на все несовершенство государственного строя, религии и нравственности, человечество все равно движется вперед, к лучшему и что судьба людей — в их собственных руках (эти вопросы обсуждаются прежде всего в главе 13 — «Улучшается ли со временем род человеческий?»). Во 2-е изд. книги Сталь эпиграф не вошел.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

<sup>1</sup> Гэльский язык — язык шотландцев кельтского происхождения. Первое издание поэм Оссиана — Макферсона носило название «Отрывки старинных стихотворений, собранные в горной Шотландии и переведенные с гэльского, или эрского, языка» (1760).

<sup>2</sup> См. подробнее в примеч. 1 к I, XI.

<sup>3</sup> Труд швейцарца П.-А. Малле «Введение в историю Дании, или Очерк религии, законов, нравов и обычаев древних датчан» вышел в Копенгагене в 1755 г. (переизд. в 1790 г. под загл. «Древние датчане, или Очерк...»). Он был задуман как предисловие к «Памятникам поэзии и мифологии кельтов, преимущественно же древних скандинавов» (1756; переизд. в 1787 г. под загл. «Эдда, или Памятники...»), куда вошли выполненные Малле французские переводы памятников средневековой скандинавской литературы. В этих книгах — наряду с Оссианом, главным источником сведений западноевропейских литераторов о жизни и культуре северных племен, — госпожа де Сталь могла отыскать также близкие ей по духу общетеоретические суждения: «Необходимо изучать языки, книги и характеры каждого века, каждой страны, черпать сведения о нациях из подлинных источников. Эти прекрасные, увлекательные исследования сулят открытия богатые и неожиданные. Узы, связующие разные части Европы, крепнут с каждым днем. Мы живем в лоне одной большой республики, но лишены возможности как следует узнать ее» (*Mallet P. H. Monuments de la mythologie et de la poétique des celtes. Copenhagen, 1756, p. 29*).

<sup>4</sup> Эти упреки были высказаны Фонтаном (см.: *MF*, 1800, т. 1, р. 32, 172, 181, 183).

<sup>5</sup> Поэтика Вольтера изложена в его многочисленных предисловиях к собственным трагедиям, статьях из «Философского словаря» и других сочинениях; поэтика Мармонтеля — в статьях для «Энциклопедии», собранных в книгу «Основы литературы» (1787); поэтика Лагарпа — в лекциях, которые он с 1786 г. читал в парижском Лицее на улице Сент-Оноре и которые под названием «Курс древней и новой литературы» были изданы в 1799 г.

<sup>6</sup> К первой партии принадлежали такие писатели XVIII в., как Л.-С. Мерсье или Н. Ретиф де ла Бретонн, вносявшие в прозу и драматургию демократическую и даже протонародную струю и резко порывавшие с жанровыми нормами классицизма; ко второй — правоверные классики, апологеты французской традиции.

<sup>7</sup> Эта фраза и следующий за нею фрагмент о «непривычных» оборотах задела многих критиков. Шатобриан, который в вышедшем

полтора года спустя «Гении христианства» сам очень далеко отошел от многих классицистических канонов прозаического языка, язвительно замечал: «Поразительно, что те, кто... именуют наши нечастные мысли «старинными друзьями дома», сами толком не понимают, о чем, собственно, ведут речь» (*Chateaubriand*, p. 111). Отозвался на этот пассаж и анонимный критик «Журналь де Деба», подчеркнувший, что французский язык уже сформировался окончательно и всякое новое выражение портит его дух; со своей стороны автор статьи в журнале «Декад» (по-видимому, Женгене) заметил, что если бы литераторы, подобные критику «Журналь де Деба», существовали во времена Корнеля и он им верил, то французы не имели бы той превосходной литературы XVII в., какую они имеют (см.: *Sainte-Beuve Ch. A. Oeuvres*, P., 1960, t. 2, p. 1092—1093). См. также наст. изд., II, VII, и примеч. 11 к этой главе.

<sup>8</sup> Цитата из «Надгробного слова принцу Конде» (1687).

<sup>9</sup> Цитата из «Надгробного слова герцогине Орлеанской» (1670); в словах о литераторе, не приемлющем этот оборот, присутствует намек на Фонтана (см. примеч. 3 к I, II).

<sup>10</sup> *Паскаль*. Мысли, № 347 (по классификации Бруншвига).

<sup>11</sup> Реминисценция из «Поэтического искусства» Буало (I, 133).

<sup>12</sup> Руссо был одним из любимейших авторов госпожи де Сталь; ее литературным дебютом стали проникнутые восхищением «Письма о сочинениях и характере Жан-Жака Руссо» (1788). Во время революции Руссо (учитель и кумир Робеспьера) был в большой чести: Учредительное собрание постановило воздвигнуть ему статую, а Конвент издал указ о перенесении его останков в Пантеон. С этими обстоятельствами могло быть связано некоторое охлаждение к этой фигуре после революции.

<sup>13</sup> Трагедии Вольтера считались достойным продолжением традиций драматургии «века Людовика XIV», представленной именами Корнеля и Расина; кроме того, Вольтер был историком этой эпохи (в 1751 г. он выпустил книгу «Век Людовика XIV»).

<sup>14</sup> Имеется в виду статья Фонтана (см.: *MF*, 1800, t. 1, p. 194).

<sup>15</sup> Аддисон называл Шекспира писателем, «несравнимо превосходящим всех англичан <...> благородной необузданностью фантазии» (см.: Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М., 1982, с. 143, 216, 231). Драйден высоко оценил Шекспира в «Опыте о драматической поэзии» (1668); возможно, Сталь знала этот отзыв из «Лекций по истории и изящной словесности» (1783) Х. Блера (лекция 39), где слова Драйдена приведены полностью; книгу Блера, вышедшую в 1797 г. в французском переводе, Сталь высоко ценила. Вольтер впервые упомянул Шекспира в предисловиях к трагедии «Эдип» в издании 1730 г. и к трагедии «Брут» (1730; предисловие носит название «Рассуждение о трагедии»); особенно подробно он остановился на творчестве Шекспира в «Философских письмах» (1734; письмо 18-е). См. подробнее об изменениях в отношении Вольтера к Шекспиру: *Кагарлицкий Ю. И.* Шекспир и Вольтер. М., 1980.

<sup>16</sup> Описательная поэма Дж. Томсона «Времена года» (1726—1730) послужила образцом для многочисленных французских описательных поэм, в том числе для одноименной поэмы Ж.-Ф. де Сен-Ламбера (1769). Госпожа де Сталь высоко ценила творчество Сен-Ламбера; в письме от мая 1795 г. к его возлюбленной госпоже д'Удето она писала, что его картины рождают в ней «волнение, даже чисто



физический трепет» (*Stael G. de. Correspondance générale. P., 1962, t. 1, pt. 1, p. 36*); о Томсоне и французской описательной поэме см.: *Cameron M. L'Influence des «Saisons» de Thomson sur la poésie descriptive en France. P., 1927*; *Жирмунская Н. А. Жак Делиль и его поэма «Сады» // Делиль Ж. Сады. Л., 1987, с. 178—183.*

<sup>17</sup> В примеч. к четвертой песне поэмы «Сады» (1782) Делиль писал: «В этих строках, посвященных смиренным могилам поселян, я подражал некоторым стихам «Сельского кладбища» Грея» (*Делиль Ж. Указ. соч., с. 75*). «Элегия, сочиненная на сельском кладбище» Т. Грея опубликована в 1751 г.

<sup>18</sup> «День поминовения...» Фонтана был впервые напечатан 24 октября 1795 г. в газете «Париж», которую выпускал в Лондоне эмигрант Ж.-Г. Пельтье. Хвалебная ссылка на Фонтана демонстрирует великодушие де Сталь — это ее ответ на язвительные выпады Фонтана в его рецензии.

<sup>19</sup> Упрек в неразличении прогресса в естественных науках и прогресса в морали и искусстве был излюбленным оружием всех противников теории совершенствования. Так, Фонтан, повторяя почти дословно рассуждения Ж.-Б. Дюбо («Критические размышления о поэзии и живописи», II, 33), утверждал, что если люди нового времени и знают больше древних, то лишь оттого, что к их услугам — приборы и законы, какие не были известны в древности, да и те по большей части открыты случайно. Что же касается наших чувств, наших представлений о справедливости и несправедливости, продолжал Фонтан, то они ничуть не изменились со времен Сократа. Сталь в своем дифференцированном подходе к совершенствованию в разных областях человеческой культуры следует за Мармонтелем, который в статье «Древние» (1776; впоследствии вошла в «Основы литературы») писал, что если в физике, астрономии, механике и пр. все преимущества на стороне людей нового времени, то в отношении таланта и вкуса положение иное: «воображение и чувство по наследству не передаются» (*Marmontel, t. 1, p. 156*).

<sup>20</sup> Упомянутый де Сталь вопрос принадлежит Фонтану. Латинские письма Элоизы были впервые опубликованы в 1616 г.; о стихотворении Попа см. примеч. 39 к «Опыту о вымысле».

<sup>21</sup> Вопрос также принадлежит Фонтану, который в противовес де Сталь отстаивал преимущества поэзии, зиждущейся на использовании мифологических образов, и приводил в пример возглас Андромахи: «Где Гектор?» (Энеида, III, 312), который непосредственно вытекает из религиозных обычаев древних (Андромаха совершает жертвоприношения в память о Гекторе). См.: *MF. 1800, t. 1, p. 175—182.*

<sup>22</sup> Сходные мысли высказывал еще Фонтенель в статье «Отступление по поводу древних и новых» (1688): «...разум... просвещен теми открытиями, которые уже налицо; мы имеем взгляды, заимствованные от прошлых времен, добавляющиеся к тем, которыми мы располагаем из собственных источников. <...> Хорошо развитый ум, можно сказать, складывается из всех умов предшествующих веков: его можно считать одним и тем же умом, воспитывающимся на протяжении всего этого времени» (*Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979, с. 176, 183*). Хотя де Сталь и уточнила свою позицию, ее разъяснения убедили далеко не всех. «Увы! Весьма сомнительно, что мы с каждым годом становимся все совершеннее и что сыновья всегда превосходят отцов», — писал

Шатобриан, склонный, как и многие другие современники де Сталь, «разменивать» спор о совершенствовании на «личности» и частности: «Госпожа де Сталь поспешила создать теорию, исходя из того, что Руссо имел больше мыслей, чем Платон, а Сенека думал глубже, чем Тит Ливий...» (*Chateaubriand*, p. 111).

<sup>23</sup> Имеются в виду теории тех философов, которые верили в возможность преобразования самой природы человека; так, Кондорсе, подведший в «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) итоги всей философии совершенствования, формировавшейся на протяжении XVIII столетия, писал в финале о возможности практического упразднения смерти (развитие науки приведет к исчезновению болезней, и люди будут жить столько, сколько им захочется, — пока не устанут от жизни).

<sup>24</sup> Слова о «сторонниках монархии», имея они конкретного адресата (подразумевался здесь Фонтан, но не был назван), могли стать в 1800 г. серьезным политическим обвинением; ведь Франция в это время была республикой. Противники де Сталь не преминули отметить этот факт: в редакционном примечании к письму Шатобриана было сказано с возмущением, что поклонники госпожи де Сталь в ответ на любую критику в ее адрес немедленно кричат: «Контрреволюция!», а сам Шатобриан ехидно замечал: «Разве невозможно обернуть доводы госпожи де Сталь против нее самой и сказать, что она, судя по всему, не очень любит нынешнее правительство и сожалеет о днях „большей свободы“?» (*Chateaubriand*, p. 106, 107). О том, как легко в ту пору литературные споры переводились на политические рельсы, дает представление и анонимная статья из «Журналь де Деба» (2 июля 1800 г.), косвенно направленная против де Сталь; автор ее утверждал: «Ныне судьбами Франции вершит гений, исполненный мудрости <речь идет о Наполеоне, в ту пору первом консуле>. Он вовсе не намерен обречь нас на новые бедствия, гоняясь за химерой совершенствования, которую нынче желают противопоставить всему сущему и которая на руку одним лишь мятежникам. <...> В наши дни того, кто не принимает всерьез теорию совершенствования, именуя врагом рода человеческого, стремящимся затормозить развитие человечества и рост его идей, сторонником варварства» (*Journal des Débats*, 13 Messidor de l'an VIII, p. 3). Грань между литературно-философской полемикой и политическим доносом провести в данном случае нелегко.

<sup>25</sup> Этот доклад, произнесенный на заседании Учредительного собрания, был посвящен либеральной реформе образования, целью которой было дать образование всем французам без ограничений возраста и пола. Талейран, в это время активный сторонник революции, был близким знакомым госпожи де Сталь; в 1795 г. она благодаря своим связям добилась для него позволения вернуться во Францию из эмиграции; в 1797 г. благодаря ее влиянию на фактического главу государства Барраса он стал министром иностранных дел, однако, несмотря на все это, отвернулся от де Сталь, когда она впала в немилость. Сталь оставила его портрет, исполненный негодования, в своей книге «Десять лет в изгнании»; его черты (сочетание недюжинного ума и полной безнравственности) она придала одному из персонажей «Дельфины» — пленительной обманщице и эгоистке госпоже де Вернон.

<sup>26</sup> А. Фергюсон посвятил проблемам эволюции общества труд «Опыт истории гражданского общества» (1767, франц. пер.— 1783); о зна-

комстве Сталь с творчеством И. Канта см. примеч. 19 к I, XVII; идеи Тюрго, касающиеся совершенствования человеческого рода, были высказаны в его речах в Сорбонне, произнесенных 3 июля и 11 декабря 1750 г.; первая носила название «Рассуждение о выгодах, которые принесло человечеству принятие христианства», вторая — «Философический обзор последовательного движения вперед человеческого разума»; обе эти речи содержат немало положений, близких госпоже де Сталь, обе проникнуты убеждением, что «в массе своей человечество, несмотря на чередование покоя и смут, добра и зла, постоянно, хотя и медленно движется к все большему и большему совершенству» (цит. по: *Lippé* p. 82). Речи Тюрго были произнесены не в правление Людовика XVI («нашего последнего короля»), а в предыдущее царствование; по-видимому, ошибка де Сталь объясняется тем, что активная политическая деятельность Тюрго проходила также и при Людовике XVI.

Кондорсе, арестованный за принадлежность к партии жирондистов, создавал свой «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» в тюрьме; чтобы избежать казни, он отравился.

<sup>27</sup> «Исследование относительно политической справедливости» У. Годвина вышло в 1793 г.; обвиняя госпожу де Сталь в том, что она заимствовала свои идеи из этого труда, Фонтан писал, что сочинения Годвина «проникнуты тем мрачным духом, той мятежной гордыней, которые заставляют человека, дабы отомстить за несколько несбывшихся надежд, разрушать до основания все общественные установления во имя неведомого и сомнительного совершенствования» (*MF*, 1800, t. 1, p. 20).

<sup>28</sup> «Светский человек» (1736) — сатира Вольтера, где, как и в написанной в следующем году «Защите „Светского человека“, или Апологии роскоши», поэт восхвалял современность. Фонтан, доводя до абсурда заветные убеждения госпожи де Сталь, писал, что вся теория совершенствования содержится в строке из «Светского человека»: «О, сколь удобен нам железный этот век!» (*MF*, 1800, t. 1, p. 30).

<sup>29</sup> При Карле IX произошло (в ночь с 23 на 24 августа 1572 г.) избиение гугенотов, известное под названием Варфоломеевская ночь; жестокости, творимые римским императором Тиберием, описаны в «Анналах» Тацита.

<sup>30</sup> Современники были склонны винить в ужасах террора философию XVIII в. (сводку мнений по этому вопросу см. в: *Baldensperger*, t. 2, p. 38—42). В ответ раздавались голоса тех мыслителей, которые, как и госпожа де Сталь, видели в огульной хуле просветительской философии проявление обскурантизма. Так, известный конституционалист и сторонник просвещенной монархии Ж. Малле дю Пан писал в 1796 г.: «В Европе образовалась секта глупцов и фанатиков, которые, будь у них такая возможность, запретили бы людям смотреть и мыслить... Уверенные, что революция произошла по вине умных людей, они надеются победить ее с помощью дураков... Несчастные, они не сознают, что мир колеблется не столько знания, сколько страсти, и что, если даже ум и приносит вред, все равно, дабы сдержать и победить зло, нужно быть гораздо умнее злодеев» (цит. по: *Baldensperger*, t. 2, p. 35). Ср. также афористическое высказывание швейцарского историка И. фон Мюллера, подводящее своеобразный итог спорам об ответственности философов за революцию: «Поверьте, я не утверждаю, что те мухи на дышле

повозки, которые именуются парижскими остроумцами, не поднимали ужасного шума; но опрокинули повозку вовсе не они — все дело в том, что кучер заснул!» (Ibid., p. 48). Впрочем, сама де Сталь позже была склонна подходить к этому вопросу более дифференцированно; в книге «О Германии» она писала о двух эпохах развития французской философии в XVIII в. и замечала, что во вторую из этих эпох «умы устремились к деятельности разрушительной; свет знаний превратился в пожар, и философия, подобно разъяренной колдунье, подожгла свой собственный дворец, полный чудес» (III, 3).

<sup>31</sup> Цитата из стихотворения Фонтана «Песнь 14 июля 1800 года» (пер. М. Гринберга), опубликованного в «Меркюр де Франс» в том же июльском номере 1800 г., что и вторая половина рецензии на книгу «О литературе». В стихотворении Фонтан восхваляет итальянские победы Наполеона, обращаясь к теням великих французских полководцев прошлого — Конде, Виллара и Тюрэнна (см.: *MF*, 1800, t. 1, p. 164).

<sup>32</sup> *Мольер*. Школа жен, I, 1. Пер. В. Гиппиуса.

#### ВВЕДЕНИЕ

<sup>1</sup> О важности названных факторов речь шла в сочинениях французских литераторов и историков и прежде; ср., например, в финале «Опыта о нравах» Вольтера: «Три вещи влияют беспрестанно на дух людей: климат, государственный строй и религия. Только с их помощью можно разгадать загадку нашего мира». Наиболее близок госпоже де Сталь способ рассмотрения литературы в зависимости от нравов, законов, способа правления, примененный Мармонтелем в статьях «Поэзия» и «Комедия» («Основы литературы»).

<sup>2</sup> Эта формулировка отражает неоднозначное отношение де Сталь к Французской революции. На первых порах Сталь горячо приветствовала все революционные мероприятия; ее салон был местом сбора аристократов-либералов, сторонников конституционной монархии английского образца. Однако события последних двух лет революции претили госпоже де Сталь, поскольку решительно противоречили ее идеалу — республиканскому строю, охраняющему индивидуальную свободу. О политической позиции Сталь см.: *Реизов*, с. 50—61; *Гвунле*, p. 49—82; см. также примеч. 13 к «Введению».

<sup>3</sup> Термин «литература», употреблявшийся во Франции в конце XVIII в. чаще, чем «изящная словесность», имел, как правило, расширительное толкование: под литературой подразумевали не только художественные произведения, но и филологию, грамматику, вообще все труды, связанные с изучением литературы (см.: *Бокадорова Н. Ю.* Французская лингвистическая традиция XVIII — начала XIX века. М., 1987, с. 132—145). Сталь наследует именно это словоупотребление.

<sup>4</sup> В книге «О Германии» это противопоставление славы и счастья, носившее глубоко личный характер, выражено в афоризме: «Для женщины слава — лишь блистательный траур по счастью» (III, 19).

<sup>5</sup> Здесь Сталь близка в своих рассуждениях классицистической эстетике, согласно которой художник должен подражать не «дикой», голой природе, но природе идеально прекрасной.

<sup>6</sup> Мысль Сталь развил и конкретизировал ее последователь и один из первых биографов Реньо-Варен; противники теории совершенствования, писал он, ссылаются на то, что за эпохами торжества просвещения всегда следуют периоды упадка и наступают они якобы от излишка знаний. «Следует решительно отвергнуть мысль о том, что буйство и развращенность являются неизбежными следствиями расцвета наук. Иные люди намеренно смешивают полупросвещение, скорее приводящее к заблуждениям, чем самое глухое невежество, которое по крайней мере не растлеивает сердце и не извращает ум <...> с просвещением истинным. <...> Именно полупросвещение — источник разврата и постепенного упадка государств, совершенствование же отнюдь не подразумевает такого результата...» (*Régnauld-Warin*, t. 2, p. 286). К замечанию Сталь о вреде «полурассуждений» близки на русской почве мысли Пушкина о «полупросвещении»; о корнях этого выражения см.: Новонайденный автограф Пушкина. Л., 1968, с. 77; к этим источникам можно добавить «гибельные следствия полуфилософии», о которых говорит Карамзин (Письма русского путешественника. Л., 1984, с. 307); заметим, что наблюдения Карамзина рождены той же реальностью послереволюционной Франции, в которой создавалась книга «О литературе»: «...сей молодой человек знал наизусть опасные произведения новых Философов; вместо утешения извлекал из каждой мысли яд для души своей, не образованной воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований» (там же, с. 306—307).

<sup>7</sup> «Мемуары» Сен-Симона, посвященные последнему двадцатипятилетию царствования Людовика XIV и следовавшему за ним Регентству, были изданы полностью лишь в 1829—1830 гг.; в XVIII в. вышли лишь два неполных и изобилующих неточными прочтениями издания (1788, 1791), однако в кругу энциклопедистов «Мемуары» распространялись в рукописи. «Взгляд на нравы этого века» Ш.-П. Дюкло вышел в 1751 г.; по мнению Сталь, оба эти очерка французской светской культуры недостаточно серьезны и критичны.

<sup>8</sup> По-видимому, имеется в виду политическая публицистика эпохи Террора.

<sup>9</sup> Сущность стремления человека к славе волновала госпожу де Сталь на протяжении всей ее жизни. В трактате «О влиянии страстей» желание славы названо одной из самых прельстительных страстей, которая, в отличие, например, от любви, решительно неутолима, ибо алчущий славы никогда не останавливается на достигнутом и всегда хочет большего; с другой стороны, Сталь подчеркивает здесь отличие желания славы от честолюбия или тщеславия как страстей более низких.

<sup>10</sup> Энтузиазм — одно из ключевых понятий творчества де Сталь. Она толковала энтузиазм не узкоэстетически (как «поэтическое безумие», вдохновенный порыв), но в самом широком мировоззренческом и этическом плане; позднее, в книге «О Германии» она писала, что «энтузиазм есть приобщение к мировой гармонии: это любовь к прекрасному, возвышенность души, наслаждение самоотверженностью, соединенные в одном чувстве, величавом и покойном. Самое благородное объяснение слова „энтузиазм“ — этимология его у греков: энтузиазм означает „Бог в нас“» (IV, 10).

<sup>11</sup> «Ничтожные, которых не возьмут/Ни бог ни супостаты божьей воли» — это, по словам Данте, души, «что прожили, не зная/Ни славы, ни позора смертных дел» (Ад, песнь III; пер. М. Л. Лозинского).

По поводу этого и подобных ему пассажей книги, в которых Сталь жалуется на эгоизм и развращенность современной эпохи, Фонтан не преминул заметить, что усматривает здесь противоречие: ведь Сталь уверяет, что человечество постоянно совершенствуется, что же ее не устраивает? (см.: *MF*, 1800, т. 1 р. 15—17).

<sup>12</sup> Первое из многочисленных проявлений неприязни де Сталь к «военному духу», нашедшей выражение на страницах книги «О литературе». Неприязнь эта бесспорно носила антинаполеоновский характер. Госпожа де Сталь познакомилась с Наполеоном 16 декабря 1797 г. в салоне Талейрана. Вначале она, как и многие современники, безоговорочно восхищалась им и возлагала на него большие надежды. Она приветствовала переворот 18 брюмера, поскольку полагала, что он будет способствовать установлению во Франции режима более справедливого и терпимого; Сталь не полностью избавилась от иллюзий в период работы над книгой «О литературе»; она верила, что первый консул прислушается к ее советам, суть же этих советов сводилась к тому, что управлять государством должна интеллектуальная элита, соединяющая в себе талант и нравственность и чуждая фанатизма. Отсюда — настойчивость, с которой она подчеркивает в книге неплототворность засилья военных у власти и необходимость ставить к кормилу власти литераторов и философов. Наполеон, однако, не пожелал согласиться с этим «ультиматумом» (см.: *Gautier P. Madame de Staël et Napoléon. P., 1903, p. 50 et suiv.; Balayé, p. 68*).

<sup>13</sup> Под свободой госпожа де Сталь понимала прежде всего свободу личную, индивидуальную (см.: *Gwynne, p. 52*), поэтому свое отношение ко всякому политическому режиму она определяла в зависимости от того, насколько может он гарантировать свободу личности. Вначале таким режимом казалась ей конституционная монархия английского образца, затем (с 1795 г.) — республика, которая гарантировала бы французам от политических крайностей обоего толка — как якобинских, так и роялистских.

<sup>14</sup> Ср. в «Духе законов» Монтескье (XIX, 14): «Тому, кто желает изменить нравы и манеры нации, вовсе не обязательно изменять законы... достаточно внушить ей склонность к иным нравам и манерам. <...> Следует не изменять обычаи, но вдохновлять нацию на то, чтобы она сама изменила их».

<sup>15</sup> Мыслители XVIII в. (энциклопедисты) были убеждены, что миссия философии по отношению к поэзии — открытие новых предметов для описания (такowymi им казались научные открытия; см.: *Dagen, p. 604—605*). Сталь делает упор на другое; для нее главная заслуга философии — в том, что она сообщает литературе глубокое знание человеческого сердца, вносит в нее дух меланхолических раздумий о призвании человека и его месте на земле. Вся сложность была в том, что после революции возобладали та традиция, у истоков которой стояли ярые противники просветителей, и философия стала восприниматься как синоним нечестия и безнравственности. Нг случайно Реньо-Варену в 1818 г. пришлось объяснять, что, хотя в книге госпожи де Сталь много и хвалебно говорится о философии, она была почтительной дочерью и заботливой матерью... (см.: *Régnauld-Warin, t. 2, p. 268—269*). Свообразие позиции де Сталь, не оцененное в должной мере современниками (см.: *Chateaubriand, p. 113*), состояло в том, что в ее понимании философия и религия (христианство) вовсе не противоречили друг другу; обе в той или иной фор-

ме способствовали самопознанию человека и обогащению его души.

<sup>16</sup> Мысль о тлетворном, развращающем влиянии искусства восходит, очевидно, к «Рассуждению о науках и искусствах» (1750) Ж.-Ж. Руссо.

<sup>17</sup> Имеются в виду императорский Рим и Франция в эпоху Террора. В Риме были популярны гладиаторские бои, в Париже — многотысячные шествия и празднества в честь Свободы, Федерации и прочих революционных кумиров.

<sup>18</sup> В трактовке понятия счастья госпожа де Сталь расходится с просветителями XVIII в., своими учителями; сказался опыт революционных лет. Философия XVIII в. исходила из того, что человек рожден для счастья и что оно достижимо (см.: *Mauzi P. L'Idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIII siècle.* P., 1960). Сталь тоже волновали пути достижения счастья (ср. название ее книги — «О влиянии страстей на счастье личностей и наций»), но с каждым годом она все меньше верила в его достижимость; знакомство с философией Канта приводит ее к выводу: «Предназначение человека на этой земле — не счастье, а совершенствование. <...> Много толковали о том, что человек стремится к счастью: к нему влечет его бессознательный инстинкт, осознанный же инстинкт устремляет его к добродетели» («О Германии», III, 14).

<sup>19</sup> Письма Брута к Цицерону дошли до нас вместе с письмами Цицерона (см.: Цицерон. Письма. М.— Л., 1949—1951, т. 1—3).

<sup>20</sup> Имеется в виду трагедия Аддисона «Катон Утический» (1713). Монолог Катона о самоубийстве был переведен Вольтером в «Философских письмах» (1734; письмо 18-е).

<sup>21</sup> Основная тема диалога Платона «Федон», посвященного последним часам жизни Сократа, — бессмертие души.

<sup>22</sup> Сталь полемизирует с популярной в конце XVIII в. теорией «государственной необходимости», с помощью которой, руководствуясь формулой «цель оправдывает средства» и прикрываясь интересами нации, безнравственные политики узаконивали любые насильственные акты. Сталь мечтала о конституции, которая стала бы гарантией против государственных беззаконий, и не однажды напоминала французам слова Ж.-Ж. Руссо: «Свобода целой нации не стоит крови одного невинного человека» (см.: «О Германии», III, 13, и эпиграф к сочинению «О нынешних обстоятельствах, позволяющих завершить революцию...»); см.: *Реизов*, с. 57—59. О трактовке темы «государственной необходимости» в драматургии конца XVIII — начала XIX в. см. там же, с. 18—49.

## II. О НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<sup>1</sup> Ср. в «Философическом обзоре...» (1750) Тюрго: «Постижение природы и истины бесконечно, как и они сами; искусства, призванные пленять нас, ограничены, как и мы сами. С течением времени все новые открытия совершаются в науках, что же касается поэзии, живописи, музыки, то дух языка, подражание природе, ограниченная чувствительность наших органов кладут им предел, которого они достигают неспешно и который решительно неспособны превзойти» (*Turgot A. R. J. Oeuvres.* P., 1913, t. 1, p. 227).

<sup>2</sup> Рассуждения о принципиальном отличии поэзии древних племен

от поэзии нового времени восходят к дискуссиям середины XVIII в., в ходе которых было заявлено, что поэты нецивилизованного народа, чей кругозор ограничен чувственно воспринимаемыми предметами, черпают образы в природе, поэты же народов цивилизованных оперируют преимущественно отвлеченными понятиями, и чем более абстрактным делается их мышление, тем больше бледнеет воображение (ср., например, статьи Тюрго и Сюара в «Журнале этранже» за 1760—1761 гг.; см.: *Lippé*, p. 148—149).

<sup>3</sup> Сведение, возможно, восходящее к «Лекциям» Х. Блера (древне-еврейской поэзии посвящена лекция 34). Традиция рассмотрения Ветхого завета как литературного памятника, являющегося образцом восточного стиля, восходит к книге Р. Лоута «О священной древне-еврейской поэзии» (1753); поэтическое своеобразие ветхозаветных текстов рассматривал и Лагарп в вошедшей в «Лицей» лекции «Рассуждение о стиле пророков...», где, однако, вопросы хронологии не решаются.

<sup>4</sup> Обсуждение достоинств и недостатков поэм Гомера было центральным моментом «Спора о древних и новых» (см.: *Бахмутский В. Я.* На рубеже двух веков.— Спор..., с. 28—40). Сталь заимствует некоторые аргументы и у той и у другой стороны; похвалы поэтическому совершенству и фантазии Гомера были часты в сочинениях «древних»; на недопустимую грубость греческих нравов, изображенных у Гомера, с возмущением указывали «новые».

<sup>5</sup> Фонтан язвительно писал: «Госпожа де Сталь не заметила, что это признание выставляет в весьма неблагоприятном свете доктрину совершенствования, которая была открыта лишь в XVIII столетии» (*MF*, 1800, t. 1, p. 25).

<sup>6</sup> Под героическими подразумеваются времена, когда жили герои древнего (гомеровского) эпоса. Слово это несло в себе оценочную характеристику, которая стала предметом обсуждения в ходе Спора о древних и новых: «древние» (в лице госпожи Дасье) расценивали «героичность» гомеровских времен вполне всерьез; «новые» (прежде всего Удар де Ламот) указывали на то, что «героические» времена были эпохой господства низких страстей и несправедливости (см. «Слово о Гомере», 1713, Удара де Ламота — Спор, с. 343—350).

<sup>7</sup> В XVIII в. мысль о том, что творчество Гомера следует объяснить особенностями его эпохи, среды, в которой он жил, его странствиями, первым наиболее последовательно высказал английский филолог Р. Вуд в «Опыте об оригинальном гении и сочинениях Гомера» (1769). Ср. также у Блера: «Гомер изображает богов такими, какими выступали они в народных преданиях его времени» (*Blair H.* *Leçons de rhétorique et de belles-lettres.* P., 1797, t. 4, p. 105—106). Это убеждение госпожа де Сталь сохранила и позже; ср., например: «Возможно, няньки рассказывали детям о событиях, описанных в «Илиаде» и «Одиссее», задолго до того, как Гомер превратил эти легенды в шедевры искусства» (О Германии, II, 13). О различных толкованиях поэм Гомера в науке XVIII в. см. примеч. 3 к статье «О духе переводов».

<sup>8</sup> Имеется в виду заклятие Поликсены, дочери троянского царя Приама, совершенное по требованию Ахилла его сыном Неоптолемом.

<sup>9</sup> Ср. близкое не только по мысли, но и по ее словесному воплощению рассуждение Мармонтеля в «Опыте о вкусе» (1784): «Его <дикаря> мысли суть образы; его идеи — быстрый и непосредственный результат его ощущений, но от этого они ничуть не менее



живы. Мораль его не возвышенна, но и не манерна. <...> Все наши риторические фигуры, все наши ораторские приемы были изобретены им, и он употреблял их всегда к месту и всегда по воле чувства» (*Marmontel*. Т. 1, р. 4).

<sup>10</sup> По-видимому, имеется в виду процитированный в предыдущем примечании «Опыт о вкусе» Мармонтеля, где Гомер назван образом природного вкуса, превосходящего вкус любой отдельной нации (см.: *Lippé*, р. 143—144).

<sup>11</sup> Эта фраза вызвала колкое и почти оскорбительное замечание Фонтана: «О! Разве женщина, способная вдохновить Анакреона на его песни, говорила когда-либо что-нибудь подобное об этом певце любви и наслаждений?» (*MF*, 1800, т. 1, р. 183).

<sup>12</sup> См.: *Гаспаров М. Л.* Пoesия Пиндара.— *Пиндар. Вакхилид.* Оды. Фрагменты. М., 1980, с. 366.

<sup>13</sup> См.: *Одиссея*, I, 354—356; XXI, 353—355. Этот пример вызвал возражения Фонтана, утверждавшего, что в данном случае дело вовсе не в неуважительном отношении сыновей к матерям, а в том, что в древности каждый пол знал свое место и обязанности и сообразовывался с ними (еще один оскорбительный для Сталь намек на то, что она, женщина, занимается неподобающим ей делом, когда рассуждает на философские темы).

<sup>14</sup> *Одиссея*, II, 219—223; пер. В. А. Жуковского.

<sup>15</sup> Тезис о влиянии законов восходит к Монтескье; противопоставление Афин и Спарты, имеющее давнюю историю, почерпнуто, возможно, из «Рассуждения о науках и искусствах» Ж.-Ж. Руссо, который в свою очередь заимствовал его у Монтеня (*Опыты*, I, 25).

<sup>16</sup> Ср. близкую мысль в «Рассуждении о науках и искусствах» Ж.-Ж. Руссо (*Руссо*, с. 29—30).

<sup>17</sup> Это и некоторые другие сведения о греческом театре почерпнуты госпожой де Сталь из книги Ж.-Ж. Бартеlemi «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию в середине IV века до рождения Христа» (1788, гл. 69).

<sup>18</sup> Вероятно, имеется в виду роль Дельфийского оракула в основании драматических состязаний, на которых представлялись трагедии. Софокл участвовал в таких состязаниях более 30 раз и одержал 24 победы. О всеэллинских и местных состязаниях и участии в них поэтов см.: *Гаспаров М. Л.* Указ. соч. с. 348, 363. По приказанию Дельфийского оракула жители Дельфы должны были отдавать Пиндару половину даров, приносимых Аполлону.

<sup>19</sup> Автобиографический мотив, не раз возникающий на страницах книги. Позиция Сталь, пытавшейся отыскать компромисс между крайними якобинскими и крайними роялистскими взглядами, не раз навлекла на нее резкую критику из обоих лагерей, и это глубоко огорчало писательницу.

## I. II. О ГРЕЧЕСКИХ ТРАГЕДИЯХ

<sup>1</sup> Пьесы древнегреческих драматургов Сталь, по всей вероятности, читала в переводах П. Брюмуа; его многотомный «Греческий театр» вышел в 1730 г.; второе изд.— 1785—1789 гг.

<sup>2</sup> См. «Путешествие юного Анахарсиса», гл. 69.

<sup>3</sup> Реминисценция из надгробного слова Боссюз на смерть герцогини

Орлеанской (ср. примеч. 9 к «Предисловию к второму изданию»). Это место вызвало возражения Фонтана, не согласившегося ни с мыслью госпожи де Сталь (по его мнению, «боль одинокого существа» превосходно выразилась еще в Софокловом «Филокете»), ни с формой, в которую эта мысль облечена: иронически подчеркнув слова «какой сделали ее», Фонтан, однако, выразил недоверие к стилистическим установкам не только госпожи де Сталь, но и классика Босюэ, чьими словами она воспользовалась.

<sup>4</sup> Речь идет о трилогии Эсхила «Орестея» («Агамемнон», «Жертва у гроба», «Эвмениды»). Ему же принадлежит трагедия «Просительницы».

<sup>5</sup> См.: *Еврипид*. Алкеста (пролог). Аполлон позволил фессалийскому герою Адмету, царю Фер, в час смерти послать вместо себя в Лид другого человека; заменить Адмета согласилась его жена Алкеста.

<sup>6</sup> Сравнение двух «Федр» вызвало одобрение Шатобриана (см.: *Chateaubriand*, р. 109), который в «Гении христианства» также размышляет о своеобразии трактовки этого античного мифа у Расина. Сталь и Шатобриан отдают предпочтение Расину; иное мнение выразил через несколько лет А.-В. Шлегель в брошюре «Сравнение „Федры“ Расина с „Федрой“ Еврипида» (1807).

<sup>7</sup> *Расин*. Федра, I, 3; IV, 6; пер. М. Донского.

<sup>8</sup> Мысль о переходе от античной трагедии (трагедии рока) к трагедии нового времени (трагедии страсти, где человек изображен наедине с самим собой, а не как игрушка высших сил) восходит к Мармонтелю (статья «Трагедия»; см.: *Marmontel*. Т. 3, р. 381—383).

<sup>9</sup> В трагедии Эсхила «Прометей прикованный» Зевс приказывает приковать Прометея, защитившего смертных от его гнева, к скале, а затем насыпает бурю, в результате которой Прометей проваливается сквозь землю.

<sup>10</sup> Ср. сходное объяснение причин, по которым возникает мажорность, у Д. Юма в эссе «О простоте и изощренности» <литературного> стиля» (1742): «...в настоящее время следует больше, чем когда-либо, опасаться излишней изощренности, ибо это та крайность, к которой люди стали больше всего склоняться после того, как в области просвещения был достигнут некоторый прогресс и в каждом виде творчества появились выдающиеся авторы. Стремление понравиться каким-либо новшеством уводит авторов далеко от простоты и естественности и загружает их литературные произведения аффектацией и вычурными образами» (*Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А.* Эстетика. М., 1973, с. 350) и у Мармонтеля в «Опыте о вкусе»: «Вместо того чтобы скромно наслаждаться достигнутыми совершенствами, как велит мудрость, люди всегда гонятся за новизной, готовые многое потерять при переменах, лишь бы только переменить привычное; вот в чем основная причина порчи вкуса» (*Marmontel*. Т. 1, р. 44).

<sup>11</sup> Сюжет «Эдипа» Софокла почерпнут из греческих мифов, сюжет трагедии Вольтера «Танкред» (1760) — из преданий эпохи рыцарства (см. подробнее в примеч. 9 к I, XX).

<sup>12</sup> См. «Путешествие юного Анахарсиса», гл. 71. Сходным образом рассуждает в статье «Трагедия» и Мармонтель; по его мнению, зритель греческой трагедии должен был прийти к выводу, что, раз царей постигают такие страшные несчастья, никто не должен

стремиться царствовать, однако ниже в той же статье Мармонтель высказывает и суждения, близкие госпоже де Сталь; античная трагедия, пишет он, приучала к мысли, что перед лицом рока все равны; «в короле благоденствующем мы видим только короля, но в короле несчастном — человека тем более достойного жалости, чем более счастлив он был прежде» (*Marmontel*. Т. 3, р. 389, 402).

### 1. III. О ГРЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

<sup>1</sup> Ср. в 19-м «Философском письме» Вольтера: «Если вы хотите познакомиться с английской комедией, у вас нет другого выхода, кроме как отправиться в Лондон, прожить там года три, выучить как следует английский язык и каждый день бывать в театре на представлении комической пьесы. Отчего я не испытываю большого удовольствия, читая Плавта и Аристофана? Оттого, что я не грек и не римлянин. Соль остроумия, намеков, аллюзий недоступна чужестранцу. С трагедией дело обстоит иначе; в ней речь идет только о великих страстях и героических сумасбродствах, освященных древними мифологическими и историческими заблуждениями. «Эдип» или «Электра» принадлежат испанцам, англичанам и нам в той же степени, что и грекам. Но хорошая комедия — это говорящее изображение смешных сторон той или иной нации, и если вы толком не знаете нацию, то не сможете оценить ее изображение» (*Voltaire*. *Lettres philosophiques*. Р., 1964, р. 129—130). О тесной связи комедии с нравами той или иной нации говорит и Мармонтель в статьях «Комедия» и «Комическое»: «...то, что комично для одного народа, одного общества, одного человека, может не казаться таковым другому» (*Marmontel*. Т. 1, р. 319).

<sup>2</sup> Ср. у Вольтера в «Рассуждении о древней и новой трагедии» (1748; часть вторая — «О французской трагедии в сравнении с греческой»): «Мало-помалу наша сцена стала совершеннее и избавилась от непристойностей и жестокости, которые обезобразили столько театров и служили оправданием для тех, кто по своей непросвещенности сурово осуждал все спектакли. Актеры уже не появлялись, как в Афинах, на котурнах, которые представляли собой настоящие ходоули, лица их не скрывали большие маски с вделанными в них медными трубками, которые усиливали голос и придавали ему ужасающее звучание» (*Вольтер*, с. 105).

<sup>3</sup> «Между агонем и эпизодами второй половины комедии обычно вклинивалась ее наиболее своеобразная часть, так называемая парабаса: обращение хора к зрителям, своеобразное лирическое и публицистическое отступление, в котором автор устами хора разговаривал непосредственно с аудиторией о себе и о текущих событиях, давал политические советы, вспоминал о прошлом и одновременно нападал на тех, чье поведение считал несомненным с гражданской моралью» (История всемирной литературы. М., 1983, т. 1, с. 371—372).

<sup>1</sup> Ср. у Мармонтеля в статье «Комедия»: «Народ, не терпящий никакого принуждения, более всего должен был опасаться людей выдающихся. Следственно, самая безжалостная сатира всегда могла рассчитывать на успех у этого ревнивого народа <афинян>, если касалась человека, вызвавшего его ревность» (*Marmontel*. Т. 1, р. 311).

<sup>5</sup> В так называемых «филиппиках» — трех речах против Филиппа II Македонского, произнесенных в 351—341 гг. до н. э., — Демосфен бранил афинян за их бездеятельность и призывал их к борьбе против Филиппа, намеревавшегося подчинить себе всю Грецию.

<sup>6</sup> В 338 г. до н. э. Филипп II, одержав победу при Херонее, овладел Грецией, а в середине II в. до н. э. (146 г.) Греция сделалась римской провинцией.

I, IV. О ФИЛОСОФИИ И ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ  
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

<sup>1</sup> Конечная причина — один из элементов натурфилософского учения Аристотеля о причинах (началах) бытия; цель, для которой нечто существует или осуществляется.

<sup>2</sup> По преданию, Аристотель учил философию во время прогулок; отсюда название школы его последователей — перипатетики (греч. «прогуливающиеся»).

<sup>3</sup> Город Елевсин в Аттике был главным святилищем богини плодородия и земледелия Деметры. Здесь совершались тайные священнодействия в честь Деметры, где адепт, проходя различные испытания, приобщался в результате к сокровенному знанию. Празднество Великих Елевсиний, на котором происходило окончательное посвящение, происходило осенью, в конце сентября — начале октября.

<sup>4</sup> См.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VIII, I, 39 («лучше смерть, чем прослыть пустословом»); желающие вступить в пифагорейскую общину должны были пройти тяжкое испытание, включающее несколько лет молчания. О пифагорейских представлениях о святости молчания см.: *Рабинович Е. Г. // Флавий Филострат*. Жизнь Аполлония Тианского. М., 1985, с. 245—260.

<sup>5</sup> В греческой мифологии демон — некая неопределенная божественная сила, предопределяющая жизненную судьбу человека; Платон излагает от лица Сократа учение о наличии у каждого человека своего собственного демона в диалоге «Федон».

<sup>6</sup> См. его трактат «О дивинации» (рус. пер. в: *Цицерон*. Философские трактаты. М., 1985, с. 191—298).

<sup>7</sup> Возможно, перефразированная характеристика, данная Цицероном: «Пифагор, полагавший, что есть охватывающая всю природу и проникающая во все ее части душа, из которой берутся и наши души...» (*Цицерон*. Указ. соч., с. 69).

<sup>8</sup> Ср. рассказ Бартеlemi о том, как Пифагор обманом приучал к добродетели и прибегал к «благочестивым плутням», дабы снизить любовь толпы («Путешествие юного Анахарсиса», гл. 75).

<sup>9</sup> В первом издании примечание обрывалось здесь.

<sup>10</sup> См.: *Платон*. Государство, 457d—461e.

<sup>11</sup> «Апология Сократа» — речь Платона, «Федон» — его диалог.

<sup>12</sup> Мысль о том, что некоторые люди являются рабами не только по закону, т. е. по соглашению, но от природы, высказана Аристотелем в первой книге «Политики»; государственному устройству и разным формам правления посвящены третья и четвертая книги, переворотам и междоусобицам — пятая книга.

<sup>13</sup> В «Истории Пелопоннесской войны» Фукидид повествует о длившихся три десятка лет столкновениях между греческими городами-государствами. Война шла с 431 по 404 г. до н. э., в сочинении Фукидида описаны события 431—410 гг. Примечание о Фукидиде добавлено в ответ на замечание Фонтана, упрекнувшего госпожу де Сталь в том, что она не упомянула этого выдающегося историка.

<sup>11</sup> Д. Юму принадлежит «История Великобритании» (1754, доп. изд. — 1759). «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия», написанное в 1513—1517 гг., импонировало госпоже де Сталь высказанными в нем политическими взглядами; Макиавелли исходит из того, что «политическая свобода созидает такой государственный организм, в котором имеются пути и средства самовыражения для всех существующих социальных сил, политическое рабство сводит государство к самовыражению его главы» (*Макиавелли Н.* Избр. соч. М., 1982, с. 491; коммент. М. Андреева). Настаивая на слабостях греческих историков, госпожа де Сталь подчеркивает свое несогласие с Фонтаном, у которого ее пренебрежительный отзыв о них вызвал решительный протест (в связи с этим местом книги «О литературе» он язвительно заметил: «К чести вкуса госпожи де Сталь, следует сказать, что она просто не читала тех историков, о которых говорит, и знает их лишь понаслышке» — *MF*, 1800, t. 1, p. 184).

<sup>15</sup> Алкивиад, приговоренный афинянами к смерти, перешел на сторону Спарты, а затем Самоса, после чего вновь вернулся на сторону Афин; Фемистокл, обвиненный в измене и подвергнутый остракизму, нашел убежище у персидского царя Артаксеркса I; Кориолан, победитель вольсков, был изгнан из Рима и стал на сторону вольсков, однако мольбы матери и жены вынудили его отказаться идти против римлян, и он был убит вольсками.

<sup>16</sup> В своем восхищении римлянами и готовности «без сожаления» расстаться с греками Сталь близка своему любимому Монтескье; ср. в «Духе законов»: «С римлянами невозможно расстаться...» (XI, 13).

#### I. V. О РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВРЕМЕН РЕСПУБЛИКИ

<sup>1</sup> Антонины — династия римских императоров, правившая с 96 по 192 г. (первым из этой династии был Нерва, последним — Коммод).

<sup>2</sup> Имеется в виду «Анабасис» («Поход») — описание похода персидского царевича Кира против его брата, царя Артаксеркса II, в котором Ксенофонт участвовал в числе греческих наемников.

<sup>3</sup> В жизнеописании Теренция, написанном римским историком Светонием, высказано предположение, что Теренцию помогли его знатные друзья и покровители, Сципион и Лелий; намек на это Светоний находит в прологе к комедии «Братья» (см.: *Теренций.* Комедии. М., 1985, с. 500). По-видимому, подобные слухи, ничуть не соответствующие истине, поддерживались Теренцием ради усиления внимания к его пьесам (см.: *Гаспаров*, с. 309).

<sup>1</sup> Имеется в виду сочинение Саллюстия «О заговоре Катилины».

<sup>5</sup> См. рецензию Фонтана: *MF*, 1800, t. 1, p. 33.

<sup>6</sup> Эти имена, равно как и упоминаемая ниже юношеская поэма Цицерона о Марии, были названы Фонтаном (*Ibid.*, p. 34).

<sup>7</sup> Вергилий, использовавший в «Энеиде» строки из поэмы Энния «Анналы» (поэтического изложения римской истории от Энея до своего времени), говорил, что извлек из Энниева навоза жемчужину.

<sup>8</sup> См.: *Гораций*. Послания, II, I, 35—62; общая концепция римской литературы, как она выражена в книге «О литературе», многим обязана этому посланию. О своеобразии становления римской поэзии см.: *Гаспаров*, с. 300—335.

<sup>9</sup> См.: *Овидий*. Скорбные элегии. Кн. II. Элегия единственная, 259—260.

<sup>10</sup> Дата дана по римскому летосчислению. Луций Ливий (а не Тит) Андроник переводил для театральных представлений греческие трагедии и комедии.

<sup>11</sup> Нуме Помпилию приписывают создание жреческих коллегий и учреждение религиозных культов. Аргументы госпожи де Сталь, приведенные во втором издании специально для того, чтобы опровергнуть возражения Фонтана, не удовлетворили этого ее литературного противника, и в редакционном примечании к «Письму» Шатобриана он писал с издевкой: «Во втором издании она, дабы доказать наличие у римлян пресловутого философического духа, ссылается на почтение, с которым народ и сенат относились к законам Нумы, бывшего философом. О, если вам угодно понимать философию таким образом,— в добрый час! Однако этот законодатель, вдохновляемый Эгерией, скорее всего... мало интересовался исследованием способностей души» (*Chateaubriand*, p. 110).

<sup>12</sup> Пифагор, по преданию, жил в конце VI в. до н. э. в Южной Италии (или, как называли ее греческие переселенцы, Великой Греции) и основал там секты своих последователей; сведения о том, что Пифагора и пифагорейцев именовали «италийскими философами», и о том, насколько влиятелен был пифагореизм в Южной Италии, госпожа де Сталь, скорее всего, почерпнула у Цицерона (см.: Катон Старший, или О старости, XXI; Об ораторе, II, 154—155; Тускуланские беседы, IV, 2—3).

<sup>13</sup> Закон двенадцати таблиц — первое писанное уложение Рима, составленное в 451 г. до н. э. десятью патрициями. Оно было вырезано на двенадцати бронзовых досках; до нас дошли только фрагменты. «Командировка» создателей закона в Грецию, скорее всего, носит легендарный характер; по другому преданию, законодателям помогал эфесский грек Гермодор. Цицерон указывает на «необычайную справедливость и пронизательность» составителей Закона двенадцати таблиц в трактате «О государстве» (II, 61).

<sup>14</sup> См.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Марк Катон II: «Там в Таренте он пользовался гостеприимством одного пифагорейца по имени Неарх. <...> Его сочинения в достаточной мере украшены мыслями греческих философов и примерами из греческой истории, а среди его метких слов и изречений немало прямо переведенных с греческого» (*Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. М., 1961, т. 1, с. 431).

<sup>15</sup> См.: *Плутарх*. Марк Катон, XXII—XXIII. Академия — философская школа, основанная Платоном, который учил своих последователей в роще близ Афин, посвященной герою Академу. История Академии делится на три периода; Карнеад был основателем последней, третьей Академии; он подверг учение стоиков с его догматизмом резкой критике с позиций пробабиллизма.

<sup>16</sup> См.: *Цицерон*. Об ораторе, II, 155: «...наше государство не поро-

дило никого более славного, более влиятельного, более высоко просвещенного, чем Публий Африкан, Гай Лелий и Луций Фурий, которые всегда открыто общались с образованнейшими людьми из Греции. Я и сам не раз от них слышал, как рады были и они и многие другие первые лица нашего общества, когда афиняне по важнейшим своим делам отправили в сенат послами знаменитейших философов того времени — Карнеада, Критолая и Диогена — и пока послы были в Риме, и сами эти мужи, да и многие другие были постоянными их слушателями» (*Цицерон*. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 160). Посольство Карнеада, Диогена и Критолая было послано в Рим в 155 г. до н. э.

<sup>17</sup> Софистика — философское течение в Древней Греции, созданное софистами — преподавателями красноречия; главной отличительной чертой софистики был крайний релятивизм.

<sup>18</sup> О Гракхах см.: *Цицерон*. Брут, 103, 125—126; Сталь ошибается в датировке: Гракхи жили позже Энния; об Аппии Клавдии Слепом, который первым стал записывать свои речи, см.: *Цицерон*. Брут, 55.

<sup>19</sup> Сталь относит время жизни Гомера слишком далеко в глубь времен; по Геродоту, он жил в IX в., то есть в том же веке, что и Ликург, и тремя веками раньше Ферекида.

<sup>20</sup> О греческих пьесах как далекой экзотике для римского зрителя см.: *Гаспаров*, с. 311. Указание на то, что в римских комедиях (и трагедиях) разрабатывались только греческие темы, Сталь могла найти у Мармонтеля (статья «Поэзия» — *Marmontel*. Т. 3, р. 153).

<sup>21</sup> Диоген-кинник славился экстравагантным образом жизни и презрением к общественным условностям.

<sup>22</sup> Имеется в виду трактат «Об обязанностях» — последнее философское сочинение Цицерона.

<sup>23</sup> О пристрастии к самовосхвалению, отличавшем Цицерона, см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Цицерон, XXIV—XXV; Демосфен и Цицерон. Сопоставление.

<sup>24</sup> См.: *Цицерон*. Об обязанностях, I, 93—99.

<sup>25</sup> См.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Брут, XXIII.

<sup>26</sup> Намек на эпоху Террора, когда уезжавшие за границу прощались с теми, кто оставались во Франции и кому, как оказалось, было суждено погибнуть на эшафоте.

<sup>27</sup> См.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Перикл, XXXII (в классическом франц. пер. Амю — LX). У Плутарха речь Перикла в защиту Аспазии, обвиненной в нечестии, описана весьма лаконично: «Перикл вымолил ей пощадку, очень много слез пролив за нее во время разбирательства» (*Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Т. 1, с. 219). В статье госпожи де Сталь «Аспазия», написанной для «Всемирной биографии» Мишо (1811), описание этого эпизода почти дословно воспроизводит Плутарха.

<sup>28</sup> Ж.-А.-И. де Гибер был завсегдагдеем салона Неккеров, автором похвального слова юной Жермене, выведенной под именем Зульме (реминисценция из ее ранней повести). Он умер в мае 1790 г., и госпожа де Сталь вскоре посвятила ему статью-некролог (опубл. 1821). Трагедия Гибера «Смерть Гракхов» была впервые опубликована лишь в 1822 г.; в 1790 г., незадолго до смерти автора, ее намеревались поставить, но Гибер отказался.

<sup>29</sup> См.: *Цицерон*. Тускуланские беседы, IV, 68; II, 55.

<sup>30</sup> См. там же, II, 46.

<sup>31</sup> См.: *Горацій*. Послания, II, 1, 185; ссылка на эти слова Горация

в сходном контексте есть у Мармонтеля в статье «Поэзия» (см.: *Marmontel*. Т. 3, р. 154).

<sup>32</sup> См.: *Гораций*. Наука поэзии, 285—288 (пер. М. Л. Гаспарова). Претексты и тогаты — трагедии и комедии из римской жизни. Фонтан, ссылаясь на известную переводчицу античной литературы Анну Дасье, утверждал, что римляне представляли на театре не только трагедии из жизни своих национальных героев, но даже пьесы о своей повседневной жизни, то есть своего рода драмы (*MF*, 1800, t. 1, р. 35).

<sup>33</sup> «Энеида», которую Вергилий не успел отделать, была опубликована по приказу Августа после смерти поэта (19 г. до н. э.). Гораций умер на одиннадцать лет позже; «Наука поэзии» создана им в последние годы жизни.

<sup>34</sup> О «Терее» Акция речь идет в письме Цицерона Аттику от 9 июля 44 г. до н. э. (см.: *Цицерон*. Письма. М., 1951, т. 3, с. 301). Указание на то, что на играх в честь Аполлона была представлена трагедия о Терее (греч. миф.), а не о Бруте, чего не заметили комментаторы эпохи Возрождения, см. в статье «Акций» «Исторического и критического словаря» П. Бейля (1697). Здесь рассказано также о друге и патроне Акция Дециме Бруте, консуле 615 г. по римскому летосчислению, который украсил стихами Акция в свою честь монументы, воздвигнутые в связи с его триумфом. Тот же Бейль, однако, настаивает и на принадлежности Акцию трагедии «Брут», в которой был выведен полубоггерой римский герой Луций Юний Брут, избавивший Рим от тирании Тарквиния.

<sup>35</sup> Эдилы — в Древнем Риме выборные должностные лица, наблюдавшие за общественными зданиями и храмами, общественным порядком и т. д.

<sup>36</sup> *Гораций*. Послания, II, 1, 161—167; пер. Н. Гинцбурга.

<sup>37</sup> Магистраты — в Древнем Риме лица, занимавшие государственные должности, представители власти, как-то консул, трибун и пр.

<sup>38</sup> Имеется в виду письмо Брута к Цицерону от середины мая 43 г. до н. э. (см.: *Цицерон*. Письма. М., 1951, т. 3, с. 416—421). Октавий — имя, под которым вначале был известен будущий император Август Октавиан.

<sup>39</sup> В отличие от Плутарха, в «Сравнительных жизнеописаниях» которого есть сопоставление Демосфена и Цицерона, госпожа де Сталь явно отдает предпочтение представляющему римлян Цицерону; у Плутарха оценка римского оратора гораздо более скептична. К. Оше в своей рецензии высоко оценил это место книги Сталь, назвав его «параллелью, которая казалась весьма избитой и которой сочинительница сумела придать новизну благодаря той точке зрения, с которой она рассмотрела творчество этих двух ораторов» (*Journal des Débats*, 11 Messidor de l'an VIII, р. 3).

#### I, VI. ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЦАРСТВОВАНИЕ АВГУСТА

<sup>1</sup> Соперничество литераторов и философов и подогреваемое этим соперничеством творческое рвение (все эти значения подразумевает французское слово *émulation* — очень важная для госпожи де Сталь категория, один из центральных мотивов ее книги; специально ему посвящена третья глава второй части). Наличие творческого соперни-



чества для госпожи де Сталь — то необходимое условие, при котором литераторы и философы могут выполнять свою общественную миссию. В сходном, но более конкретном, «техническом» смысле употреблял этот термин Мармонтель: «Без соперничества нет творческих усилий, без соревнования художников, стремящихся превзойти друг друга, нет прогресса в искусстве» (*Marmontel*. Т. 3, р. 159).

<sup>2</sup> Эпикуреизм, учение, которое исповедовали греческие и римские философы, последователи древнегреческого философа Эпикура, основывалось на тезисе о телесных наслаждениях как источнике всех благ. Эпикур считал лучшим средством избежать страданий добровольное удаление от общественных и государственных дел, достижение независимости от внешних условий.

<sup>3</sup> *Овидий*. *Метаморфозы*, VIII, 709—711; пер. С. Шервинского.

<sup>4</sup> *Вергилий*. *Энеида*, VIII, 572—583; пер. С. Ошерова.

<sup>5</sup> См.: *Овидий*. *Метаморфозы*, XI, 270—748; VIII, 612—725.

<sup>6</sup> Осуждение творчества Овидия как легкомысленного, «риторического», неискреннего характерно для романтической эпохи (см.: *Гаспаров М. Л./Овидий*. *Элегии и малые поэмы*. М., 1973, с. 5—6).

<sup>7</sup> Такое сравнение активно использовалось «новыми» в «Споре о древних и новых»; см., например, в поэме Ш. Перро «Век Людовика Великого»: «И век Людовика, не заносясь в гордыне, / Я с веком Августа сравнить посмею ныне» (пер. Н. Наумова; *Спор*, с. 41).

<sup>8</sup> Это утверждение вызвало гневный отпор Шатобриана, хотя спустя полтора года читатели смогли прочесть в его «Гении христианства» (ч. 3, кн. 3) изложение весьма близкой точки зрения.

<sup>9</sup> Светонию принадлежит «Жизнь двенадцати цезарей» — жизнеописания императоров от Юлия Цезаря до Домициана; Веллею Патеркулу — «Римская история в двух книгах» (вторая часть, посвященная правлениям Августа и Тиберия, льстива и необъективна); Аммиану Марцеллину — «Деяния», римская история от конца I в. н. э. до 378 г.

#### 1, VII. О РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕ АВГУСТА И ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ ДИНАСТИИ АНТОНИНОВ

<sup>1</sup> Цицерон находился в изгнании с марта 58 г. по июль 57 г. до н. э. В письмах к Аттику этого периода жалоб не так мало, как утверждает госпожа де Сталь; Цицерон даже упрекает Аттика за то, что тот не дал ему покончить с собой, а Аттик в ответ сетует на то, что Цицерон так нестойк духом.

<sup>2</sup> Этой точки зрения придерживались Ж.-Б. Дюбо (см. его «Критические размышления о поэзии и музыке», ч. II, гл. 13), Вольтер (см. «Век Людовика XIV» и статью «Вкус» из «Философского словаря», впервые опубликованную в 1757 г. в «Энциклопедии») и многие другие авторы XVIII в., особенно его второй половины (см.: *Dagen*, р. 588—592).

<sup>3</sup> Лукан, автор поэмы «Фарсалия», посвященной гражданской войне между Цезарем и Помпеем, участвовал в заговоре против Нерона и покончил с собой по настоянию императора (см.: *Тацит*. *Анналы*. Кн. XV).

<sup>4</sup> Имеется в виду «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян» (1734).

<sup>5</sup> См.: *Дион Кассий*. Римская история, 59, 26 (ср.: *Светоний*. Жизнь двенадцати цезарей. Гай Калигула, 28).

I, VIII. О НАШЕСТВИИ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ, О ПРИНЯТИИ ХРИСТИАНСТВА И ВОЗРОЖДЕНИИ СЛОВЕСНОСТИ

<sup>1</sup> В отличие от распространенной теории, согласно которой искусство развивается скачкообразно и блистает только в отдельные эпохи («века»), госпожа де Сталь вслед за Тюрго и К. Денина исходила из того, что все великие литературные эпохи возникают не на пустом месте, не внезапно, что они вызревают в эпохи безвестные. Отсюда реабилитация — пусть не слишком подробная и в большой степени умозрительная, — средних веков, которую она совершает в книге «О литературе». Глубинной сути средневекового искусства госпожа де Сталь не могла понять и принять и в более поздние годы; в книге «О Германии» она выговаривает Шлегелям за их пристрастие к средним векам: «...рыцарство без страха и упрека, вера без границ и поэзия без размышлений представляются им неразлучными, и они одобряют все, что могло бы настроить на этот лад умы и души» (II, 31). Однако даже самое общее оправдание средних веков свидетельствует о чрезвычайной свободе мышления госпожи де Сталь — ведь вся философия Просвещения исходила из того, что в средние века Европа была погружена во тьму, и даже такой страстный апологет бесконечного совершенствования, как Кондорсе, не признавал за средневековым ничего положительного и усматривал в этой эпохе только кровь и слезы, тиранию священников и военных.

<sup>2</sup> Мысль о благотворном влиянии христианства в пору нашествия варваров восходит к первой речи Тюрго 1750 г. и к «Введению в историю Дании» П.-А. Малле (см.: *Mallet*, p. 252—253).

<sup>3</sup> Эту мысль госпожи де Сталь о союзе религии и философии (подробнее об этом см. ниже, в шестой главе второй части), не поняли ни наследники просветителей, ни защитники классицизма и традиционализма: либерал Фюрель счел сомнительным чрезмерные похвалы христианству, а роялисты Фонтан и Шатобриан усмотрели в этом сближении недопустимый апофеоз философии. Меж тем для госпожи де Сталь мысль о необходимости сочетать религию с философией глубоко характерна. С годами роль религии в ее духовной жизни возрастала, однако неизменным оставалось неприятие любого фанатизма в области веры, неприязнь к любым сектам и культам; ее идеалом всегда была религия сердца и доброты (см.: *Mortier R. Philosophie et religion dans la pensée de Madame de Staël//Rivista di letteratura moderne et comparate*, 1967, vol. 20, fasc. 3—4, p. 165—176).

<sup>4</sup> См.: *Тацит*. О происхождении германцев, 8; *Mallet*, p. 197—201. Сталь многим обязана «Введению» Малле в том, что касается подробностей жизни северных народов, и в частности их отношения к женщинам. Малле писал, что если на юге мужчины видели в женщине не равноправную подругу, но лишь инструмент для удовлетворения чувственной страсти, то северные народы первыми в истории человечества отнесли к женщине с почтением, великодушием и даже галантностью.

<sup>5</sup> См.: *Тацит*. О происхождении германцев, 11; *Mallet*, p. 223.

<sup>6</sup> См.: *Mallet*, p. 65.

<sup>7</sup> Тезис о том, что меланхолия — принадлежность северных народов, вызвал нарекания Фонтана и Шатобриана; первый утверждал, что качество это общечеловеческое, выразившееся и в стихах Вергилия и Тибулла и в ветхозаветной книге Иова, второй, что меланхолия — состояние, известное только христианам.

<sup>8</sup> С этой инвективой против монастырей полемизировал в своем «Письме» Шатобриан, восхвалявший монастырскую жизнь (в «Гении христианства» эти похвалы приняли более развернутую форму).

<sup>9</sup> Истоки этой концепции — в так называемой «теории завоевания», выдвинутой в XVIII в. графом Буленвилье и возводившей сословные различия во Франции к древним взаимоотношениям франков и галлов. В течение всего XVIII столетия (включая период Французской революции) к этой теории прибегали мыслители самых разных взглядов, в зависимости от своей общественной позиции принимавшие сторону либо франков (завоевателей), либо галлов (побежденных) (см.: *Реизов Б. Г. Французская романтическая историография*. Л., 1956, с. 76). Эта теория нашла отражение в книге Сталь «Размышления об основных событиях Французской революции» (I, 2).

<sup>10</sup> Госпожу де Сталь всегда отличало уважительное отношение к Великой французской революции; несмотря на свое неприятие якобинского Террора, она подчеркивала несогласие с роялистскими догматиками, усматривавшими обыкновенный бунт черни в том событии, которое представлялось ей началом новой эры в истории человеческого ума.

<sup>11</sup> Эта пропаганда сочувствия и жалости имела в послереволюционные годы вполне конкретный политический смысл; Сталь была убеждена, что в такие (революционные и послереволюционные) периоды жалость — единственное средство противостоять гражданским войнам и взаимной жестокости соперничающих партий и способствовать единению нации. Она специально останавливается на этом вопросе в «Заключении» книги «О влиянии страстей», где ссылается на «Теорию нравственных чувств» А. Смита (1759; франц. пер. госпожи де Кондорсе — 1795); см.: *Реизов*, с. 61.

## I, IX. О СУЩЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

<sup>1</sup> Мысль о том, что появление романов связано с изменением той роли, которую играют в обществе женщины, восходит к трудам конца XVII — середины XVIII в. Так, Д. Юэ в трактате «О происхождении романов» (1670) писал, что французская романтическая литература превосходит итальянскую и испанскую благодаря более свободному положению французских женщин; в 1755 г. А.-П. Жакен в «Беседах о романах» развил эту мысль со ссылкой на Юэ: «Число романов у нас умножилось прежде всего благодаря свободе, с которой ведут себя наши дамы» (цит. по: *Мау*, р. 207).

<sup>2</sup> См.: *Диоген Лазертский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VI, 38.

<sup>3</sup> Французский полководец граф де Лалли после поражения, которое потерпел его экспедиционный корпус в Индии, был обвинен в измене и казнен (1766). Благодаря заступничеству Вольтера и хлопотам сына посмертно оправдан в 1778 г. Лалли-сын, член Учредительного собрания, поклонник конституционной монархии английского

образца, эмигрировавший в Англию, был хорошо знаком с госпожой де Сталь (см., в частности, «Размышления об основных событиях Французской революции», III, 10).

I, X. О ЛИТЕРАТУРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И ИСПАНСКОЙ

<sup>1</sup> В XVIII в. наиболее знаменитыми итальянскими учеными были Луиджи Гальвани (1737—1798) и Алессандро Вольта (1745—1827), основатели учения об электричестве, и естествоиспытатель Ладзаро Спалланцани (1729—1799).

<sup>2</sup> Трактат Макиавелли «Государь» (1523) тесно связан с его «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия» (см. примеч. 14 к I, IV); Макиавелли прервал работу над «Рассуждениями», чтобы написать «Государя» и проанализировать на примере современной Италии состояние политически «развращенных» народов и государств. Скептическая оценка «Государя» госпожой де Сталь связана, очевидно, с тем, что в этом сочинении Макиавелли, почти не касаясь других слоев и сословий, ведет речь только о единовластном правителе и его обязанностях.

<sup>3</sup> Имеется в виду «макиавеллизм» — те выводы из трактата «Государь», которые надолго определили политическую и нравственную репутацию Макиавелли (великая цель оправдывает аморальные действия политика).

<sup>4</sup> См. примеч. 6 к «Опыту о вымысле».

<sup>5</sup> Обзор испанской литературы у Сталь восходит к соответствующему фрагменту статьи Мармонтеля «Поэзия»: Мармонтель пишет здесь о «причудливой тяге вандалов и готов» к чудесному, которая соединилась в умах испанцев с «романическим и гиперболическим духом арабов и мавров», а затем приводит причины, по которым испанская литература не знала расцвета: «...искусству потребны ободрение, дух соперничества, благосклонность общества, раздувающая его паруса и ускоряющая его бег. Однако Испания, погрязшая в невежестве и предрассудках, никогда не питала подлинной любви к поэзии» (*Marmontel*. Т. 3, р. 163). Представления об Испании как стране предрассудков и жестокостей были распространены в литературе века Просвещения (см.: *Hoffman L. F. Romantique Espagne. L'image de l'Espagne en France entre 1800 et 1850.* New Jersey — Paris, 1961, р. 3—11).

<sup>6</sup> «Сид» не является в строгом смысле слова романом. Испанскому национальному герою Родриго Диасу де Бивару, которого мавры прозвали Сидом, т. е. «господином», посвящена эпическая поэма «Песнь о моем Сиде» и более двухсот романсов. Сталь скорее всего знала эти произведения понаслышке — романтики (английские и немецкие) ввели их в европейский культурный обиход лишь в XIX в.

<sup>7</sup> Речь идет об эпизоде из пятой песни поэмы Л. ди Камознса «Лусиады» (1572); эпизод этот был вообще популярен: столь же высоко отзывается о нем Мармонтель (статья «Поэзия») и Блер (лекция 37). В библиотеке Сталь в Коппе имелся французский перевод «Лусиад» Дюперрона де Кастера (1768); в 1812 г. Сталь написала статью «Камознс» для шестого тома «Всемирной биографии» Мишо.

<sup>8</sup> Вероятно, Сталь читала испанских драматургов в французском переводе Ленге («Испанский театр», 1770).

<sup>9</sup> Александрийская библиотека, собранная при династии Птолемеев, была, по преданию, сожжена в 641 г. по приказу калифа Омара (по современным данным, пожар произошел позже, в 868 г.).

<sup>10</sup> Имеется в виду неоконченная поэма «Влюбленный Роланд» (1476—1494).

<sup>11</sup> Пассаж об Ариосто близок соответствующему месту из «Лекций» Блера (лекция 36): «Он соединяет все роды поэзии; слог его то комический и сатирический, то легкомысленный и фривольный, то безупречно героический и уснащенный трогательными описаниями»; Ариосто, пишет Блер, так превосходно владеет сюжетом, что обращает его в игру, и делается неясно, всерьез он говорит или в шутку; более же всего удаются ему описания — здесь ему нет равных (*Blair H. Leçons de rhétorique et de belles-lettres. P., 1797, t. 4, p. 133*).

<sup>12</sup> «Аминта» (1573) — пастораль Т. Тассо; «Верный пастух» (1580—1583; изд. 1590) — трагикомедия в стихах Дж.-Б. Гварини.

<sup>13</sup> Латинское стихотворение «Панегирик на смерть матери» (1319), впрочем не принадлежащее к жанру сонета, — самое раннее из датированных стихотворений Петрарки, вошедшее затем в цикл «Эпистолы» (1, 7). Сообщено Е. Костюкович.

<sup>14</sup> Тассо. Освобожденный Иерусалим, IV, 3.

<sup>15</sup> См.: Тассо. Освобожденный Иерусалим, XV, 14—19. Рыцарь Танкред, влюбленный в сарацинскую воительницу принцессу Клоринду, не узнав свою возлюбленную в мужском платье, убивает ее на поединке. Любопытно, что в прессе 1800 г. образ воительницы Клоринды обыгрывался применительно к самой госпоже де Сталь; 3 сентября 1800 г. в «Меркюр де Франс» было опубликовано за подписью «В. V.» письмо «К издателям „Меркюр“»: «Госпожа де Сталь, эта Клоринда противного лагеря, вышла из первой вашей схватки с нею с потрепанным султаном на шлеме и с раздробленным научным щитом, но вы стремились ничем не оскорбить ее. Подобная вежливость уместна в литературных сражениях, которые должны походить на рыцарские турниры, но не в боях не на жизнь, а на смерть. А ведь бой, в котором участвовала Клоринда, был именно этого последнего рода. Танкреду пришлось лишиться жизни свою прекрасную противницу, и единственным утешением ему служило ее предсмертное отречение от магометанских заблуждений. Было бы весьма недурно, если бы в один прекрасный день вы вынудили госпожу де Сталь отказаться от ее философических фантазий» (*MF*, 1800, t. 1, p. 436).

<sup>16</sup> В период работы над романом «Коринна» госпожа де Сталь переменяла свое отношение к импровизации: заглавная героиня романа — поэтесса-импровизатор; однако во время второго путешествия в Италию (1815—1816) она вновь вернулась к первоначальным оценкам; в «Путевом дневнике» она пишет: «Искусство импровизации они превратили в талант механический. Слова для них ничем не отличаются от нот. Стихотворную строку они сочиняют так, как если бы это была музыкальная фраза» (цит. по: *Pange*, p. 217).

<sup>17</sup> Размышления о духе языка и духе нации — излюбленная тема мыслителей XVIII в., которой отдали дань Вольтер («Философский словарь», статья 1771 г. «Гений»), Руссо («Опыт о происхождении языков», 1781), Ривароль («Об универсальности французского языка», 1784). «Обратное» влияние — не только духа нации на дух языка, но и духа языка на дух нации — было предметом, глубоко занимавшим В. фон Гумбольдта (см.: *Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984*); возможно, что эта тема возникала в их бесе-

дах с госпожой де Сталь (они познакомились летом 1798 г.— см.: *Staël G. de. Correspondance générale*. P., 1978, t. 4, pt. 2, p. 341).

<sup>18</sup> См.: *Плугарх*. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, XI.

<sup>19</sup> В XVIII в. Данте подвергался резкой и недоброжелательной критике и во Франции (см. статью Вольтера «Данте», 1765, вошедшую в «Философский словарь») и в Италии (см. «Вергилиевы письма» С. Беттинелли, 1757, франц. пер.—1778). «Реабилитация» Данте была начата Шатобрианом («Гений христианства», 1802). В «Коринне» (1807) Сталь отзывается об авторе «Божественной комедии» уже гораздо более развернуто и уважительно (см.: *Сталь Ж. де*. Коринна, или Италия. М., 1969, с. 119). Между прочим, в свой первый приезд в Италию (1804—1805) Сталь хотела повидаться с Беттинелли, жившим в Мантуе, однако выполнить это намерение ей не удалось.

Характеристика Данте, построенная на противопоставлении поэта его эпохе, возможно, является реминисценцией из Вольтера, говорившего о Шекспире: «Его гений принадлежит ему, а его недостатки — его веку» (*Вольтер*, с. 330; эти слова, впервые появившиеся в примечаниях Вольтера к его трагедии «Смерть Цезаря», 1736, затем были повторены в письме к Х. Уолполу от 15 июля 1768 г., опубликованном в мае 1769 г. в «Меркюр де Франс»).

<sup>20</sup> В «Коринне» (VII, 2) госпожа де Сталь уточняет свои соображения об итальянском театре; причина его слабости, пишет она, не в отсутствии у итальянских поэтов таланта, но в отсутствии в Италии многочисленного и блестящего общества, где страсти не мешали бы изучать оттенки характеров (мысль, восходящая к Мармонтелю — статья «Поэзия»). Однако «идеальная» комедия, рожденная фантазией, достигла на итальянской почве большого совершенства в комедии масок и творчестве Гоцци.

<sup>21</sup> Трактат Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764; фр. пер. А. Морелле, 1764) был высоко оценен французскими просветителями за проповедь гуманности и внесение в юриспруденцию философского духа. «Наука законодательства» Филанджери (1780—1783) за антифеодалную направленность была запрещена церковью. Первый французский перевод начал выходить уже в 1780 г.; в 1822 г. вышел пятитомный перевод Б. Констанана.

<sup>22</sup> Сталь была знакома с Альфьери (знакомство произошло в 1788 г. в Париже). В 1803 г., в год смерти Альфьери, Стендаль, читая книгу госпожи де Сталь, заметил сходство главы об итальянской литературе со статьей Альфьери «О государе и словесности» (1789), где отстаивается мысль о важности свободы для литературного творчества, и даже обвинил Сталь в плагиате, хотя французский перевод статьи вышел лишь в 1802 г., а Сталь до своей поездки в Италию итальянским языком свободно не владела (см.: *Gennari*, p. 197—198).

<sup>23</sup> Сюжет трагедии Альфьери «Розамунда» (1783) почерпнут из первой книги «Истории Флоренции» Макиавелли; героиня ее — королева, вышедшая замуж за убийцу своего мужа, которого она же и подговорила совершить это убийство; обоих преступников мучат ненависть и отвращение друг к другу.

<sup>24</sup> В отличие от Сталь большинство западноевропейских литераторов подчеркивали сходство ветхозаветной поэтической традиции и поэзии Оссиана, которое объясняли равной близостью породивших их народов к природе; Гердер даже называл Оссиана «братом Иова» (см.: *Van Tieghem P. Le préromantisme. Etudes d'histoire littéraire européenne*. P., 1948, t. 1, p. 266—267).

## I. XI. О ЛИТЕРАТУРЕ СЕВЕРА

<sup>1</sup> Это утверждение вызвало едва ли не самые большие возражения критиков. Прежде всего противники госпожи де Сталь напомнили о недоказанной достоверности песен Оссиана; Фонтан писал, что, если даже поэзия Оссиана не подделка, изготовленная Макферсоном, все равно до середины XVIII в. никто о ней не знал и потому нельзя считать Оссиана прародителем всех северных литератур; Шатобриан был более категоричен: он настаивал на том, что поэмы Оссиана сочинены Макферсоном, следовательно, проникнуты христианским духом и этим-то и объясняются их важные черты, подмеченные госпожой де Сталь. Сама Сталь вслед за Х. Блером, автором «Критического рассуждения о поэмах Оссиана» (1763), верила в подлинность поэзии Оссиана. На возражения, связанные с невозможностью видеть истоки северной поэзии в никому не ведомом Оссиане, удачно ответил в частном письме к Сталь (от 21 января 1801 г.) Сисмонди: «Вы, сударыня, рассматриваете их <песни Оссиана> не как образец для поэтов севера, но как блестящий образчик северной поэзии во всей ее чистоте» (*Sismondi G. C. L. Epistolario. Firenze, 1933, t. 1, p. 8*).

<sup>2</sup> См. примеч. 1 к «Предисловию к второму изданию».

<sup>3</sup> «Фингал, древняя эпическая поэма» в шести книгах — одно из самых крупных и знаменитых сочинений Оссиана — Макферсона.

<sup>4</sup> П.-А. Малле (см. примеч. 3 к «Предисловию к второму изданию») опирался на работы датских и шведских антикваров.

<sup>5</sup> Первой из этих песен, якобы сочиненной легендарным датским конунгом, а на самом деле являющейся балладой XII в., приписываемой скандинавскому скальду Браги Боддасону, была суждена в французской литературе долгая жизнь: Шатобриан использовал ее в эпической поэме в прозе «Мученики» (1809, кн. 6) в знаменитом «бардите» франков, знакомство с которым явилось поворотным пунктом в судьбе французского историка О. Тьерри (см.: *Beck J. F. Ragnar Lodbrock's swan song in the French romantic movement // Romantic Review, 1931, № 3; Реизов Б. Г. Французская романтическая историография, с. 81*). Меж тем в перевод Малле вкралась существенная ошибка: образ павших героев, которые на небесах пьют мед из черепов неприятелей, поражающий европейских читателей, рожден неправильным пониманием древнеисландского текста, где речь идет о роге, из которого пьют мед (см.: *Шарыткин Д. М. Скандинавская литература в России. Л., 1980, с. 91—92*). «Песнь Гаральда Смелого» известна в России по вольному пер. Батюшкова (1816).

<sup>6</sup> Шатобриан справедливо напомнил, что мироощущение скандинавских поэтов и Оссиана схоже далеко не во всем и что одним из первых, кто обратил на это внимание, был Х. Блер, указывавший на то, что скальды — прежде всего воинственные варвары, у Оссиана же в изобилии встречаются чувства кроткие и нежные.

<sup>7</sup> Шатобриан был иного мнения; он утверждал, что Оссиану удалось блеснуть «нравственными познаниями, какими едва ли мог похвастать Сократ, живший в самую просвещенную эпоху древнегреческой истории, и какие были поведаны миру лишь в Евангелии, явившемся итогом четырех тысячелетий наблюдений над людскими характерами» (*Chateaubriand, p. 119*), и видел в этом лишнее доказательство современного происхождения песен Оссиана.

<sup>8</sup> Отрывки из «Старшей Эдды» (сборника древнеисландских песен о богах и героях) и «Младшей Эдды» (древнеисландской скальди-

ческой поэтики) были опубликованы по-французски в книге Малле.

<sup>9</sup> См. примечание Макферсона к поэме «Темора», кн. 4 (*Оссиан*, с. 202).

<sup>10</sup> Фонтан писал, что, в отличие от Гомера, использовавшего все богатства своего языка и все красочные предания своего народа, Оссиан однообразен и его бесконечные сетования быстро утомляют слух; причину этого однообразия он усматривал в отсутствии у Оссиана всякой религиозной идеи (что, впрочем, по его мнению, должно было свидетельствовать о подлинности оссианических поэм, ибо у всех древних поэтов всегда есть обращения к божествам и, если бы Макферсон захотел ввести читателей в заблуждение, ему, по мнению Фонтана, следовало бы вложить такие обращения в уста Оссиана). См.: *MF*, 1800, т. 1, р. 189—191. Между тем сам Макферсон специально останавливается на этом вопросе в своем «Рассуждении о древности и других особенностях поэм Оссиана, сына Фингала» (1762): «...исключительность положения, надо признать, состоит в том, что в поэмах, приписываемых Оссиану, вообще нет никаких следов религиозных верований, тогда как поэтические сочинения других народов столь тесно связаны с мифологией. Это трудно понять тем, кто не знаком с воззрениями древних шотландских бардов. <...> Считалось, что любая помощь, оказанная героям в сражении, умаляет их заслуги...» (*Оссиан*, с. 9).

<sup>11</sup> Обвинение это было выдвинуто Фонтаном. Между прочим, само сравнение Оссиана с Гомером не было изобретением госпожи де Сталь. Х. Блер в своем «Критическом рассуждении о поэмах Оссиана» писал: «Когда Гомер решается быть трагическим, он силен, но Оссиан обнаруживает эту силу гораздо чаще и творения его значительно глубже отмечены печатью чувствительности. Ни единый поэт не умеет лучше его захватить и тронуть сердце. Что же касается достоинства чувств, преимущество очевидно на стороне Оссиана. Поистине поразительно, до какой степени герои нашего грубого кельтского барда превосходят в человеколюбии, великодушии и добродетелях героев не только Гомера, но и образованного и изящного Вергилия» (цит. по: *Оссиан*, с. 474). Госпоже де Сталь эти суждения были, бесспорно, известны и близки. В этом случае на ее сторону стал и Шатобриан, писавший, обращаясь к Фонтану: «Не обессудьте, друг мой, но в последнее время, прежде чем выйти из дому, я обязательно кладу в один карман Гомера в издании Ветштейна, а в другой — недавно выпущенного в Глазго Оссиана» (*Chateaubriand*, р. 120).

<sup>12</sup> Сталь любила этот образ и вернулась к нему в книге «О Германии» в характеристике Жан-Поля: «Поэзия его стиля подобна звукам гармоники, которые поначалу восхищают, но уже через несколько секунд причиняют боль, ибо вызываемое ими возбуждение не направлено ни на какой определенный предмет» (II, 28).

<sup>13</sup> О дискуссии отношения христианского и/или языческого «чудесного» см. примеч. 3 к «Опыту о вымысле». Шатобриан в «Гении христианства» решил этот вопрос немного иначе; он настаивал на плодотворном использовании в литературе христианского «чудесного» (святые, ангелы и пр.), однако сила отрицания «мифологических вымыслов» роднит его с госпожой де Сталь; совпадение комментируемого фрагмента с пассажем из «Гения христианства» (ч. 2, кн. 4, гл. 1) почти дословное: «Лишь христианство смогло изгнать бесчисленных фавнов, сатиров и нимф и возратить гrotтам их тишину,



а лесам их задумчивость. Благодаря нашей религии пустыни стали печальнее, таинственнее и величественнее, свод лесной листвы поднялся выше... истинный Бог, возвратившись в свои творения, даровал природе безграничность» (Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982, с. 157).

<sup>14</sup> В XVIII в. вопрос о правомерности изображения на театре призраков обсуждался особенно живо в связи с трагедией Вольтера «Семирамида» (1748), где Вольтер (по образцу «Гамлета») ввел в действие призрак Нина, чем весьма шокировал критиков (см. «Рассуждение о древней и новой трагедии», предпосланное Вольтером «Семирамиде»).

#### I. XII. О ГЛАВНОМ ПРЕГРЕШЕНИИ, В КОТОРОМ УПРЕКАЮТ ФРАНЦУЗЫ СЕВЕРНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

<sup>1</sup> Теория вкуса, как она изложена в книге «О литературе», многим обязана тому пониманию вкуса, которое господствовало в трудах просветителей XVIII в., прежде всего Вольтера и Мармонтеля. От Мармонтеля (и, шире, от классицистической эстетики) у госпожи де Сталь убежденность, что наряду с условными нормами вкуса, характерными для той или иной нации, существуют вечные, безусловные нормы, исходящие из духа вещей. От Вольтера — убежденность, что проблема вкуса есть проблема взаимоотношений писателя и публики: у автора и читателей должен быть общий вкус, он является знаком их приобщенности к единой культуре, их коллективной победы над варварством (подробнее об этом у госпожи де Сталь идет речь ниже, в II, II). См.: *Billaz A. Les écrivains romantiques et Voltaire*. Lille, 1974, т. I, р. 377—378. В оппозиции вкус — гений вкус означает в самом широком смысле приверженность традициям, принятым в обществе, а гений — «беззаконное» творчество, пренебрегающее этими общепринятыми правилами. В «О Германии» подход Сталь к соотношению вкуса и гения стал более дифференцированным; если в 1800 г. она уверена в возможности их гармонии (но — за счет подчинения гения вкусу), то в 1810 г. склонна скорее подчинить вкус (общепринятые условности) гению: «В литературе полезен лишь такой вкус, какой не противоречит гению» (II, 14), хотя на некоторых ограничениях, исходящих из «природного», общечеловеческого вкуса (неприятие натуралистических подробностей на сцене), Сталь по-прежнему настаивает. Вообще, хотя Сталь вошла в историю литературы как писательница, введшая в культурный оборот своих соотечественников много нового, революционного в том, что касается литературных правил, она всегда стремилась обходиться с литературными привычками французов как можно бережнее; характерно ее письмо от 1 августа 1802 г. к Ш. де Виллеру, где, выражая свое восхищение его книгой о Канте, она мягко выговаривает автору за то, что, разъясняя французам особенности кантовской философии, он не поберег их самолюбия, недостаточно «приспособил» свои объяснения к понятиям легкомысленных французов (см.: *Briefe*, S. 270—271).

<sup>2</sup> Сходным образом Мармонтель в «Опыте о вкусе» писал, что искусство состоит в том, чтобы не противоречить природе, но, подражая ей, улучшать и украшать ее, чтобы делать, как она, но лучше ее. Однако сама по себе ориентация на природу еще не определяла истинного лица литературной теории. Как писал В. фон Гумбольдт

в статье «Взгляд на игру французских трагических актеров» (1800), «у каждой нации своя особенная идея природы, каждая называет естественным то, что для нее наиболее легко и употребительно» (*SN*, 1800, mars, p. 389). В 1800 г. Сталь еще только шла к осознанию этой истины.

I, XIII. О ТРАГЕДИЯХ ШЕКСПИРА

<sup>1</sup> Имеются в виду «Лекции по риторике и изящной словесности» (1783, франц. пер.—1797) Х. Блера, прозванного «литературным диктатором Севера» (см.: *Оссан*, с. 463), — к концу XVIII в. одного из наиболее влиятельных английских теоретиков литературы. О возможных заимствованиях из его лекций в книге «О литературе» см. примеч. 3 и 7 к I, I; 11 к I, X; 11 к I, XI. Фонтан обвинил госпожу де Сталь едва ли не в плагиате по отношению к Блеру: «Все наиболее точные ее литературные суждения почерпнуты из «Риторики» Блера, выказавшего себя более справедливым и мудрым, чем другие английские критики, но все же в значительной мере ослепленного национальными предрассудками» (*MF*, 1800, t. 1, p. 20).

<sup>2</sup> Мысль о наличии в драматургии Шекспира «красот», перемешанных с грубыми ошибками против вкуса, была распространена в критике XVIII в., от Вольтера до Мармонтеля, вопрос был лишь в том, как тот или иной критик оценивал соотношение этих двух сторон творчества Шекспира, что считал главным — достоинства или пороки.

<sup>3</sup> См.: *Шекспир*. Король Иоанн, IV, 1.

<sup>4</sup> См.: *Шекспир*. Ричард III, IV, 3.

<sup>5</sup> По греческим преданиям, в Тенарской пещере скрывался вход в подземное царство.

<sup>6</sup> Трагедия М.-Ж. Шенье «Карл IX, или Урок королям», посвященная событиям Варфоломеевской ночи, была впервые представлена на сцене «Комеди Франсез» 4 ноября 1789 г. По силе воздействия ее сравнивали с «Женитьбой Фигаро» Бомарше; Дантон, по преданию, сказал: «„Фигаро“ убил дворянство, „Карл IX“ убьет королевскую власть».

<sup>7</sup> Понятие силы (*énergie*) пользовалось во второй половине XVIII в. огромной популярностью; самые разные мыслители, от материалиста Дидро до теософа Сен-Мартена, видели в нем свой идеал (см.: *Fabre J. Lumières et romantisme*. P., 1963, p. VIII—IX). «Привилегия сильных существ в изнеженном и порочном обществе, энергия представляла как источник возрождения» (*Gilot M., Sgard J. La vie intérieure et les mots // Prérromantisme: hypothèque ou hypothèse?* P., 1975, p. 519). Эта сила-энергия была и для госпожи де Сталь чертой крайне привлекательной; она отдает Вольтеру-драматургу предпочтение перед Расином именно благодаря наличию в нем этой силы (см. ниже, I, XX); присутствие этой неведомой французам силы она в первую очередь ценит в англичанах (этот мотив проходит через ее письма к знаменитому французскому трагическому актеру Тальма; 8 июля 1809 г.: «...это удивительное сочетание французской правильности и чужеземной силы»; 15 февраля 1810 г.: «Я часто думала о том, что в вашем таланте сочетаются черты, равно необходимые трагическому искусству: английская сила и французское художническое изящество» (цит. по: *Lippé*, p. 139).

<sup>8</sup> См.: *Шекспир*. Отелло, I, 3; пер. Б. Л. Пастернака. Лагарп не переведил «Отелло» целиком; монолог Отелло, переведенный александрийским стихом, он включил в свою статью о Шекспире (*Oeuvres de M. de La Harpe*. P., 1778, t. 1, p. 437).

<sup>9</sup> Это объяснение пороков шекспировской манеры его ориентацией на непритязательную публику неоднократно повторялось французскими авторами; см. «Обращение ко всем нациям Европы...» (1761) Вольтера, статью «Поэзия» в «Основах литературы» Мармонтеля (*Marmontel*. Т. 3, p. 167), «Литературную переписку» (1774—1789) Лагарпа (письмо CLXXXI).

<sup>10</sup> *Шекспир*. Мера за меру, I, 3. Комментарий к строкам Шекспира носит автобиографический характер: сама Сталь во время Террора помогла многим гонимым деньгами, необходимыми документами и пр. (см.: «Размышления об основных событиях Французской революции», III, 10; *Balauç*, p. 44); эти впечатления легли в основу финала романа «Дельфина».

<sup>11</sup> Ср. у Мармонтеля в статье «Иллюзия»: «В некоторых зрелищах частичная иллюзия доставляет удовольствие, полная же иллюзия была бы отвратительна, либо тягостна. <...> Я прекрасно знаю, что черни трагические представления заменяет зрелище казни на эшафоте и что целые нации забавлялись гладиаторскими боями, но для душ нежных и любвеобильных подобные впечатления слишком резки. <...> Что же до средств недозволенных, то к ним следует отнести подражание пугающе правдоподобное и вызывающее ужас. <...> Всему этому не должно быть места в искусстве, цель которого — нравиться не только черни, но и умам самым образованным, душам самым чувствительным...» (*Marmontel*. Т. 2, p. 257, 262). Такого же мнения придерживался и Бартеlemi («Путешествие юного Анахарсиса», гл. 71): «Следует оберегать зрителей от чересчур сильных и тяжелых впечатлений. <...> Избавьте меня от этих устрашающих сцен, от этих душераздирающих развязок, не оставляющих места в душе для жалости: не обгарьте сцену потоками крови. Медее не пристало убивать детей прямо на глазах зрителей, Эдипу незачем выкалывать себе глаза прямо на сцене...» (*Barthélémy J. J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du IV siècle avant l'ère vulgaire*. P., 1824, t. 6, p. 130).

<sup>12</sup> См.: *Шекспир*. Король Иоанн, IV, 1.

<sup>13</sup> В древности история царя Мелибеи Филоктета, ужаленного змеей и из-за зловония, издаваемого его раной, оставленного греками на острове Лемнос, легла в основу трагедии Софокла, а в конце XVIII в.— в основу одноименной трагедии Лагарпа (1783). Сюжет о Филоктете приводит в пример «естественного положения», обеспечивающего сильные эффекты, Дидро в «Беседах о „Побочном сыне“»: «Я никогда не устану твердить нашим французам: Правда! Природа! Древние! Софокл! Филоктет! Поэт показал его на сцене в рваных лохмотьях лежащим у входа в пещеру. Он катается по земле. Его терзает боль. Он кричит. Издает нечленораздельные звуки» (*Дидро*, с. 166).

<sup>14</sup> На трагедию Н. Роу «Леди Джейн Грей» (1715) Сталь опиралась, создавая одноименную трагедию (1787); сцену из трагедии Т. Отвея «Спасенная Венеция» (1682) герой «Коринны» лорд Нельвилл приводит как образец нежной и меланхолической английской поэзии наряду с «Ромео и Джульеттой» Шекспира и «Временами года» Томсона.

<sup>15</sup> Названы персонажи трагедии Софокла «Аякс», трагедии Эсхила «Орестея» и трагедии Еврипида «Ипполит».

<sup>16</sup> Трактовка Гамлета у госпожи де Сталь близка истолкованию, содержащемуся в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796): «Прекрасное, чистое, благородное, высоко нравственное создание, лишенное силы чувств, без коей не бывает героев, гибнет под бременем, которое ни нести, ни сбросить ему не дано; всякий долг для него свят, а этот тяжел не в меру. От него требуют невозможного, не такого, что невозможно вообще, а только лишь для него. Как ни извивается, ни мечется он, идет вперед и отступает в испуге, выслушивает напоминания и постоянно вспоминает сам, под конец теряет из виду поставленную цель, но уже никогда больше не обретает радости» (*Гете И.-В. Собр. соч.* в 10-ти т. М., 1978, т. 7, с. 199). В 1797 г. Гете прислал госпоже де Сталь свой роман; 22 апреля 1797 г. она написала ему письмо, где благодарила за подарок и сожалела, что не может прочесть роман, поскольку не знает немецкого; однако возможно, что кто-то из окружения Сталь познакомил ее с содержанием романа, и в частности с истолкованием «Гамлета».

<sup>17</sup> См. комментарий к «Гамлету» в собрании сочинений Шекспира, изданном Джонсоном в 1765 г.

#### 1. XIV. ОБ АНГЛИЙСКОМ ЮМОРЕ

<sup>1</sup> Одним из первых «открытий», поразивших тех французов, что оказались в эмиграции в Англии, было отсутствие здесь «смешанного» светского общества и обилие чисто мужских клубов. «Когда мужчины общаются только друг с другом, чуждаясь женщин, которые одни только и способны смягчать нравы, характеры делаются грубыми, а умы — беспокойными. День, когда в Париже открылся первый мужской салон, стал началом упадка монархии», — писал один из эмигрантов, драгунский полковник Даммартен (цит. по: *Baldensperger. T. 1, p. 126*). Сухость и чопорность английского света госпоже де Сталь довелось узнать на собственном опыте; во время ее пребывания в Англии в 1793 г. англичане чуждались ее общества и ей пришлось проводить время в тесном кругу французских эмигрантов в Джунипе-Хилле.

<sup>2</sup> В «Размышлениях об основных событиях Французской революции» (IV, 2) госпожа де Сталь говорит, что Конгрив рисует «картины человеческой жизни, кажущиеся пародиями ада». В оценке Конгрива она расходится с Вольтером, который в 19-м «Философском письме» отозвался о комедиях этого драматурга крайне хвалебно: «Театральные правила в них соблюдены весьма строго, характеры изображены с чрезвычайной наблюдательностью, здесь не встретишь ни одной шутки дурного тона, персонажи поступают как мошенники, но изъясняются как люди порядочные» (*Voltaire. Lettres philosophiques. P., 1964, p. 128—129*). Осуждая Конгрива за то, что он якобы извращал чистые английские нравы в своих комедиях, Сталь судит со своей буржуазно-умеренной, протестантской точки зрения, полагая, что нравы англичан всегда были столь же пуританскими, что и в ее время. Меж тем в эпоху Реставрации в Англии дело обстояло иначе и нравы аристократии были ничуть не менее вольными, чем

во Франции (см.: *Ступников И. В. // Конгрив У. Комедии. М., 1977, с. 305—315).*

<sup>3</sup> Персонажи исторической хроники Шекспира «Генрих IV» и его комедии «Виндзорские насмешницы».

<sup>4</sup> От предшественников комедиографов (Конгрив и его современники), воздерживавшихся от нравственных оценок, Шеридан отличался тем, что пьесы его непременно увенчивались наказанием порока и триумфом добродетели, и этот морализм был ближе и понятнее госпоже де Сталь.

<sup>5</sup> См. примеч. 15 к «Опыту о вымысле».

<sup>6</sup> Английские литераторы обсуждали понятие «юмор», настаивая на том, что качество это — чисто английское, с начала XVII в. (одним из первых заговорил о юморе драматург Бенджамин Джонсон). Под «юмором» данного человека англичане понимали какую-то его особенную страсть или привязанность (стерновский «конек»), выведенную в забавной форме. Обилие «юморов» у англичан английские авторы, как и госпожа де Сталь, объясняли наличием в стране свободных установлений, не стесняющих развитие характеров.

<sup>7</sup> Имеются в виду романы Т. Смолетта «Приключения Родрика Рендома» (1748) и «Приключения Перегрин Пикля» (1751).

<sup>8</sup> Ср. у Мармонталя в статье «Комедия»: «Государство, где каждый гражданин почитает за честь мыслить независимо, не могло не породить множество оригинальных характеров. Стремление не походить ни на кого из окружающих частенько приводит к тому, что люди перестают походить на самих себя и извращают свой собственный характер, лишь бы только не подчиниться характеру кого-нибудь из ближних. В такой стране объектами насмешек становятся не смешные черты, присущие многим людям, но странности отдельных людей; основной источник комического в Англии — состояние общества, которое разучилось общаться...» (*Marmontel. Т. 1, р. 315).*

1. XV. О ВОБРАЖЕНИИ АНГЛИЧАН, КАК ОНО ВЫРАЗИЛОСЬ  
В ИХ ПОЭЗИИ И РОМАНАХ

<sup>1</sup> *Вергилий. Буколики, I, 66* (у Вергилия *divisos* вместо *semotos*).

<sup>2</sup> В своем неприятии вычурного стиля госпожа де Сталь сближает самые несхожие явления: Д. Донн (XVII в.) — родоначальник метафизической школы в английской поэзии, маньерист (в Италии сходное течение представлено творчеством Дж. Марино и его последователей); Д. Чосер (XIV в.) находился под влиянием итальянской литературы в середине своего творческого пути, когда работал над поэмой «Троил и Крессида»; кроме того, у итальянца Боккаччо он заимствовал некоторые сюжеты своих «Кентерберийских рассказов» (начато в конце 80-х гг. XIV в., не завершено; изд. 1478).

<sup>3</sup> Ироикомическая поэма «Украденный локон» опубликована в 1712 г.

<sup>4</sup> См. примеч. 10 и 11 к «Опыту о вымысле».

<sup>5</sup> Басни Д. Гей, пользовавшиеся огромной популярностью, вышли в 1727—1738 гг. (т. 1—2).

<sup>6</sup> «Опыт о человеке» (1732—1734) — философская поэма А. Попа.

<sup>7</sup> *Мильтон. Потерянный рай, IV, 405—411*; пер. А. Штейнберга.

<sup>8</sup> «Элегия, сочиненная на сельском кладбище» вышла в 1751 г.

(франц. пер. госпожи Неккер — 1765), «Послание об Итонском колледже» — в 1747 г., «Покинутая деревня» — в 1770 г.

<sup>9</sup> Имеется в виду либо «Гимн в честь Святой Цецилии» (1687), написанный Драйденом к ежегодному празднеству в честь покровительницы музыки Святой Цецилии (22 ноября), либо стихотворение «Пир Александра, или Всесильность музыки», созданное к тому же празднику в 1697 г.

<sup>10</sup> См. примеч. 39 к «Опыту о вымысле».

<sup>11</sup> Первая песнь «Времен года» Томсона, «Весна», была опубликована в 1728 г.; госпожа де Сталь цитирует Томсона по дополненному изданию 1744 г. (пер. М. Гринберга). В поэме Томсона отразилась оптимистическая доктрина, согласно которой люди, живя по заповеданным Богом природным законам, обязательно должны быть счастливы и, будучи членами одной большой семьи, обязаны помогать друг другу (этот последний мотив особенно важен для госпожи де Сталь, с ее проповедью умеренности, терпимости и сострадания).

<sup>12</sup> Поэма Э. Юнга «Жалобы, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» вышла в 1742—1745 гг.; первый французский перевод первой «Ночи» был опубликован в «Журналь этранже» в феврале 1762 г., за ним последовали другие переводы отдельных «Ночей», а в 1769 г. вышел отдельной книгой перевод Летуриера. Поэзия Юнга, как и «Времена года» Томсона, пользовалась во Франции огромной популярностью (см.: *Van Tieghem P. Le préromantisme. Etudes d'histoire littéraire européenne. P., 1948, t. 2).*

<sup>13</sup> Подобный взгляд на французский язык был весьма распространенным; ср., например, у Буало в «Критических размышлениях о некоторых местах из сочинений риторика Лонгина» (1694): «...французский особенно прихотлив по части слов...<...>...есть немало... материй, где он весьма беден, и множество вещей, которые нельзя высказать благородным образом» (*Спор*, с. 307). Буало противопоставляет французскому языку греческий; но встречались в литературе и указания на чрезвычайное богатство английского языка: ср., например, в «Исторических и критических размышлениях о различных театрах Европы» актера и театрального деятеля Л. Рикобони (1738): «Про английский язык нельзя сказать, что ему хоть в какой-то мере недостает силы и красоты для выражения тех благородных чувств и тонких мыслей, которыми полны трагедии англичан» (цит. по: *Кагарлицкий Ю. И. Шекспир и Вольтер. М., 1980, с. 23).*

<sup>14</sup> См.: *Шекспир. Макбет*, III, 4.

<sup>15</sup> Реминисценция из Евангелия от Луки (7, 47).

<sup>16</sup> См. примеч. 23 к «Опыту о вымысле».

<sup>17</sup> Длинные Ричардсона раздражали многих французских читателей-литераторов (в том числе Гримма и особенно Вольтера — см., например, его письмо к маркизе дю Деффан от 12 апреля 1760 г.), однако во Франции нашлись и люди, принимавшие романы Ричардсона такими, как они есть, и объяснявшие их особенностями (как это делает и госпожа де Сталь) духом английской нации и вкусами той публики, к которой Ричардсон обращался. «Я слышал, как моего любимого автора упрекали в длиннотах,— писал Дидро,— до чего эти упреки раздражают меня! <...> Народу, поглощенному развлечениями... книги Ричардсона должны казаться растянутыми. <...> Подробности Ричардсона не нравятся и не могут понравиться человеку пустому, легкомысленному. Но не для такого человека он писал; он писал для человека спокойного и одинокого, познавшего

тщету шумного света и его забав и предпочитающего жить в сумраке уединения...» (*Дидро*, с. 303—304). Очень близки к суждениям госпожи де Сталь и мысли об английском романе, высказанные П. Шодерло де Лакло в рецензии на роман Ф. Барни «Сесилия» (1784): «Англичане, как правило, интересуются лишь людьми, которых они любят, и любят лишь тех людей, которых знают, поэтому они позволяют и даже, пожалуй, требуют, чтобы автор романа для начала познакомил их со всеми лицами, с которыми им предстоит, если можно так выразиться, прожить некоторое время бок о бок»; напротив, французов интересуют не люди, а события; не имея привычки существовать наедине с самими собой, они быстро сближаются с любыми новыми знакомцами, ждут от чтения не столько волнений, сколько развлечений, и даже в романах Ричардсона ищут прежде всего интригу (см.: *Laclos P. Oeuvres complètes. P.*, 1951, p. 528).

<sup>18</sup> См. примеч. 29 к «Опыту о вымысле».

#### І, XVI. ОБ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ И АНГЛИЙСКОМ КРАСНОРЕЧИИ

<sup>1</sup> Так называемая эпоха Реставрации (1660—1685).

<sup>2</sup> Имеется в виду борьба различных сект (квакеры, индепенденты и многие другие) с господствующей англиканской церковью в Англии и Шотландии в XVI—XVII вв.

<sup>3</sup> Д. Гаррингтон был автором социальной утопии «Республика Океания» (1656), оказавшей влияние на французских просветителей (Рейналя, Сийеса и других); О. Сидни — автор республиканских «Рассуждений о правлении» (изд. 1698; франц. пер.— 1702).

<sup>4</sup> В книге «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) Руссо отстаивал такое устройство государства, при котором законы принимаются непосредственно собранием всех граждан.

<sup>5</sup> Имеется в виду антиреволюционный политический памфлет Э. Берка «Размышления о французской революции» (1790).

<sup>6</sup> Вышедшие анонимно «Письма Юниуса» (1769—1772), предположительно написанные сторонником известного государственного деятеля У. Питта Старшего Ф. Френсисом, представляли собой политический памфлет, направленный против английского короля Георга III и его министров герцога Графтона и лорда Норта.

<sup>7</sup> Сохранилось предание о разговоре, состоявшемся у госпожи де Сталь во время ее пребывания в Англии в 1813 г. Известный английский ученый, химик и физик Х. Дэви, жаловался, что в Англии стало меньше гражданских свобод. «А свобода, с какой вы обсуждаете такие вещи даже в присутствии слуг, по-вашему, ничто?!» — с гневом воскликнула в ответ госпожа де Сталь (см.: *Pange V. de. Le rêve anglais de Madame de Staël//Madame de Staël et l'Europe. P.*, 1971, p. 174). Вообще политические установления англичан всегда представлялись госпоже де Сталь наилучшими в Европе. Сводку данных об отношении госпожи де Сталь к Англии и английской культуре см.: *Escarpit R. L'Angleterre dans l'oeuvre de Madame de Staël. P.*, 1954.

<sup>8</sup> Имеются в виду У. Питт Младший, премьер-министр Англии в 1783—1801 гг., и Ч.-Дж. Фокс, в эту пору представитель оппозиции,

известный своими симпатиями к Франции и французской революции. Фокс, которому госпожа де Сталь выражает свое сочувствие, был знаком с ней и прислушивался к ее суждениям; в своей парламентской речи 24 мая 1795 г., где он выступил за прекращение войны, которую Англия вела против Франции, он воспользовался некоторыми соображениями, высказанными ею в «Размышлениях о мире, адресованных господину Питту и французам» (1794); см.: *Balayé*, p. 61. Портреты Питта и Фокса, построенные на противопоставлении энергичической саркастичности первого и душевной чистоты и чувствительности второго, даны в «Размышлениях об основных событиях Французской революции» (III, 10).

#### І. XVII. О НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<sup>1</sup> Глава о немецкой литературе — своеобразный пролог к будущей книге «О Германии» — прозвучала на фоне тогдашних французских представлений о Германии достаточно ново. Во Франции общепринятой была точка зрения, согласно которой условия немецкой жизни (кровавые войны в прошлом, раздробленность, деспотическое правление в княжествах) не располагают к созданию произведений художественной литературы и позволяют развиваться лишь науке и философии (этой точки зрения придерживались, например, Мармонтель и Лагарп; см.: *Pange, comtesse J. de. Madame de Staël et la découverte de l'Allemagne*. P., 1929, p. 13—14). Конечно, и в XVIII в. находились отдельные пропагандисты немецкой литературы, знакомившие французов с некоторыми ее достижениями: назовем, например, Жакоба Мовийона, протестанта, эмигрировавшего в Гессен и с 1840 г. выпустившего там много работ о немецкой литературе, Гримма с его «Литературной перепиской» (1753—1790, изд. 1812—1813) и, наконец, Шарля де Виллера, статьи которого в гамбургском журнале «Спектатер дю Нор» послужили для госпожи де Сталь важным источником сведений о немецкой словесности. Тем не менее если английская литература во второй половине XVIII в. вошла во Франции в моду и ее много переводили, то по отношению к Германии французы в полной мере проявляли свое высокомерие и ничему не желали учиться у немецких писателей. Работая над книгой «О литературе», госпожа де Сталь еще не знала немецкого языка (она начала учить его лишь в 1800 г.), поэтому она либо читала немецкие сочинения в французских переводах, либо получала сведения о них от своих знакомых — сына цюрихского пастора Генриха Мейстера, Б. Констана, В. фон Гумбольдта. Многие черты немецкой литературы и немецкого образа жизни из тех, что описаны в «О литературе», присутствуют и в книге «О Германии», но если в 1800 г. многое в немецкой культуре вызывает решительное неприятие у госпожи де Сталь, то в 1810 г. она стремится рассматривать французскую и немецкую культуру как две равноправные сферы. Другие отличия двух книг связаны с тем, что в 1800 г. Сталь почти не знала немецкой философии (ниже упомянут только Кант), которой в книге 1810 г. посвящена отдельная часть.

<sup>2</sup> Иначе оценивал следствия раздробленности Ш. де Виллер; по его мнению, когда в стране нет единого центра просвещения, каким является для Франции Париж, и авторы живут в маленьких городках,



они пишут, обращаясь не к светской, но к более простой и серьезной публике и могут полностью отдаться поискам чистой идеи красоты (см. его статью «Рассуждения о современном состоянии немецкой литературы, написанное французом» в «Спектатер дю Нор» в октябре 1799 г.).

<sup>1</sup> Эту мысль (равно как и суждения о «Вертере» — см. ниже) высоко оценил В. фон Гумбольдт в письме к Гете от 30 мая 1800 г.; хотя обо всей главе в целом он отозвался не без иронии, припомнив типично французскую реакцию на немецкую литературу — вопрос из «Бесед Ариста и Евгения» отца Буура (1671): «Бывают ли немцы умны?» (см.: *Blennerhasset, lady. Madame de Staël et son temps* [1766—1817]. Р., 1890, т. 3, р. 9).

<sup>1</sup> Ср. примеч. 40 к «Опыту о вымысле». Госпожа де Сталь была преданной поклонницей творчества Гете; 28 апреля 1800 г. она писала ему: «В главе о немецкой литературе вы найдете свидетельство моего почтения, которое я хотела бы изъяслять вам в каждом из своих сочинений, ибо среди ваших многочисленных поклонников нет, я думаю, никого, кто читал бы ваши сочинения с более глубоким восхищением, чем я» (цит. по: *Pange, comtesse J. de. Op. cit.*, р. 14).

<sup>5</sup> В пристрастии госпожи де Сталь к аналитическому рассмотрению чувства различимы следы увлечения сенсуализмом Кондильяка, которое она пережила в период работы над книгой «О литературе» (см.: *Luppe R. de. Madame de Staël et "Werther"//Madame de Staël et l'Europe.* Р., 1971, р. 116).

<sup>6</sup> О недоброжелательных отзывах французской критики конца XVIII в. о «Вертере» см.: *Baldensperger F. Goethe en France.* Р., 1904, р. 9—23.

<sup>7</sup> В библиотеке замка Коппе имелась «Мессиада» в переводе Пти-Пьера (1795).

<sup>8</sup> Именно так поступила госпожа де Сталь в книге «О Германии», где подробно охарактеризовала творчество всех перечисленных авторов.

<sup>9</sup> Прозаический перевод посвященной Абадонне II песни «Мессиады», выполненный Ш. де Виллером, опубликован в «Спектатер дю Нор» за сентябрь 1799 г. Вообще Клопшток был предметом восторженного поклонения французских эмигрантов в Гамбурге (см.: *Baldensperger. Т. 1, р. 283—284*).

<sup>10</sup> В библиотеке Коппе имелось издание «Идиллий и поэм» швейцарского немецкоязычного поэта С. Геснера в переводе Юбера (1762).

<sup>11</sup> Трагедия Гете «Гец фон Берлихинген» (1773) была впервые переведена на французский язык в том же 1773 г. (перевод вышел в Гамбурге). О реакции французской критики см.: *Baldensperger F. Goethe en France*, р. 99—100. Среди немецких рыцарских романов во Франции в конце XVIII в. были особенно популярны сочинения Х.-Г. Шписса.

<sup>12</sup> «Тайная история философа Перегриня Протея» (1791) — «античный роман» Виланда, заглавный герой которого — реально существовавшее лицо, философ-киник I в. н. э.

<sup>13</sup> Эта критика в адрес немцев вызвала решительное несогласие Ш. де Виллера; 25 июня 1802 г. он писал госпоже де Сталь: «Я живу в окружении немецких литераторов, которых вы, сударыня, высказав о них множество столь выдающихся, столь истинных и столь мудрых суждений, упрекнули, однако, в недостатке вкуса. Позвольте мне

шепнуть вам на ухо, что немецкая словесность неизмеримо выше того, что именуют вкусом во Франции. Дряхлое божество наших будуаров, со своей хилой гремушкой, фижмами и париком в стиле Людовика XIV, недостойно занимать живописный немецкий Парнас. Тевтонская муза уже давно дала ему пинок, от которого оно слетело в грязь. Что же до этой музы, то она держит в руках лиру из дубового дерева, ее белокурые волосы, убранные омойей, заплетены в косы, одета она в легкие и простые одежды. И если некий бог вкуса покровительствует ей, то уж, во всяком случае, это не бог шелковых чулок и красных каблуков!» (*Briefe*, S. 267).

<sup>14</sup> Кребийон-сын был автором фривольных романов, Дора — плодотворным автором бесчисленного множества стихотворений в разных жанрах «легкой поэзии», в которых широко использовал антитезы, каламбуры, перифразы.

<sup>15</sup> Литология — наука о составе, строении, происхождении и изменении осадочных горных пород.

<sup>16</sup> Виланду принадлежат многочисленные античные романы («История абдеритов», 1774; упомянутый выше «Пereгрин Протей» и др.), «восточный» сказочный роман «Золотое зеркало» (1769) и другие дидактико-аллегорические сочинения.

<sup>17</sup> То же мнение выражено и в «О Германии» (II, 4).

<sup>18</sup> Шиллер был автором «Истории отпадения соединенных Нидерландов от испанского правления» (1788) и «Истории тридцатилетней войны» (1793; франц. пер.— 1794); И. фон Мюллеру принадлежит «История швейцарской конфедерации» (1786—1808, т. 1—5). С обоими авторами Сталь общалась во время своего пребывания в Германии.

<sup>19</sup> Канта госпожа де Сталь во время работы над книгой «О литературе» еще не читала и черпала сведения из статей Ш. де Виллера в «Спектатер дю Нор» (см., например, в мартовском номере за 1798 г. «Литературную заметку о господине Канте и состоянии метафизики в Германии в период, когда стали известны труды этого философа», а в апрельском за 1799 г. — статью о «Критике чистого разума»). О франкоязычных поклонниках творчества Канта, в том числе и о полемике с ним Б. Констан в 1797 г., см.: *Munteano B. Episodes kantiens en Suisse et en France*//RLC, 1935, t. XV, p. 387—454.

<sup>20</sup> В книге «О Германии» Сталь различает в истории французской философии XVIII в. два периода: первый, когда французские философы многое переняли у англичан, благотворный, и второй, непосредственно подготовивший революцию, разрушительный.

1, XVIII. ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИЯ  
ПРЕВОСХОДИЛА ИЗЯЩЕСТВОМ,  
ВЕСЕЛОСТЬЮ И БЕЗУПРЕЧНОСТЬЮ ВКУСА  
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ НАЦИИ

<sup>1</sup> Речь идет о романе А. д'Обиньи «Приключения барона де Фенеста» (1617—1620). Госпожа де Сталь отмечала эту особенность французов еще в книге «О влиянии страстей» (I, 3), где писала, что человек, страдающий тщеславием (а французам эта страсть не чужда), даже о степени своего горя узнает, прислушавшись не к голосу собственного сердца, а к ощущениям окружающих: чем больше их

уверенность, что он огорчен, тем больше у него становится оснований грустить.

I, XIX. О ЛИТЕРАТУРЕ ВЕКА ЛЮДОВИКА XIV

<sup>1</sup> Корнель заимствовал сюжет трагедии «Сид» (1636) из пьесы испанского драматурга Гильена де Кастро «Юность Сиды» (1618), сюжет комедии «Лжец» (1643) — из комедии Руиса де Аларкона-и-Мендосы «Сомнительная правда» (до 1619), которую ошибочно считал принадлежащей перу Лопе де Веги.

<sup>2</sup> Речь идет о гонениях на протестантов (в 1685 г. Людовик XIV отменил Нантский эдикт Генриха IV, предоставлявший французским протестантам-гугенотам свободу вероисповедания) и на янсенистов (в 1711 г. было разрушено аббатство Пор-Руаяль).

<sup>3</sup> Эпическая поэма в прозе «Приключения Телемака» была издана в 1699 г. Фенелон проповедовал в ней религиозную и политическую терпимость, осуждал войны и крайности политики абсолютизма. Хотя книга была написана для дофина, внука Людовика XIV, наставником которого Фенелон был в 1689—1695 гг., она вызвала неудовольствие короля, Фенелон впал в немилость, а тираж был арестован. Тем не менее «Приключения Телемака» немедленно переиздали в Голландии, да и во Франции продолжали выходить «пиратские» (без ведома и согласия автора) перепечатки.

<sup>4</sup> Это сравнение не в пользу авторов XVII в. вызвало «священную ярость» Шатобриана (см.: *Chateaubriand*, p. 120).

<sup>5</sup> Мысль, в афористически заостренной форме выраженная в известном речении Бюффона: «Стиль — это человек» (речь при вступлении в Академию 25 августа 1753 г.). В этой речи вообще высказано немало мыслей, которые, возможно, повлияли на воззрения госпожи де Сталь о слоге и красноречии (хотя ниже Сталь и оценивает роль Бюффона в культуре XVIII в. с некоторыми оговорками). Ср., например: «Люди хорошо говорили и хорошо писали лишь в просвещенные века. Истинное красноречие предполагает опытность таланта и образованность ума. <...> Хорошо писать — значит хорошо думать, хорошо чувствовать и хорошо изъясняться, это значит иметь ум, душу и вкус; стиль рождается лишь от соединения и упражнения всех умственных способностей» (*Un autre Buffon. Introduction et annotation de J. Roger, P., 1977, p. 155, 159*).

<sup>6</sup> Слово это является калькой с английского. Ср. аналогичные ощущения Пушкина при попытке ввести это слово в русский контекст (по предположению Ю. М. Лотмана, Пушкину источником послужил роман Булвер-Литтона «Пэлем», 1828):

...Того, что модой самовластной  
В высоком лондонском кругу  
Зовется vulgar. (Не могу...  
Люблю я очень это слово,  
Но не могу перевести;  
Оно у нас покамест ново,  
И вряд ли быть ему в чести).

(Евгений Онегин, VIII, 15—16).

<sup>7</sup> Речь идет о пьесах Расина «Ифигения» (1674) и «Береника» (1670).

<sup>8</sup> Тема веры, помогающей выстоять в борьбе с самовластием, продолженная затем самой госпожой де Сталь в «Размышлениях об основных событиях Французской революции», была затем развита представителями французского либерального католицизма (Ф.-Р. де Ламенне и другими), которые унаследовали от Сталь и другую идею, легшую в основание их доктрин, — убеждение, что религия, как и все другие сферы человеческого духа, подлежит совершенствованию и также должна меняться (см.: *Bowman*, p. 164).

I. XX. ОТ XVIII СТОЛЕТИЯ К 1789 ГОДУ

<sup>1</sup> Ср. примеч. 30 к «Предисловию к второму изданию».

<sup>2</sup> «Письма к провинциалу» (1656—1657) — памфлет Б. Паскаля против иезуитов.

<sup>3</sup> См. примеч. 5 к I, III.

<sup>4</sup> В «Духе законов» Монтескье рассматривает особенности разных типов правления — республики, монархии, деспотии, — но предпочтительнее, бесспорно, отдает конституционной монархии английского образца.

<sup>5</sup> Будучи сторонницей политического и гражданского равенства, Сталь, однако, считала абсолютное равенство и чистую демократию утопией, к воплощению которой общество XVIII в. еще не готово. Она полагала, что, лишь когда все граждане достигнут определенного уровня просвещения и образованности, они смогут участвовать в управлении государством, а до тех пор править должна интеллектуальная элита, «аристократия талантов», способная предотвратить кровавые крайности Террора.

<sup>6</sup> Этот гомеровский образ служил в XVIII в. ярким примером поэтической гиперболы; ср. в «Философском словаре» Вольтера (статья «Преувеличение»): «В „Илиаде“ стоит какому-нибудь богу шагнуть три раза, как он оказывается на другом конце света» (*Вольтер*, с. 252).

<sup>7</sup> Ср. примеч. 7 к I, XIII.

<sup>8</sup> Ср. сходные ощущения (хотя и с несколько иными мотивировками) у современника госпожи де Сталь Жозефа де Местра: «Когда я присутствую на представлении «Федры» и слышу прославленные монологи, лишь сила привычки и неподражаемое мастерство Расина удерживают меня от смеха. К чему все это нам, христианам или безбожникам XIX столетия? Ничто так не чуждо нашим нравам, нашим верованиям, в конце концов, даже нашей философии. Я слышу только великопепно переведенного Еврипида. Это анахронизм вкуса. Вольтер с его Лузиньяном <персонаж трагедии «Заира»>, хотя его прекрасные стихи и не так совершенны, как Расиновы, производит, однако, гораздо большее впечатление, ибо, будучи язычком в миру, он имел смелость быть христианином на театре» (*Barthélemy Ch. L'esprit du comte Joseph de Maistre. P., 1859, p. 174—175*; фрагмент из «Рассмотрения философии Бэкона», изд. посмертно — 1836).

<sup>9</sup> Трагедия Вольтера «Танкред» (1760) была одним из любимейших произведений госпожи де Сталь, к которому она неоднократно возвращалась; так, в книге «О влиянии страстей» (примеч. к ч. I, гл. 4) она писала: «Смотря «Федру», мы восхищаемся ее планом, смотря „Танкреда“, — ставим себя на место Аменаиды. Следственно, „Танкред“ исторгает у нас больше слез»; в «Дельфине» (II, 14) герои

присутствуют на представлении «Танкреда» и их чувства накладываются на чувства вольтеровских персонажей. Отголоски идей госпожи де Сталь различимы в статье А. де Мюссе «О трагедии» (1838): «Вольтер первый попытался создать подлинную современную трагедию, написав „Танкреда“. Он считал, что это удалось ему полностью, и не совсем ошибся» (*Мюссе А. де. Избр. произв. в 2-х т. М., 1957, т. 2, с. 591*). В «Танкреде» в самом деле многое было новаторским для своего времени: перекрестная (а не парная, как обычно в трагедии) рифма, нарушение закона о единстве места, зрелищность («Вы увидите на сцене торжественно проносимые знамена, оружие, развешанное на колоннах, процессии воинов», — писал Вольтер своему другу д'Аржанталю 19 мая 1759 г.), экзотичность сюжета (действие происходит в Сицилии XV в., где борются сарацины и норманские рыцари), повышенная эмоциональность и апелляция к зрительскому воображению (см.: *Державин К. Н. Вольтер. М., 1946, с. 366—369*).

<sup>10</sup> Рефлексия над особенностями французского стихосложения, тормозящими развитие словесности, восходит к спорам начала XVIII в. Так, горячими сторонниками прозаической формы были Фенелон и А. Удар де Ламот; первый из них писал второму 26 января 1714 г.: «Следует признать, что строгость наших правил сделала наше стихосложение почти недоступным. <...> Переложить в стихи то, что можно выразить прозой, почти невозможно» (см.: *Menant S. La Chute d'Icare. La crise de la poésie française. 1700—1750. Genève — Paris, 1981, P. 80*). К выводу о принципиальном равноправии стихов и прозы пришел в статье «Стих» Мармонтель, писавший, что автор, не обладающий стихотворческим даром, выразив в гармонической прозе все живейшее, трогательнейшее, возвышеннейшее, что только существует в природе, все равно сможет сказать о себе: «И я тоже поэт» (*Marmontel, Т. 3, р. 473*); впрочем, Мармонтель был весьма умерен в своих реформаторских предложениях и, точно так же как и госпожа де Сталь, полагал, что трагедии предпочтительнее писать все-таки стихами, а не прозой. Что касается госпожи де Сталь, то ее теоретическое обоснование большего богатства и гибкости прозаической формы имело и личную основу: хотя ее наследие включает несколько стихотворных произведений (в том числе трагедию «Джейн Грей» и «Послание к несчастью»), безусловно, ее предназначением была проза. В книге «О Германии» (II, 10) с оппозицией стих — проза соседствует другая, поэзия — проза, где проза выступает в качестве отрицательной величины — как низменная стихия насмешки, противопоставленная возвышенному созерцанию прекрасного.

<sup>11</sup> См.: *Флор. Извлечения из Тита Ливия, IV, 7* (это речение Брута вспоминает также Руссо в «Исповедании веры савойского викария»); *Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Помпей, L* (неточная цитата; сообщено М. Л. Гаспаровым); *Плиний Младший. Письма, III, 16* (см. также: *Монтень. Опыт, II, 35*).

<sup>12</sup> Королева Генриетта Мария Французская, жена английского короля Карла I, умерла 10 декабря 1669 г.

<sup>13</sup> Цитата из повести Руссо «Эмиль и Софи, или Отшельники» (1780); речь идет там не о любовнице, а об изменившей Эмилю жене.

<sup>14</sup> Ср. у Руссо в «Опыте о происхождении языков» (гл. 20) близкие соображения о том, что слово оратора должно быть делом, как это и было в древности, когда убеждение служило общественной силой; современное же красноречие, по Руссо, утратило свое значение, поскольку в современном обществе все решают пушки и шпаги.

II, II. О ВКУСЕ, СВЕТСКОСТИ НРАВОВ  
И ИХ ВЛИЯНИИ НА ЛИТЕРАТУРУ И ПОЛИТИКУ

<sup>1</sup> Имеется в виду прециозность — аристократическое направление в французской литературе и культуре XVII в., ориентированное на перифразы, игру словами и аллегории.

<sup>2</sup> В книге «О Германии» госпожа де Сталь приводит эпизод, выразительно характеризующий светское общество как царство равноправных посредственностей: «Один остроумный человек рассказывал мне, что однажды на маскараде, взглянув на себя в зеркало, кивнул сам себе головой, чтобы отличить себя от множества других гостей, одетых в точно такие же домино; то же самое можно было бы сказать об одеянии, в котором является в свете наш ум: истинный характер каждого выказывается при этом так мало, что впроку перепутать себя с окружающими» (I, 10).

<sup>3</sup> «Прощание» госпожи де Сталь с укладом жизни дореволюционной, светской Франции носит отчасти вынужденный характер и не лишено грусти; даже в книге «О Германии», противопоставляя холодности и легкомыслию французов серьезность и пылкость немцев, Сталь все-таки отмечает многие положительные черты французского ума и французского «духа светского общежития» (см. I, 11). В «Размышлениях об основных событиях Французской революции» (ч. 2, 17) Сталь высказала убеждение, что ближе всего к идеалу французское общество было в первые годы революции (1789—1791), когда сила, рожденная свободой, сочеталась с изяществом, присущим аристократии.

<sup>1</sup> Ср. у Монтескье в «Духе законов» (XIX, 16): «Учтивость важнее вежливости. Вежливость поощряет чужие пороки, а учтивость не позволяет нам обнажать наши собственные: она не что иное, как преграда, которую люди воздвигают меж собой, дабы не развращать друг друга».

II, III. О РВЕНИИ

<sup>1</sup> Сам Вольтер, по преданию, отзывался в сходных выражениях о философе Гельвеции: «Что за сумасбродство разыгрывать философа при дворе и придворного в обществе философов!» (см.: *SN*, 1799, févг. p. 236).

<sup>2</sup> Имеется в виду предотвращение Цицероном заговора Катилины.

<sup>3</sup> Имеются в виду сочинения Юлия Цезаря «Записки о Галльской войне» и «Записки о гражданской войне».

<sup>1</sup> Мысль о необходимости допускать философов к управлению государством (связанная с общей политической концепцией госпожи де Сталь о социальной миссии интеллектуальной элиты) восходит к Ж.-Ж. Руссо («Рассуждение о науках и искусствах», ч. 2): «Пусть же короли не гнушаются допускать в свои советы людей более всего способных быть для них хорошими советчиками; пусть откажутся они от этого давнего предубеждения, порожденного гордынею вельмож, что искусство править народами труднее, чем искусство их просвещать... пусть первоклассные ученые получат при дворе почетный кров; пусть они получают там единственную достойную их награду: возможность содействовать своим влиянием счастьем народов, которые они научат мудрости...» (Руссо, с. 29).

<sup>5</sup> Ф. Бэкон, канцлер Англии в 1618—1621 гг., прославился как автор многочисленных философских трудов, где разработал классификацию и методологию наук; крупный английский дипломат У. Темпл оставил различные историко-политические и моралистические сочинения, в том числе «Мемуары» (1692; франц. пер.— 1692) и «Смесь» (1680—1690; франц. пер.— 1693); канцлер Франции в 1560—1568 гг. М. Лопиталь писал стихи на столь чистой и правильной латыни, что эрудиты XVI в. приняли их поначалу за неизвестные сочинения Горация либо Ювенала; изданы посмертно в 1585 г.

<sup>6</sup> Ф. Бэкон был обвинителем на процессе против своего покровителя графа Эссекса, казненного в 1601 г. за подготовку заговора против королевы Елизаветы, а затем сочинил официальное извещение, оправдывавшее эту казнь; на посту канцлера Бэкон брал крупные взятки, за что был судим и 3 мая 1621 г. приговорен к уплате крупного штрафа и полному отстранению от политической деятельности.

<sup>7</sup> Республиканец Катон выступал против Цезаря, который, сосредоточив в своих руках ряд важнейших республиканских должностей, фактически стал монархом. Впрочем, Сталь несколько преувеличивает степень его влияния на римлян,— по свидетельству Плутарха, далеко не все прислушивались к его советам (см., например: Сравнительные жизнеописания. Катон, XLIX—LII).

## II, IV. О ЖЕНЩИНАХ, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ СЛОВЕСНОСТИ

<sup>1</sup> Роль и права женщин в обществе — проблема, волновавшая в XVIII в. многих литераторов и философов. Воспитание девиц было предметом академических конкурсов (так, академия Шалона-на-Марне в 1784 г. предложила тему «Каковы наилучшие средства усовершенствовать женское образование?»; на эту тему писал работу П. Шодерло де Лакло; Безансонская академия в 1777 г. предложила тему «Как следует воспитывать женщин, чтобы они могли облагораживать мужчин?»; на эту тему писал работу Бернарден де Сен-Пьер); в «Эскизе» Кондорсе утверждалась необходимость предоставить женщинам те же политические права, что и мужчинам. Однако на практике серьезные теории и критики относились к литературной деятельности женщин-сочинительниц либо весьма скептически, либо с унижительной снисходительностью. Кроме того, некоторые авторы (и среди них столь горячо чтимый госпожой де Сталь Жан-Жак Руссо) вообще указывали на то, что влияние женщин на общество (подразумевалось общество светское) имеет развращающий характер — см. «Письмо к Даламберу о театральных зрелищах», 1758 (см.: *Abensour L. La Femme et le féminisme avant la Révolution. P., 1923; May, p. 204—246; Реузов Б. Г. Стендаль. Художественное творчество, Л., 1978. С. 42—44).*

Г-жу де Сталь прежде всего интересовали не столько формальные политические права женщины, сколько ее общественное положение, право талантливой женщины идти своим путем, нарушая некоторые общепринятые условности (это тема обоих ее романов); иначе говоря, ее феминизм был формой индивидуализма, формой защиты индивидуальной свободы, которую она всегда горячо отстаивала. Сталь через всю свою жизнь пронесла убежденность, что в со-

временном обществе литературные занятия не приносят женщине ничего, кроме страданий, но тем не менее не могла изменить своему призванию. О том, что приходилось ей выслушивать из уст недоброжелательных критиков, может дать представление фрагмент из рецензии Фонтана: «Успехи женщин в искусстве и их счастье в семейной жизни зависят от соблюдения некоторых условностей. Но когда женщина вступает на поприще ей неподобающее, зрители, неприятно пораженные этим несоответствием, строго судят ту самую особу, которой они воздали бы должные почести, помни она о своем месте и предназначении» (*MF*, 1800, t. 1, p. 13). Об общественном климате, в котором приходилось творить госпоже де Сталь, можно судить и по такому, например, «приговору»: «Я сказал, и не отказываюсь от своих слов, что женщины, желающие подражать мужчинам, просто-напросто обезьяны, а между тем желать стать ученой — значит подражать мужчинам» (из письма Ж. де Местра дочери 11 августа 1809 г.— *Maistre J. de. Lettres et opuscules inédites*. P., 1851, p. 156—157). Тем ценнее были для госпожи де Сталь слова, которыми заключил свою рецензию на ее книгу в «Журналь де Деба» Клод Оше. «После нескольких общих замечаний,— писал он по поводу главы о женщинах-сочинительницах,— госпожа де Сталь, быть может сама того не сознавая, начинает делиться собственными впечатлениями, и ее благородная доверчивость исполнена очарования, ибо, говоря о себе, она руководствуется не гордостью или тщеславием, но глубочайшей уверенностью в том, что участь женщины-сочинительницы достойна сожаления,— ощущением, о котором она хочет предупредить, дабы уберечь от него других женщин. Она стремится доказать, что сочинительство неизбежно становится для женщины источником горечи и боли, и это памятейший из всех уроков, какие мать может преподать дочери,— в самом деле, кто осмелится вступить на это опасное литературное поприще, если такая печальная участь постигла женщину самого выдающегося ума, познаний и талантов» (*Journal des Débats*, 11 Messidor de l'an VIII, p. 4).

<sup>2</sup> «Индийская хижина» (1790) — повесть Бернардена де Сен-Пьера. В книге «О влияния страстей» (III, 3) Сталь писала: «Я беспрепятственно перечитываю некоторые страницы книги под названием «Индийская хижина»; не знаю ничего более глубокого в отношении нравственности и чувствительности, чем изображение Парии, человека из проклятого рода, оставленного целым миром...»

<sup>3</sup> Эрминия — персонаж поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», сарацинка, плененная христианами и влюбленная в рыцаря Танкреда.

## II, V. ОБ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<sup>1</sup> В книге «О Германии» Сталь пересмотрела это снисходительное отношение к Вольтеру; в 1810 г. она высказывается о Вольтере в гораздо более резких выражениях: «адская веселость... смех демона или обезьяны...» и т. д. (III, 4). С годами ироническое отношение Вольтера к некоторым религиозным устоям шокировало Сталь все больше.

<sup>2</sup> Ср. выводы Мармонтеля, относящиеся, впрочем, не к комедии, а к трагедии: «Древняя система зиждилась на местных мнениях. <...> Напротив, система страсти принадлежит всем странам и векам: человек повсюду руководствуется велениями сердца, повсюду



страдает и преступает законы по вине страстей. Наш театр — картина мира» (*Marmontel*. Т. 3, р. 392).

<sup>5</sup> Речь идет о комедии Фабра д'Эглантина «Филинт Мольера, или Продолжение Мизантропа», поставленной на сцене «Комеди Франсез» 22 февраля 1790 г. (изд. 1791). Обсуждение характера главного героя мольеровской пьесы восходит к «Письму Даламберу о театральных зрелищах» (1758) Ж.-Ж. Руссо. Руссо в этом письме осудил Мольера за то, что честного и благородного Альцеста он изобразил смешным. Даламбер возразил на это в ответном письме, Мармонтель — в статьях в «Меркюр де Франс» (ноябрь 1758 — январь 1759), впоследствии вошедших в его «Апологию театра» (1763). Пьеса Фабра д'Эглантина, напротив, воплотила в жизнь завет Руссо. Со своей стороны госпожа де Сталь, одобряя пьесу, написанную не так, как у Мольера, ничуть не отрицает величия автора «Мизантропа», она лишь ищет пути оживления его традиции в новой общественной ситуации. Такое, положительное, восприятие одновременно и Мольера и полемизирующего с ним Фабра д'Эглантина было свойственно не одной Сталь; сходные оценки есть в «Лицее» Лагарпа и в дневнике Стендаля (7 июля 1804 г.) См.: *Lippé*, p. 106.

<sup>4</sup> См.: *Горацкий*. Оды, III, 3, 1—4.

<sup>5</sup> Неодобрительное отношение к драме, «среднему» жанру, разрабатываемому сюжеты из частной жизни, пропагандистом которого был Дидро, роднит госпожу де Сталь с Мармонтелем (см. его статью «Драма»). Неприязнь к драме сохранилась у Сталь и в более поздние годы. В «О Германии» (II, 16) она писала: «Считается, что драма вызывает больший интерес, поскольку изображает то, что мы видим ежедневно; но слишком большое правдоподобие не есть цель искусства. Драма по отношению к трагедии — все равно что восковые фигуры по отношению к статуям: слишком много правды и слишком мало идеала; слишком много правды для искусства и все равно недостаточно, если сравнивать с природой».

<sup>6</sup> Дюсис был автором нескольких оригинальных пьес и многочисленных переделок Шекспира (стихотворных пьес, написанных по мотивам прозаических переводов Летуэрнера); о «Карле IX» см. примеч. 6 к I, XIII; «Бланш и Монкассен, или Венецианцы» (1798) — трагедия А.-В. Арно. Названные драматурги пытались ввести в статичную классицистическую трагедию некоторые зрительные эффекты; так, у Шенье царедворцы, преклонив колена, слушают речь кардинала Карла Лотарингского; у Арно, согласно авторской ремарке к V акту, задняя часть сцены закрыта черным занавесом, за которым по приговору инквизиции убивают главного героя, француза Монкассена, а затем занавес раздвигается и венецианка Бланш бросается на мертвое тело возлюбленного (см.: *Lippé*, p. 135).

<sup>7</sup> Представления Сталь об идеальной республиканской трагедии сформировались на основе «философских трагедий» Вольтера, для которых были характерны «широкие дискуссии по вопросам политики и морали» и «должное эмоциональное напряжение» (*Реизов*, с. 9).

<sup>8</sup> Излагая сходную мысль в книге «О Германии» (III, 6), Сталь ссылается на Канта и его «Критику способности суждения». Впрочем, творчество Канта Сталь до 1800 г. знала только по пересказам (см. примеч. 19 к I, XVII).

<sup>9</sup> *Вовенарг*. Размышления и максимы (1747, № 127).

<sup>10</sup> Трагедия М.-Ж. Шенье «Фенелон» была поставлена 9 февраля

1793 г. на сцене «Комеди Франсез», называвшегося в ту пору «Театр де ла Републик». В основу ее лег исторический анекдот, восходящий к рассказу нимского епископа Флешье: девушка по имени Элоиза против воли отца тайно обвенчалась со своим возлюбленным; отец заточил ее в монастырь в Камбре, где она родила дочку; мать оставалась в темнице, а девочка выросла в монастыре и на пятнадцатом году жизни ее захотели также постричь в монахини; узнав тайну своего рождения, она бежала из монастыря и попросила помощи у Фенелона, который только что был назначен епископом Камбре. Фенелон приказал дать свободу и матери и дочери. В 1793 г. и изображение доброго священника и прославление человека, который, повинуясь голосу милосердия, нарушает закон, было большой смелостью, поэтому пьеса вскоре после постановки была запрещена.

<sup>11</sup> Мальзерб, крупный государственный деятель царствования Людовика XVI, в 1787—1788 гг. член Королевского совета, был инициатором многих прогрессивных реформ (выступал за свободу печати и вероисповедания), покровительствовал энциклопедистам. В начале революции он эмигрировал, но вернулся во Францию, чтобы помочь Людовику XVI, и при Терроре был казнен.

<sup>12</sup> Эти перемены были подготовлены некоторыми явлениями в литературе XVIII в., прежде всего творчеством Вольтера и энциклопедистов, которые осознали, что существует герой, стоящий гораздо выше, чем доблестный полководец, бесстрашный в бою,— великий человек, который наделен нравственными совершенствами и действует ради общественного блага и счастья народов. Эта концепция особенно ярко выразилась в письме Вольтера к его другу Тирио от 15 июля 1735 г.: «Роду человеческому нет никакой пользы от сотни битв, но великие люди... готовят чистые и длительные наслаждения людям, которые еще не родились на свет. Канал, соединяющий два моря, картина Пуссена, прекрасная трагедия, научное открытие — вещи в тысячу раз более драгоценные, чем все военные донесения: вы знаете, что я ставлю великих людей на первое место, а героев — на последнее. Великими людьми я называю тех, кто превосходно владеет искусством доставлять пользу и удовольствие. Люди же, разоряющие провинции, всего-навсего герои» (цит. по: *Simon P. H. Le domaine héroïque des lettres françaises*. P., 1963, p. 244—245; v. a.: p. 238—240). Эта пропаганда созидательной деятельности и неприятие воинского духа очень близки госпоже де Сталь.

<sup>13</sup> Об оппозиции стих — проза см. примеч. 10 к I, XX. Применительно к трагедии голоса, предлагающие отменить обязательность стихотворной формы, раздавались в конце XVIII в. особенно часто: энтузиастом трагедий в прозе, построенных на смещении трагических элементов с комическими, выступал С. Мерсье (см., например, его книгу «О театре, или Новый опыт о драматическом искусстве», 1773); сходных взглядов придерживался и Ш. де Виллер. За некоторые ослабления строгих правил трагической версификации выступает в статье «Трагедия» и Мармонтель, хотя и не советует отказываться от стихотворной формы полностью.

<sup>14</sup> В «Риторике» Блера, в лекции 39, самым большим недостатком французской трагедии назван тот факт, что она написана рифмованными стихами; рифма, по мнению Блера, разрушает свободу трагического диалога. По-видимому, идеальным вариантом казались госпоже де Сталь трагедии, написанные белым стихом, наподобие английских.

<sup>15</sup> См. примеч. 4 к «Опыту о вымысле».

<sup>16</sup> Руссо. Юлия, или Новая Элоиза, ч. IV, письмо 17.

<sup>17</sup> Имеется в виду эпизод из повести Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния».

<sup>18</sup> Имеются в виду так называемые «готические романы» (принадлежащие перу А. Радклиф, М.-Г. Льюиса и их подражателей), которые были в конце XVIII в. в большой моде и на родине их авторов, в Англии, и во Франции, хотя читать их считалось «дурным тоном».

<sup>19</sup> Этот тезис был в XVIII в. достаточно распространен; подобную точку зрения высказывали такие несхожие авторы, как С. Мерсье, Лагарп, П. Шодерло де Лакло (см.: Мау, р. 217—221).

<sup>20</sup> О «Калисте» см. примеч. 38 к «Опыту о вымысле». «Клер д'Альб» (1799) — роман С. Коттен; «Адель де Сенанж» (1794) — роман А.-М.-Э. де Флао (в предисловии она отстаивала необходимость изображать в романе «мимолетные подробности, располагающиеся в промежутке между важными жизненными событиями, темные, незаметные обстоятельства, череду ежедневных обязанностей, составляющих основное содержание жизни»; цит. по: *Baldensperger. T. 1, p. 235—236*). Романы С.-Ф. де Жанлис «Адель и Теодор» (1795), «Вечера в замке» (1784), «Рыцари Лебеда» (1795), «Юные эмигранты» (1798) пользовались в конце XVIII в. большой популярностью. Называя имя госпожи де Жанлис в столь лестном контексте, госпожа де Сталь проявила характерное для нее великодушие; отношения двух сочинительниц были не слишком дружественны. Госпожа де Жанлис не пожелала отплатить госпоже де Сталь тем же и после выхода «Дельфины» написала и опубликовала злую пародию на роман.

<sup>21</sup> По замечанию исследователя, «поэзия, в которой она <госпожа де Сталь> испытывала потребность, была создана через четыре года после ее смерти автором «Поэтических размышлений», то есть Ламартином» (*Lang D. G. Madame de Staël, la vie dans l'oeuvre. P., 1924, p. 225*).

В самом деле поэзия Ламартина, меланхолическая и проникнутая философскими раздумьями, резко отличалась от французской поэзии XVIII в. определенного толка — фривольной, полной каламбуров, антитез и мифологических словесных клише. Ламартин, по словам П. А. Вяземского, «первый покорился владычеству новой музыки, так сказать музыки *внутренней*, первый стал искать вдохновений более в глубине души, нежели в зеркале внешнего мира, так сказать, более наводить зеркало души своей на окружающий ее мир, нежели повторять в нем впечатления внешние» (*Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 122*).

<sup>22</sup> Сталь излагает основную мысль труда Канта «Критика способности суждения» (1790). Об источниках ее знакомства с идеями Канта см. примеч. 19 к I, XVII. 6 февраля 1802 г. Гумбольдт писал госпоже де Сталь по поводу этого места ее книги: «Исследуя собственный внутренний мир, говорите вы, мы обнаруживаем способность, независимую от ощущений, которая для своего развития нуждается в них, но черпает свою мощь из другого источника. Не здесь ли кроется причина того, что вы подчас именуете несчастным жребием человечества? Не происходит ли это ощущение несчастья от того, что, в душе сознавая себя независимыми, мы тем не менее зависим от множества совпадений и случайностей? <...> Как бы там ни было, в этой способности, независимой от ощущений, заключается источник всех великих страстей и всех сильных поэтических

эффектов. Я восхищен, сударыня, с какой глубокой мудростью... вы с первого взгляда различили в теории Канта эту мысль» (*Deutschen Rundschau*, 1916, Bd. 169, №3, S. 435).

<sup>23</sup> Меланхолия, в понимании госпожи де Сталь, тесно связана с процессом совершенствования человеческого разума. «Меланхолия — дочь Просвещения, которое, освободив человека от предвзятых верований, оставило его наедине с самим собой» (*Lippé*, p. 156).

II, VI. О ФИЛОСОФИИ

<sup>1</sup> Мысль о необходимости применить к философии, политике, морали методы точных наук роднит Сталь с последователями сенсуалиста Кондильяка, так называемыми «идеологами» (см.: *Гуэпп*, p. 83—198).

<sup>2</sup> В период работы над книгой «О литературе» Сталь во многом разделяла позиции философов-сенсуалистов, поэтому анализ, аналитическое исследование казались ей наилучшим методом познания. Впоследствии под влиянием немецкой философии она пересмотрела свои философские взгляды, соответственно изменилось и ее отношение к анализу; в «О Германии» (III, 2) она говорит, что анализ непригоден для исследования жизни, ибо «в философии расчленять, чтобы понять, есть признак слабости».

<sup>3</sup> Госпожа де Сталь разъяснила свое отношение к философии Локка и Кондильяка, каким оно было в начале 1800-х гг., в письме к Шарлю де Виллеру от 1 августа 1802 г.: «Я нахожу, что метафизику Локка вполне возможно примирить с метафизикой Канта; Локк прекрасно понял, откуда появляются у нас идеи, Кант пытается понять, какая способность в нас помогает нам их усваивать. <...> Рассматривая то XVIII столетие, о котором рабы нынче говорят столько дурного и которое друзья свободы обязаны защищать, не следует путать философию Дидро и Гельвеция с философией Руссо, Монтескье и даже Вольтера в его лучшие годы. Одни хотели истребить страшного врага, католицизм, другие — отнять у нас первейшее из благ, религиозные идеи; те и другие действовали сообща, пока вели войну с прошлым, но придерживались совсем разных взглядов на те убеждения, какими следует заменить побежденные предрассудки. Что же до Кондильяка, он, мне кажется, превосходно рассуждал в той области метафизики, которой занимался, и, если можно так выразиться, вешал на дверь список всех идей, которые могут войти в человеческий ум, но он вовсе не интересовался той способностью, которая меняет эти идеи на свой лад...» (*Briefe*, S. 269—270).

<sup>4</sup> Имеется в виду книга Кондорсе «Опыт исследования вероятности решений, принимаемых в результате голосования» (1785), с которой Сталь познакомилась в год публикации. Кондорсе опирался на «Опыт нравственной арифметики» (1777) Бюффона, где положения теории вероятностей, получившей математическое обоснование в работах французских ученых XVII в. (Ферма, Паскаль) и развитой в трудах математиков XVIII в. (семейство швейцарских ученых Бернулли), были применены к нравственной сфере. Кондорсе широко пользуется этим методом и в своем «Эскизе». На русской почве ту же тему исчисления вероятностей в сфере морали продолжил П. Б. Козловский (хорошо знакомый с госпожой де Сталь) в статье

«О надежде», опубликованной в 1836 г. в третьем томе пушкинского «Современника».

<sup>5</sup> Шатобриан опроверг это утверждение: «В Англии Локк уже утерял свой авторитет и вовсе не пользуется влиянием. Доктрина его, из которой неоспоримо следовало, что врожденных идей не существует, весьма и весьма сомнительна, ибо не может объяснить, каким образом человек постигает хотя бы математические аксиомы,— ведь нельзя сказать, что мы воспринимаем их с помощью ощущений. Разве обоняние, вкус, осязание, слух или зрение подсказали Пифагору, что в прямоугольном треугольнике сумма катетов равна квадрату гипотенузы?» (*Chateaubriand*, р. 110). В книге «О Германии» Сталь пересмотрела свое отношение к Локку и врожденным идеям, причем подчеркнула, что вопрос о том, способна ли душа мыслить и чувствовать самостоятельно, независимо от внешних ощущений,— вопрос крайне важный. «Это вопрос Гамлета: быть или не быть» (III, 2). Что же касается учения Ньютона о цвете, то оно вскоре после появления книги «О литературе» было опровергнуто Гете: в 1810 г. вышла его «Теория цвета», полемическая по отношению к Ньютону.

<sup>6</sup> Имеется в виду подготовленный Робеспьером закон от 10 июня 1794 г., касающийся реорганизации Революционного трибунала. По этому закону следовало лишать жизни всех врагов республики, «доказательствами же, нужными для произнесения приговора, будут всякие сведения, какого бы рода они ни были, лишь бы они могли убедить разумного человека и друга свободы. Правилом при произнесении приговоров должна быть совесть судьи...» (*Кропоткин П. А. Великая Французская революция*. М., 1979, с. 430).

<sup>7</sup> См. примеч. 22 к «Введению».

<sup>8</sup> В «Размышлениях об основных событиях Французской революции» (II, 20) фраза «Нравственность в природе вещей» приписана Неккеру (он высказал ее в полемике с Мирабо, полагавшим, что цель оправдывает средства и великие задачи «большой» нравственности позволяют ему грешить в мелочах; см.: *Реизов*, с. 57). Со ссылкой на Неккера фраза о нравственности поставлена Пушкиным в эпиграф к четвертой главе «Евгения Онегина».

<sup>9</sup> Сталь полемизирует с «вульгаризаторами» кондильяковского сенсуализма Гельвецием и Гольбахом, равно как и с представителями английского утилитаризма, утверждавшими, что человек поступает нравственно, лишь если знает, что получит от этого пользу, и убежденными, что в основе морали лежит любовь к себе (главный движитель утилитаристской этики). «Мораль из корысти» отстаивали и «идеологи», однако они одновременно придавали большое значение благотворительности, полагая, что долг человека — улучшать положение своих собратьев. В противовес всем этим теориям госпожа де Сталь уже в книге «О литературе» отстаивает мысль о независимости морали от внешних ощущений; в дальнейшем под влиянием Канта эти ее убеждения углубились и окрепли.

<sup>10</sup> См.: *Сенека*. Нравственные письма к Луцилию, XLI, I (*Senèque. Oeuvres. Traduites par F. Malherbe*. P., 1659, t. 1, p. 321). Сталь любила эту мысль и повторила ее в книге «О Германии» (III, 14). Если, однако, в 1800 г. она придавала большее значение врожденной морали, то с течением времени акцент был перенесен на поиски основы морали вне человека — во внушенном свыше чувстве, именуемом религиозной верой; это — трансцендентная мораль энтузиазма,

которую и проповедует Сталь в книге «О Германии» (см.: *Bowman*, p. 160—161).

II, VII. О СЛОГЕ ЛИТЕРАТОРОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ

<sup>1</sup> Неприятие творческой манеры Мариво было у госпожи де Сталь и прежде: отсутствие имени этого крупнейшего французского романиста в «Опыте о вымысле», посвященном в первую очередь романам, говорит само за себя. По-видимому, дело в разном понимании психологизма у двух авторов: Мариво шел к слишком пристальному и «мелочному» анализу человеческой психики в ее составляющих, Сталь же в отношении психологического анализа оставалась верной традициям моралистов-классиков (Лабрюйер и прочие) и своего литературного «наставника» Мармонтеля, который дал пронизательную, но скептическую оценку Мариво, «разглядывавшего природу в микроскоп», в статье «Манерность» («*Affectation*»). См.: *Lippé*, p. 59—63.

<sup>2</sup> Диалог Монтескье «Сулла и Евкрат» (1748) был дорог госпоже де Сталь не только слогом, но и темой — обсуждением сравнительных достоинств диктатуры и свободы.

<sup>3</sup> Собор Святого Петра Сталь впервые увидела в феврале 1805 г.; эти впечатления отразились в «Коринне» (IV, 3).

<sup>4</sup> Ср. отзыв о главном труде Мальбранша, «Поиски истины» (1674), в «Похвальном слове», сочиненном после его смерти Б. Фонтенелем: «Сочинение это поразило великим искусством, с которым автор изображал в самом ярком свете отвлеченные идеи, связывал их друг с другом, усиливал с помощью этих связей, подмечал в них множество вещей менее отвлеченных, которые, будучи легче для понимания, ободрили читателя и внушали ему надежду понять также и все прочие идеи». Идеалистический рационализм Мальбранша, пытавшегося соединить картезианство с христианством, подвергался критике и со стороны ортодоксальных католиков и со стороны сенсуалистов. Пародию на этические воззрения Мальбранша Вольтер вложил в уста одного из персонажей повести «Микромегас»: «За меня все делает бог; я вижу все в нем, созерцаю все в нем, это он вершит земные дела, а я ни во что не мешаюсь» (*Вольтер. Философские повести*. М., 1978, с. 137).

<sup>5</sup> Д.-Ж. Гара в конце 1794 г. стал читать лекции о «способности суждения» в основанной в том же году *Ecole normale* — училище, где читались публичные лекции для молодых людей, намеревающихся стать педагогами. Прочтены были всего две лекции, посвященные философии Бэкона, Локка, Кондильяка; затем последовал ряд занятий, во время которых сенсуалист Гара вел дискуссию с теософом Сен-Мартеном (так называемая «битва Гара»), а затем из-за обострения политической обстановки занятия прервались. Лекции Гара были впервые опубликованы в изд.: *Séances des Ecoles normales, réunies par des sténographes et révues par les professeurs*. P., 1800, t. 1—3.

<sup>6</sup> Ривароль изложил свои философские воззрения в «Предварительном рассуждении к новому словарю французского языка» (1794), первая (и единственная написанная) часть которого именовалась «О человеке, его умственных способностях и его первых и основополагающих идеях». По теме и некоторым суждениям к книге

«О литературе» ближе эссе «Об универсальности французского языка» (1784), где Ривароль говорит о недостатке мужественной суровости, которым страдает итальянский язык, о большей важности прозы, чем поэзии, для развития любого языка, о связях духа языка с климатом и характером народа, о сравнительных достоинствах французского и английского характера, об отличительных чертах северных и южных языков и т. д. Хвалебный отзыв о Ривароле — еще одно проявление широты взглядов госпожи де Сталь; Ривароль, убежденный монархист и человек весьма язвительного нрава, относился к Сталь весьма недоброжелательно; ему, в частности, принадлежит очень резкая и злая рецензия на ее книгу «О влиянии страстей».

<sup>7</sup> Хотя по сути французский язык в эпоху революции изменился очень мало (это обстоятельство красноречиво изобразил роялист Демаре: «...язык Расина и Боссюэ... рычал в устах Дантона, вопил в устах Марата, свистел, как змея, в устах Робеспьера. Но он остался чист» — цит. по: *Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900*. P., 1924, t. VII, p. 821), все же в состав его вошло значительное число новых слов, в основном — названий политических партий и направлений, а также их сторонников. Список этих слов, как исчезнувших, так и оставшихся в языке до сегодняшнего дня, см.: *Ibid.*, p. 842—846.

<sup>8</sup> Французская академия, занимавшаяся вопросами нормализации французского языка, была распущена указом Конвента 8 августа 1793 г., а затем вошла в состав созданного в 1795 г. из пяти прежде существовавших академий Французского института. Последний дореволюционный академический словарь был выпущен в 1762 г., а затем Даламбер и Мармонтель начали работу по подготовке нового издания. Во время революции экземпляр с их пометами был объявлен государственной собственностью и Конвент постановил, что усилиями литераторов это новое издание должно быть доведено до конца. Новый академический словарь вышел в 1798 г. с приложением списка неологизмов, которые, однако, были отобраны крайне осторожно (по большей части это были не собственно новые слова, но новые употребления слов, существовавших и прежде). Книга, созданная с противоположных позиций, автором, склонным восторженно принимать все новые слова, была выпущена через год после книги «О литературе» — это была «Неология» С. Мерсье (1801).

<sup>9</sup> *Гораций*. Наука поэзии, 58—62; пер. М. Л. Гаспарова.

<sup>10</sup> Поэма Делиля «Сельский житель» вышла в свет в первой половине 1800 г. (рецензия на нее помещена в сентябрьском номере «Меркюр де Франс»).

<sup>11</sup> Любопытно, что, как ни осторожны были теоретические воззрения госпожи де Сталь в том, что касается новых слов и оборотов, современники предъявляли ей обвинения в той же немотивированной новизне, против которой она предостерегала; так, 14 июня 1794 г. госпожа де Шаррьер писала своему другу д'Олейру о юношеской повести Сталь «Зюльма», опубликованной в апреле этого года: «Ее жанр, дух, слог — порождение нынешнего дня, следствие уроков ее учителей. <...> Господин Гибер, господин де Лалли, господин де Нарбонн... все они пишут с некоторой неправильностью, дерзостью, манерностью, стремясь то озадачить вас загадками, то поразить, потрясти новыми словами или странными оборотами. <...> Хотела бы я посмотреть, что сказали бы об этих сочинениях Боссюэ

или Фенелон, если бы они воскресли и под руку им не попало никаких других книг. Я полагаю, они бы поинтересовались, на каком это языке. Я с чистым сердцем прощаю госпоже де Сталь, что она принадлежит своему веку. Но сама я не могу ему принадлежать, как не могу сделаться моложе, чем я есть. Я ненавижу эту манерность» (цит. по кн.: *Riccioli*, p. 236).

<sup>12</sup> Вашингтон умер 14 декабря 1799 г. Сталь цитирует заметку из «Журналь де Деба» от 17 плюввюза VIII года (6 февраля 1800 г.); начало фразы («Божественному провидению было угодно отнять у нас человека...») взято из речи президента Д. Адамса, конец — из постановления о почестях, которые следует отдать памяти покойного; его огласил генерал Маршалл.

<sup>13</sup> После победы в войне за независимость (1783) Вашингтон вернулся к частной жизни и занялся земледелием, однако по всеобщему настоянию принял участие в составлении американской конституции, а затем был единогласно избран первым президентом США (1789); на этом посту он находился до 1796 г., когда добровольно подал в отставку и снова уехал в свое виргинское поместье Монт-Вернон, где и скончался. Восхищение госпожи де Сталь Вашингтоном было исполнено скрытых упреков Наполеону (ср. в «Размышлениях об основных событиях Французской революции», IV, 5): Вашингтон также был полководцем, но его деятельность была направлена исключительно на охрану индивидуальной свободы соотечественников.

<sup>14</sup> Жак Неккер, отец госпожи де Сталь, был автором сочинений по вопросам финансов, политики и — в послереволюционные годы — морали. Сталь боготворила отца и отзывалась о нем неизменно восторженно; современники были иного мнения: в начале революции они много ждали от Неккера, но вскоре разочаровались в нем. во всяком случае как в практическом деятеле; человек, безусловно, порядочный, он, однако, чаще всего ограничивался полумерами и, несмотря на всю свою добрую волю, не знал способов исправить то тяжелейшее финансовое положение, в котором была Франция. Скептическое мнение современников о Неккере афористически выразил Ривароль: «Он всегда имел несчастье действовать неудовлетворительно в системе, которая никого не удовлетворяла».

## II, VIII О КРАСНОРЕЧИИ

<sup>1</sup> Мурена, консул 62 г. до н. э., был обвинен Катонем в том, что добился консульства с помощью подкупа (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Катон Младший, XXI).

<sup>2</sup> Философ-стоик Эпиктет считал, что личность может стать свободной независимо от внешних обстоятельств, путем нравственного самосовершенствования.

## II, IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<sup>1</sup> Сходная мысль о влиянии, которое оказывают на совершенствование рода человеческого тесные контакты между странами и народами, высказана в «Руинах» Вольнея (гл. 13) и в «Эскизе истори-



ческой картины прогресса человеческого разума» Кондорсе (10-я эпоха).

### НЕСКОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННОЙ ЦЕЛИ «ДЕЛЬФИНЫ»

Роман «Дельфина» был опубликован в середине декабря 1802 г. и вызвал еще больший скандал, чем книга «О литературе». Заглавная героиня его, молодая вдова Дельфина д'Альбемар,— женщина глубоко порядочная, но порывистая, восторженная, не умеющая в точности соблюдать все строгие правила света. В результате козней неверной приятельницы Дельфины, госпожи де Вернон (в образе которой современники обнаружили черты характера Талейрана), Леонс де Мондовиль, с которым Дельфину связывает глубокое взаимное чувство, женится не на ней, а на дочери госпожи де Вернон Матильде, которую, впрочем, не любит. Дельфина готова пожертвовать ради Леонса своей репутацией, но Леонс не может избавиться от власти светских предрассудков; тогда Дельфина постригается в монахини, а тем временем Матильда умирает, Леонс снова становится свободен, и Дельфина совершает еще более страшный с точки зрения общепринятой морали проступок: разрывает принесенный ею обет и бежит из монастыря. Начинается революция, сословные предрассудки велят Леонсу принять сторону аристократов-эмигрантов; революционные власти приговаривают его к смерти; Дельфина принимает яд и умирает почти одновременно с возлюбленным.

Нарекания критиков вызвал этот финал, где героиня кончает с собой (с точки зрения католической религии самоубийство греховно), кроме того, неприемлемыми оказались те общественно-политические идеи, которые были высказаны в романе: одобрение развода, симпатии к протестантизму как более свободной религии (носителем этих прогрессивных взглядов является прежде всего Анри Лебенсей, получивший образование в Кембридже, либерал, свободный от французских аристократических предрассудков; его образ можно считать столь же автобиографическим, что и фигуру заглавной героини). Выход «Дельфины» навлек на госпожу де Сталь полную немилость Наполеона, и ей было предписано удалиться из Парижа (Первый консул отозвался о романе так: «Это метафизика чувства, творение беспорядочного ума. Я не в силах больше терпеть эту женщину» — см.: *Balayé*, p. 92).

Ш. де Виллер уговаривал госпожу де Сталь не опускаться до ответов вздорным и несправедливым критикам, но она полагала, что есть такие критические отзывы, которые она не вправе обойти молчанием, в первую очередь — обвинение в безнравственности (см. ее письмо Виллеру от 3 июня 1803 г.). В этой связи она написала в 1803 г. новую развязку романа, где Дельфина умирает естественной смертью от пережитых страданий, а Леонс после этого отправляется в Вандею и там погибает в бою. Причины, по которым изменена развязка, она пояснила в коротком предуведомлении «От автора»: «Мне сказали, что революционные события в финале плохо сочетаются с выдуманными героями. Мне сказали, что развязка не вытекает из характеров, что она лишает «Дельфину», в которой все события являются не простыми случайностями, но следствиями чувств, ее главного достоинства». Тогда же, в 1803 г., была создана статья «О нравственной цели „Дельфины“».

Однако, хотя «Дельфина» дважды (1803 и 1809) переиздавалась при жизни Сталь, писательница не сочла нужным менять развязку и обнародовать статью о романе. Оба текста были впервые опубликованы ее сыном, Огюстом де Сталем, в 1820 г., в томах 5 (статья) и 7 (развязка) полного собрания сочинений.

Перевод выполнен по изд.: *Oeuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein*. P., 1844, t. 1, p. 646—653.

<sup>1</sup> См.: *Ларошфуко*. Максимы, 218.

<sup>2</sup> «Мужчина должен пренебрегать общественным мнением, женщина — подчиняться ему» (из книги «Избранные отрывки из сочинения госпожи Неккер»; эта книга была выпущена Неккером после смерти жены, в 1798 г.).

<sup>3</sup> *Вергилий*. Энеида, VI, 53; пер. С. Ошерова.

<sup>4</sup> Эти размышления о разнице женского и мужского отношения к любви, о большей зависимости мужчины от общественного мнения важны для понимания следующего романа Сталь, «Коринна», и создававшего в те же годы романа Б. Констана «Адольф» (об опыте долгой совместной жизни двух писателей как источнике этих двух романов см.: *Balaué*, p. 148—149).

<sup>5</sup> См.: *Тибулл*. Элегии, I, 59.

<sup>6</sup> Госпожа де Серлеб (см. ч. 5, письмо 17), прототипом которой была дочь швейцарского естествоиспытателя Галлера, — женщина, вышедшая замуж без пылкой любви, но честно исполняющая свой долг и отдающая все силы души воспитанию детей, а потому счастливая. Мадемуазель д'Альбемар — сестра покойного мужа Дельфины, главный адресат писем заглавной героини, дающая ей добрые и мудрые советы. Слепец господин де Бельмон и его преданная жена (ч. 3, письмо 18) самоотверженно любят друг друга и не ропщут на посланные им испытания.

<sup>7</sup> Госпожа де Сталь в течение всей своей жизни напряженно размышляла о феномене добровольного ухода из жизни. В первой своей книге, посвященной Ж.-Ж. Руссо, она одобрительно отозвалась о его поступке (в XVIII в. была распространена апокрифическая версия о добровольном уходе Руссо из жизни); героини ее ранних повестей также уходят из жизни добровольно; в книге «О влиянии страстей» Сталь оправдывает самоубийство, противореча при этом столь почитаемым ею просветителям XVIII в., которые, исходя из своего оптимистического видения мира, самоубийство отвергали. В 1812 г. под влиянием самоубийства немецкого поэта Г. Клейста и тяжелых обстоятельств собственной жизни Сталь пишет работу «О самоубийстве» (изд. 1813), где, хотя в принципе отвергает такой исход, тем не менее делает попытку оправдать не прямые формы добровольного ухода из жизни, — например, самопожертвование ради ближних или отечества (см.: *Bédé J. A. Madame de Staël, Rousseau et le suicide // Revue d'histoire littéraire de la France*, 1966, № 1, p. 52—70). В то же время знакомство с немецкой философией приводит Сталь к убеждению, что человек должен жить, страдая (поскольку счастье не есть цель его жизни) и преодолевая страдание с помощью меланхолических чувствований и нравственного самоусовершенствования; большую роль в этом процессе играют литература и философия, исполненные меланхолии; литература, таким образом, давая выход мрачным чувствам и даря утешение, предстает как некоторая замена самоубийства. Французский исследователь Ж. Старобински обращает в связи с этим внимание на сходство двух формулировок: Сталь определяет самоубийство как

«кровавый траур по счастью», а славу — как «блистательный траур по счастью» (см.: *Starobinski J. Suicide et mélancolie chez Madame de Staël/Madame de Staël et l'Europe. P., 1971, p. 251; Balayé, p. 207—208).*

<sup>8</sup> См. примеч. 20 к «Введению».

<sup>9</sup> См. примеч. 11 к I, XX.

<sup>10</sup> О максимах см. в «Опыте о вымысле» (с. 53), об отношении Сталь к морализаторству в литературе см. примеч. 26 к «Опыту о вымысле». Чем старше становилась Сталь, тем более критично воспринимала она дидактизм в изящной словесности (большую роль в этом процессе сыграло знакомство с немецкой философией и эстетикой, прежде всего с работами Канта и Шиллера); во время своего пребывания в Веймаре в декабре 1803 — марте 1804 г. Сталь записала на полях книги о Канте, которую читала: «Нравственная цель „Дельфины“ слишком заметна: человеческая жизнь не имеет очевидной цели» (цит. по: *Balayé, p. 154—155).*

## О ДУХЕ ПЕРЕВОДОВ

Впервые — в январском номере миланского журнала «Библиотека итальяна» за 1816 г., в переводе на итальянский Пьетро Джордани, под названием «*Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni*» («О характере и пользе переводов»). «Библиотека итальяна» была создана по инициативе австрийского губернатора Ломбардии графа Соро; ставленником австрийцев был и ее редактор Джузеппе Ачерби. Публикация в журнале работы именно госпожи де Сталь была сознательной акцией — таким образом австрийские власти рассчитывали завоевать симпатии итальянской интеллигенции: у госпожи де Сталь была репутация сочинительницы либеральной, жертвы Наполеона (австрийцы хорошо помнили о свободолюбии Сталь, поэтому, хотя внешне ей был оказан в Милане весьма торжественный прием, она находилась под тайным надзором полиции). С другой стороны, австрийцам импонировало критическое отношение Сталь к современному состоянию итальянской культуры, которое выразилось в статье. Австрийцы вкладывали в предпочтение, которое Сталь отдавала немецкой философии и культуре, политический смысл; губернатор Соро после публикации статьи о переводах гордо доносил Меттерниху, что ему удалось «спровоцировать» Сталь на то, чтобы превознести все немецкое и тем самым оправдать австрийское владычество, от чего Сталь, разумеется, была крайне далека (см.: *Balayé, p. 224).* На самом деле, указывая на слабости итальянской словесности и предлагая итальянцам расширить их общественно-политические и философские познания за счет обращения к литературе других европейских народов, Сталь вовсе не хотела оскорбить итальянское национальное достоинство; как известно, сходные советы она давала и своим соотечественникам — французам. Более того, в статье она изъясняется еще достаточно мягко; запись в путевом дневнике, который она вела во время своей второй поездки в Италию, начавшейся в конце 1815 г., гораздо резче: «Итальянцев несравненно больше заботит красота их страны, чем ее достоинство; они приходят в ярость, если кто-то

осмеливается критически отозваться об их литературе и искусстве, что же касается разговоров об Италии как стране, которой суждено пребывать в рабстве, под чужим владычеством, то их они выслушивают совершенно равнодушно (цит. по: *Pange*, p. 218).

Однако даже несмотря на сравнительную сдержанность статьи Сталь, она вызвала в итальянских литературных кругах подлинный скандал. Литературные консерваторы — классики оскорбились пренебрежением к итальянским традициям. Статьи, опровергающие работу Сталь и полные оскорбительных намеков на ее личную жизнь, на ее взаимоотношения с А.-В. Шлегелем и Б. Констаном, появились в флорентийском журнале «Новелле литтерарие» (перепечатана с добавлением в миланском «Спеттаторе» в апреле 1816 г.) и в журнале «Коррьере делле Даме» (19 мая и 1 июня; эта статья, подписанная инициалами Т. К., принадлежала некому Труссардо Калеппо, полицейскому, увлекающемуся литературой). Со своей стороны итальянцы, мыслившие более широко и не отвергавшие новые веяния, выступили на защиту госпожи де Сталь и ее концепции. Наибольший интерес представляют три работы: брошюра Лодовико ди Бреме «О несправедливости некоторых итальянских литературных суждений», вышедшая в первой половине июня 1816 г. (см.: *I manifesti romantici del 1816*. Torino, 1968, p. 81; *Реизов Б.* Эстетика Leopardi // Leopardi Д. Этика и эстетика. М., 1978, с. 10—11); брошюра Пьетро Борсьери «Литературные приключения одного дня» (вышла в свет в сентябре 1816 г.) и брошюра Джованни Берше «О „Диком охотнике“ и „Леноре“ Готфрида Августа Бюргера. Полусерьезное письмо Златоуста сыну» (вышла в декабре 1816 г.; рус. пер. см. в: *Романтизм глазами итальянских писателей*. М., 1984, с. 23—59). Все три автора поддержали, хотя и с некоторыми более или менее существенными оговорками, основную мысль госпожи де Сталь о том, что итальянская литература нуждается в обновлении, хотя все сошлись на том, что источником этого обновления должны быть в первую очередь национальные, а не иноземные традиции. Более дальним отзвуком статьи Сталь явилось «Рассуждение итальянца о романтической поэзии», написанное в 1818 г. Джакомо Leopardi (изд. 1906; рус. пер. см. в: *Leopardi Д.* Этика и эстетика, с. 231—308), который выступил в защиту античной поэзии в ее исконном, не искаженном классицистическими условностями виде.

Таким образом, небольшая по объему статья Сталь сыграла важнейшую роль в истории итальянской литературы первой четверти XIX в.

Споры вокруг статьи Сталь были особенно ожесточенными, поскольку касались вопроса о том, что считать подлинным патриотизмом, бездумное восхваление собственной страны или строгую и серьезную оценку ее достоинств и недостатков,— вопроса, который в первой трети XIX в. звучал крайне болезненно не только для итальянцев (вспомним хотя бы сочинения и судьбу П. Я. Чаадаева).

Перевод выполнен по изд.: *Oeuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein*. P., 1844, t. 2, p. 294—297 (перевод на итальянский, по-видимому, делался не по этому варианту, традиционно печатаемому в собраниях сочинений госпожи де Сталь, а по варианту чуть иному, ибо между ними существуют незначительные разночтения; см.: *Pange*, p. 220).

<sup>1</sup> Перевод «Георгик» Вергилия, принесший Делилю большую известность, вышел в 1769 г.

<sup>2</sup> Поп переведил Гомера рифмованным пятистопным ямбом; «Илиада» в его переводе опубликована в 1715—1720 гг., «Одиссея» — в 1725—1726 гг.

<sup>3</sup> Идея о коллективном авторстве поэм Гомера, восходящая к сочинениям француза аббата д'Обиньяка и итальянца Дж. Вико, была развита особенно подробно в труде Ф.-А. Вольфа, «Прологомены к Гомеру» (1795; ссылку на этого автора см. в: «О Германии», III, 9). Об этой концепции напомнил госпоже де Сталь К. Форель в рецензии на ее книгу «О литературе»: «Госпожа де Сталь безоговорочно соглашается с тем, что эти поэмы («Илиада» и «Одиссея») написаны одним и тем же лицом, жившим раньше всех других греческих поэтов. Эта точка зрения была не раз оспорена, и одно из соображений, подсказывающих, что подобные сомнения имеют основания, заключается в том, что она вступает в противоречие с многими бесспорными фактами из истории человеческих познаний» (цит. по: *Sainte-Beuve Ch. A. Oeuvres. P., 1960, t. 2, p. 1086*).

<sup>4</sup> Ср. примеч. 7 к «О литературе», I, I.

<sup>5</sup> Сталь повторяет мнение о переводе Фосса, высказанное ею в «О Германии» (II, 12). В библиотеке замка Коппе имелось издание «Илиады» и «Одиссеи» в переводе Фосса 1806 г. (впервые они были опубликованы соответственно в 1793 и 1781 гг.).

<sup>6</sup> «Илиада» в переводе В. Монти, с которым Сталь тесно общалась во время своего пребывания в Италии в 1805 г., вышла в 1807—1810 гг. Похвалы в адрес Монти, бывшего в период владычества французов в Италии сторонником наполеоновского режима, вызвали протест итальянского романтика Уго Фосколо, подвергшего статью Сталь резкой критике в 1817 г. (см.: *Gennari*, p. 209—210).

<sup>7</sup> Переводы Шекспира (белым пятистопным ямбом и, в отдельных сценах, прозой), выполненные А.-В. Шлегелем и Л. Тиком, выходили в 1797—1810 гг. По сравнению с теми оценками, которые даны Шекспиру в книге «О литературе», отношение к нему госпожи де Сталь сделалось гораздо более восторженным; большую роль в этом процессе сыграло знакомство с немецким театром.

<sup>8</sup> «Гофолия» (1691) — трагедия Ж. Расина.

<sup>9</sup> В рукописном тексте статьи далее следовал финальный абзац, исключенный из гранок публикации в «Библиотека итальяна» и не вошедший также в печатный французский текст. Этот фрагмент является реакцией Сталь на речь губернатора Соро, о которой в «Путевых заметках» сказано: «На площади в парадных мундирах стояли австрийские войска. Чтобы попасть в церковь, нам пришлось пройти меж двух рядов солдат, которые были почти так же неподвижны, как и колонны храма... Никогда еще народ не был так похож на рабов, которые собрались, чтобы поглазеть на своих хозяев... После службы мы отправились слушать речь губернатора о промышленных премиях. Есть нечто бесстыдное в том, чтобы вот так призывать итальянцев к труду и развитию промышленности, отказывая им в политических правах» (цит. по: *Pange*, p. 217). Не вошедший в статью фрагмент гласил: «Нынешнее правительство убеждено в необходимости поощрять занятия литературой, изящными искусствами и науками. Граф Соро сказал в публичном выступлении, что власти обязаны побуждать человеческий ум двигаться вперед на поприще мысли. Эти достойные уважения слова следует сохранить в памяти. Следует записать их и почаще повторять. Полководец, который, подобно своим собратьям в славе, мог бы помышлять лишь

о том, как повелевать и добиваться послушания, превосходный военачальник маршал граф де Беллегард, занявшись государственными делами, доказал, что он чтит мирные искусства и видит в победе не что иное, как средство обеспечить народам покой. Да воспользуются же итальянцы этим счастливым стечением обстоятельств. Не следует допускать, чтобы эта прекрасная страна пришла в упадок в какой бы то ни было области. Она должна и впредь привлекать внимание Европы своими прославленными талантами, своими успехами на том единственном поприще, что открыто нациям раздробленным, — на поприще наук, словесности и изящных искусств» (впервые опубликовано в ст.: *Pange*, p. 220).

### ПИСЬМО РЕДАКТОРАМ «БИБЛИОТЕКА ИТАЛЬЯНА»

Пораженная обвинениями, высказанными в адрес ее первой «итальянской статьи», госпожа де Сталь, побуждаемая к этому настоятельными просьбами Л. ди Бреме, решила ответить своим критикам и еще раз пояснить свою позицию. Ее письмо было опубликовано в июньском номере «Библиотека итальяна». Больше Сталь, убедившаяся в проавстрийской направленности журнала, не имела с ним дела.

Перевод выполнен по французскому тексту, опубликованному в ст.: *Pange*, p. 221—224.

Итальянскую публикацию письма предваряла заметка «От редакции» (по мнению К. Калькатерры, принадлежащая перу Д. Ачерби; см.: *I Manifesti romantici del 1816*. Torino, 1968, p. 81): «Это письмо (которое, согласно желанию знаменитой сочинительницы, мы переводим слово в слово) вызовет нарекания. Но это не дает нам основания отказать от нашего первоначального решения, состоявшего в том, чтобы предоставлять на страницах нашего журнала право голоса авторам, исповедующим мнения, отличные от наших. Мы чтим отечество не меньше любого другого итальянца, но полагаем, что принесем ему больше пользы, указывая на его недостатки, нежели преувеличенно расхваливая его достоинства. Мы полагаем, что итальянцам следует знать, какого мнения о них иностранцы, пусть даже мнение это расходится с их собственными патриотическими чувствами... Впрочем, мы далеки от мысли, что «Письмо» госпожи де Сталь содержит мысли бесспорные. Мы надеемся, что найдется итальянец, который ответит ей, и охотно воспроизведем его ответ на страницах нашего журнала слово в слово» (*Pange*, p. 221).

<sup>1</sup> Эта статья под названием «О рассуждении госпожи де Сталь. Письмо итальянца — издателя „Библиотека итальяна“» была опубликована анонимно; автором ее был переводчик статьи Сталь — Пьетро Джордани (см.: *I Manifesti romantici del 1816*. p. 81).

<sup>2</sup> Очевидно, имеется в виду брошюра Л. ди Бреме «О несправедливости некоторых итальянских литературных суждений». Редакция исключила из печатного текста слова «с присущим ему умом

и силой», и оскорбленный этим демонстративным проявлением неуважения к нему Л. ди Бреме, познакомившийся с текстом статьи Сталь в рукописи, написал редактору журнала Д. Ачерби негодующее письмо (см.: *Breme L. di. Lettere. Torino, 1966, p. 337—339*; письмо от 4 июля 1816 г.).

<sup>3</sup> Трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» была опубликована в переводе М. Леони в 1814 г., «Макбет», «Юлий Цезарь» и «Ричард III» — в 1815 г. «Потерянный рай» Мильтона и «Избранные английские стихотворения» вышли уже после статьи Сталь — в 1817 и 1818 гг.

<sup>4</sup> Абзац, начинающийся этой фразой, не был опубликован в итальянском переводе; впервые обнародован в статье госпожи де Панж. Речь в нем идет о главе книги «О Германии», посвященной Канту (III, 9).

<sup>5</sup> Имеется в виду книга «Философия Канта, или Фундаментальные основания трансцендентальной философии» (1801, ч. 1—2).

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель включены имена лиц, упомянутых в тексте Жермены де Сталь и в примечаниях. Страницы примечаний отмечены курсивом. Имена литературных персонажей и авторов, фигурирующих в библиографических сведениях, в указатель не вошли. Общеизвестные имена не аннотируются.

- Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ и теолог 56, 400.  
Август Октавиан (63 до н. э.— 14 н. э.) — римский император с 27 г. н. э. 122, 126, 131, 133, 135, 136, 139, 140, 142—144, 423, 424.  
Аврелий Марк (121—180) — римский император со 161 г., философ-стоик 143, 161, 290.  
Адамс Джон (1735—1826) — американский государственный деятель. второй президент США 455.  
Аддисон Джозеф (1672—1719) — английский литератор и журналист 53, 60, 82, 204, 224, 382, 399, 407, 414.  
Акций Луций (170 — ок. 85 до н. э.) — римский трагический поэт 124, 126, 133, 423.  
Александр Македонский (356—323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г. до н. э. 76, 90, 114.  
Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — древнегреческий полководец и политический деятель 121, 420.  
Альбин Авл Постумий — консул 151 г. до н. э., римский историк, автор истории Рима на греческом языке 125.  
Альфьери Витторио, граф (1749—1803) — итальянский драматург и поэт 183, 429.  
Аммиан Марцеллин (ок. 330 — ок. 400) — римский историк 141, 424.  
Анакреон (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт 58, 62, 96.  
Антонины — династия римских императоров, правившая в 96—192 гг.— 122, 142, 420.  
Апеллес (2-я пол. IV в. до н. э.) — древнегреческий художник 45.  
Аппий Клавдий Слепой — консул 307 и 296 г. до н. э., римский государственный деятель 125, 422.  
Аржанталь Шарль Огюстен де Ферриоль, граф д' (1700—1788) — французский государственный деятель, друг Вольтера 444.  
Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт 40, 171, 175, 177, 178, 212, 213, 391, 428.  
Аристотель (384—322 до н. э.) 95, 114, 117, 118, 419.  
Аристофан (ок. 445— ок. 385 до н. э.) 110—112, 127, 418.  
Арно Антуан Венсан (1766—1834) — французский драматург 313, 448.  
Аррия Старшая, жена Цецины Пета 261, 383.  
Артаксеркс I Длиннорукий — персидский царь в 465—424 гг. до н. э. 420.  
Артаксеркс II Памятливый — внук Артаксеркса I, персидский царь в 404—358 гг. до н. э. 420.  
Аспазия (ок. 470 до н. э.— ?) — гетера в Афинах, знаменитая умом и образованностью, возлюбленная Перикла 116, 131, 422.  
Аттик Тит Цецилий (109—32 до н. э.) — богатый римский всадник, друг Цицерона 133, 143, 423, 424.  
Ачерби Джузеппе (1773—1846) — итальянский литератор 458, 461, 462.



- Барант Проспер де (1782—1866) — французский историк и литератор 404.
- Барни Фанни (1752—1840) — английская писательница 54, 400, 438.
- Баррас Поль, виконт де (1755—1829) — французский политический деятель, член Директории 409.
- Бартеlemi Жан Жак (1716—1795) — французский писатель и филолог 108, 416, 417, 419, 434.
- Батлер Сэмюэл (1612—1680) — английский писатель 43—44, 213, 397.
- Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) 430.
- Бэйль Пьер (1647—1706) — французский философ и литератор 140, 423.
- Беккариа Чезаре (1738—1794) — итальянский юрист 182, 429.
- Беллегард Анри де (ок. 1755—1831) — австрийский военачальник французского происхождения, управляющий австрийскими владениями в Италии в 1814—1815 гг. 461.
- Берк Эдмунд (1729—1797) — английский политический деятель и литератор 225, 438.
- Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737—1814) — французский писатель 54, 296, 319, 400, 446, 447, 450.
- Бернулли — швейцарские математики XVII—XVIII вв. 451.
- Берше Джованни (1783—1851) — итальянский литератор 459.
- Беттинелли Саверио (1718—1808) — итальянский литератор 429.
- Блер Хью (1718—1800) — английский теолог и историк литературы 195, 407, 415, 427, 428, 430—432, 449.
- Боккаччо Джованни (1313—1375) — итальянский писатель 179, 436.
- Болингброк Генри Сент Джон, 1-й виконт (1678—1751) — английский политический деятель и писатель 224.
- Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732—1799) 433.
- Борсьери Пьетро (1788—1852) — итальянский литератор 459.
- Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский проповедник и теолог 59, 102, 140, 166, 250, 254, 260, 261, 340, 407, 416, 454.
- Боярдо Маттео Мария (ок. 1441—1494) — итальянский поэт 177, 428.
- Браги Боддасон — древнейший полулегендарный скандинавский скальд 430.
- Бреме Лодовико ди (1781—1820) — итальянский литератор 392, 459, 461, 462.
- Брут Децим Юний — консул 138 г. до н. э., римский государственный деятель 133, 423.
- Брут Луций Юний (VI в. до н. э.) — полулегендарный римский герой, свергнувший власть римских царей, первый римский консул 133, 423.
- Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский оратор и политический деятель, зять Катона Младшего, вождь заговора против Цезаря 82, 130, 131, 135, 261, 289, 414, 423, 444.
- Брюма Пьер (1688—1742) — французский литератор, переводчик с древнегреческого 416.
- Буало-Депрео Никола (1636—1711) 407, 437.
- Булвер-Литтон Эдуард Джордж (1803—1873) — английский писатель 442.
- Буленвилье Анри де, граф де Сен-Сер (1658—1722) — французский литератор и государственный деятель 426.
- Буур Доминик (1628—1702) — французский грамматик и литературный критик 440.
- Бэкон Френсис (1561—1626) — английский философ и государственный деятель 161, 162, 220, 290, 446, 453.
- Бюргер Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт 459.

Бюффон Жорж Луи Леклерк, граф де (1707—1788) — французский естествоиспытатель 262, 442, 451.

Вашингтон Джордж (1732—1799) — американский государственный деятель, первый президент США 346, 455.

Веллей Патеркул (ок. 19 до н. э.— ок. 31 н. э.) — римский историк 141, 424.

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) 37, 39, 62, 122, 124, 133, 136—139, 161, 212, 318, 372, 385, 386, 396, 402, 408, 421, 423, 431, 459.

Ветштейн Иоганн Генрих (1649—1726) — амстердамский типограф 431.

Вико Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский философ 460.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель 233, 235, 238, 440, 441.

Виллар Луи Гектор, герцог де (1653—1734) — маршал Франции 411.

Виллер Шарль де (1765—1815) — французский литератор 394, 399, 404, 405, 432, 439—441, 449, 451, 456.

Вовенарг Люк де Клапье, маркиз де (1715—1747) — французский моралист 314.

Вольней Константен Франсуа де Шасбеф, граф де (1757—1820) — французский философ и литератор 57, 406, 455.

Вольта Алессандро, граф (1745—1827) — итальянский физик 391, 427.

Вольтер (наст. имя и фам. Франсуа-Мари Аруэ; 1694—1778) 42, 44, 45, 47, 58, 60, 62, 63, 66, 108, 139, 181, 205, 209, 213, 238, 250, 255—260, 263, 288, 305, 307, 308, 380, 397, 406, 407, 410, 414, 417, 418, 424, 426, 428, 429, 432—435, 437, 443—445, 447—449, 453.

Вольф Фридрих Август (1759—1824) — немецкий филолог 460.

Вуазенон Клод де Фюзе, аббат де (1708—1775) — французский литератор 398.

Вуд Роберт (1717—1771) — английский филолог 415.

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — русский писатель 450.

Галилей Галилео (1564—1642) 161, 171, 394.

Галлер Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский естествоиспытатель и литератор 457.

Гальвани Луиджи (1737—1798) — итальянский врач и физик 427.

Гара Доминик Жозеф (1749—1833) — французский философ, публицист, политический деятель 340, 453.

Гаррингтон Джеймс (1611—1677) — английский философ и социолог 221, 438.

Гварини Джамбаттиста (1538—1612) — итальянский поэт 178, 428.

Гвиччардини Франческо (1483—1540) — итальянский историк и философ 173.

Гей Джон (1685—1732) — английский писатель 213, 436.

Гельвеций Клод Адриен (1715—1771) — французский философ 445, 451, 452.

Генриетта Анна Английская, герцогиня Орлеанская (1644—1670) — дочь английского короля Карла I, жена Филиппа, герцога Орлеанского, брата Людовика XIV, 59, 407.

Генриетта Мария Французская (1609—1669) — английская королева, жена Карла I, дочь французского короля Генриха IV 261, 444.

Генрих IV (1553—1610) — французский король с 1589 г. 442.

Георг III (1738—1820) — английский король с 1760 г. 225, 438.

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ 429.

Германик Юлий Цезарь (15 до н. э.— 19 н. э.) — приемный сын и предпологавшийся наследник императора Тиберия, римский полководец 50.

- Гермодор (V в. до н. э.) — древнегреческий правовед 421.  
Геродот (между 490 и 480 — ок. 426 до н. э.) 95, 422.  
Гесиод (VIII—VII до н. э.) 95.  
Геснер Соломон (1730—1787) — швейцарский поэт 234, 440.  
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) 56, 62, 140, 191, 231—233, 235, 400, 435, 440, 452.  
Гибер Жак Антуан Ипполит, граф де (1743—1790) — французский литератор и теоретик военного искусства 131, 422, 454.  
Гийераг Габриэль де Лавернь, сьер де (1628—1685) — французский писатель 56, 400.  
Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ 222.  
Годвин Уильям (1756—1836) — английский философ и писатель 53, 63, 398, 410.  
Голдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель 214.  
Гольбах Поль Анри, барон де (1723—1789) — французский литератор 452.  
Гольдони Карло (1707—1793) — итальянский драматург 182.  
Гомер 37—39, 58, 62, 67, 90—97, 107, 125—126, 185, 186, 189, 265, 386—388, 393, 396, 402, 415, 416, 422, 431, 460.  
Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н. э.) 96, 122, 124, 132, 133, 137, 142, 311, 342, 380, 385, 422—423, 446.  
Грахх Гай Семпроний (154—121 до н. э.) — римский трибун 125, 131, 422.  
Грахх Тиберий Семпроний (168—133 до н. э.) — брат Гая Грахха, римский трибун, 125, 131, 422.  
Графтон Август Генри Фицрой, 3-й герцог (1735—1811) — премьер-министр Великобритании в 1768—1770 гг. 225, 438.  
Грей Томас (1716—1771) — английский поэт 58, 60, 214.  
Гримм Мельхиор, барон фон (1723—1807) — французский литературный критик 400, 437.  
Гумбольдт Вильгельм фон (1767—1835) — немецкий филолог и философ 403, 428, 432, 439, 440, 450.  
Даламбер Жан Лерон (1717—1783) 446, 448, 454.  
Даммартен — французский военный, эмигрант 435.  
Данте Алигьери (1265—1321) 39, 75, 181, 391, 412, 429.  
Дантон Жорж Жак (1759—1794) 433, 454.  
Дасье (урожд. Лефевр) Анна (1647—1720) — французская переводчица античных авторов 415, 423.  
Деви Хамфри (1778—1829) — английский химик и физик 438.  
Декарт Рене (1596—1650) 140, 325.  
Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт 60, 319, 342—343, 386, 408, 454, 459.  
Демаре Сиприен — французский литератор первой трети XIX в. 454.  
Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) 113, 120, 135, 226, 354, 423.  
Денина Карло (1731—1813) — итальянский литератор 402, 425.  
Деффан Мари, маркиза дю (1697—1780) — хозяйка парижского литературного салона 437.  
Джонсон Бенджамин (1572—1637) — английский драматург 436.  
Джонсон Сэмюэл (1709—1784) — английский литературный критик 204, 435.  
Джордани Пьетро (1774—1848) — итальянский литератор 390, 458, 461.  
Дидро Дени (1713—1784) — 399, 433, 434, 437, 448, 451.  
Диоген Вавилонский (ок. 240 до н. э. — ?) — древнегреческий философ

стоик, участник афинского посольства в Рим в 155 г. до н. э. 125, 422.  
Диоген Синопский (413—327 до н. э.) — древнегреческий философ-киник 128, 168, 422.

Домициан Тит Флавий (51—96) — римский император с 81 г. 424.

Донн Джон (1572—1631) — английский поэт 213, 436.

Дора Клод Жозеф (1734—1780) — французский поэт 237.

Драйден Джон (1631—1700) — английский поэт, драматург, критик 60, 214, 407, 437.

Дюбо Жан Батист, аббат (1670—1742) — французский теоретик литературы и искусства 403, 408, 424.

Дюкло Шарль Пино (1704—1772) — французский писатель и моралист 71, 412.

Дюперрон де Кастера Луи Адриен (1705—1752) — французский писатель и переводчик 427.

Дюсис Жан Франсуа (1733—1816) — французский драматург 313, 448.

Евклид (III в. до н. э.) 114.

Еврипид (ок. 480—407 или 406 до н. э.) 95, 104, 105, 108, 204, 417, 435, 443.

Елизавета I (1533—1603) — английская королева с 1558 г. 446.

Жакен Арман Пьер (1721 — ок. 1780) — французский литератор 426.

Жанлис (урожд. Дюкре де Сент-Обен) Стефани Фелисите, графиня де (1746—1830) — французская писательница 320, 450.

Жан-Поль (наст. имя и фам. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763—1825) 431.

Женгене Пьер Луи (1748—1816) — французский литературный критик 407.

Жокур Луи, шевалье де (1704—1779) — французский литератор, сотрудник Энциклопедии 399.

Захария Юст Фридрих Вильгельм (1726—1777) — немецкий поэт 234.

Йомелли Никколо (1714—1774) — итальянский композитор 180.

Калепньо Труссардо — итальянский полицейский и литератор 459.

Калигула Гай (12—41) — римский император с 37 г. 142, 148.

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) 176.

Камознс Луиш ди (1524 или 1525—1580) — португальский поэт 176, 427.

Кант Иммануил (1724—1804) 63, 240, 320, 394, 410, 414, 432, 439, 441, 448—452, 458, 462.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — русский писатель и историк 412.

Карл I (1600—1649) — английский король с 1625 г. 261, 444.

Карл II (1630—1685) — английский король с 1660 г. 220.

Карл IX (1550—1574) — французский король с 1560 г. 64, 410.

Карнеад (ок. 215—ок. 129 до н. э.) — древнегреческий философ из секты академиков 125, 421, 422.

Кассини Жан Доминик (1625—1712) — французский астроном итальянского происхождения 171.

Касти (1724—1803) — итальянский писатель 389.

Кастро Гильен де (1569—1631) — испанский драматург 442.

- Катилина Луций Сергий (ок. 108—62 до н. э.) — римский политический деятель, заговорщик 420, 445.
- Катон Младший, или Утический, Марк Порций (95—46 до н. э.) — римский государственный деятель и оратор, противник Цезаря; покончил с собой после того, как Цезарь одержал победу в битве при Тапсе 76, 82, 130, 294, 350, 382, 414, 446, 455.
- Катон Старший Марк Порций (234—149 до н. э.) римский государственный деятель, оратор и историк, образец римской патриархальной нравственности 125, 421.
- Каули Абрахам (1618—1667) — английский поэт 199, 213.
- Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35—ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства 145.
- Кир Младший (424—401 до н. э.) — персидский царевич, младший брат Артаксеркса II 420.
- Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий писатель 457.
- Клопшток Фридрих Готтлиб (1724—1803) — немецкий поэт 189, 233—234, 440.
- Козловский Петр Борисович, князь (1783—1840) — русский дипломат и литератор 451.
- Коммод (161—192) — римский император со 176 г. 420.
- Конгрив Уильям (1670—1729) — английский комедиограф 208, 435, 436.
- Конде Людовик II де Бурбон, 4-й принц де (1621—1686) — французский полководец 407, 411.
- Кондильяк Этьенн Бонно де (1715—1780) — французский философ 274, 325, 451, 453.
- Кондорсе Мари Жан Антуан Никола де Карита, маркиз де (1743—1794) — французский философ 63, 326, 409, 410, 425, 446, 451, 456.
- Констан де Ребек Бенжамен (1767—1830) — французский писатель и политический деятель 36, 37, 396, 398, 400, 404, 429, 439, 441, 455, 459.
- Констан де Ребек Самюэль (1729—1800) — швейцарский литератор, дядя Б. Констана 54, 400.
- Коперник Николай (1473—1543) 394.
- Кориолан Гней Марций (V в. до н. э.) — римский полководец 121, 420.
- Корнелий Непот (ок. 99—ок. 24 до н. э.) — римский историк 140.
- Корнель Пьер (1606—1684) 44, 249, 250, 397, 407, 442.
- Коттен (урожд. Ристо) Софи (1773—1807) — французская писательница 320, 450.
- Коцебу Август фон (1761—1819) — немецкий драматург 233.
- Кребийон Клод (1707—1777) — французский писатель 237, 398, 399, 441.
- Критолай — древнегреческий философ-перипатетик, участник афинского посольства в Рим в 155 г. до н. э. 422.
- Кромвель Оливер (1599—1658) 294.
- Ксенофонт (ок. 445—ок. 355 до н. э.) — древнегреческий историк и писатель 124, 420.
- Кутон Жорж (1755—1794) — французский политический деятель, монтаньяр, член Конвента и Комитета общественного спасения 331.
- Лабрюйер Жан де (1645—1696) — французский моралист 140, 144, 221, 250, 453.
- Лагарп Жан Франсуа (1739—1803) — французский писатель и литературный критик 58, 66, 200, 397, 400, 402, 406, 415, 434, 439, 450.

- Лакло Пьер-Шодерло де (1741—1803) — французский писатель 398, 400, 438, 446, 450.
- Лалли Тома Артур, барон де Толлендаль, граф де (1702—1766) — французский полководец 168, 426.
- Лалли-Толлендаль Трофим Жерар, маркиз де (1751—1830) — французский государственный деятель, сын Т.-А. Лалли 168, 426—427, 454.
- Ламартин Альфонс де (1790—1869) 450.
- Ламенне Фелисите Робер де (1782—1854) — французский философ и теолог 443.
- Ларошфуко Франсуа, герцог де (1613—1680) — французский моралист 250, 370.
- Лафайет (урожд. Пьош де ла Вернь) Мари Мадлен, графиня де (1634—1693) — французская писательница 54, 399—400.
- Лафонтен Жан де (1621—1695) 42—43, 213, 246.
- Лев X (наст. имя и фам. Джованни Медичи; 1475—1521) — папа римский с 1513 г. 171, 181.
- Лейбниц Вильгельм Готфрид (1646—1716) 329.
- Лелий Мудрый Гай — римский государственный деятель и философ, консул 140 г. до н. э., друг Сципиона Эмилиана Африканского 125, 420, 422.
- Ленге Симон Никола Андре (1736—1794) — французский адвокат, публицист, литератор 427.
- Леони Микеле (1776—1858) — итальянский поэт 392, 462.
- Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт 459.
- Лесаж Ален Рене (1668—1747) — французский писатель 40, 397.
- Летурнер Пьер (1736—1788) — французский литератор, переводчик 437, 448.
- Лешевандьер, французский коммерсант и дипломат 399.
- Ливий Тит (59 до н. э.— 17 н. э.) — древнеримский историк 119, 122, 140, 173, 409, 420, 427.
- Ликург (IX в. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель 126, 270, 422.
- Локк Джон (1632—1704) 222, 325, 329, 394, 451—453.
- Лопе де Вега (Вега Карпью Лопе Феликс; 1562—1635) 176.
- Лопиталь Мишель де (ок. 1504—1573) — французский государственный деятель 290, 446.
- Лоут Роберт (1710—1787) — английский теолог и филолог 415.
- Лукач Марк Анней (39—65) — римский поэт 145, 424.
- Лукреций (Тит Лукреций Кар; I в. до н. э.) 124, 126.
- Льюис Метью Грегори (1775—1818) — английский писатель 450.
- Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г. 60, 61, 109, 136, 137, 139, 140, 142, 249, 250, 252, 254, 255, 263, 276, 279, 287, 407, 412, 424, 441, 442.
- Людовик XV (1710—1774) — французский король с 1715 г. 142.
- Людовик XVI (1754—1793) — французский король в 1774—1791 гг. 400, 410, 449.
- Люссан Маргерит де (1682—1758) — французская писательница 46, 397.
- Магомед (Мухаммед; ок. 570—632) — основатель ислама 153.
- Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский писатель, историк и политический деятель 119, 161, 162, 166, 171—173, 181, 420, 427, 429.
- Макферсон Джеймс (1736—1796) — шотландский писатель, автор «Поэм Оссиана» 57, 185, 406, 430, 431.

- Малле Поль Анри (1730—1807) — швейцарский историк 58, 185, 403, 406, 425, 430.
- Малле дю Пан Жак (1749—1800) — швейцарский публицист 404, 410.
- Мальбранш Никола (1638—1715) — французский философ 340, 453.
- Мальзерб Кретьен Гийом де Ламуаньон де (1721—1794) — французский государственный деятель 314, 449.
- Марат Жан Поль (1743—1793) 454.
- Мариво Пьер Карле де Шамблен де (1688—1763) — французский писатель 339, 453.
- Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.) — римский полководец 126, 420.
- Марино Джамбаттиста (1569—1625) — итальянский поэт 436.
- Мармонтель Жак-Франсуа (1723—1799) — французский писатель 53, 58, 66, 396—398, 400, 402, 403, 406, 408, 411, 415—418, 422—424, 427, 429, 432—434, 436, 439, 444, 447—449, 452, 454.
- Маршалл Джон (1755—1835) — американский государственный и военный деятель 455.
- Массийон Жан Батист (1663—1742) — французский проповедник 44, 250, 397.
- Медичи — итальянский род, занимавший главенствующее положение во Флоренции в XV—XVI вв. 181.
- Мейстер Генрих (1744—1826) — швейцарский литератор 439.
- Менандр (342—ок. 291 до н. э.) — древнегреческий комедиограф 112, 114.
- Мерсье Луи Себастьян (1740—1814) — французский писатель 406, 449, 450, 454.
- Местр Жозеф, граф де (1753—1821) — французский дипломат и философ 443, 447.
- Метагазио Пьетро (наст. фам. Трапасси; 1698—1782) — итальянский поэт и драматург 183, 389.
- Метродор (II в. до н. э.) — афинский философ и художник 125.
- Меттерних-Виннебург Клеменс фон (1773—1859) 458.
- Мильтон Джон (1608—1674) 39, 213—214, 392, 462.
- Мирабо Оноре Габриэль Рикети, граф де (1749—1791) 227.
- Мишо Луи Габриэль (1773—1858) — французский литератор 422, 427.
- Мольер (наст. имя и фам. Жан-Батист Поклен; 1622—1673) 40, 66, 109, 140, 206—208, 247, 308, 309, 397, 398, 411, 448.
- Монтень Мишель де (1533—1592) 141, 144, 161, 162, 221, 416.
- Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де ла Бред (1689—1755) 44, 147, 166, 167, 222, 250, 257, 258, 260, 274, 288, 340, 397, 401, 403, 413, 416, 420, 424, 443, 445, 451, 453.
- Монти Винченцо (1754—1828) — итальянский поэт 388, 460.
- Монтолье (урожд. Полье) Полина-Изабелла, баронесса де (1751—1832) — швейцарская писательница 54, 400.
- Морелле Андре (1727—1819) — французский литератор и философ 429.
- Мурена Луций Лициний (I в. до н. э.) римский политический деятель, консул 62 г. до н. э. 350, 455.
- Мюллер Иоганн фон (1752—1809) — швейцарский историк 239, 410, 441.
- Мюссе Альфред де (1810—1857) 444.
- Наполеон I (1769—1821) 409, 413, 455, 456.
- Нарбонн-Лара Луи, граф де (1755—1813) — французский военный и политический деятель, возлюбленный Ж. де Сталь 454.

- Неарх (III в. до н. э.) — древнегреческий философ-пифагореец 125.
- Неккер Жак (1732—1804) — французский государственный деятель и финансист, отец Ж. де Сталь 347, 399, 400, 422, 452, 455, 457.
- Неккер (урожд. Кюршо) Сюзанна (1739—1794) — мать Ж. де Сталь, писательница 371, 399, 400, 422, 437, 457.
- Нерва Марк Кокцей (26—98) — римский император с 96 г. 420.
- Нерон (37—68) — римский император с 54 г. 424.
- Норт Фредерик (1732—1793) — премьер-министр Великобритании, в 1770—1782 гг. 225, 438.
- Нума Помпилий — по преданию, царь Рима в 715—672 г. до н. э. 124, 421.
- Ньютон Исаак (1642—1727) 329, 452.
- Обинье Агриппа д' (1552—1630) — французский писатель 248, 441.
- Обиньяк Франсуа, аббат д' (1604—1676) — французский литератор, теоретик театра 460.
- Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э.—ок. 18 н. э.) 122, 124, 137—139, 142, 424.
- Октавиан (Октавий) — см. Август.
- Октавия, дочь римского императора Клавдия и Мессалины, жена Нерона 132.
- Олейр, швейцарский знакомый И. де Шаррьер 454.
- Омар I (ок. 581—644) — второй калиф мусульман 428.
- Оссиан (III в.) — легендарный кельтский бард, которому приписал свои поэмы-стилизации Дж. Макферсон 57, 185—189, 215, 403, 405, 406, 429—431.
- Отвей Томас (1652—1685) — английский драматург 191, 204, 434.
- Оше Клод Жан Батист (1772—1857) — французский литератор 404, 423, 447.
- Павел Эмилий Македонский (227—160 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, победитель македонского царя Персея в битве при Пидне 125.
- Пакувий Марк (ок. 220—132 до н. э.) — племянник Энния, римский трагический поэт 124, 126.
- Папирий Публий Секст (VI в. до н. э.) — римский правовед; собрал законы, принятые при первых шести римских царях 125.
- Паскаль Блез (1623—1662) 59, 140, 166, 443, 451.
- Пельтье Жан Габриэль (1765—1825) — французский журналист 408.
- Перикл (ок. 495—429 до н. э.) 90, 110, 131, 422.
- Перро Шарль (1628—1703) 424.
- Пет — см. Цецина Пет.
- Петрарка Франческо (1304—1374) 58, 126, 178, 179, 191, 391, 428.
- Петрарка (урожд. Каниджани) Элетта (1281—1319) — мать Ф. Петрарки 178, 428.
- Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н. э.) 95, 96, 99, 416.
- Питт Уильям Старший (1708—1778) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1766—1768 гг. 438.
- Питт Уильям Младший (1759—1806) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 гг. 227, 438—439.
- Пифагор (VI в. до н. э.) 115, 116, 125, 419, 421, 452.
- Плавт Тит Макций (ок. 254—ок. 184 до н. э.) — римский комедиограф 124, 126, 418.



Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) 82, 95, 115—119, 325, 394, 409, 414, 419, 421.

Плиний Младший (ок. 62—ок. 114) — римский писатель 145.

Плиний Старший (23 или 24—79) — римский писатель и ученый 145, 161, 162.

Плутарх Херонейский (ок. 46 — ок. 127) 82, 119, 130, 162, 196, 422, 423, 446.

Полициано (наст. фам. Амброджино) Анджело (1454—1494) — итальянский поэт, гуманист 385.

Помпей Гней Великий (106—48 до н. э.) — римский полководец и политический деятель 261, 424.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт 56, 62, 191, 213, 214, 386, 400, 436, 460.

Порция, дочь Катона Младшего, жена Марка Юния Брута 130, 131.

Протоген Гай (I в.) — римский вольноотпущенник 148.

Пти-Пьер — французский переводчик 440.

Птолеми — династия македонских царей, правивших Египтом в 323—30 г. до н. э. 428.

Птолемей Клавдий (ок. 90—ок. 168) — греческий астроном, математик, географ 394.

Публий Африкан — см. Сципион Эмилиан Африканский.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 412, 442, 452.

Радклиф (урожд. Уорд) Анна (1764—1823) — английская писательница 450.

Расин Жан (1639—1699) 45, 59, 62, 70, 103, 104, 109, 181, 195, 196, 205, 253, 258—260, 315, 382, 389, 397, 407, 433, 442, 443, 454, 460.

Ревердиль Саломон (1732—1815) — швейцарский писатель 399.

Рейналь Гийом Тома Франсуа, аббат (1713—1796) — французский просветитель 250, 399, 438.

Реньо-Варен Жан Батист Инносан Филадельф (1775—1844) — французский литератор 412, 413.

Ретиф де ла Бретонн Никола (1734—1806) — французский писатель 406.

Рец Поль де Гонди, кардинал де (1613—1679) — французский политический деятель, автор «Мемуаров», изданных посмертно, в 1717 г. 221.

Ривароль Антуан де (1753—1801) — французский литератор 340, 402, 403, 428, 453—455.

Риккони Луиджи (1675—1753) — итальянский актер, живший и работавший в Париже 437.

Риккони (урожд. Лабора де Мезьер) Мари Жанна (1714—1792) — французская писательница, невестка Л. Риккони 54.

Ричардсон Сэмюэл (1689—1761) 47, 53, 54, 219, 371, 398, 399, 437—438.

Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794) 407, 452, 454.

Роу Николас (1674—1718) — английский драматург 204, 434.

Руис де Аларкон-и-Мендоса (1581—1639) — испанский драматург 442.

Руссо Жан Жак (1712—1778) 56, 59—60, 62, 70, 79, 140, 166, 219, 223, 232, 250, 256—258, 260, 261, 274, 288, 319, 340, 398, 400, 403, 404, 407, 409, 414, 416, 428, 444, 446, 448, 451, 457.

Сад Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740—1814) 398.

Саллюстий Крисп Гай (86—34 до н. э.) — римский историк 76, 124, 126, 135, 140, 420.

- Саннадзаро Джакомо (1456—1530) — итальянский поэт 385.  
Светоний Гай Транквилл (ок. 70—ок. 140) — римский историк 141, 420, 424.  
Свифт Джонатан (1667—1745) 44—45, 209, 210, 397.  
Севинье (урожд. де Рабютен-Шанталь) Мари, маркиза де (1626—1696) — французская писательница 246.  
Сенека Младший Луций Анней (4 до н. э.— 65 н. э.) — римский философ-стоик и писатель 132, 143, 145, 336, 409.  
Сен-Ламбер Жан-Франсуа, маркиз де (1717—1803) — французский поэт 60, 319, 407.  
Сен-Мартен Луи Клод де (1743—1803) — французский философ 433, 453.  
Сен-Симон Луи де Рувруа, герцог де (1675—1755) — французский мемуарист 71, 412.  
Сид Кампеадор (наст. имя и фам. Родриго Диас де Бивар; 1043—1099) — испанский национальный герой 427.  
Сидни Олджернон (1622—1683) — английский философ 221, 438.  
Сийес Эмманюэль Жозеф (1748—1836) — французский политический деятель 438.  
Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд де (1773—1842) — швейцарский историк и экономист 404, 405, 430.  
Скарпа Антонио (1747 или 1752—1832) — итальянский анатом 391.  
Скрибоний Прокул (I в.) — римский сенатор 148.  
Смит Адам (1723—1790) — английский философ и экономист 222, 426.  
Смоллет Тобайас Джордж (1721—1771) — английский писатель 210, 436.  
Сократ (470 или 469—399 до н. э.) 82, 95, 112, 115, 117, 119, 408, 414, 419.  
Солон (ок. 640—ок. 558 до н. э.) — афинский законодатель 126.  
Соро Франциск, граф (1760—1830) — австрийский государственный деятель 458, 460.  
Софокл (497 или 495—406 до н. э.) 95, 99, 105, 108, 133, 203, 204, 416, 417, 434, 435.  
Спалланцани Ладзаро (1729—1799) — итальянский естествоиспытатель 427.  
Спенсер Эдмунд (ок. 1552—1599) — английский поэт 42, 213, 397.  
Сталь-Гольшштейн Огюст Луи, барон де (1790—1827) — сын Ж. де Сталь 457.  
Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель 53, 210, 398.  
Стил Ричард (1672—1729) — английский писатель и журналист 53, 399.  
Сципион Эмилиан Африканский Младший Публий Корнелий (185—129 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, создатель аристократического кружка, ставшего центром греческой культуры в Риме 124, 125, 420, 422.  
Сюар Жан Батист Антуан (1732—1817) — французский литератор и журналист 415.  
Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754—1838) 63, 409, 413.  
Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский трагический актер 433.  
Тансен (урожд. Герен) Клодина Александрина де (1685—1749) — французская писательница 54, 400.  
Тарквиний Гордый — седьмой и последний царь Древнего Рима в 534—509 до н. э. 423.

- Тассо Торквато (1544—1595) 39, 171, 173, 175, 178, 180, 212, 304, 391, 397, 428, 447.
- Тацит Публий Корнелий (ок. 55—ок. 120) 44, 49, 72, 82, 119, 128, 140—143, 145, 166, 341, 398, 410.
- Темпл Уильям (1628—1699) — английский государственный деятель и дипломат 290, 446.
- Теофраст (372—287 до н. э.) — древнегреческий моралист 112, 114, 116.
- Теренций Афр Публий (ок. 195—159 до н. э.) — римский комедиограф 124, 126, 127, 420.
- Тибериус Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император с 14 г. 50, 64, 142, 410, 424.
- Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н. э.) — римский поэт 62, 138, 380.
- Тик Людвиг Иоганн (1733—1853) — немецкий писатель 460.
- Тирио Никола Клод (1691 или 1696—1772) — французский дипломат и литератор, друг Вольтера 449.
- Тит Андроник — Ливий Андроник Луций (ок. 275—200 до н. э.) — римский поэт и переводчик с греческого, грек по национальности 124, 421.
- Томсон Джеймс (1700—1748) — английский поэт 58, 60, 189, 191, 214—216, 407—408, 434, 437.
- Тьерри Огюстен (1795—1856) — французский историк 430.
- Тюрго Анн Робер Жак, барон де л'Ольн (1727—1781) — французский философ, экономист и государственный деятель 63, 410, 414, 425.
- Тюрэнн Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт де (1611—1675) — маршал Франции 411.
- Удар де Ламот Антуан (1672—1731) — французский драматург, поэт, теоретик литературы 415, 444.
- Удето Элизабет Франсуаза Софи де Ла Лив де Беллегард, графиня д' (1730—1813) — возлюбленная Ж.-Ф. Сен-Ламбера 407.
- Уоллер Эдмунд (1606—1687) — английский поэт 199, 213.
- Уолпол Хорес, 4-й граф Орфорд (1717—1797) — английский государственный деятель и писатель 429.
- Фабий Пиктор Квинт (кон. III в. до н. э.) — первый римский историк-анналист, участник Второй Пунической войны 125.
- Фабр д'Эглантин Филипп Назер Франсуа (1755—1794) — французский писатель и политический деятель 309, 448.
- Фемистокл (ок. 525—ок. 460 до н. э.) — афинский государственный деятель 121, 420.
- Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715) — французский теолог, проповедник и писатель 42, 250, 258, 314, 340, 397, 442, 444, 449, 455.
- Фергюсон Адам (1723—1816) — английский философ 63, 222, 409.
- Ферекид Сиросский (600—ок. 530 до н. э.) — древнегреческий философ, автор трактата «О природе богов», одного из первых прозаических сочинений греков; учитель Пифагора 126, 422.
- Ферма Пьер де (1601—1665) — французский математик 451.
- Феспис (VI в. до н. э.) — полубогатый греческий поэт, создатель трагедии 133.
- Филанджери Газтано (1752—1788) — итальянский просветитель 182, 429.
- Филдинг Генри (1707—1754) — английский писатель 47, 52, 210, 219, 398.

Филипп II Македонский (ок. 382—336 до н. э.) — царь Македонии с 359 до н. э. 113, 419.

Флакк Граний (I в. до н. э.) — римский правовед 125.

Флао (урожд. Фийель) Аделаида Мария Эмилия, графиня де, во втором браке маркиза де Суза-Ботело (1761—1836) — французская писательница 320, 450.

Флешье Валентен Эспри (1632—1710) — французский проповедник 250, 260, 449.

Флор Публий Анний (I в.) — римский историк 140.

Фокион (ок. 402—318 до н. э.) — афинский полководец и оратор 348.

Фокс Чарльз Джеймс (1749—1806) — английский политический деятель 227, 438—439.

Фонтан Луи, граф, затем маркиз де (1757—1821) — французский поэт — 60, 63, 65, 187, 189, 319, 405—411, 415—417, 420, 421, 423, 425, 426, 430, 431, 433, 447.

Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657—1757) — французский писатель и философ 408, 453.

Форель Клод (1772—1844) — французский историк и филолог 404, 425, 460.

Фосколо Уго (1778—1827) — итальянский писатель и филолог 460.

Фосс Иоганн Генрих (1751—1826) — немецкий поэт 387, 460.

Фракасторо Джироламо (1478—1553) — итальянский ученый, врач, поэт 385.

Фра Паоло (наст. имя и фам. Паоло Пьетро Сарпи; 1552—1623) — итальянский историк 173.

Френсис Филип (1740—1813) — английский политический деятель и публицист 225, 438.

Фридрих II Великий (1712—1786) — прусский король с 1740 г. 290.

Фукидид (ок. 460—ок. 400 до н. э.) — древнегреческий историк 119, 420.

Фурий Фил Луций — римский государственный деятель, консул 136 г. до н. э. 422.

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.) — 75, 124, 135, 181, 289, 294, 424, 445, 446.

Целий Секст, римский правовед 125.

Цецина Пет — римский государственный деятель, консул 37 г.; приговоренный к смертной казни за участие в восстании против императора Клавдия, покончил с собой 261.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) 70, 75—76, 82, 115, 120, 122—126, 128—131, 133, 135, 136, 142—143, 145, 227, 289, 350, 354, 414, 419—424, 445.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель 459.

Чосер Джефри (1340?—1400) — английский поэт 213, 436.

Шаррьер (урожд. ван Тюиль) Изабелла де (1740—1805) — швейцарская писательница 54, 320, 400, 454.

Шатобриан Франсуа Рене виконт де (1768—1848) — французский писатель 396, 405—407, 409, 417, 421, 424—426, 429—431, 442, 452.

Шекспир Уильям (1564—1616) 60, 102, 132, 190, 194—205, 208, 216, 236, 253, 316, 389, 392, 403, 407, 429, 432—436, 448, 460, 462.

Шендоло Шарль Жюльен Лиу де (1769—1833) — французский поэт 401.

- Шенье Андре Мари (1762—1794) — французский поэт 402.
- Шенье Мари Жозеф (1764—1811) — французский драматург, поэт и историк литературы 199, 313, 314, 433, 448.
- Шеридан Ричард Бринсли (1751—1816) — английский драматург 209, 436.
- Шефтсбери Антони Эшли Купер, граф (1671—1713) — английский философ и моралист 222, 224.
- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805) — 233, 239, 389, 396, 403, 441, 458.
- Шлегель Август Вильгельм фон (1767—1845) — немецкий историк литературы 389, 425, 459, 460.
- Шлегель Фридрих фон (1772—1829) — немецкий писатель и философ, брат А.-В. фон Шлегеля 425.
- Шолье Гийом Амфри аббат де (1636 или 1639—1720) — французский поэт 246.
- Шписс Христиан Генрих (1755—1799) — немецкий писатель 440.
- Элоиза (1101—1164) — возлюбленная П. Абеляра 62, 400, 408.
- Энний Квинт (239—169 до н. э.) — римский поэт 124—126, 421.
- Эпиктет (ок. 50—ок. 140) — римский философ-стоик 143, 162, 357, 455.
- Эпикур (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ 137, 139, 424.
- Эссекс Роберт Девере, 2-й граф (1567—1601) — английский государственный деятель, фаворит Елизаветы I 446.
- Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) 95, 99, 100, 104, 105, 108, 133, 190, 204, 417, 435.
- Юбер Мишель (1727—1804) — швейцарский литератор 440.
- Ювенал Децим Юний (ок. 60—ок. 127) 145, 446.
- Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ и историк 119, 222, 417, 420.
- Юнг Эдвард (1683—1765) — английский поэт 189, 214—215, 437.
- Юэ Пьер Даниэль (1630—1721) — французский теоретик литературы и теолог 426.

**Сталь Жермена де.**

**С 76** О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями / Вступ. статья А. А. Аникста; Пер. с франц. В. А. Мильчиной.— М.: Искусство, 1989.— 476 с.— (История эстетики в памятниках и документах). ISBN 5-210-00332-9 (рус.)

Жермена де Сталь, которую Пушкин назвал «необыкновенной женщиной, которую удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения», была не только одаренным романистом, но и талантливым, незаурядным мыслителем. В предлагаемой читателю книге де Сталь, в которую входят трактат «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» (1800) и несколько статей, в оригинальном ракурсе рассмотрено развитие крупнейших европейских литератур; высказано множество интересных мыслей об истории Франции, о положении женщин в обществе. Книга проникнута верой в непрерывное совершенствование человеческого разума. Работа, безусловно, привлечет самые широкие круги читателей.

С  $\frac{0301080000-106}{025(01)-89}$  13—89

**ББК 87.8**

**ЖЕРМЕНА ДЕ СТАЛЬ**

---

**О ЛИТЕРАТУРЕ, РАССМОТРЕННОЙ  
В СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
УСТАНОВЛЕНИЯМИ**

---

**История  
эстетики  
в памятниках  
и документах**

---

Редактор  
**С. В. ИГОШИНА**

Художник  
**В. М. МЕЛЬНИКОВ**  
Художник  
серии

**М. А. АНИКСТ**  
Художественный редактор  
**И. В. БАЛАШОВ**

Технический редактор  
**Т. Е. ЦЕРЕТЕЛИ**

Корректоры  
**Ю. А. ЕВСТРАТОВА**  
**М. Л. ЛЕБЕДЕВА**

---

И.Б.3047. Сдано в набор 17.08.88. Подп. к печ. 07.03.89. Формат издания 84×108/32, Бумага типографская № 2. Гарнитура типа таймс. Высокая печать. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отг. 25,2. Уч.-изд. л. 28,72. Изд. № 17654. Тираж 25 000. Заказ 3868. Цена 2 р. 40 к.

Издательство «Искусство», 103009 Москва, Собиновский пер., 3. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054 Москва, Валовая, 28.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ИСКУССТВО»  
В СЕРИИ «ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ  
В ПАМЯТНИКАХ И ДОКУМЕНТАХ»  
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:**

**Розанов В. В. Несовместимые контрасты  
жизния.**

1990 (III), 33 л., 3 р.

Литературно-эстетическое наследие В. Розанова, русского писателя, публициста, мыслителя, до сих пор остается малоизученным, между тем без этой яркой, сложной, противоречивой фигуры трудно представить подлинную картину культурной жизни России начала XX века. Создатель своеобразного жанра философско-эстетических эссе, Розанов с предельной откровенностью обнажает перед читателем «грязь» и «нежность» своей души, порою сознательно идя на «скандал» во имя своих представлений о смысле жизни, развитии мировой культуры, диалектики отношений любви и смерти, искусства и религии.

В книге собраны работы Розанова различной проблематики и разных лет: от «Легенды о Великом инквизиторе» (1891 г.) — критическом комментарии к эстетике Ф. Достоевского, — принесшей автору первый успех, до обширных фрагментов из последних произведений, богатых парадоксальными, часто спорными размышлениями о русской литературе и искусстве XIX — начала XX в.

\* \* \*

*Объем, год выпуска и цена указаны ориентировочно.*



# В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ИСКУССТВО» ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

**Разлогов К. Э. Коммерция и творчество:  
Враги или союзники?**  
1990 (II), 19 л., 1 р. 70 к.

Как соотносятся между собой многотомный роман и декоративное панно, самодеятельная светомузыкальная установка и кинофильм, балет или популярный шлягер? Как влияют на развитие художественного творчества производственно-технические возможности киностудии, атмосфера в театральном коллективе, качество красок или типографского оборудования, оплата труда творческих и технических сотрудников? Почему художественный процесс во всех социальных системах обусловлен не только идеологическими установками и эстетическими устремлениями творцов, но и разноречивыми запросами и потребностями людей, вкусами и мнениями творческой среды, и армии заказчиков, покупателей, зрителей, слушателей? Иными словами, как соотносятся между собой коммерция и творчество?

Обсуждая эти и многие другие дискуссионные вопросы на обширном материале современного советского и зарубежного искусства, автор приходит к выводу о том, что экономические и идейно-художественные критерии эффективности искусства необязательно вступают в противоречие друг с другом, а наоборот, могут стать союзниками в рамках оптимальной культурной политики.

\* \* \*

*Объем, год выпуска и цена указаны ориентировочно.*



